А. Старков

...И далее везде

SHOUT
SHARE
IT

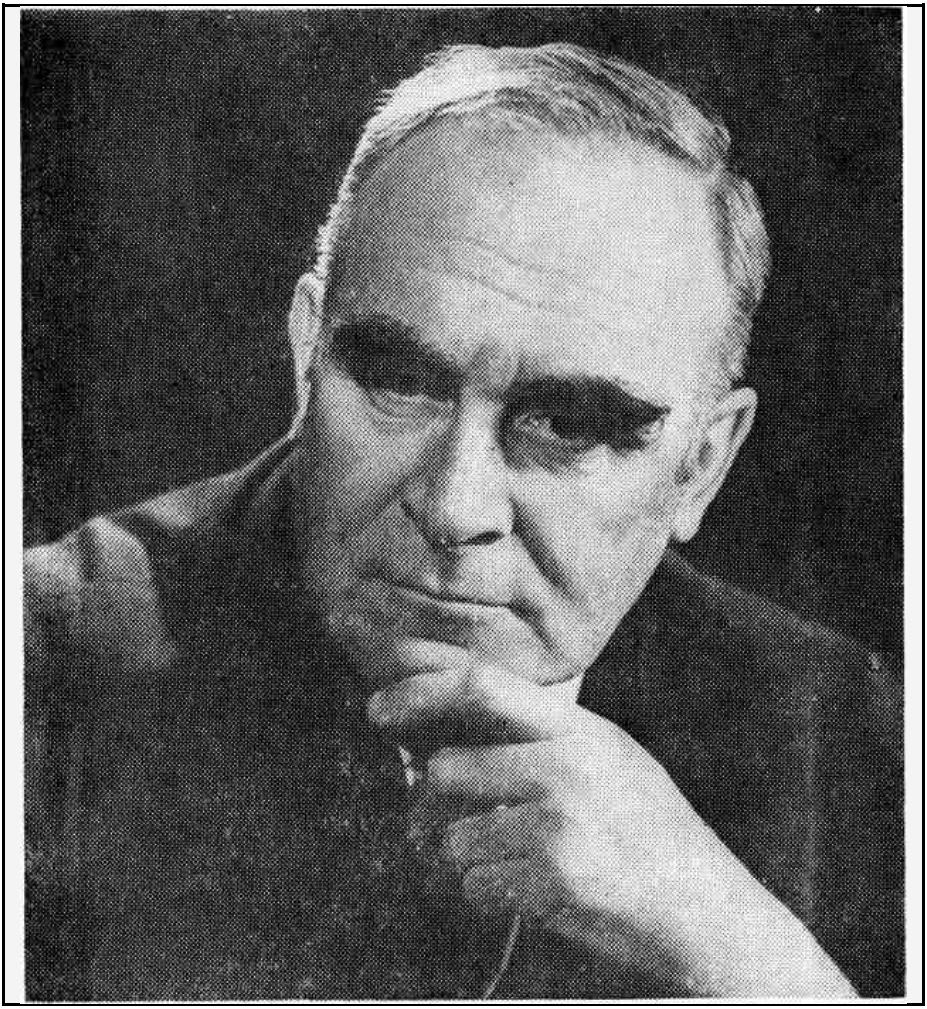
Annotation

Повесть А. Старкова «...И далее везде» является произведением автобиографическим.

А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.

- ...И далее везде
  -
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, ЗАВЕРШАЮЩАЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕЙ КНИГИ
  - ЭПИЛОГ
- notes
  - 1

...И далее везде



А. Старков

... И далее везде

ПОВЕСТЬ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Самая главная улица в моей жизни — Моховая в Ленинграде.

Правда, была до нее саратовская Нижняя, на которой я родился, но с которой меня шестилетним (нет, шести еще не исполнилось, я — июльский, а переезжали мы весной) перевезли в Петроград, ставший через два года Ленинградом.

Саратов, Нижняя — наплывами в памяти, то четкими, выпуклыми, словно чеканка, то размыто-туманными со сдвинутыми временными границами, а то и вовсе плывут кадры из чужого «кино», из прочитанного и услышанного.

Свое — отчетливо, звучаще и зримо, как в цветном телевизоре, если он не барахлит, — вот такое.

…Возимся, проснувшись, на широкой постели с Валькой, старшим братишкой. Неловкий, но сильный его толчок, матрац спружинил, и я лечу, как с батута, в сальто-мортале над кроватной спинкой, пробиваю двойную раму, — живем на первом этаже, — падаю в кусты, и ни единой ссадины на мне, ни самой крошечной царапины, только мелкие осколки в волосах, я отряхаю их. Маме, вернувшейся с базара, врем в два голоса, что окно пробито залетевшим со двора футбольным мячом. Мама делает вид, что верит: тетя Даша, соседка, успела, опередив нас, донести ей о случившемся. Это стало мне известно от той же Дарьи Павловны через тридцать с лишним лет, когда по пути в командировку от «Огонька» на строительство Куйбышевской ГЭС мы заехали с моим фотонапарником Борисом Кузьминым в Саратов и я по памяти, без всякой посторонней подсказки, нашел Нижнюю и наш двухэтажный кирпичный дом. Есть у меня теперь Борин снимок: стою со старухой возле окошка, и она, пригнувшись, разведя крыльями руки, показывает траекторию моего давнего «полета».

…Просыпаемся семьей совсем-совсем рано, еще в полутьме, от выстрелов и страшных криков со двора. Мама подбегает к окну, вглядывается и стремительно зашторивает его плотно, не велит нам с Валькой подходить. А крики все громче, сильней, и нас уже не удержать, мы раздвигаем шторы боязливо-осторожно, на узенький прогал, и видим в эту щелку, как на рассветающем фоне передвигаются по двору, перебегают от угла к углу, ползут по-пластунски — мне уже знакомо это военное слово — люди в гимнастерках. Валька, более осведомленный в жизни, шепчет:

«Угрозыск… Милиционеры…» Они движутся в сторону самого дальнего в длинном дворе домика-избушки, где живут две монашки, или просто богомолки. Ходят всегда во всем черном, тихие, с такими строгими повадками, что мы не решаемся с ними заговаривать… Милиционеры все плотнее окружают их жилье, наконец врываются в хазу, — Валька и это слово знает, — вскоре выводят мужика в ночной рубахе со связанными веревкой на спине руками, и еще такого же, и еще, кажется, пятерых и с ними молодую женщину тоже в ночном облачении. Всех шестерых вяжут по отдельности вдоль и поперек, крест-накрест, и валят на землю. Они лежат так, пока не въезжают две телеги, и их кладут по трое на каждую и увозят. Мама говорит, что поймали, слава богу, самого Красушкина, главаря банды, грабившей на пригородных дорогах, и его подручных, а женщина — невеста Красушкина, тоже участвовавшая в нападениях, стрелявшая метче других.

…Путешествуем по ближайшим достопримечательным местам с Карпушкой, моим дружком-однолетком, с головы до пят, независимо от сезона, густо покрытым веснушками, как рыба чешуей, плававшим тоже как рыба, мне на зависть, так никогда и не овладевшему как следует этим искусством, хотя волжанин по рождению и долго служил на морях. Наше сближение с Карпухой зародилось на почве страха перед соседской девочкой-подростком. Нас пугало ее изрытое волчанкой лицо. А затем, уверившись в ее беззащитности, перешли к преследованию бедняжки, дразнили, улюлюкали из-за угла, кидали камешки. И тут были застигнуты на месте преступления внезапно возникшим за спиной родителем девочки мясником Калашниковым, не только однофамильцем лермонтовского купца, а и таким же сильным. Схватив обоих одной рукой за шиворот, он легонечко тряхнул нас, и с Карпушки чуть не посыпались все веснушки, а из меня, за отсутствием таковых, едва не повылазили кишки. После эдакой встрясочки мы решили целиком переключиться на туризм, на путешествия по округе, по ее, как уже сказано, достопримечательностям… Побывали в церкви на богослужении, сопровождаемые Карпушкиной бабушкой, от которой я получил исчерпывающую информацию обо всех существующих молебнах. В синагогу на соседней Часовенной улице не удалось найти подобного сопровождающего: мой отец ее не посещал, а дедушка Осип, привезенный к нам в Саратов из Кирсанова после того, как антоновцы расстреляли там двух его сыновей и двух внуков, лежал в параличе… Синагогического расписания мы не знали, явились в синагогу в нерабочий день. Но встретившийся во дворе бородач в черной ермолке повел мальчишек задним ходом, по

лестнице. Оказалось, не в молельню, а в школьный класс при синагоге, завербовав, так сказать, новых учеников для хедера, не разобравшись, что один из них русский. Как будущим служкам, нам дали на дом по толстой книге. Такая имелась у моего дедушки для молитв. Она читалась справа налево. Карпухина бабка прибежала к нам в тот же вечер с этой книгой, принесенной внуком, сунула ее отцу, крикнув:

— Мы в вашего бога не верим!

— А я ни в каких не верю богов, — сказал отец.

— Зачем ты так? — вмешалась мама. — Бога, возможно, нет. Но кто-то же должен занимать его место там наверху.

Это было ее любимое выражение всю жизнь, она повторяла его и незадолго до смерти.

…После неудачи с синагогой мы совершили с Карпушкой поход к «красным фонарям» — так отец называл почему-то несколько аккуратных домиков в широком овраге в тылу Нижней улицы. Хотелось посмотреть, как светятся эти фонарики, и мы отправились туда под вечер, когда их зажигают. Вместо красных горели обыкновенные белые, как и на нашей улице. Из окон домиков доносились веселая граммофонная музыка и голоса. Мы даже заглянули в одно из них. Но стоявший внутри около гардероба старик в генеральском мундире, увидев нас, закричал, как на воробьев: «Кыш, кыш отседова!» Выручила выбежавшая из комнат, очень красиво разрисованная девушка, от нее пахло духами и вином. Она подхватила на руки Карпушку, стала его целовать, баюкать, приговаривая: «Ах ты моя веснушечка!.. Ах ты моя хорошенькая!..» Карп вырывался, оскорбленный тем, что его приняли за девчонку. В это время за стеной кто-то крикнул: «Облава!» — и девица, сбросив «веснушечку» на пол, мигом исчезла. Из-за дверей послышался топот многих убегающих каблучков. «Генерал» вытолкал нас на улицу, и мы дали дёру мимо тех же людей в гимнастерках, которые брали несколько дней назад банду Красушкина в нашем дворе… Мама, узнав, что мы с Карпушкой побывали у «красных фонарей», схватилась за сердце и выговаривала отцу, чтобы он никогда «не употреблял при ребенке глупых двусмысленных выражений».

2

И вот переезжаем в Петроград. Там живет дядя Яша, младший брат отца. Папа гостил у него однажды, как раз в дни революции. Он рассказывал, что шел по набережной, когда выстрелила «Аврора». Дядя Яша прислал вызов в Питер, затребование из

военно-морского училища. Оно прежде называлось Морским кадетским корпусом, доступным только для голубых кровей, объяснял отец. У меня кровь была красная. Она стекала ручейком по щеке, когда я наскочил на мамин зонтик. Войдя с улицы, с дождя, она на пороге нагнула зонт, чтобы стряхнуть капли, а я выбежал навстречу и наткнулся правым глазом на спицу. Мама в ужасе потащила меня к доктору, жившему на втором этаже. Он обнаружил, что сам глаз не задет, спица угодила в уголок, в мякоть возле переносицы… Я не раз видел кровь и у Карпушки, который вечно бился и царапался, видел у других, и она всегда была красного цвета. Где же находили для Морского корпуса людей с голубой кровью?

— Глупышкин, — сказал Валька, назвав меня по смешному человечку, приключения которого показывали в кино. — Это выражение такое. Дворяне, привилегированный класс.

Из трех последних слов я знал лишь одно: класс, Валька учился в шестом классе. Но кровь у него была такая же, как у меня.

В Петроград отца пригласили как специалиста. Хотя он не был ни моряком, ни учителем, ни врачом, в его профессии военно-морское училище тоже нуждалось: он шил фуражки. Это ремесло ему передалось от отца, нашего дедушки Вольфа, которого мы с Валькой не застали в живых. Знали, что он из «николаевских солдат». По семейной легенде, его в девять лет схватили на мосту, когда он бежал в лавочку за подсолнечным маслом для матери, и увезли в кантонисты. Я читал позже книгу Сергея Григорьева «Берко-кантонист», об еврейских мальчиках, которых силком забирали в армию, и плакал над ней, как над «Хижиной дяди Тома». Дед пробыл в кантонистах, в солдатах, 25 лет, получив после службы право на жительство за пределами черты оседлости, везде, кроме Петербурга, Москвы и Киева. Вместе с шагистикой он был обучен и картузному ремеслу в швальне. Дедов армейский приятель, уроженец Дона, уговорил его поселиться в сих благословенных краях, в области Войска Донского, в станице Урюпинской. Дед привез в станицу молодую жену-рижанку, народившую ему десятерых, девочек и мальчиков поровну, старшим из мальчишек был наш отец… До конца жизни дед шил лихие синие с красными околышем и кантом казачьи фуражки, какие изображаются на иллюстрациях к «Тихому Дону». Одна подобная хранилась у нас в семье, и я как-то схлопотал изрядную трепку от отца, прихватив эту реликвию во двор для игры в «казаков-разбойников»… С переездом в Питер отец, обученный казачьему фасону, стал шить картузы по морскому

ведомству. В училище, которому вскоре присвоили имя умершего наркомвоенмора Фрунзе, он просидел с иглой над деревянной болванкой почти сорок лет. Сколько фуражек и бескозырок он пошил, сейчас подсчитать невозможно: тетради, куда он записывал каждую согласно принадлежности и по мерке, утеряны. Отец шутил, что главные «головы» флота, прошедшие курсантами через «Фрунзе», у него в руках, то есть в записи. Когда я во время войны навестил в Баку моих эвакуированных вместе с училищем родителей, отец, узнав, что нашим Северным флотом командует адмирал Головко, порылся в своих тетрадях, нашел нужную и, перелистав ее, сказал:

— Вот. Хорошая, легкая голова у вашего командующего. Соответствует фамилии… Размер — 61. Лоб, затылок, височки — аккуратненькие, как на заказ. Ладный был курсантик. Бескозырку мою носил — загляденье! А носить-то тоже надо умеючи.

3

— Ехали две недели, — сказал мне брат, когда мы недавно вспоминали с ним переезд в Питер. Вообще-то, как типичный технарь, он не любит предаваться лирическим воспоминаниям, «никому не нужной мемуаристике», к моей активности в этом плане относится скептически («Тащить в книгу всякую всячину!») и многое из того, что хранится у меня в памяти, подвергает критическому, пересмотру. Так, к примеру, начисто отрицает свою причастность к «полету» сквозь оконную раму. Просто я сам раскачивался на кроватной спинке и дораскачался… Но иногда все же мне удается выдавить из Валькиной памяти кое-что существенное, особенно если он бывает у нас в Москве и находится, как гость, в благорасположении размягченного духа.

— Как ехали? Как ездило тогда полстраны. В теплушке. Двухосный грузовой «пульман». До нас, видать, возили лошадей, всю дорогу воняло навозом… Но были счастливы, располагались по-семейному, с мебелью, с печкой-буржуйкой. Дядя Доня выхлопотал вагон…

— Ошибаешься, не дядя Доня. Нас ведь ехало три семьи. Кроме нашей и дяди Дониной еще Ф. с женой и двумя малышами — Витькой и Томочкой, ему года два, девочка — грудная… Вот Ф., крупный партиец, и получил вагон.

— Точно, вспоминаю этого Ф. Короткорукий…

— Редкостный физический недостаток, врожденный порок. Обе руки без предплечий, без локтей, но с кистями вместо них, с пальцами. Я спрашивал у медиков, бывает, говорят, один случай

на миллион…

— А силой обладал необыкновенной.

— И ловкостью. «Солнце» крутил на турнике.

— Что там «солнце»!.. В Вышнем Волочке долго стояли, Ф. пошел за водой на станцию. И я с ним увязался, как старший из ребят. Пока наполняли ведра — у него два, у меня небольшое, — поезд тронулся, свалив прислоненную к теплушке лестницу. Ф., не выпуская из рук ведер — я-то свое бросил — левой подхватил меня под мышку так, что я оказался по пуп в ведре с водой, правой, тремя ее свободными пальцами, ухватившись за дверной поручень, подтянулся и, только чуть расплескав воду, и то за счет моих болтыхающихся ног, влез, вскарабкался в вагон — цирковой номер, но не на арене, а на ускоряющем бег поезде.

— Виктор рассказывал, что его отец практически все умел делать руками. В молодости рыбачил на баркасах в Рижском заливе, ставил сети. В эмиграции, в Англии, работал стеклодувом. А вот галстука завязать не мог, пальцы не доставали до узла, ладони не соединялись.

— Позволь, когда это Витька успел тебе рассказать? Двухгодовалый?.. Они же ехали через Петроград за границу, Ф. получил назначение по внешнеторговой линии. И мы больше не виделись. Раз, правда, после войны уже, мелькнул передо мной на Невском человек с такими же, как у Ф., руками. Наверняка это он и был… А ты что, его сына встретил? Где, когда?

— Через шестьдесят почти лет, минувшим летом у вас в Ленинграде. Я приезжал по делам, мы с тобой разминулись, вы отдыхали с внуками в Литве, я остановился у моих друзей Березкиных. К ним зашел как-то знакомый, вернувшийся из суда. Восторженный. Говорит, что выступал адвокат, каких он век не слыхивал. Ораторское искусство нынче, за ненадобностью, отмирает. А этот — златоуст, два часа говорил вдохновенно, не заглядывая в бумажки. «Ну и как, — спросил я, — помогло подзащитному?» — «Дали на полную катушку… Все равно — блистательный защитник, из последних могикан, на этого Ф. надо ходить, как на Райкина». — «Ф.? — переспросил я. — А имя-отчество?» — «По-моему, Виктор, полностью не помню». Я — в адресный стол, фамилия из редких, через пятнадцать минут получил справку: Московский проспект… Женщина, приоткрывшая дверь на цепочку, придирчиво устанавливала, кто я такой, чем интересуюсь. Впустив, объяснила свою бдительность: некоторое время назад у них в подъезде обчистили квартиру, теперь все осторожничают. Воров нашли, оказались парнями из ПТУ, их судили, и по иронии судьбы защитником на процессе выступал ее супруг… О давнишнем переезде из Саратова она что-

то слышала от родителей мужа, которые не так давно умерли. Но расспрашивать, естественно, надо самого Виктора. Он, к сожалению, в отъезде. В Волхове на процессе, судят взяточников. Вернется завтра.

— И ты снова пришел. Зачем? То, что это тот самый Витька, явно подтвердилось. Что же тебе еще недоставало? Каких подробностей ты ждал от человека, которому в момент интересующего тебя события было два года? Ах, судьба семьи? Коллекционируешь судьбы, биографии, лезешь в чужую жизнь. Я бы тебя погнал из квартиры, явись ты ко мне с допросом.

4

Я застал Виктора Абрамовича за необычным для юриспрудента занятием: в переднике-клеенке, залепленном чешуей и кровяными брызгами, с засученными рукавами, с длинным ножом в руке он фаршировал на кухне привезенных из Волхова зеркальных карпов-красавцев.

— Живыми вез, бились в авоське. Вон парочка еще трепыхается. Пристукни, Алла, пестиком. Осторожно, чтобы желчь не разлилась.

— Ты уж сам… — И ко мне: — Для Вити священнодействие — приготовить рыбу по маминой рецептуре. Но и маму, обученный ею, не допускал потом к этой магии. Я ж у него в подсобницах, на подхвате.

— Иронизируешь, а от дела отвлеклась. — Он помешал поварешкой в широкой кастрюле, в которой варились на плите овощи: свекла, морковь, лук со специями, взял на пробу, лизнул. — Прибавь, пожалуйста, соли. — И тут же перехватил руку жены с ложкой: — Это многовато, отсыпь, вот так… И перцу чуть-чуть… Извините, все у меня на ходу, по минутам, прерываться уже не имею возможности. Могу с вами поговорить, но не отрываясь от производства.

— Понимаю, — сказал, я, глядя, как кулинар с сосредоточенностью хирурга, ведущего сложную операцию, взрезал у распластанной рыбины брюшко, выпростал внутренности, вылущил жабры. — Ошибаться нельзя, не так полоснешь — опять же желчь…

— Вижу, соображаете.

— Как чистый пожиратель. Обожаю готовую продукцию, а возиться…

— А для него, — сказала Алла Васильевна, — вся прелесть в самом приготовлении. Съест-то кусочек-другой. Назовет гостей на

«рыбьи посиделки» и будет наслаждаться, наблюдая, как они изничтожают его фирменное блюдо.

— Алла, не занимайся критиканством. Нарежь луку для фарша…

— Я же говорю, вся черная работа на мне. Не жалеет слез моих жестокий муж.

Он приступил к наиболее филигранной манипуляции ножом: вырезать мякоть, не повредив кожи. Сосредоточенность его усилилась, но одновременно он заговорил вдруг охотнее, чем минуту назад:

— Вы помните моих родителей? Вы ведь тоже были крохой тогда.

— А я бы вас узнал на улице.

— Хорошо сохранился?

— Есть люди, не теряющие основных черт своего лица с младенчества до старости.

— Считать ли комплиментом, что выглядишь в шестьдесят младенцем?

— Не придирайся, Витя, ты не в судебном заседании, — реплика Аллы Васильевны, замачивающей в миске ломтики батона для фарша и тут же уличенной в небрежности: плохо срезана корка…

— Итак, вы литератор, и вас потянуло на воспоминания. Чем могу помочь?

— Вы, понятно, не помните, но, может быть, слышали от родителей, как ваша семья добиралась дальше из Петрограда…

— А мы дальше не ехали.

— Как, а назначение отца на загранработу?

— Это позже, лет через пять. Он работал в Ленинграде, в Севзапсоюзе, руководил промкооперацией. У него ведь коммерческое образование. Киров знал отца еще по гражданской войне, по Одиннадцатой армии, освобождавшей Астрахань. По рекомендации Сергея Мироновича он и был послан в Англию, в торгпредство. Для отца и для мамы это было вторичным пребыванием в Лондоне. Первое — в эмиграции. Они там в эмигрантской большевистской секции, у Максима Максимовича Литвинова, и познакомились. Отец бежал из Либавы как участник подпольного марксистского кружка. Мать — из Ростова, от погромов, скиталась швеей по Европе, в Салониках жила, в Париже, в Вене и вот в Лондоне. Мама всю жизнь разговаривала на каком-то своем особом языке, на смеси русского, еврейского, греческого, французского и английского.

— Я филолог, — сказала Алла Васильевна. — Специальность — германо-романские языки. И свекровь была для

меня неисчерпаемым языковым кладезем.

— А я не колодец, в котором ты утонула? — Шутка мужа свидетельствует о его хорошем настроении: дело с карпами подвигается успешно. Уже давно кипят овощи на плите, уже укреплена на краю стола мясорубка, и в ее пасть летят кусочки рыбы, хлеба, сырого лука, выползая сквозь решетку длинными кручено-перекрученными перламутрово поблескивающими колбасками. Кухня наполняется запахами, они пока раздельны: запах овощей из кастрюли, запах лаврового листа, запах свежеразделанной рыбы, они еще не переплелись в единый духовитый аромат. К изготовленному фаршу добавляются яйца, молотый перец, все это перемешивается в густую массу, и наступает никому не доверяемая операция: сама фаршировка, начинка, заполнение рыбьих кожаных мешочков; быстрые, смоченные в воде, ладони пришлепывают их, заглаживают, придавая нужную форму, опускают в кастрюлю с овощами.

— И долго вы жили в Лондоне? — спрашиваю.

— Пять лет. Но ездили в отпуск, на каникулы домой. Папу делá отпускали лишь дважды, а мы с мамой каждое лето отправлялись на теплоходе «Кооперация» в Ленинград. И в каком-то смысле нам с Томкой приходилось вести двойную жизнь. Тогда в советской колонии не было школы. Мы учились в колледжах. Я в мужском, в Хэмпстеде, фешенебельном районе Лондона. И колледж соответственно дорогой, со всеми консервативными традициями и условностями. И я — «маленький лорд», хотя сын коммуниста и коммунистки. К языкам у меня способность…

— Подтверждаю, — сказала жена.

— …И я быстро начал шпарить по-английски, если и с акцентом, то как валлиец, словно родился не в Саратове, а где-нибудь в Южном Уэльсе. В толпе воспитанников колледжа, возвращающихся с занятий, вы не только по одежде, а и по манерам не отличили бы меня от остальных «молодых лордов». Летом же — полная перестройка, и внешняя и внутренняя. Пионерский лагерь в Токсове: побудка горном, походы под барабан, выбивающий музыкальную скороговорку: «Стар-рый барабанщик, стар-рый барабанщик крепко спал, вдруг проснулся, перевернулся, всех буржуев р-разогнал!», песни у костра про «картошку-тошку-тошку», про «синие ночи», которые «взвиваются кострами», игры в «чапаевцев», в «красинцев», вечерний спуск флага… И не хотелось возвращаться в благопристойно-чопорную и — я не знал тогда этого слова, но душой ощущал — ханжескую атмосферу колледжа. Как мы радовались с Томочкой, когда отца отозвали из Лондона — он был назначен уполномоченным Наркомвнешторга по Ленинграду — и мы навсегда вернулись

домой. Среднее образование я добирал в школе номер семь на Выборгской стороне…

— В Седьмой образцовой? Недалеко от Финляндского вокзала?

— Ближе к заводу «Арсенал». Между улицей Комсомола и набережной Невы.

— Директор Иван Федорович?

— Иван Федорович Генрихов. В ту пору знаменитый на весь Ленинград директор.

— Да это же моя подопечная школа, как корреспондента пионерской газеты «Ленинские искры». Я у вас целые дни проводил. И даже состоял на учете в вашей комсомольской организации, чтобы глубже, изнутри вникать в школьную жизнь. А Генрихов — мой партийный рекомендатель.

— Я помню вас, вы бывали в нашем спецклассе.

— Для детей иностранных специалистов?

— И таких, как мы с Томкой, живших долго за границей.

— Почему вы сразу сегодня не признались, что знаете меня?

— Вы же сказали, что я легко узнаваем. Полагал, что уж школьником-то должны помнить.

— Нет, вы в моей памяти только крошечный спутник по теплушке. По школе я вас с сестрой не помню. Наверно, ни разу не слышал там вашей фамилии.

— Но на глаза-то я вам наверняка попадался. И был, выходит, менее узнаваем, чем сейчас…

— Витя, ты ведешь допрос, как в суде, — опять заступилась за меня Алла Васильевна. — Бывает, что в пожилом возрасте детские черты проступают сильнее.

— Убавь огня на плите…

— То, что вы учились в Седьмой образцовой, — сказал я, — очень для меня кстати. Не люблю часто употребляемых поговорок, но про этот случай лучше не скажешь: на ловца и зверь бежит. Я ведь приехал из Москвы уточнять сведения о Генрихове, хочу написать об Иване Федоровиче.

— Вот сие — дело стоящее, рад помочь. Человек был незаурядный. Вам известно, слышали, что он из милиционеров?

— Не только слыхал, а и нашел нынче в архиве в подтверждение тому документы, копии которых принес бы показать, если б знал, что встречусь с учеником Ивана Федоровича. Он служил в милиции под конец гражданской войны и несколько лет после нее.

— У него с гражданской правая рука со скрюченными пальцами?

— На фронте против Юденича контузило, а рука побита в

облаве на дезертиров. В милицейском именном списке по Лужскому уезду Петроградской губернии он числится начальником Струго-Красненской волостной милиции. В послужном аттестате благодарности за самоличную — так и написано «самоличную» — поимку 126 дезертиров, потом «за борьбу с трусами и шкурниками», отдельно «за энергичное искоренение бандитизма» и еще «за борьбу с самогонокурением». Я запомнил формулировки, а расшифровать, жаль, не могу, не подозревал при жизни Ивана Федоровича об этих страницах его биографии, не расспросил в свое время.

— А я не уверен, что вам удалось бы разговорить его на эту тему. Он не любил — о бандитах, о дезертирах. В школе вообще, во всяком случае среди ребят, никто долго не знал о его милицейском прошлом. Но вот кто-то из нас, старшеклассников, разведал, пронюхал, и на большой перемене, когда мы окружили директора, попросил Ивана Федоровича рассказать о службе в милиции. Он сразу замкнулся, покраснел, глянул с укоризной на стоявшую среди нас Галку, дочку, решив, что это она его выдала, а Галка была ни при чем, и сказал: «Милиционером был мой старший брат…», еще больше покраснев оттого, что никогда не говорил неправды, хотя на этот раз была полуправда: брат его тоже служил в милиции… И еще я слыхал, что однажды на педсовете, когда разгорелся спор о методах воспитания, кто-то из учителей в запале бросил реплику, что в действиях директора иногда-де проглядывает его предыдущая профессия. Генрихов вспыхнул, хотел, видно, выпалить что-то резкое, но сдержался и сказал: «У меня профессия стеклодува». Он, как и мой отец, работал в молодости на стекольном заводе. И добавил своему оппоненту: «В милицию меня направила партия, в школу — тоже партия…» Он не терпел высокопарных фраз, и если уж прибегнул к такой, то от растерянности, не сумев иначе отпарировать несправедливый упрек.

— Я думаю, что тот, кто когда-то перевел Генрихова из органов милиции в органы народного образования и к тому же без промежуточных должностей сразу директором школы, был человек не только смелый или не имевший иного выбора из-за нехватки в то время кадров с соответствующей подготовкой, но и проницательный, точно угадавший характер Ивана Федоровича, глубоко упрятанный в нем истинный педагогический талант, хотя весь его образовательный ценз ограничивался к моменту назначения тремя классами церковноприходской школы в Луге.

— Витя, — сказала продолжавшая ассистировать шеф-повару Алла Васильевна, — по-моему, пора…

— Еще две с половиной минуты, — сказал он, глянув на

ручные электронные часы, и, не спуская с них глаз, дождался назначенной секунды, выключил конфорку, сдвинул резко крышку кастрюли. И, вырвавшись на свободу, кухню начал заполнять духмяный, дурманяще терпкий, но, сколько бы я ни подбирал эпитетов даже с помощью недавно изданного «Словаря эпитетов русского литературного языка», никакими словами не передаваемый, ни с чем не сравнимый аромат готового, фаршированного умелой рукой карпа. А рот мой неостановимо, как у рефлексирующей павловской собаки, наполнялся слюной, которую я судорожно сглатывал в абсолютной безнадежности, понимая, что хозяин не допустит дискредитации своего чудотворения преждевременным употреблением до полной его кондиции, пока сочные, разложенные на специальном блюде и украшенные с искусством опытнейшего дизайнера морковкой, свеколкой, различной зеленью куски рыбы не застынут до определенного состояния, не охладятся как следует, покрывшись золотисто-розовой пленкой с белыми, как иней, вкрапинами жирка. Для этого должно пройти не менее полсуток, у меня же в кармане билет на сегодняшний вечерний поезд в Москву, и мне остается только завидовать счастливцам, приглашенным завтра на «рыбьи посиделки», к столу, где кроме рыбы будут еще поджидать гостей вазочки с приготовленным в сметане, в свекольном соку подслащенным хренком, — ой, я, кажется, сдам билет и останусь до завтра в Ленинграде…

5

Тем временем хозяин, освободившись от сложной кулинарной операции, получил возможность целиком предаться вместе со мной воспоминаниям.

— Вы правы, Иван Федорович был прирожденный педагог-организатор.

— Перебью вас, простите. Среди благодарностей, занесенных когда-то в послужной аттестат начальника Струго-Красненской волостной милиции, я забыл назвать самую, может, главную: «за работу с малолетними преступниками». Заметьте, не «за борьбу», как в предыдущих формулировках, а «за работу». Наверно, он создал нечто похожее на нынешние «детские комнаты» при отделениях милиции. И, возможно, успехи на данном поприще и сыграли решающую роль при назначении Генрихова директором школы № 154 на Выборгской.

— Когда мы с Томкой, вернувшись из Англии, поступали — я в шестой класс, сестра в четвертый — она была уже Седьмой

образцовой школой.

— А построена в прошлом веке, в семидесятых годах, вместе с богадельней купцами Тименковым и Фроловым. У меня вот в блокноте выписка из устава этого заведения, хотите, прочту?

— Любопытно.

— «Дом призрения имеет целью доставить приют неимущим средств к существованию престарелым и увечным обоего пола, принадлежащим к петербургскому купеческому и мещанскому обществу. Состоящая при Доме школа предназначается для обучения и воспитания сирот и детей неимущих членов того же общества». И далее: «С десятилетнего возраста мальчики и девочки учатся раздельно. Во втором классе преподаются священная история, толкование заповедей и объяснение молитв господних, а также арифметика. В третьем классе на женской половине проходятся объяснение святых таинств и литургии, толкование и изучение предпричастных молитв, краткая география России, исчисление на счетах, понятия о ведении счетных книг. На мужской половине — те же предметы, но подробно и с присоединением бухгалтерии и товароведения». И еще я выписал: «Окончившие курс воспитанники на шестнадцатилетнем возрасте выпускаются из заведения, но могут быть выпущены ранее, смотря по способностям и успехам или по случаю спроса благонадежных купцов для приучения их к торговым делам».

— Хотя и разные этот приют и английский колледж, но что-то близкое по духу почудилось мне в них.

— В «советской единой трудовой», как тогда официально назывались школы, принятой Иваном Федоровичем, в ее длинных мрачноватых коридорах, дух, о котором вы говорите, полностью еще не испарился. Те, кто вел божьи науки, понятно, исчезли, а остальные-то учителя в подавляющем большинстве оставались прежние, приютские, с определенным настроем, с укоренившимися нравами. И, казалось бы, «красному директору», партийцу с 1920 года, начинать следовало с обновления педагогического состава, с чистки, с чего обычно и начинали такие, как он, директора-выдвиженцы. А Генрихов никого из «стариков» не тронул. Более того, на свободные вакансии, которые появлялись, поскольку школа расширялась, брал не одних молоденьких выпускников из Герценовского, но, и даже порой охотнее, пожилых учителей со стороны, как раз и уволенных из других школ ретивыми директорами по мотивам «обновления кадров».

— Не Людмилу ли Александровну Денисову имеете в виду?

— Помните ее?

— Учительница литературы и русского языка. Единственная кроме директора, кого принимал наш не управляемый для прочих англо-американский спецкласс. Педагоги шли к нам на урок как на заклание, как на казнь. Класс был на особом положении: иностранцы… И мы, маленькие наглецы, почувствовав эту свою особость, исключительность, всячески ее эксплуатировали. Один Алланчик Мортон чего стоил! Он мог в разгар урока учинить чехарду, прыгая, как обезьяна, через головы сидящих за партами, а однажды совершил такой прыжок над головой учителя географии, решившегося вызвать его к карте. В ошеломлении старик впал в длительную немоту, а мы гоготали… Только, говорю, при директоре и литераторше класс стихал. Ну, в Иване Федоровиче признавали все-таки власть, авторитет, и что-то в Людмиле Александровне подействовало на нас усмиряюще с первого же ее появления на пороге, еще до того даже, как она заговорила. Вошла, села за стол, обвела всех взглядом, обыкновенным, спокойным, в котором не было вроде ничего гипнотического, а никого почему-то не потянуло к обычным для нас выдрючиваниям, к обструкции, никому не захотелось хихикать, задавать глупые вопросы. На ее уроках мы работали. Серьезно, со старанием. И самым смиренным, самым работящим изо всех был Аллан. Ни по каким предметам он принципиально не держал тетрадей, презирал их, лишь по русскому языку завел.

— Я знал Людмилу Александровну задолго до того, как начал ходить корреспондентом к вам, в Седьмую. Мы были соседями с семьей Денисовых по дому на Моховой улице. Мама приятельствовала с Людмилой Александровной и первой узнала о случившейся с ней беде: потерявшая мужа-офицера в мировую войну, с двумя детьми на руках, она была уволена как чуждый элемент из школы, в которой преподавала с гимназических времен. Директор, уволивший Денисову, продолжал мстительно преследовать ее, названивая директорам школ, куда она пыталась устроиться, предупреждая, чтобы не брали «эту контру». Позвонил и Генрихову. Иван Федорович, выслушав всю его злобную аргументацию, тут же зачислил Людмилу Александровну в штат, о чем мама тоже первой узнала от нее и радостно сообщила нам дома. И мы знали, что есть такой добрый человек на свете по фамилии Генрихов.

— Он вел школу десять лет.

— Вспоминая Ивана Федоровича, понимаешь, что он являл собою несомненный педагогический феномен. Он ведь к своим трем церковноприходским классам не добавил, по-моему, официального образования.

— Нет, закончил заочно комвуз.

— А что комвуз? Ведь директор школы-десятилетки должен был бывать на уроках физики, математики, химии, обществоведения, литературы, географии, после чего делиться с учителем впечатлениями, делать ему замечания и не дилетантски, а на уровне знаний этого учителя, если не выше, тут одной интуицией не возьмешь. Он должен вести заседания педсовета, а перед ним были специалисты, от коих не отделаешься общими фразами, скольжением по поверхности проблемы, по ее, что ли, облицовке, без глубинного проникновения в суть дела. Он должен был беседовать с родителями об их детях с пониманием психологии и родителей и детей… Быть, словом, директором, способным за три-четыре года вывести школу в образцовую, какой она была объявлена приказом по Наркомпросу, подписанным Бубновым.

— У него, у Ивана Федоровича, были друзья-помощники, восполнявшие то, чего ему самому не хватало. Такие, как друживший с ним и за пределами школы физик Николай Федорович Платонов, про которого в стенной газете, перефразируя Ломоносова, написали, что «может собственных Платоновых российская земля рождать». Та же ваша соседка Людмила Александровна; она создала методкабинет по литературе, ставший местом паломничества для учителей со всего города, да и из других городов приезжали. Или ее воспитанница Зинаида Александровна Рябчик…

— С Зинаидой Александровной я виделся вчера. Вспоминала, как всей школой — и учителя и ученики — переживали, когда в верхах сочли, что Генрихов уже «не соответствует современным требованиям», и он был переведен во Дворец пионеров заведовать фильмотекой, даже ходоков посылали в Смольный, целую делегацию, просить, чтобы оставили его директором. Говорила, что на ее памяти сменилось много директоров, все, по документам, образованней Ивана Федоровича, а самобытней, талантливей не было.

6

— Грех за ним водился…

— Знаю, и не поймите, что хочу оправдать его напоминанием о горе, которое носил в душе Иван Федорович…

— Вы про Галочку, про дочку?.. После восьмого класса меня перевели из англо-американского в обыкновенный, и я учился вместе с Галей Генриховой. Она носила постоянно повязку на горле, голос хрипловатый. Малышкой, лет трех, глотнула какой-

то кислоты или щелочи из склянки, оставленной в кухонном шкафу матерью-медсестрой. Сожгло пищевод, повредило голосовые связки. Более точно, детальнее передать, какой характер носила травма, не берусь. Не медик.

— Ну уж совсем не медик, скромничаешь, — сказала Алла Васильевна. — Мог бы вполне аттестоваться на фельдшера. Первый курс медицинского кончил ведь перед войной.

— Кончил. А после войны, достаточно повидав крови на фронте…

— …и своей потеряв, живого места нет… — сказала Алла Васильевна.

— …решил врачевать человеческую душу, а не тело.

— Как ты красиво сказал! — сказала Алла Васильевна.

— Поступил на юридический. Но мы о Галине, а не обо мне, вечно ты уведешь в сторону, Алла… Что-то сразу в сельской больнице сделали неправильно, усугубили травму. Возникла непроходимость, девочка питалась с помощью особой воронки. В школе на перемене она уходила в кабинет отца и там, за ширмочкой, ела. Это было ее единственной привилегией, как дочери директора… Потом Греков, известный хирург, осуществил уникальную для той поры операцию, вживив ей искусственный пищевод. И она стала обедать вместе со всеми в столовой. Вместе со всеми и на физкультуре, не пользуясь освобождениями по болезни, прыгала через «козла», взбиралась по шведской стенке, бегала эстафеты, играла в волейбол. Если кто из незнающих спрашивал про повязку на горле, про хрипоту, говорила: «Простыла немножко». Решительно не признавая себя больной, ходила в дальние туристские походы и опять же отвергала какие-либо облегчения, привилегии, навьючивала на себя тяжелые рюкзаки. Поехала как отличница в Артек, и там мало кто кроме врачей знал о ее травмах. «Немного простудилась». И с этой «простудой» купалась в море, далеко заплывая…

— Я тоже первое время удивлялся, что у нее такая затяжная, почти хроническая простуженность. Посоветовал Ивану Федоровичу показать дочку хорошим докторам. Он сказал печально, что показывали, и объяснил, с чем показывали, взяв с меня слово, что я никогда не буду проявлять жалостливости к Галчонку.

— В таких случаях она замыкалась. Игнорирование болезни не было у нее показным, искусственным сокрытием ущербности, она в самом деле, как я уже сказал, не считала себя инвалидкой. И навьючивание на плечи рюкзаков в походах, работа на заводе у токарного станка во время производственной практики, от которой она также была освобождена, лихое отплясывание на

школьных вечерах и у себя дома, — Иван Федорович и Мария Васильевна любили по субботам приглашать ребят на квартиру или на дачу, собирались большие компании, я не раз бывал, — чтение на тех же вечерах стихов Маяковского, Хлебникова — все это делалось не для демонстрации преодоления недугов, а в ненатужной естественности здорового человека. Да, очень больная девочка, она была практически здорова во всех своих внешних проявлениях.

— Я помню ее не только по школе. Она часто приходила к нам в редакцию, в «Искорки», как мы называли между собой газету, приносила заметки, стихи. Сейчас я нашел их в старых комплектах. Напечатан и маленький рассказик «Фатима-летчица», про девушку из осетинского аула, навеянный, видимо, какой-то газетной публикацией или чьим-то изустным рассказом, может быть, в Артеке, сама Галочка не бывала на Кавказе. Коротенькое повествование заканчивается стихами:

Сегодня летчицей я стала,
Летаю выше скал и гор.
Звезда на крыльях заблистала,
И загудел стальной мотор.
Летаю всех орлов я выше,
За тучи к солнцу полечу.
У неба нет, сказали, крыши,
Но я до крыши долечу.

Она занималась в литературном кружке при редакции, потом в молодежной студии у Павла Шубина. Но тетрадь с ее взрослыми стихами безнадежно утеряна.

— Несколько строк копошатся в моей памяти:

Мне снова приснился ты,
Такой непонятный, хороший.
Ты все торопился уйти
И путал в потемках калоши.

Или «путал в передней», возможно. А что объектом ее лирики был Юра Граменицкий из нашего десятого — точно. Этот секрет можно теперь выдать, полковник медицинской службы Граменицкий умер недавно…

— Рассказывала мне Галина Михайловна Мартынова…

— Галка Масс? Тоже из нашего десятого. Они с первого класса сидели на одной парте. Самые близкие подружки. Так про

них и говорили: «Две Галки на одной палке». Дружба по тривиальному принципу сближения полярных натур. Пунктуальная, деловитая, расчетливая Галя Масс… Она, кажется, экономист по образованию?

— Плановик в ленинградском отделении Гослитиздата, в Доме книги.

— Вот видите, профессия запрограммирована с детства: у девочки все всегда было заранее продумано, выверено, занесено в план… И бурливо-импульсивная Галка Генрихова, с ее непредвиденными взмывами, приливами и отливами, с неожиданными идеями, в орбиту которых она тут же втягивала всех окружающих. Увлеклась вдруг астрономией, и вслед за ней класс забредил звездами, планетами, космосом, ездили в Пулково, раздобыли где-то довольно мощный телескоп. Иван Федорович не разрешил сначала устанавливать его на крыше школы. Но Галка, злоупотребив в этом случае родственной связью, нажала на директора-отца, он сдался, и мы по вечерам, как завзятые астрономы, наблюдали звездное небо. Потом она так же вдруг спустилась из космических высот на землю, многие часы проводя в Ботаническом саду на Аптекарском острове, и дома у себя развела маленький ботанический сад… Лишь один интерес был у нее стойкий, непреходящий, все усиливающийся — литература.

— А поступила на юридический в университет.

— Считала, что в литературу следует приходить из другой профессии. Мы стали бы с ней коллегами… Вы знаете, что она была на войне, в действующей армии?

— Галина Михайловна говорила, что первые полтора-два военных месяца они провели вместе санитарками в госпитале, который разместился в гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади.

— В той, где когда-то Есенин…

— Да, в «Англетере». По случайному совпадению, в том же госпитале служила санитаркой и моя жена, но двух этих подружек не знала, госпиталь большой, захвативший и соседнее здание. Мартынова вспоминает, что Галина неудержимо стремилась на фронт, куда у нее ушли в народное ополчение и отец политруком и мать — медсестрой. Довод, что и она уже фактически в армии, отвергала. И однажды вспыхнула ссора. Подруга спросила, как же она, Галка, с такими недугами, с больным горлом, с трубкой в груди представляет себе свое пребывание на фронте. «Увидишь, как это будет!» — крикнула она. И через несколько дней не явилась в госпиталь.

— О ее фронтовой жизни почти ничего не известно. Я

Галочку после войны не видел. А у тех, кто видел, сведения самого общего характера: Волховский фронт, Синявинские болота… Никому — никаких подробностей. Одни говорят — служила в медсанбате на передовой, другие — там же на передовой, но полковым агитатором. И уточнить невозможно, военные документы, как и тетрадь со стихами, утеряны.

— Разноречивость объясняется скорее всего тем, что она наверняка, как и в госпитале, не ограничивалась чисто медицинскими обязанностями: там она в палатах читала раненым стихи, приносила им газеты, рассказывала неспособным читать о событиях на фронте, в мире… О службе в армии есть маленькое, ее собственное, случайно сохранившееся письменное свидетельство. Запрос в военкомат. Просит сообщить, по возможности, о судьбе политрука Ивана Федоровича Генрихова, отца, от которого давно нет вестей. О себе пишет, что «демобилизована по болезни из действующей части РККА» и находится временно по адресу: Ивановская область, станция Савино, школа номер девять.

— Это, значит, по дороге в Среднюю Азию? Я слыхал, она эвакуировалась в Самарканд.

— Зинаида Александровна Рябчик, пытающаяся хоть что-нибудь разыскать о своей ученице, показывала мне характеристику, выданную Самаркандским горкомом комсомола в сорок третьем году. Говорится, что Генрихова Галина организовала агитационно-концертную бригаду, которая с ее участием провела более двухсот пятидесяти выступлений в госпиталях, резервных воинских частях, на заводах, в колхозах… Из Самарканда Галочка вернулась в Ленинград сразу после снятия блокады. И продолжила занятия в университете.

— По-моему, где-то еще и работала.

— Литсотрудником в газете «Смена». Недолго. Хроническая простуда, схваченная на Синявинских торфяных болотах, развилась в туберкулез легких. Соединившись с прежними недугами, он свалил ее в постель, с которой она уже не поднялась. Галина Михайловна навещала ее в больнице до последнего дня. На столике возле койки, рядом с лекарствами, лежали книги по юриспруденции, сборники стихов. Мартынова заговорила как-то о войне, хотелось все-таки узнать у подруги какие-то фронтовые подробности. «Зачем? — сказала Галя. — Много ли я навоевала… Лучше почитаю тебе Ахматову». И читала, задыхаясь, из «Четок», из «Белой стаи».

— Я узнал о смерти Галочки от самого Ивана Федоровича где-то уже в середине пятидесятых годов. Я работал в Москве разъездным корреспондентом «Огонька». Приехал в Питер в

командировку, родные жили всё на Моховой, я у них остановился. Выхожу на улицу, чувствую спиной — кто-то догоняет, кладет руку на плечо, оборачиваюсь: Генрихов. Встреча — будто и не расставались на столько лет; он поравнялся, пошли вместе. Чуть-чуть его пошатывало, но речь трезвая, осмысленная. «Нет, говорит, моего Галчонка, нет и Марии Васильевны. Зайдем, друг, ко мне, помянем…» Как в таком случае отказать? Тем более рядом, на Моховой же, дом двадцать два, наш четыре, в одном квартале. Я бывал у Генриховых до войны. Большая комната в коммуналке. Почти ничто не изменилось, блокадой не тронуто. На стене портрет Галочки в пионерском галстуке. Мне бы расспросить тогда Ивана Федоровича о ней, теперь так жалею, что не сделал этого. Торопился, журналистская поденка подгоняла… К письменному столу был прикреплен сбоку маленький станочек вроде тисков, но с моторчиком и шлифовальным кругом. А на столе врассыпную разноцветные пуговицы — костяные, пластмассовые, из камешков. «Надомник я, — сказал Иван Федорович. — Фурнитурщик. Инвалид первой группы. Под Колпином контузило — и речь и память отшибло, по госпиталям кантовался, Галочка искала меня с год, нашла, приехал я в Самарканд, вместе возвращались домой… Речь, как видишь, обрел, память — не вся, провалы в памяти, тебя вот узнал. Случаются припадки. К работе с детьми не допущен. Вот и шлифую здоровой рукой, скрюченной подсобляя, пуговки для дамских кофточек, шершавый зачищаю ободок с заусеницами, облóй называется. Ста-ха-но-вец…» Вот такая была у нас встреча. Говорят, что за тем станочком и хватил Ивана Федоровича инсульт. Упал замертво с зажатыми в ладони пуговичками — красными, голубыми, желтыми…

История семей Ф. и Генриховых отвлекла меня от собственной, с которой я начал книгу. Впрочем, в ней, в этой книге, моя жизнь будет лишь поводом для рассказа о других жизнях, более значительных, с коими она переплеталась, соседствовала.

7

…Прибыли в Петроград. Паровоз-кукушка отогнал вагон на дальний путь. Там встречал нас дядя Яша с кудрявеньким ангелочком, только что без крылышек, по имени Фрошка, постарше меня, ближе к Валькиному возрасту. Я протянул ему руку и получил в ответ удар в подбородок, от которого закачался,

земля поплыла к небу.

— Чистый хук справа! — провозгласил ангелок. — Нокдаун. Открываю счет. Раз…

— Я те посчитаю, — сказал дядя Яша и поддал Фрошке в место пониже подбородка и с другой стороны туловища.

Я еще не владел грамотой, рассказа О'Генри «Вождь краснокожих» не читал; Фрошка был из того же племени.

Вышли на привокзальную площадь. Прямо перед нами на высокой каменной глыбе стояла огромная чугунная лошадь-битюг, каких я видел в Саратове на волжской пристани, когда подъезжали возы за арбузами с баржей. На битюге восседал такой же огромный дядька в папахе и с шашкой на боку.

Стоит на площади комод,
На комоде бегемот,
На бегемоте обормот, —

весело продекламировал Фрошка.

— Фу, как некрасиво так про царя, — сказала мама.

— Он же бывший, — сказал Фрошка.

— Все равно нехорошо, — сказала мама. В монархизме заподозрить ее нельзя было, она просто не любила грубых слов, к кому бы они ни относились.

К нам подкатили извозчики на пролетках-«дутиках»; их называли так потому, что на колесах были надувные резиновые шины. С семьей Ф. нам оказалось в разные стороны. Их повезли на проспект Нахимсона, называвшийся прежде Владимирским, и церковь там была Владимирская. Возле нее находилась трамвайная остановка, которую кондукторы стали объявлять так: «Граждане, следующая — Церковь имени товарища Нахимсона!» Неподалеку от церкви стоял дом, в котором играли в карты и в рулетку, потом его превратили в Дом пионера, и я бывал там на слетах. Теперь в этом здании Театр имени Ленсовета, где главным режиссером Игорь Владимиров, и многие думают, что поэтому проспект снова переименовали во Владимирский.

А вообще-то от Спасской, от квартиры дяди Яши, было не так уж далеко до Владимирского.

На Спасской мы гостили с месяц. Отцу выдали открытый смотровой ордер на жилье. Это означало, что он может выбрать любую пустующую квартиру, но в определенном, современно говоря, микрорайоне: Чайковская, Моховая, Пантелеймоновская. «Микро» сугубо аристократическое: барские дома, особняки, даже небольшие дворцы. Легко догадаться, что шапочники здесь прежде не селились.

— А ныне и высоко парящие орлы разлетелись, — сказал дядя Яша, сын и брат фуражечников, сам совслужащий.

Отец отправился на поиск, прихватив с собой Вальку, а в последний момент и меня, завопившего о несправедливости. Мы прошли сперва по Чайковской в обе стороны от Литейного — и к Летнему саду, и к Таврическому. Брошенные квартиры имелись в каждом доме, а некоторые и с мебелью. Комнат в них было множество, в какой-то мы насчитали двадцать четыре и аукались, как в лесу. Целиком свободным для заселения стоял дом, который в наши дни занимает райком партии. А от одного здания близ Фонтанки оставались лишь стены: внутри все выгорело. Отец объяснил, что это бывшее австрийское посольство, и, когда началась мировая война, улицу запрудили толпы, люди кричали, шумели, кидали камни, а под конец подожгли дом, и пожарные не торопились гасить огонь, старались только, чтобы он не перебросился на соседние дома… Чайковская не приглянулась отцу.

— Длинная скучная улица, — сказал он.

А Моховая, на которую мы свернули, сразу понравилась, хотя и ее застали не в лучшую пору: как на Чайковской, дома с потухшей жизнью, с выбитыми стеклами, поросшая травой торцовая мостовая, пустынность. Понимаю, что на ранние детские впечатления могут наслаиваться сейчас у меня и более поздние, когда мы сжились с улицей. Но и сразу в ней сквозь заброшенность пробивалось что-то из близкого, домашнего, какой была для нас Нижняя в Саратове.

— Здесь будем жить, — сказал отец. — А какие соседи вокруг! — И он называл фамилии, считывая их с мраморных досок на стенах некоторых домов. Для меня, шестилетнего, эти имена ничего не значили. Валька же, как шибко образованный, понимающе кивал головой, а про одного «соседа» сказал:

— Ого, сам Гончаров!

Фамилию этого человека я запомнил потому, что он жил как раз напротив дома, в котором отец приглядел квартиру.

Обращусь к свидетельству А. Ф. Кони из его воспоминаний петербургского старожила:

> «Пройдя Бассейную и перейдя с Литейной в Симеоновский переулок, мы оставляем вправо Моховую улицу, которая в восемнадцатом столетии называлась Хамовой. (По утверждению другого петербургского старожила, Льва Успенского, Хамова́я произошла от слова «хамовник» — ткач. Когда-то поблизости располагался хамовный, ткацкий двор. Отсюда и

первоначальное наименование улицы. Для аристократов, поселявшихся здесь, сие не очень ласкало ухо, и она постепенно трансформировалась на планах в Моховýю. — *А. С.*) В конце нее, в доме № 3, поселился в пятидесятых годах Иван Александрович Гончаров. Часто можно было видеть знаменитого творца «Обломова» и «Обрыва», идущего медленной походкой, в обеденное время, в гостиницу «Франция» на Мойке или в редакцию «Вестника Европы» на Галерной. Иногда у него за пазухой пальто сидит любимая им собачка. Апатичное выражение лица и полузакрытые глаза пешехода могли бы дать повод думать, что он сам олицетворение своего знаменитого героя, обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой наружностью таится живая творческая сила, горячая, способная на самоотверженную привязанность душа, а в глазах этих по временам ярко светится глубокий ум и тонкая наблюдательность. Старый холостяк, он обитает тридцать лет в маленькой квартире нижнего этажа, окнами на двор, наполненной вещественными воспоминаниями о фрегате «Паллада». В ней бывают редкие посетители, но подчас слышится веселый говор и смех детей его умершего слуги, к которым он относится с трогательной любовью и сердечной заботливостью».

Итак, мы поселились напротив «дома Гончарова», визави, как говорила мама, в доме № 4, принадлежавшем до революции, как доходное предприятие, баронессе Корф, что было увековечено во всех квартирах на паркете вензелем из деревянной разноцветной мозаики: буква «К», переплетенная с цифрами «1867» — датой постройки. Такой же фирменный знак выбит на фасаде, над парадным входом. Четырехэтажный, в бордовую краску, с витыми полуколоннами, как бы втянутыми вовнутрь здания, 55-летний крепыш, дом этот менее других на улице подвергся запустению: из восьми квартир, выходящих на фасадную сторону, пустовала лишь одна на втором этаже, мы ее и заняли. Маму ошеломила огромность жилья: девять комнат, длиннющий — в длину двора — и широкий коридор, в котором мы с Вадькой устраивали спринтерские забеги, передняя, где натянули волейбольную сетку, кухня по типу и по размеру ресторанная, как теперь выражаются, «санузел» соответственный — все это при мамином принципе «чтобы ни пылинки» вконец выматывало ее с уборкой, и отец приступил к разделу квартиры на две, благо имелось два входа — «парадный» и «черный». По праву первозаселенцев,

«парадная» часть отошла к нам, в остальной, большей, поселились три семьи, создав таким образом коммуналку. Такой, еще ужавшись, стала после войны и наша половина: мы с братом в результате обменов переехали с семьями — он в другой район города, я — в Москву, и папа с мамой заканчивали свои дни в комнате, расположенной над подъездом, над парадной.

С парадной связан трагический эпизод в жизни дома.

Это произошло в зимнее воскресное утро. Мы завтракали всей семьей. Снизу раздался вдруг треск, словно упала и рассыпалась вязанка дров. Отец так и сказал: «Поленья уронили…» Было похоже: через парадную, имевшую спуск во двор, жильцы таскали дрова из подвала. Но тут же рассыпалась с треском вторая «вязанка», и отец, сказав: «Что-то не так…» — вышел посмотреть. Быстро вернулся и, ничего не говоря, — к телефону, соединился с милицией, закричал: «Убийство на Моховой!..» Мы кинулись вниз, мама пыталась не пустить меня, я вывернулся у нее из-под рук, она — за мной по лестнице. Посередине парадной лежали в крови двое: женщина в теплом платке и валенках, так и не выпустившая из руки кошелку с хлебом, и мужчина в милиционерской шинели. Женщину мы знали: недавно нанятая верхними соседями Хохловкиными молоденькая домработница Таня. Землячка нашей мамы, как выяснилось при первом же их разговоре, — кирсановская. Мама даже помнила ее мать, чуть ли не вместе учились в гимназии. Как очутилась библиотекарша Таня в Ленинграде в домработницах? Она уехала, рассказывала мама, из Кирсанова от жениха, учителя химии, потому что полюбила другого, а тот, другой, говорила нам мама, полная сочувствия к девушке, любви ее не принял. Она меняет адреса, учитель же всякий раз узнаёт их, присылает письма, телеграммы, зовет к себе, но Таня никогда, никогда не вернется к нему, говорила мама… И вот вернулась мертвая к мертвому. Как установили позже, он приехал в Ленинград, поступил в милицию, чтобы приобрести наган. Встретил на улице спешащую из булочной, довел до дому, вошли в парадную, он, наверно, последний раз спросил ее, она последний раз ответила. И нам показалось наверху, что упали и рассыпались вязанки… К дому подъехали сани, мертвых положили рядом друг с другом, накрыли широким тулупом, из-под него свисали ноги — Танины в валенках, на которых еще держался снежок, и его — в начищенных милицейских сапогах… В парадной с плиток долго не сходили рыжие пятна, и я всегда, когда шел, старался не наступить на них, как на что-то живое…

Родители, оставшись в одной комнате, тоже могли съехать с Моховой: училище предлагало отцу жилье поболее и ближе к работе. Но маму удерживал балкон, любимейшее ее место пребывания в свободное время. В доме было три балкона, расположенных симметрично: два на третьем этаже и наш, лучше сказать, мамин, посередине на втором, над подъездом. Моховая — улица прямая и, хотя не такая уж короткая, просматривается на всем протяжении, и мама, накормив завтраком, снарядив мужа в дорогу, выходила на балкон и провожала его взглядом до конца улицы, проводила бы и дальше, до трамвайной остановки, но она была за углом, возле цирка на Фонтанке. И к тому моменту, как только отец, возвращаясь из училища, показывался из-за поворота, мама уже снова несла балконную вахту, приближая его к себе взглядом. Зимой, в темноте, она лишалась этой возможности, и мы с Валькой, пошучивая, советовали отцу купить фонарик, чтобы сигналить о своем продвижении.

Балкон был для мамы не просто местом отдыха, он соединял маму с жизнью улицы, а улицу с ее жизнью.

8

Раз в неделю, чаще всего по субботам, к «дому Гончарова» подкатывала извозчичья пролетка. С заднего сиденья не по возрасту прытко соскакивал приземистый бородатый старик и, если мама находилась на балконе, непременно кивал ей через улицу. По внешнему виду, по черной поддевке, по грубым сапогам с высокими голенищами, да еще на расстоянии, его можно было принять и за возницу. А то был Владимир Михайлович Бехтерев, патриарх медицинской науки, классик отечественной психиатрии, «основатель научной школы», как сказано в лежащем передо мной «Советском энциклопедическом словаре». Старик проходил под арку во двор и вскоре снова появлялся на улице, но уже не один, а с махонькой девчуркой на руках. Гигантский розовый бант на ее черноволосой головенке был, кажется, больше самой девочки. Мама знала, что ее зовут Наташа и ей три годика. Бехтерев усаживал внучку в пролетку и увозил на прогулку в Летний сад. Там я их видел не раз и однажды у памятника баснописцу Крылову. Дед рассказывал внучке про чугунных зверей на постаменте. Я их и сейчас вижу рядом, деда и внучку, на 139-й странице уже упомянутого «Словаря». О внучке сказано: «Бехтерева Нат. Петр. (р. 1924), сов. физиолог, ч-к. АН СССР (1970), акад. АМН (1975)… Тр. по

физиологии псих. деятельности…» (Только что прочел в «Известиях», что директор Института экспериментальной медицины Н. П. Бехтерева избрана действительным членом Академии наук СССР, и увидел ее в телепередаче, посвященной деду, научный поиск которого она продолжает.)

И еще один патриарх медицины, тезка Бехтерева, тоже связанный с Военно-медицинской академией, — Владимир Игнатьевич Воячек, как и Бехтерев (опять же справка из «Словаря»), «основатель научной школы», но в области оториноларингологии. Академик, Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант. Мимо маминого балкона, а скорее сказать, под балконом, потому что шел всегда по левой, нашей стороне улицы, он проходил издавна, еще не будучи ни академиком, ни Героем, ни генералом. Проходил ежедневно, кроме воскресенья (но в воскресенье и мама почти не сидела на балконе, чуть не весь день — на кухне), в академию на Выборгской стороне и из академии через Литейный мост. Проходил и когда правительство наградило его автомобилем марки «Линкольн», мы прочли об этом в газете. Кто уж пользовался машиной, не знаю, а Воячек оставался пешеходом, вернее, пехотинцем, поскольку я его помню постоянно в длинной военной шинели, ставшей позже генеральской. С мамой они виделись по два раза на день: проходы Воячека туда и обратно точно совпадали с обязательными ее дежурствами на балконе утром и перед вечером, когда она провожала и встречала отца. У поверхностного, — с высоты второго этажа, — но тем не менее стабильного знакомства мамы со знаменитым «ухогорлоносом», как она его называла в скороговорке, был перерыв на войну, на блокаду. Вернувшись из эвакуации, она не смогла сразу занять свой пост на балконе, были сложности с оформлением жилплощади. Но вот они остались позади, родители мои въехали в старую квартиру, и мама ранним утром, еще не проводив отца на работу, вышла обозреть сверху «горизонт». И первый, кто возник в ее обзоре, был генерал — профессор Воячек. Он шел, как всегда, в академию, увидел маму, приостановился и к обычному прежнему молчаливому поклону добавил изустно: «О мадам, как рад я вас снова видеть вживе и, надеюсь, вздраве!» И прошагал размеренным пехотинским шагом дальше. Он вышагивал так еще долго после того, как мамы не стало на 70-м году, а он был ровесник нашего отца, старше мамы на 15 лет, и прожил на 5 лет больше, чем папа, — девяносто пять.

Где-то прочел воспоминания о Воячеке, где — забыл, а что́ — помню и, как помню, перескажу, не претендуя на авторство.

Вспоминал человек, служивший по интендантской части в Военно-медицинской академии в бытность Воячека ее начальником… Трех корифеев медицины — Павлова, Федорова и Воячека — наградили орденами Ленина. Кроме того, премировали автомобилями и денежной суммой в размере 100 тысяч рублей каждому с целевым назначением — на обустройство и меблировку новых квартир. Интендант явился к Воячеку и его супруге, чтобы помочь с переездом, с приобретением мебели. Но оказалось, что нужды в этом нет. Квартира вполне устраивает и нынешняя, передислокации не будет. Что же касается мебели, вот тут есть просьба. У главы семьи имеется любимая кухонная табуретка, удобнее всяких кресел и диванов. Жаль, одна в доме, и приходится таскать ее из комнаты в комнату, а комнат — четыре. Нельзя ли изготовить еще три точно таких табурета? Никакой другой мебели, никаких гарнитуров не требуется. Интендант настаивал, уговаривал, и супруга, Нина Викторовна, согласилась съездить в комиссионку, на аукцион, выбрать что-нибудь. И все, что увидела, отвергла, хотя демонстрировали ей богатейшие экземпляры, великолепную мебель. Потому и отвергла, что богатейшая, дорогая. «Муж будет недоволен такой расточительностью». Приобрела лишь простенький книжный шкаф. «Книги у Владимира Игнатьича уже и на полу лежат…» Так изготовлением трех табуреток, покупкой шкафа и ограничилось израсходование 100 тысяч рублей премии. Остальные деньги Воячек распорядился употребить на расширение своей академической клиники, надстроили третий этаж.

Среди тех, кто проходил мимо маминого балкона, было два моряка. Во всяком случае, так можно было определить по флотской, лихо и одновременно изящно воздвигнутой — именно воздвигнутой! — на голове фуражке, к козырьку которой столь же лихо и изящно прикладывалась ладонь, почтительно приветствовавшая маму.

Первый моряк был высок, элегантен в своей особой внешней выправке, выдававшей в нем воспитанника Морского кадетского корпуса, гардемарина в юности. (Корабельные гардемарины — чин, предшествовавший мичманскому, — делились на «белых» и «черных», тех, кто приходил на судно из корпуса, и тех, кто минуя его.) Что́ тут оказывалось наособинку, уточнять не берусь. Человек шел, двигался, поворачивался, нагибался вроде бы обычно, как все, и в то же время в этих движениях, поворотах головы, всего стана был тончайший, почти неуловимый нюанс, по которому, несмотря на его неуловимость, безошибочно угадывался морской кадет. Таким был контр-адмирал Евгений

Евгеньевич Шведе, который плавал с нами на флагманском ледоколе в одну из арктических навигаций — он был тогда еще капитан 1-го ранга — и о котором я постараюсь к случаю рассказать поподробнее… А пока о моряке с Моховой. Живший в угловом, рядом с улицей Пестеля доме, он появлялся здесь не часто, спорадически, пропадая надолго, уходил, видно, в плавание. Лишь вернулись через 17 лет к читателям его книги. Сергей Адамович Колбасьев, одногодок и однокашник Соболева по Морскому корпусу, успел их написать немного. Но думаю, что его «Поворот все вдруг» — есть такая команда, сигнал на флоте, когда идущие в кильватерном строю корабли резко меняют курс все, как один, — можно поставить рядом с соболевским «Капитальным ремонтом» или «Севастополем» Малышкина не только потому, что книга написана на схожую тему, а и по высокому качеству письма. Книги Колбасьева теперь переиздаются, кроме «Радиокнижки», которую он сперва по частям, по главкам печатал у нас в «Искорках». Так что я его помню по мимолетным встречам и на улице, и в редакции. Он приносил свои заметки по радиоделу Мише Ивановскому, нашему главному редакционному «академику», ведавшему рубрикой «Хочу все знать». Конечно, колбасьевская «Радиокнижка» устарела, как устарели детекторные приемники, о которых в ней рассказывалось. Но разве не с таких приемников, не с чтения таких вот «радиокнижек» начинали нынешние творцы электроники, кибернетики, космического телевидения, как начинал, по собственному признанию, Королев с брошюры Я. Перельмана «Далекие миры. Путешествие на планеты. Полеты в мировое пространство и достижение небесных светил», изданной в 1919 году.

(В скобках скажу, что Яков Исидорович тоже довольно часто бывал у нас в редакции. Он приходил к Мише с толстым рыжим портфелем, из которого вытряхал и раскладывал перед придирчивым Мишиным взором ворох размашисто исписанных листков на выбор для очередной публикации — листопад сведений, информации, новостей из самых различных отраслей науки… По толщине портфеля, такого же рыжего, по обилию обрушивавшихся на газету материалов соревноваться с Перельманом мог лишь Виктор Николаевич Сорока-Росинский, Викниксор, как он подписывался. Под этим именем он фигурирует в качестве главного действующего лица «Республики Шкид», заведующего Школой социально-индивидуального воспитания имени Достоевского (проще — школой для малолетних правонарушителей, беспризорных), описанной в прогремевшей в конце двадцатых годов повести ее воспитанников

Г. Белых и Л. Пантелеева. Книга затем была на долгие годы забыта и обрела вторую громкую жизнь уже в послевоенных изданиях. И третью, еще более громкую, в сравнительно недавнем фильме, где Викниксора темпераментно, талантливо, но совсем непохоже на подлинного Виктора Николаевича изображал артист Сергей Юрский. В специальной литературе имя В. Н. Сороки-Росинского все чаще ставится в один ряд с Макаренко, Сухомлинским, печатаются его труды по педагогике, разрабатывается его наследие в этой области. Но я нигде не встречал упоминания о работе Викниксора в «Ленинских искрах». Нет, не на школьные темы он писал, таких публикаций я в комплектах не нашел. А вот очерков, корреспонденции, репортажей об Урало-Кузнецком комплексе, о поисках угля в Ленинградской области, в которых участвовал автор, о его встрече с Мичуриным, об освоении Арктики, о будущих гидростанциях, об уже проложенном Турксибе и тому подобных материалов за подписью «Викниксор» в газете полно. И я обращаю на них внимание викниксороведов. Сам же только приведу начало, первый абзац очерка «Великий Северный путь», чтобы читатель почувствовал, как хорошо писал этот человек:

> «Природа довольно бестолково распорядилась с северной половиной Азии. Вместо того, чтобы защитить ее горами от полярных ветров, она поместила эти горы на юге, загородив ими тепло. Там, где жарко светит солнце, оно устроило пустыни Туркестана, а угрюмый север покрыла роскошными лесами — тайгой. Многоводные реки направила не в теплые края, а уперла их в ледяные стены Северного полярного моря».)

Со вторым моряком мама познакомилась еще до «балкона», до переезда со Спасской на Моховую. Впервые я попал на эту улицу не с отцом, когда он подыскивал квартиру и брал нас с Валькой, а с мамой. В первую же неделю нашего пребывания в Петрограде она повела меня в только что открывшийся на Моховой Театр юных зрителей. Зрительский опыт был у меня крохотный: в Саратове — цирк, спектакль «Синяя птица» и балетное представление, не оставившее названия в моей памяти и вообще не нашедшее отклика в мальчишечьей душе; с тех пор балет так и не вошел в число любимых мною искусств… И вот идем в новый петроградский театр. Он открылся в феврале, мы идем в мае. И, следовательно, я могу считаться нынче одним из тюзовских аборигенов. Это слово означает «первожители», а мы и были не зрителями, а жителями этого театра. Всех пришедших на

спектакль встречал еще в театральном подъезде наверху широкой лестницы, ведущей в гардероб, создатель и директор ТЮЗа «дедушка Брянцев», как мне его назвала мама и как я теперь знаю — 39-летний человек при русой бороде — она быстро совсем побелеет — и уже изрядной лысине, старательно прикрываемой флотской фуражкой. Той самой, в которой он будет много лет и по нескольку раз в день проходить мимо маминого балкона из дома в театр и из театра домой, а жил он наискосок от нас в доме 10 по улице Чайковского, уже известном читателям как здание бывшего австрийского посольства… Читая вышедшие недавно посмертным изданием «Воспоминания» народного артиста СССР Александра Александровича Брянцева, вижу, что с детства, с юности, когда он ходил по Финскому заливу рулевым на парусно-гребной шлюпке «Черепаха», когда штурманским учеником прошел на океанском «Хабаровске» вокруг Европы из Одессы в Петербург, а зимой нанимался в суфлеры, всю жизнь с той поры уживались в нем две души — морская и театральная. Да какое там уживались — соперничали, противоборствовали; театральная, пользуясь своим могуществом, всячески оттесняла, отталкивала упрямую соседку и так и не сумела от нее избавиться, не смогла сбросить фуражку с якорьком на околыше, отвлечь от судейства на регатах. В случае каких-то неудач на сценическом поприще, в моменты печального настроения, душевных спадов средство излечения от сего было единственное — двухмачтовая парусная байдарка «Алёнушка». Она и в последней дневниковой записи, сделанной 77-летним Брянцевым за два месяца до смерти:

> «1 августа. Жарко. До семи часов вечера дождя не намечалось, и я решил пройтись на «Аленушке» до устья Черной речки и обратно. Туда-то я прошел шикарно — одним правым бейдевиндом, а обратно вышло хуже. Едва я вошел в устье Черной, как поднялся сильный шквал, прибивший «Аленушку» к берегу. Оказывается, в этот день над Финляндией пронесся смерч, принесший много бед там. Я, видимо, попал в его побочные действия. Вода вокруг «Аленушки» как бы закипела, волны достигли почти аршинной высоты. Меня поливало с головой. Я приткнулся к болотистому берегу и с трудом убрал паруса, оставив один стаксель, чтобы быть видным для ищущих меня (в чем я не сомневался). В крайнем случае я был готов переночевать в байдарке. Тем более, что шквал стал стихать. Наконец за мной пришла моторка, прибуксировавшая «Аленушку» к родным берегам, где

меня с тревогой ждали родные и друзья, которым я, не желая, доставил много беспокойства. Думал, что этот катер со спасалки. Оказалось — частная инициатива, а спасатели меня «не нашли», решив, что «этот старик сам выберется». Спасибо им хоть за высокую оценку моей квалификации…»

Три личности, появлявшиеся в мамином балконном поле зрения, возникают в моей памяти всегда вместе, неотделимые друг от друга, хотя никакого отношения друг к другу не имели. Но стоит мне вспомнить одного из них, как тут же пристраивается рядышком второй, вослед спешит третий. И, подчиняясь причудам памяти, я вынужден «упаковать» всех троих в единый абзац.

Вижу Мишеньку, как звала его вся улица, взрослого ребенка лет сорока. Таких теперь обзывают по-научному дебилами. Тогда подобным определением не пользовались, говорили запросто: дурачок. И всей улицей любили, жалели, никому в обиду не давая, и первыми его заступниками были мальчишки, которые обычно насмехаются над юродивыми. А Мишеньку оберегали от напастей, откликаясь на его беззащитность, на желание всем помочь и угодить. К каждому встречному, кого и не знал, впервые увидел, он обращался с ласковым словцом и всегда по-разному. Долговязому говорил: «Здравствуй, мой стройненький!», рыжему: «…мой светленький!», с родимым пятном на щеке: «…господом богом замеченный!» И жил-то он не на Моховой, приходил откуда-то со стороны, издалека, чуть ли не с Васильевского острова, являлся ранним утром, до позднего вечера трепыхаясь в трудах и заботах для пользы общества. То таскал ящики в угловой продмаг, называвшийся почему-то «Красная звезда». То сторожил возле этого же магазина сразу несколько колясок с младенцами, оставленными ему на попечение: они лежали тихонечко, безмолвно, спокойные при Мишеньке за свою сохранность. То, заменяя ушедшего обедать газетчика, сидел в киоске торжественный, преисполненный ответственности за порученное дело. С таким же тщанием помогал воспитательнице детсада перевести через перекресток свой шумливый косячок. Словом, Мишенька был неотъемлемой принадлежностью нашей улицы, на которой, говорят, провел и всю блокаду. И остался жив, что́ и я уже могу засвидетельствовать: первый человек, встреченный мною на Моховой, когда я приезжал в Ленинград летом 1944 года, был Мишенька, толкавший тачку с битым кирпичом из разрушенного дома — от старания у него сползала густая слюна

на подбородок, он сразу узнал меня и, не замедляя хода, ласково приветствовал: «Здравствуй, морячок!» Выжил Мишенька… А человек, казалось бы, более других подготовленный к тяготам блокады, не пережил ее. До войны он в любой сезон, в любую погоду, даже в самые морозы, бегал на работу и с работы с саквояжиком в руке посередине улицы в одних трусах и майке, босой. Зимой дважды по дороге, туда и обратно — он работал инженером на каком-то из заводов Выборгской стороны — купался в невской проруби возле Литейного моста… Третий, кого моя память присоединила к этому ряду, несмотря на всю их несхожесть, человек неопределенного возраста с бледным пергаментным лицом, редко появлявшийся на улице, тоже в любой сезон и любую погоду, даже в жаркий июльский полдень, не менял своего облачения, боярской шубы на собольем меху и такой же шапки. Это был известный историк-академик, знаток Древней Руси.

Добавлю к этой троице еще одного, запечатленного в моей памяти особо.

По правой стороне улицы ежедневный утренний променад совершал старичок, безукоризненно аккуратный и в одежде, и в соблюдении своего регламента. На траверзе нашего балкона он появлялся, какая бы ни стояла погода, — сообразно погоде снаряженный, — секунда в секунду в 10.15. Он был снабжен старинными часами на цепочке, которые то и дело вытаскивал из внутреннего кармана, проверяя время. Это не было бы само по себе таким странным, если бы тем и ограничивалось: человек следит за графиком прогулки. Но он останавливал каждого встречного, чтобы сверить часы. И делал это столь грациозно, с такой учтивостью, что никто не осмеливался отказать в просьбе, хотя видели, как только что он уже сверял время. А знавшие его приостанавливались заранее и взглядывали на часы. Маме, понятно, был известен регламент старика, и как бы она ни была занята по дому, в момент появления его выходила на балкон, чтобы поздороваться с ним. Это уже стало обязательным ритуалом. Но однажды он был нарушен — что-то маму все же отвлекло. И старик прервал свое путешествие по улице, вернулся домой. Вслед за этим раздался телефонный звонок — узнали каким-то образом наш номер — и девчоночий голос поинтересовался: «Не случилось ли что с вами, не заболели ли? Дедушка очень волнуется, не увидев вас…» «Свидания» продолжались и оборвались незадолго до войны. Мама была на торжественных похоронах, известнейшего в дореволюционные годы адвоката, из одного ряда с такими блистательными юристами, как Кони, Плевако, Карабчевский. А его внучка,

звонившая маме, или уже правнуки, хранят, возможно, часы на цепочке, которые он вынимал так часто на улице, пытаясь удержать время, неумолимо уходившее от него.

Двор «дома Гончарова» был проходным, соединявшим Моховую с Гагаринской. Среди тех, кто пользовался проходным двором, был и «Петр Первый», Николай Константинович Симонов, живший на Гагаринской в доме, восстановленном после бомбежки. К маминому огорчению, он не замечал ее присутствия на балконе, проходил мимо стремительным, царственно-размашистым шагом своего экранного героя, непременно, правда, приостанавливаясь возле ларька на углу Моховой и Чайковского, чтобы осушить кружку пива. А однажды из ворот гончаровского дома — я стоял как раз в это время возле мамы на балконе — вышли сразу двое совершенно одинаковых Симоновых. Сходство в облике и в одежде было такое, что, когда они подошли к палатке, толстогубая ларечница, постоянно пребывавшая в легком подпитии, качнулась в обалдении и пробормотала заикаясь: «В-вам ж-жигулевского или б-бадаевского. Ник-колай К-константиныч?..» И протянула в пространство между ними кружку, считая их за одного раздвоившегося… Позже, приехав в Златоуст в командировку от «Огонька», я увидел в местном театре артиста Симонова, игравшего Сальери в «Маленьких трагедиях», как и его великий брат в ленинградской Александринке.

Иногда на Моховой раздельно, в разные дни, чередуясь между собой, появлялись две тоже очень схожие, хотя и не в такой степени, как братья Симоновы, пожилые женщины, которых можно было бы назвать и старухами, но это определение как-то не вязалось с их статными, горделиво несущими себя фигурами. Одна шла со стороны Пантелеймоновской, с Литейного, где жила, другая «навстречу» из своего дома на набережной Невы; время от времени они навещали друг друга. Это были сестры Скалон — Людмила Дмитриевна и Наталья Дмитриевна, дочери и племянницы царских генералов, одни из которых занимал высочайший пост генерал-губернатора Польши. Людмилу Дмитриевну Ростовцеву-Скалон хорошо знали у нас в семье, особенно я, до школы занимавшийся в группе ребятишек, которых она обучала немецкому языку. Тогда еще бытовало слово «гувернантка». Она была гувернанткой, по-современному воспитательницей, коллективно нанятой нашими мамами, за какую плату, не знаю, но помню, что с поочередными обедами и даже помню, что у моей мамы она столовалась по средам и в этот день мама увеличивала закупки на рынке. До обеда мы гуляли гуськом в Летнем или в Михайловском саду, и это были

практические занятия языком, а немецкий Людмила Дмитриевна знала как родной, да он и был родным языком ее предков. Меня можно заподозрить в странной избирательности моей памяти, но мне запомнился лишь один практический «урок». Мы шли группкой мимо кинотеатра на Литейном, и там висела афиша, как я понимаю сейчас, научно-популярного фильма. Читать мы уже умели и, хотя гувернантка ускорила почему-то наше движение, успели прочесть хором: «А-бо-рт». «Что это такое?» — тоже хором последовал вопрос. И без того склеротически красноватое лицо Людмилы Дмитриевны покрылось кумачовыми пятнами, она на минутку запнулась, а затем бодро объяснила: «По-немецки, дети, это уборная на вокзале». Когда дома я похвалился знанием нового немецкого слова и перевода его на русский язык, отец хмыкнул и сказал, матери: «Ловко она вывернулась». Позже, став более образованным, я считал, что Людмила Дмитриевна просто подбросила детишкам ложную трактовку во спасение их нравственности, пока не увидел на берлинском вокзале зазывающе светящуюся табличку «Abort».

У Людмилы Дмитриевны имелся секрет, которым она с мамой все-таки поделилась; сестры получали из-за границы посылки и письма. Они приходили из разных стран — из Италии, из Франции, из Америки, — но от одного человека, родственника по материнской линий. Людмила Дмитриевна называла его кузеном, сперва только по имени — Сергей, Сережа, а потом и фамилию назвала: Рахманинов. Он композитор, сочиняет музыку, мама знала его романсы. А от отца мне было известно, что это человек, покинувший родину… У мамы тоже был секрет, похожий на секрет Людмилы Дмитриевны. У нее также жили за границей родственники: невестка, вдова старшего брата Григория с двумя дочерьми. Дядю Гришу вместе с двумя сыновьями-подростками убили бандиты-антоновцы на Тамбовщине, в городке Кирсанове. Оставшаяся семья уехала в Ригу, которая не была еще заграницей. Где-то в тревожном начале тридцатых годов из-за границы, из Риги, приехала в Ленинград туристкой мамина племянница Манечка, наша с Валькой двоюродная сестра, по профессии сестра милосердия. Она побывала у нас дома, о чем нам наистрожайше было запрещено распространяться, и мы сохраняли эту тайну, говоря людям, которые ее видели, что эта девушка приехала из Саратова, хотя вид у Манечки был абсолютно «заграманичный»: таких коротких юбок, как у нее, у нас еще не носили. Когда она уезжала, мама долго терзалась, ехать ли на вокзал провожать племянницу. Отец был против. Но мама все же отправилась. В войну Манечка погибла с матерью и сестрой в в рижском гетто. Так антоновцами и гитлеровцами с

промежутком в 20 лет была уничтожена эта семья.

Но я о сестрах Скалон и их кузене Рахманинове.

Кузен, как известно, брат двоюродный, а Сергей Васильевич в письмах к кузинам называл себя «четвероюродным»: мать трех сестер, Елизавета Александровна, была родной сестрой Александра Александровича Сатина, мужа Варвары Аркадьевны, урожденной Рахманиновой, родной сестры Василия Аркадьевича, отца композитора. Родственная связь, как видите, очень и очень дальняя, если не сказать весьма призрачная. Но ее отдаленность компенсировалась близостью взаимоотношений, которая была более чем родственной — истинно дружеской. В этом вы убедитесь, читая переписку «кузин» с «кузеном», длившуюся долгие годы, чуть не всю жизнь. А начало ей положило лето 1890 года, когда сестры впервые встретились со своим «четвероюродным»; ему исполнилось к этому времени 17 лет, старшая из сестер, Наталья, была старше и его на 4 года, Людмиле было 16, а Верочке 15. То славное лето они провели все вместе в Ивановке, поместье Сатиных в Тамбовской губернии.

Я не хочу, как говорят моряки, «плыть в мятой воде», то есть в данном случае повторить то, о чем уже поведано до меня. Я имею в виду рассказ Юрия Нагибина «Сирень», посвященный лету в Ивановке, зарождению дружбы сестер Скалон с Сережей Рахманиновым. Толчок талантливо разыгравшемуся писательскому воображению дали мемуары Л. Д. Ростовцевой и письма, опубликованные ею в 1949 году в книге «Молодые годы Рахманинова». А я эти послания видел в руках моей мамы за 25 лет до их публикации. Не скажу, просто не ведаю, по какому случаю — наверно, состоялся какой-то разговор до этого — Людмила Дмитриевна принесла однажды маме и оставила «на один только вечер» пачку почтовых разлинованных листков, исписанных мелким-мелким почерком. И мама весь этот вечер, отрешившись от всех своих домашних дел, читала их, вздыхая и охая, а некоторые строчки перечитывала отцу, но ему ее лирическое настроение, возникшее при чтении, не передавалось, он, помню, пошучивал, иронизировал, и она даже рассердилась на него, обвинив в «задубелости души», хорошо помню это ее выражение, хотя точного смысла его тогда не разобрал, потому и запомнил.

Понимая, что читатель может и без моей помощи ознакомиться с перепиской сестер Скалон и Рахманинова, теперь уже не раз переизданной, я, тем не менее, не могу отказать себе в удовольствии привести некоторые выдержки из нее, относящиеся к моей первой учительнице немецкого языка. Прежде чем сделать это, должен дать краткое пояснение. Сергей Васильевич любил

шутливое обращение к сестрам, присвоив им клички: Наталью называл «Ментором», как старшую по возрасту и склонную к назидательству, Людмилу — «Цуки́ной», по фамилии итальянской балерины Вирджинии Цукки, обучавшей Лелю хореографии, Верочку — «Беленькой психопатушкой» за немного нервический характер. А всех троих вместе «генеральшами» или «Конной гвардией», поскольку они были дочерьми генерала Дмитрия Антоновича Скалона, военного историка, большого любителя музыки, вполне профессионально игравшего на виолончели, и жили в Петербурге на Конногвардейском бульваре в хлебосольном доме, частыми гостями которого бывали Гончаров, Верстовский, Савина, Горбунов, Варламов, Маковский, Верещагин, Пржевальский… Сергей Васильевич терпеть не мог обращения в письмах на «Вы», с большой буквы, серчал на сестер, если они «выкали», а сердясь, тоже тогда переходил на холодное «Вы».

А теперь «перелистаем» выборочно почтовые странички, давно уже обретшие типографскую жизнь:

Декабрь 1890 года.

> «Цуки́на Дмитриевна! Обращаюсь к вам теперь со своей речью. Как вы поживаете?.. Надуваете ли все так же ваши губки, когда ваша мама куда-нибудь вас не пускает или не позволяет чего-нибудь?.. Эх, Ваше Превосходительство, хорошее было время для меня тогда; время было тогда такое хорошее, как теперь скверное… До сих пор еще помню очень хорошо ивановский час от 2 до 3, когда Ваше Превосходительство играло; а я сидел рядом на табуретке и слушал вашу игру, ловил (говоря языком литературы) каждую нотку вашу с таким восторгом, восхищением, удивлением…»

Февраль 1891 года.

> «Кажется, вы у меня не просили моей физиономии, дорогая Цукина Дмитриевна, но я вам все-таки ее посылаю, потому что снимался только для сестер Скалон, и карточки мне некуда девать, а вы все-таки вспомните обо мне, взглянете на меня, может быть, даже и чихнете, а может, и совсем на нее не посмотрите…»

Октябрь 1892 года.

> «Третьего дня я написал письмо вашей старшей

сестре. Я был нездоров, я был не в духе, и в результате вышло скверное письмо. Нынче я себя чувствую отлично. Я здоров, я в духе и поэтому в состоянии писать не неприятные письма. Я не хочу печалить вас ничем; я хочу написать вам такое же милое письмо, какое вы мне написали. Я даже должен вам скорее написать, потому что иначе вы перемените ваше мнение обо мне, хорошее на скверное, как вы выразились. Я этого совсем не хочу, дорогая Людмила Дмитриевна, и поэтому начну вам что-нибудь рассказывать про здешнюю жизнь и про себя, если вам это интересно…»

Февраль 1893 года.

«Дорогая Людмила Дмитриевна!

Вы меня спрашиваете в конце вашего последнего письма ко мне, за что вы меня так любите. На этот вопрос я вам ответить не в состоянии. Если бы я сам себя спросил и поставил себе тот же вопрос, то пришлось бы мне в недоумении покачать головой только. Я не могу доискаться причины этого явления. Я прямо теряюсь в догадках и в конце концов ни к чему не прихожу. Между прочим, на самом деле это так: вы интересуетесь мной, вы выказываете во всем мне участие и вы просто дружески любите меня, как вы сами выразились. Отплатить вам за это в должной мере я не в состоянии. Я вам посылаю за это мою великую благодарность, которая, между прочим, ничего не стоит. Это все, что я могу вам дать…»

Март 1893 года.

«Долго мне пришлось ждать от вас ответа на мое письмо, милая Людмила Дмитриевна, я было уже потерял всякую надежду на то, что вы меня в конце концов вспомните. Долго я доискивался также причины этого молчания, но так и не понял ее. Написал трем сестрам письма, причем (кажется) очень милые, а они не думают на них отвечать…

От вас получил письмо от первой. Все-таки благодарю и за этот поздний ответ; я всегда бываю так рад, когда получаю письма вообще, а от вас в особенности. Распечатав ваше письмо, я увидел, наконец, причину вашего молчания. Оказывается, вы выезжали — это дело! В этом случае прошу мне простить всю первую

страницу этого письма, ибо я уверен в том, что после этих выезжаний можно не только меня позабыть, но и кого-нибудь поважней из ваших друзей. Этот факт следует почти всегда после выездов. Ну, конечно, позабыть не навсегда, а на известный промежуток времени. Все-таки вы мне написали и… моя великая благодарность вам за это.

…Вы спрашиваете о Яковлеве. Я с ним познакомился и слышал, как он поет мой романс. Сказать вам по правде, мне не очень понравилось, как он поет. Он исполняет его уж чересчур «салонно». Не говорю уже о его переделках в этом романсе; они… чересчур неуместны. Еще вы спрашиваете меня о том, где я проведу лето. На это еще не могу вам ответить, знаю только то, что в первых числах мая уеду отсюда — куда? Еще неизвестно, а если известно, то только одному богу, который все видит, все знает, но, к сожалению, ничего не говорит…»

Июнь 1893 года.

«Сел поговорить с вами, дорогая Людмила Дмитриевна.

Давно мы с вами не говорили, давно не видались, давно вы мне привета не присылали. Совсем забыли больного старика, так вам преданного, как дай бог всем вашим бывшим, настоящим и будущим слабостям…»

«Очень вам благодарен… за ваше милое письмо, за скорый ответ. Мне было весьма приятно его читать, было приятно мысленно перелететь вместе с вами в прошедшее время, в прошедшую жизнь… которую вы вспоминаете…»

Июль 1893 года.

«Почему вы думаете… что мне может показаться скучным чтение хотя бы вашего последнего письма? Почему вы думаете так? Напротив, что бы вы мне ни писали, мне все будет интересно узнавать, что бы это ни было, потому что мне интересен самый процесс вашего писания; кроме того, вы такая милая, такая хорошая, добрая, но главное лучше всего в вас то, что у вас отсутствие всякого «кривляния», вы во всем не «аффектированы»…»

Март 1895 года. Из письма Н. Д. Скалон:

> «Вы говорите… Милостивая Государыня, что я вас когда-то (?) называл таким же именем, как я зову бесподобную Лелёшу (которая, кстати, для моей больной души является, так сказать, «целебным пластырем»). Это неприятная и ужасная ошибка… Я звал вас «калошей»… а ее, т. е. душевный мой пластырь, ее я называю Скалошей. Еще раз прошу вас заметить это.
>
> Несчастный поклонник, без всякой малейшей взаимности Лелёши Скалоши…»

Март 1899 года.

> «Старый пёсик» вам очень благодарен, милая Лёля, за ваше славное, длинное письмо. Жалеет, что не может вам ответить тем же, так как у него осталось еще много хлопот и дел по случаю его отбытия сегодня в Лондон. «Старый пёсик» служить не любит, а тут еще более сокрушается, что этот случай гонит его бог знает куда и тем самым хотя бы мешает поддержать свою дружбу с приятной для его старого сердца Лелюшей…»

Октябрь 1900 года.

> «Милая Лёля, был очень рад узнать из вашего письма, что вы невеста.
>
> Примите мое душевное поздравление и искреннее пожелание вам счастья».

Апрель 1902 года.

> «Милая Лёля! Пишу вам из Ивановки, куда приехал заниматься. Через неделю поеду обратно в Москву, и так как в Тамбове поезд стоит что-то около трех часов (если не переменят при новом расписании), то я собираюсь в это свободное время заехать к вам, на вас посмотреть, посидеть и кофею выпить, если дадите. Только поезд приходит около девяти часов утра. Не спите ли вы в это время? Когда я проезжал через Тамбов на рождество — только из-за этого и побоялся к вам заехать.
>
> Итак, извольте мне ответить, когда вы встаете и когда бываете готовы принять визитеров. Я буду проезжать Тамбов или 21 или 22-го.
>
> До скорого свидания. Привет вашему мужу…»

Июнь 1903 года.

> «Милая Лёля! Очень вам благодарен за мазь и пломбы, только жаль, что вы не сообщили, сколько мы вам должны за все это. Придется ждать свидания и постоянно огорчаться, что позабудешь о своем долге.
>
> Гр. Льв. (детский врач Г. Л. Грауэрман, имя которого носит сейчас в Москве родильный дом № 7. — *А. С.*) просил передать, что если у вашего сына появится опять бессонница, то можно вернуться к брому…»

Популярный романс «Я жду тебя», сочиненный Рахманиновым в 1894 году, посвящен Людмиле Скалон:

Я жду тебя. Закат угас.
И ночи темные покровы
Спуститься на землю готовы
И спрятать нас.
Я жду тебя. Душистой мглой
Ночь напоила мир уснувший
И разлучила день минувший
Навек, с землей.
Я жду! Терзаясь и любя,
Считаю каждыя мгновенья,
Полна тоски и нетерпенья,
Я жду тебя.

Я помню, что, бывая у нас, Людмила Дмитриевна, пообедав, присаживалась к стоявшему в столовой роялю фирмы «Дидерихс» и что-то наигрывала, тихонечко, чуть слышно подпевая себе, и лицо ее молодело. Может быть, это был романс «Я жду тебя»…

9

Если б мы переехали в Петроград годом раньше, мама могла бы с балкона видеть Горького, идущего по Моховой к дому № 36 (бывший особняк герцогини Лейхтенбергской), на третьем этаже которого разместилось созданное им сразу после революции издательство «Всемирная литература». Я впервые узнал об этом не из печатных источников, не из мемуаров, например, К. И. Чуковского, В. А. Рождественского, прочитанных мною гораздо позже, а от моего приятеля-одноклассника Петьки В.

(дружеская кличка «Пекач»), жившего в том же доме этажом ниже «Всемирки». И не по случайному соседству, а потому, что его отец в числе ближайших сотрудников Алексея Максимовича по издательским делам получил квартиру рядом с работой. Я много-много раз бывал у Петьки. Выскочив после уроков из школы, пронесясь через двор, подворотню, через улицу и влетев с ходу в парадную дома № 36, находящуюся как раз напротив школьных ворот, мы взбегали по широкой мраморной лестнице с зеркалами на площадках, по которой, на Петькиной еще памяти, поднимались в редакцию Горький, Блок, Куприн. «Память» четырехлетнего мальчишки понятие относительное, но все же он их видел, и не только на лестнице, а и заходившими на квартиру к отцу.

Ни Блока, умершего в августе 1921 года, ни Горького, покинувшего Питер в том же году, я не видел. Хотя был близок к тому, чтобы увидеть Горького во время его последнего приезда в Ленинград: он должен был выступить во Дворце культуры возле Нарвских ворот. Я сидел с блокнотом в переполненном зале, пробившись в первый ряд и надеясь, что пробьюсь и дальше, к самому Горькому, дабы что-нибудь раздобыть от него для «Искорок». Горького ждали долго, а он все не ехал, говорили, задерживается в Смольном у Кирова, с которым вместе и прибудет; говорили, что они уже в пути. Но вот на просцениум вышел секретарь райкома партии и объявил, что только что звонили от Алексея Максимовича: он прихворнул, передает собравшимся извинения, рад бы вырваться от врачей, да не пускают.

А Куприна я все-таки увидел, пусть в чуть приоткрытую дверь, в щелочку, но увидел. Это случилось под конец тридцатых годов при следующих обстоятельствах. Стало известно, что возвратившиеся из эмиграции Александр Иванович Куприн и его жена Елизавета Морицевна — в некоторых мемуарах ее называют Елизаветой Маврикиевной — поселились в Ленинграде на Выборгской стороне, на Лесном проспекте, в новом доме, построенном, как писали в газетах, «для лучших представителей советской интеллигенции» в самой сердцевине индустриального района, наверно, с целью, чтобы они не отрывались от рабочего класса; тут получили жилье академики, видные писатели, артисты, художники, знаменитые люди, вроде полярного капитана Воронина, с семьей которого Куприны оказались соседями. Я явился к Куприным нахально, без предварительного телефонного звонка, но был любезно, с улыбкой встречен на пороге квартиры маленькой, худенькой пожилой женщиной с

тихим голосом, мягкими движениями, которая, тем не менее, твердо не пропустила меня далее кухоньки, где мы с полчаса поговорили. Было объяснено, что Александр Иванович не в состоянии принимать никого, кроме врачей, что из-за его обострившейся болезни они не смогли остаться в Гатчине, в возвращенном им прежнем, дореволюционном доме, так как врачам затруднительно добираться туда, а мужу необходимо ежедневное, и не раз на день, высококвалифицированное медицинское наблюдение. В больницу же он решительно не хочет, он хочет, чтобы дочь Ксения, киноактриса, задержавшаяся в Париже на съемках и собирающаяся вот-вот приехать, застала его дома, а не на больничной койке. (Ксения Александровна смогла, как известно, вернуться на родину лишь после войны, не застав ни отца, умершего от рака, ни матери, погибшей в ленинградскую блокаду.) К концу нашего разговора Елизавета Морицевна сказала: «Минуточку…» — и ушла в комнату, прикрыв за собой дверь, но неплотно, оставив узенький прогал. И я, не сдержавшись, нарушая элементарное приличие, действуя на уровне заглядывания в замочную скважину, прильнул к этой щелочке и увидел лежащего на кушетке, прикрытого пледом старика с мертвенно-желтым лицом, недвижного то ли в дремоте, то ли в ином каком-то забытьи-прострации, не Куприна, сильного, красивого в своем немного азиатском облике, которого я знал по фотографиям, а лишь его с трудом узнаваемое подобие. Я отпрянул от двери, чтобы не быть застигнутым в такой позе, и сделал это вовремя: Елизавета Морицевна вышла из комнаты и протянула мне два томика в голубых переплетах. «Вот, — сказала она, — сегодня получили авторские экземпляры из Гослита. Двухтомник избранного. К сожалению, Александр Иванович не смог сделать дарственной надписи, извините…» Извиняться за вторжение следовало мне, а я и слов-то благодарности, застрявших в горле, не сумел достойно произнести, выдавив из себя что-то вычурно-нелепое, и покинул квартиру Куприных, прижимая к груди бесценный подарок.

Бываю, значит, почти каждый день у Петьки дома. Квартира такая же большая, как поначалу у нас, да к тому же еще в три этажа: над основными комнатами — антресоли, и не в нынешнем понятии складского места, а вполне пригодные для жилья, во всяком случае для сна; внизу, куда вела крутая железная лестница, похожая на корабельный трап, — это уж мои более поздние, морские ассоциации — кухня, ванная и все прочее. После войны квартира претерпела такую же трансформацию, как наша, став коммуналкой, и Пекач с женой и тремя дочерьми

оказался в одной комнате, правда, с эркером, висевшим над улицей каменным «фонарем». Семья В. состояла при заселении из шестерых, а затем в огромном трехэтажном помещении осталось трое: родители с Петькой. Старшая дочь, имени не помню, вышедшая замуж за известного кинорежиссера, отселилась и рано умерла, пораженная раком. Другая дочь, Алина, тоже ныне покойная, молодая писательница или журналистка, уехала в длительную заграничную командировку, которая затянулась на годы, и почему-то родным не писала, они не знали ее местопребывания или скрывали, что знают. Был еще у Петьки старший брат Захар, фигура еще более загадочная, я никогда его не видел, хотя считалось, что он тут живет. Впрочем, вру, я этого таинственного брата разок все-таки узрел — в довольно острой для меня ситуации.

Пекач занимался боксом вместе с Андрюшкой Щупаком из параллельного класса, будущим чемпионом Ленинграда. Пекач чемпионства не достиг, но любил похваляться своими приемчиками. Как-то и на мне попробовал. Мы бежали подворотней после уроков, Петька остановился вдруг, бросил сумку, придержал меня, принял боевую стойку и пошел в атаку, а я, уже имея опыт с Фрошкой, — в контратаку. «Бьешь не по правилам, — закричал Петька. — Брэк!» Это означало — разойтись, но я разошелся в смысле разохотился и, к собственному удивлению, сам не пропустив ни одного удара, никаким приемам не обученный, мило отдубасил приятеля. Он заплакал и с ревом кинулся домой. И я спокойно пошел домой, на другой конец улицы, и, пока шел неторопливо, помахивая сумкой, события развернулись чрезвычайно. Мама стояла взбудораженная у телефона, отстранив от уха трубку, в которую доносился женский крик, и я мог даже разобрать отдельные слова: «Бандитизм… Оголтелое хулиганство… Мальчик может умереть…» «Это какой же мальчик может умереть?» — подумал я и не успел ответить себе на этот вопрос, как мама сказала: «Пойдем! Что ты наделал!» — со знаком восклицательным, а не вопросительным. И мы пошли, вернее, она потащила меня за руку, еще не говоря куда, но я уже понял — домой к Петьке, который может умереть от моих ударов. К нашему появлению там, в передней, собрался весь наличный семейный синклит. В тени своей крупногабаритной и, я знал, властной, энергичной супруги притулился к стене невысоконький, а рядом с мадам совсем тщедушный и, я тоже знал, добродушнейший, жалостливый глава семьи, чье имя в этом качестве было отчеканено на медной дверной таблице, но который им, то есть главой, являлся лишь номинально. А кто на самом деле —

читатель, надеюсь, догадывается. Тут же, в передней, стоял вызванный по особому случаю из своего «там» Петькин брат Захар. Я мигом сообразил, что это он — в полувоенном зеленом френче и синих галифе, с правой стороны которых болталась кобура, и я думал, какой тип оружия она прячет — наган? А пострадавшего не было — он «умирал» где-то в комнатах. Да, в передней еще находился в роли понятого, что ли, на случай ареста моей мамы (себя-то я считал напрочь обреченным) незнакомый человек в широченной кепке-«аэродроме», какие носят теперь грузины. Несмотря на предстоящие ему функции, он сразу мне понравился. И сразу же скажу, что это был Николай Николаевич Секундов, старый коммунист, прибывший в Ленинград из Баку вместе с Кировым и заведовавший отделом печати обкома партии, приятель семьи В. еще с дореволюционных времен, когда работал в типографии учеником-наборщиком у старшего В. Судьба снова свела меня с ним через много лет и на много лет, пока мы служили вместе в редакции «Огонька» и жили в одном доме. А на похоронах Николая Николаевича я увидел погруженного в печаль, сильно побитого и согнутого жизнью старика, в котором, вглядываясь, еле-еле распознал черты Петькиного брата Захара, когда-то лихого обладателя кобуры — так я до сих пор и не знаю, какое оружие она скрывала.

Захар говорил тогда маме:

— Вы понимаете, на кого поднял руку ваш шельмец, кого пытался убить?

Нет, мама не желала этого понять, готовая защитить свое дитя. Тем более что чужое дитя, поднявшись со смертного одра, вынырнуло в передней, неся на себе чуть приметные следы покушения на убийство — синячок под глазом, припухшие губы, — и мы, протянув друг другу руки, соединились в объятии, демонстрируя взрослым полное примирение.

— Ты что-то, Захар, лишнего наговорил, — сказал Секундов.

— Я пошел, у меня дела, — сказал Петькин папа, а Петькина мама сказала папе:

— И минуты лишней не можешь уделить ребенку.

А маме моей примирительно:

— Будем знакомы…

— Будем… — сказала мама.

И с тех пор они действительно частенько переговаривались по телефону, а встречаясь на Соляном рынке, продолжали тематику своих телефонных разговоров.

После окончания школы мы с Пекачом года четыре не виделись. Он уезжал куда-то на работу, кажется, в Харьков, но там что-то у него не получилось, и, вернувшись в Ленинград, он

устроился редактором в издательство. У нас появились с ним общие интересы, и я снова зачастил к Петьке домой. Дома у них произошли некоторые перемены, начиная с исчезновения на двери медной дощечки, от которой остался светлый прямоугольный след с дырочками от гвоздей. Прежний глава семьи исчез, как и табличка с его именем, уступив место новому, который явился из Москвы со взрослой дочерью, ставшей женой Захара. Таким образом состоялось двойное породнение… От Алины по-прежнему не было никаких вестей.

Годы моих плаваний на Севере, а затем война опять надолго развели нас с Пекачом. Я демобилизовался через год после Победы и в тот же год, придя однажды домой из редакции, обнаружил спящим на диване мощного и усатого подполковника, с нескрываемым удивлением глянул на жену, она сказала: «Твой друг из Берлина». Подполковник продрал глазки, лениво потянулся, зевнул, присел на диване и оказался Пекачом. Он приехал на несколько дней навестить мать в больнице. Посидели, выпили трофейного. Он вынул из планшетки какое-то письмо. «От Алины, — сказал. — Пишет из Америки, из Сан-Франциско. А вот и фотография, глянь…» На групповом снимке — респектабельные мужчины и шикарные дамы с ними: европейские министры иностранных дел, прибывшие учреждать Организацию Объединенных Наций. С женами. Среди которых и Петькина сестра Алина, стоящая между мужем и главой советской делегации.

Пекач еще приезжал из Германии, где продолжал военную службу, не собираясь демобилизовываться, с ним была там и семья. Приезжал довольный жизнью, карьерой, интересной работой в большой газете, щедрый на подарки моей жене, дочкам. Наше приятельство было искренним, мы переписывались.

И вдруг хорошие послевоенные взаимоотношения с Пекачом оборвались безо всякой видимой причины, без ссоры, разлада, на ровном, что называется, месте. Уволили в запас. Угнетала долгая неустроенность, работу предлагали не по душе, а по душе была журналистика. Обстоятельства вынудили согласиться на заведование маленькой полукустарной типографией при музыкальном издательстве. Человек самолюбивый, — мы все в разную меру самолюбивы, — Пекач, уязвленный в своем самолюбии, застеснялся многих прежних знакомств, и я был не единственный, с кем он перестал общаться. А вскоре я переехал в Москву. Прошли годы. И сколько-то лет назад жене позвонила приятельница еще по Ленинграду, гостящая в столице. Они остановились с мужем у его однополчанина, имярек. Прозвучала фамилия В. Два-три уточнения, и оказалось, что это Пекач, уже

лет десять живущий в Москве с семьей и работающий заместителем директора крупного издательства. Мы подошли к телефонам на расстоянии трех остановок метро друг от друга, он в доме возле Киевского вокзала, я — около Белорусского. Разговор с его стороны вялый, с моей, наверно, тоже, от кого первого пошла вялость, не знаю. Возникла взаимно. Он сказал: «Встретимся…», я согласился: «Встретимся». Он сказал, как принято иногда указывать в официальных приглашениях: «Созыв за мной…» Я согласился: «Буду ждать». И «созыва» не дождался. Жизнь развела нас капитально, а механические соединения ни в моих, ни в его правилах. У каждого свои заботы, свои дела, свои «ракушки на днище». О чем говорить при встрече?.. Недавно в «Советской культуре» в списке издательских деятелей, удостоенных звания «заслуженных», прочел фамилию Пекача. Порывался позвонить, поздравить, не решился. Навязчивость в личных отношениях одно из самых неприятных для меня человеческих качеств…

Может быть, Пекачу попадутся на глаза эти мои строки?

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

«Ленинские искры», «Искорки», уже мелькнули в моей повести, и мне остается объяснить, как они возникли в моей жизни, навсегда определив ее движение, ее вектор, который, напомню подзабывшим геометрию, «есть прямолинейный отрезок с приданным ему направлением». Не знаю, чем уж привлекло меня это замысловатое сравнение — вектор жизни, — понимаю, что рискованно жизнь с ее непредвиденными зигзагами уподоблять математической прямолинейности, но вот засела во мне такая случайно пришедшая в голову формулировка, и отделаться от нее, заменить другой, поточнее, не могу. Это тем более удивительно, что ссылаюсь я на математику, предмет, по которому у школьных учителей числился в безнадежных тупицах.

Школа…

Я учился в 15-й «единой, трудовой», бывшем Тенишевском реальном училище, основанном в 1896 году известными петербургскими меценатами князем Тенишевым и его супругой.

Я еще не раз возвращусь на этих страницах в свою школу, а пока заглянем в Тенишевку начала века с помощью одного из первых ее выпускников поэта Осипа Мандельштама, хотя его свидетельство весьма субъективно в деталях.

> «…Воспитывались мы в высоких стеклянных ящиках, с нагретыми паровым отоплением подоконниками, в просторнейших классах на двадцать пять человек и отнюдь не в коридорах, а в высоких паркетных манежах, где стояли косые столбы солнечной пыли и попахивало газом из физических лабораторий. Наглядные методы заключались в жестокой и ненужной вивисекции, выкачивании воздуха из стеклянного колпака, чтобы задохнулась на спинке бедная мышь, в мучении лягушек, в научном кипячении воды, с описанием этого процесса и в плавке стеклянных палочек на газовых горелках.
>
> От тяжелого, приторного запаха в лабораториях болела голова, но настоящим адом для большинства неловких, не слишком здоровых и нервических детей был ручной труд. К концу дня, отяжелев от уроков, насыщенных разговорами и демонстрациями, мы

задыхались среди стружек и опилок, не умея перепилить доску. Пила завертывалась, рубанок кривил, стамеска ударяла по пальцам: ничего не выходило. Инструктор возился с двумя-тремя ловкими мальчиками, остальные проклинали ручной труд…

Вот краткая портретная галерея моего класса: Ванюша Корсаков по прозванию Котлета (рыхлый земец, прическа в скобку, русская рубашка с шелковым поясом, семейная земская традиция); Барац — семья дружит с Стасюлевичем («Вестник Европы»), страстный минералог, нем как рыба, говорит только о кварце и слюде; Леонид Зарубин — крупная углепромышленность Донского бассейна…; Пржесецкий — из бедной шляхты, специалист по плавкам. Первый ученик Слободзинский — человек из сожженной Гоголем второй части «Мертвых душ», положительный тип русского интеллигента, умеренный мистик, правдолюбец, хороший математик и начетчик по Достоевскому; потом заведовал радиостанцией, Надеждин — разночинец: кислый запах квартиры маленького чиновника, веселье и беспечность потому, что нечего терять. Близнецы-братья Крупенские, бессарабские помещики, знатоки вина и евреев. И, наконец, Борис Синани, человек того поколения, которое действует сейчас, созревший для больших событий и исторической работы. Умер, едва окончив.

…В Тенишевке были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках… стеклянных колбочках… больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых.

Какая смесь, какая правдивая историческая разноголосица жила в нашей школе, где география, попыхивая трубкой кэпстен, превращалась в анекдот об американских трестах, как много истории билось и трепыхалось возле тенишевской оранжереи на курьих ножках и пещерного футбола.

Нет, русские мальчики не англичане, их не возьмешь ни спортом, ни кипяченой водой самодеятельности. В самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу ворвется жизнь с неожиданными интересами и буйными умственными забавами, как однажды она ворвалась в пушкинский лицей»

(«Шум времени»).

«Портретная галерея» нашего класса была тоже довольно пестра. Таня О., например, дочь бывшего крупного питерского заводчика, владевшего до революции чугунолитейным производством, а теперь работавшего там же рядовым инженером, сидела за одной партой с Лялей Фотиевой, племянницей большевички-подпольщицы, ставшей секретарем Совнаркома, помощницей Ленина. И обе дружили с Бэбой С., дочерью нэпмана на закате из Гостиного двора, рослой, очень красивой девочкой, которая к восьмому классу уже заневестилась и жестоко отвергла своего постоянного, с первого класса верного рыцаря Шурика Т., предпочтя ему кого-то из отцовского круга. А Шурик был сын газетчика, торговавшего в киоске на том же месте, как и в царское время, угол Моховой и Симеоновской, возле булочной; возвращаясь из школы после уроков, мальчик нередко заменял отца, пока тот отлучался домой пообедать. Шурик — нынче полковник в отставке, Бэбиной судьбы не знаю.

Некоторых из моих соучеников я еще назову по ходу повествования; с Пекачом читатель уже познакомился в предыдущей главе. А сейчас, по ассоциации с «котлетой» из мандельштамовского класса, мне вспоминается наш Толик Щ. с прилепившейся к нему еще более несимпатичной кличкой «Мочетока». Происхождение ребячьих кличек — процесс зачастую загадочный. Я долго не понимал, почему, при каких обстоятельствах чистенького, мамой ухоженного мальчика прозвали так некрасиво: он пришел к нам из другой школы, и вместе с ним перекочевало каким-то образом и его тамошнее прозвище. Через много лет, вскоре после войны, в Ленинграде, я, скрученный внезапным приступом почечной колики, угодил в урологическую клинику профессора Щ. Просматривая при первом обходе мою «историю болезни», увидев фамилию, он спросил, не учился ли я вместе с его младшим сыном. Толик Мочетока был его сын. И сразу приоткрылся секрет клички — она была связана с профессией отца. И приштамповалась к Толику настолько прочно, несмываемо, что, когда еще через много лет в Москве мне позвонил доктор исторических наук Щ., с которым мы не виделись после окончания школы почти полвека, я в ответ на его приветствие начал было: «Здравствуй, Моче…» — и осекся.

Тенишевское училище славилось своим отборным преподавательским составом. Я застал еще таких корифеев, как Петр Алексеевич Знаменский, автор «Физики», по которой

обучались миллионы, и Владимир Никанорович Верховский, написавший не менее знаменитую «Химию». Но не только учителями была известна Тенишевка. Еще более — своим актовым залом. Построенный амфитеатром в отдельном корпусе, соединявшемся с учебным стеклянной галереей, он быстро привлек к себе внимание антрепренеров, организаторов спектаклей, концертов, лекций, диспутов. Здесь дважды в 1906 году под фамилией Карпов выступал Ленин. Актовый видел Горького, Блока, Леонида Андреева, Куприна. Здесь блистали Комиссаржевская, Качалов, Ходотов, Гайдебуров. Музицировали Римский-Корсаков, юный Прокофьев. Здесь Мейерхольд поставил блоковский «Балаганчик», Маяковский впервые прочел «Облако в штанах». А в феврале 1922 года актовый зал теперь уже школы № 15 начал самостоятельную, независимую от нее жизнь как помещение созданного Брянцевым Театра юных зрителей. В качестве такового, то есть зрителя, я, ведомый мамой, и оказался первый раз на Моховой, 35, а затем уж, через три года, как школьник.

А еще через три года я стал пионером. В отличие от нынешнего торжественно-массового повязывания в школах красного галстука, в нашу ребячью пору это был поступок, действие, на которое следовало решиться: куда-то пойти, где-то записаться. Тогда пионеры объединялись в так называемые базы, существовавшие не при школах, а при учреждениях, предприятиях. Вот я и записался, узнав у кого-то адрес, в пионерскую базу № 23 при Нефтеторге. Мы собирались раз в неделю, по вечерам, на чердаке большого, набитого разными учреждениями дома, угол канала Грибоедова и улицы Ракова, недалеко от Русского музея и Спаса на крови — церкви, возведенной, как сказано в путеводителе, «в 1883—1907 гг. на месте, где 1 марта 1881 г. И. И. Гриневицкий, исполняя приговор комитета «Народной воли», бросил бомбу, смертельно ранившую Александра II». Помню, как однажды в мой дошкольный еще период Людмила Дмитриевна, гувернантка, «четвероюродная сестра» Рахманинова, привела нас, малышей, на прогулке в пристройку собора, чтобы мы глянули на лежавшую за оградкой каменную плиту, квадратный кусок мостовой с блекло-желтыми пятнышками, царской будто бы кровью… (В ленинградской «Авроре» прочел недавно, что в доме, соседнем с тем, где была наша база, имела когда-то пристанище «Бродячая собака», вошедшая в историю русского искусства, да и литературы тоже. В это кабаре, в «Подвал бродячей собаки», как именовалось оно на вывеске с изображением веселой лохматой дворняги, возложившей лапу на трагическую греческую маску, съезжались

после спектаклей на ночные, до утра, бдения актеры. К ним тянулись на огонек и художники, литераторы. Пел Шаляпин, играл Стравинский. Читали стихи Есенин, Маяковский, Хлебников, Игорь Северянин, Бальмонт, Клюев. Бывала Анна Ахматова, воспевшая Подвал:

Да, я любила их, те сборища ночные, —
На маленьком столе стаканы ледяные,
Над чёрным кофеем пахучий, тонкий пар,
Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.)

2

Чем мы занимались на пионерских сборах?

Память моя тенденциозно, избирательно выталкивает на первый план, оттесняя все прочие занятия, громкие коллективные читки газеты, которая называлась «Ленинские искры».

Сейчас, через полвека, я не имею возможности заняться громким чтением, поскольку сижу в тишине газетного зала Ленинки, и даже шелест страниц вызывает раздражение соседей. Пролистываю старенькие «Искорки», которых до меня, кажется, ничья рука еще тут не касалась. Нет, чей-то красный карандаш оставил свои следы-пометочки. Вглядываюсь, по какому принципу он это делал. Так, ясно: «птичками» отмечены заметки с подписью «деткор Коля Богаев» или «деткор Коля Богаенок». (Я тоже был деткором, детским корреспондентом, подписывались еще «пикор» — пионерский корреспондент, но это сокращение что-то не привилось.) Вижу за далью лет мальчишку в неизменной цветастой тюбетейке, самого маленького из нас, не возрастом, ростом. Этакий мальчик с пальчик, шустрик, влюбивший в себя всю редакцию, все называли его «Богаёнком», а машинистка Лиля — «Богаёночком». Мы же, деткоры, относились к нему ревниво, считая, что Колины заметки слишком быстро проскакивают в газету, быстрее наших; конкуренции подвержены все возрасты. Я и сейчас немного ревную: красные «птички», расставленные в комплекте кем-то (не самим ли Богаевым? Кто он теперь? Где?), то и дело мелькают перед глазами. Очень был прыткий этот Богаенок-пострел из 110-й школы, чуть не в каждом номере печатался.

Ищу свою первую заметку.

С ней было так.

На субботнем сборе звена (база делилась на отряды, отряд на звенья-десятки) мы читали, как обычно, свежий, сегодняшний номер «Ленинских искр». Не весь, — страниц было восемь, хоть и не таких больших, как во взрослых газетах, в половину их величины, но все же восемь! — а самое интересное, важное. На вкус, на выбор чтеца. В тот раз чтецом был я. На третьей странице посередине, стоял жирный заголовок: «РАЗВЕ ОН НЕ ПРАВ?» — все буквы в один рост, как заглавные. Чтобы бросались в глаза. Позже я узнал, что это называется в газете «шапкой». Ниже значилось помельче: «Письмо старого деткора». Я прочел громко это письмо.

> «Перехватил я в классе, — писал «старый деткор», — бумажку такого содержания. На одной стороне было написано: «Примем играть Маню С.» Казалось бы, ничего необычного: одна девочка обращается к другой. А на оборотной стороне оказалась шпаргалка спряжения глагола «буду» в прикрытом виде: «Ты будешь солнце. Я буду земля. Она будет луна».
>
> Чему научится девочка, которая станет отвечать по такой шпаргалке, присланной подругой? Ничему!
>
> Со шпаргалками надо бороться, и я сдал эту записку учительнице.
>
> Я знал, что меня назовут «ябедой», ну и пускай!
>
> У нас в школе часто бросаются этим словом-прозвищем. И еще: «фискал».
>
> А что они означают? Доносчик? В старых школах, в гимназиях, когда учителя были врагами учеников, так могли говорить, а теперь это не подходит. Теперь у нас самоуправление, мы с педагогами заодно, должны им помогать, сами следить друг за другом, друг друга исправлять.
>
> Но некоторые бузотеры отбиваются тем, что обзовут тебя «ябедой» или «фискалом», если ты их выведешь на чистую воду. А то и побьют.
>
> Какой же я «ябеда»? Я хотел этим девочкам только хорошего.
>
> *Старый деткор Вася Б., 15-я советская школа».*

Прочел я, и кто-то крикнул с места:

— Ты сам-то тоже из пятнадцатой?

— Ага, — сказал я не так громко, как читал. — Из пятнадцатой.

— Ты знаешь этого Ваську?

— У нас много Вась. И на Бэ, наверно, есть.

— Найди его и дай в ухо!..

На другой день я искал в школе «старого деткора», но не для того, чтобы выполнить вчерашний совет. Кое-что в его письме не очень мне понравилось, и я хотел сказать ему об этом. Вась оказалось не так уж много, а на «Б» ни одного. В восьмом классе, в том, где учился мой двоюродный братец Фрошка, был мальчик, который мог сойти за старого деткора: в «Ленинских искрах» часто печатались его заметки. Сначала он их присылал из-за границы, из города Праги; его отец служил там в советском полпредстве. Потом отца перевели обратно в Москву, а мать с мальчиком переехали почему-то в Ленинград, и он поступил в нашу школу. По опыту он был старый деткор, но его звали не Васей, а Володей, и фамилия не на «Б», а на «К» — Канатчиков. Я спросил Фрошку, не произошел ли у них в классе случай со шпаргалкой. Фрошка сказал, что, если б такое случилось, он бы этому «Ваське» хорошо всыпал, и прорепетировал на мне, как бы он это примерно сделал… Так я и не разыскал «старого деткора». Сейчас думаю, — возможно, его и не существовало. Может, то письмо было, как выражались иногда в редакциях, «шутихой», родившейся в самой редакции «затравкой» к дискуссии. Ниже ведь, под заметкой, стояло: «Предлагаем обсудить письмо старого деткора и прислать нам свои мнения». Но зачем указывался номер школы? Для большей достоверности? В общем, я решил объясниться с мифическим Васей Б. письменно, приняв приглашение газеты.

Три дня длились мои творческие муки. Напишу — зачеркну, напишу — порву в клочки. Окончательный вариант был такой:

> «Я во многом согласен со старым деткором.
>
> Слово «ябеда» обидное, и его надо убрать из нашей жизни.
>
> Но сам Вася поступил, по-моему, неправильно.
>
> Одно дело, если б он подобрал записку с полу. А он ее, пишет, перехватил и, выходит, знал, у кого именно. И зачем же сразу нести записку учительнице?
>
> Разъяснил бы этим девочкам их некрасивый поступок, и они бы без учительницы могли исправиться.
>
> А разве в прежних школах, в гимназиях все учителя были плохими, врагами учеников?
>
> В нашей школе № 15 есть хорошие, даже замечательные учителя с царского времени. Получается, они тогда были плохие, а теперь стали хорошие?

Остальное мне в заметке Васи Б. нравится».

Сочинял я втайне от родителей, а завершенное произведение показал брату Вальке. Он уже закончил школу, в институт не смог поступить и для приобретения рабочего стажа, который учитывался на экзаменах, устроился подсобником в Апраксин двор, в мастерскую молодого скульптора Томского, лепившего по заказу Осоавиахима агитационные гипсовые доски с изображением пропеллера, противогаза и красной звезды. Они вывешивались над подворотнями домов, появилась такая и на нашем доме; Валька поглядывал на нее невесело: он умучивался в мастерской за день, таская тяжелые ящики и мешки с гипсом, глиной, алебастром. Возвращался домой сам весь загипсованный, хоть ставь в Летнем саду рядом с другими статуями.

По поводу моего сочинения брат сказал:

— На что тратишь время! Лучше бы математикой подзанялся, я в твою тетрадку глянул — столько ошибок, кошмар, как тебя учитель терпит… А вообще-то ты ответил этому Василию с толком, в Бальзаки метишь…

Я про Бальзака еще не слыхал, но Валькина похвала придала мне смелости, и я отправил письмо в редакцию.

Первым, кто принес радостное известие, был тот же Валька, и оно имело материальный облик: брат помахивал перед моим носом терпко пахнущей свежей газеткой. Он купил ее в киоске по дороге, спеша домой в обеденный перерыв. Я тоже только что вернулся после уроков, и вот сюрприз: «Ленинские искры» с моей заметкой. Помещена на том же видном месте, что и письмо «старого деткора», посередине страницы, но то находилось в одиночестве под «шапкой», а теперь под общей «шапкой» стояло несколько заметок, потом я узнал, что это называется «подборкой». В моем сочинении все слова были мои, ничего не изменили, не убрали, не добавили, а к подписи приставлено «звание»: деткор…

— Что же ты, — упрекнул я Вальку, — только одну газетку купил.

— Ох, видел бы, какая там выстроилась очередища, мне последний экземпляр достался.

— Не смейся над мальчиком, — сказала мама, но я и без того понял, что Валька шутит.

Не доев, к маминому огорчению, обеда, я побежал из дому скупать газету.

Шурик Т. в этот день в школе отсутствовал, как выяснилось потом, заболел, и киоск его отца, ушедшего обедать, был закрыт.

Я побежал дальше, но на обеденный перерыв ушли и прочие киоскеры: возле цирка, около Манежа, на углу улицы Толмачева и проспекта 25-го Октября — я уже и на бывший Невский выбежал, — всюду закрытые киоски. И вдруг я услышал пронзительный крик мальчишки-газетчика, размахивавшего пачкой, мне показалось, «Ленинских искр».

— Сенсация! — кричал он. — Девочка с разрезанным портфелем!.. Сенсация!.. Девочка с разрезанным портфелем!..

Да, он выкрикивал явно про мою — я уже считал ее своей — газету. Но что это за девочка с разрезанным портфелем?

— Давай десять штук! — крикнул я, протягивая деньги.

— Ого, оптовый покупатель! Зачем тебе столько?

— Тут моя статья, — сказал я, повышая свою заметочку в ранге.

— Ври больше, тут — моя!

Оказалось: и моя и его, две — рядышком, в одной подборке. Он — деткор Гриша Мейлицев, газетчик вдвойне: как помогающий отцу, вроде Шурика Т., и как пишущий в газету.

Это он и написал про девочку из их класса, у которой на большой перемене разрезали оставленный на парте портфель, и она не пожаловалась учительнице, боялась, что прозовут «ябедой».

— Слушай, — сказал Гриша, — ты — деткор, а я тебя ни разу не видел у нас.

— Где это — у вас?

— В редакции.

— Ты что, там работаешь? Ты же школьник…

— Ну, школьник. И еще я в легкой кавалерии.

— В манеже занимаешься, на коне?

По правде говоря, я немножко притворился: что-то я уже слышал про эту «кавалерию», а прикинулся темным человеком.

— Чудик ты, что ли? «Легкая кавалерия» в переносном смысле. У нас штаб в редакции, получаем задания и участвуем в налетах, в рейдах… Сегодня как раз заседание. Хочешь — со мной?

— У меня еще не сделаны домашние уроки.

— Успеешь — там в шесть. Дуй домой. А в полшестого — у Александринки на правом углу. Оттуда близко. Знаешь, где Щукин рынок?

(Щукина базара не знать! Этого сказочного скопища яблок, груш, винограда, арбузов, дынь, апельсинов, абрикосов, слив… И ничего иноземного, заморского, все — свое! С Кавказа, из Крыма, из Ташкента, из Понырей, из пригорода… Пробираемся с мамой меж заполонивших площадь и ломящихся от живописной снеди

повозок, тележек, лотков, оглушаемые зазывными кликами торговцев: «Виноград «дамские пальчики» — оближешь пальчики!»; «Мадам, вкусите яблочка, оно прямо из рая, то самое!»; «Мальчик, скажи своей красивой маме — лучше моих груш не бывает!»; «Арбуз — на любой вкус!»; «Слива — на диво!» Аромат над базаром плывет необыкновенный, щекочущий ноздри, пьянящий голову. Говорят, он и сейчас, через столько лет, когда давно закрыт Щукин рынок, еще не выветрился, еще витает над опустевшей площадью. Как сохранился, говорят, и едва ощутимый, правда, запах свежей рыбы в бывшем рыбном ряду разрушенных почти два тысячелетия назад Помпеи…)

3

Встретились с Гришей, как договорились, у театра, на углу.

И вот мы в редакции. В двух ее комнатушках — позже она переехала в более просторное помещение — набилось ребятни, не протиснуться, и гомон стоит, как в школе на переменке. Посередине этого шумящего водоворота — прекрасно чувствующий себя в нем, успевающий говорить одновременно чуть ли не со всеми, шатенистовихрастый молодой человек в очках, из обоих пиджачных карманов которого вылезают толстые пачки газет; он их обратно запихивает, а они упорно вылезают. Гриша, подтаскивая меня за руку, пробивается все же поближе к редактору — это он — и говорит:

— Товарищ Андрей, вот новобранец в легкую кавалерию. Сегодня напечатана его заметка.

— А-а, — говорит редактор, услышав мою фамилию. — Здравствуй, либерал!

Валька сравнил меня с Бальзаком, и я уже знаю, что это французский писатель, а кто такой Либерал? Тоже писатель?

А редактор продолжает:

— Заметку-то мы напечатали, но ты в ней, приятель, хвостиком виляешь, не чувствуется твердой позиции, попахивает оппортунизмом… Да-да, завтра же приеду, разберемся с вашим вожатым.

Я думал, что это угроза и относится ко мне, хотел бежать отсюда, но, оказывается, он уже кому-то другому говорит, обещая приехать в базу.

Вот так, с «оппортунизма» началось мое деткорство, началась моя «кавалерийская» жизнь.

Со смешанным чувством листаю я комплект «Искорок» той

поры, вглядываясь в «следы», оставленные на страницах газеты проскакавшей здесь более полувека назад ребячьей «легкой кавалерией». В нем, этом чувстве, соединились, попеременно возобладая друг над другом, мой старческий скептицизм, моя запоздалая ирония по поводу наивных статеек, крикливо-лобовых «шапок»-лозунгов и, казалось бы, давно угасшее, похороненное на самом дне души, но вдруг вновь возникающее у меня, 65-летнего, ощущение неудержимого азарта, словно по-прежнему «скачу» я в том лихом деткоровском «эскадроне».

Комэском — мы применяли сокращения, как в настоящей армии, — был, как уже ясно из текста, редактор.

Андрей Гусев принадлежал к комсомольцам начала двадцатых годов, которые по заданию ячеек, в большинстве случаев безошибочно определявших свой выбор, создавали в разных городах страны первые пионерские отряды. Эти молодые люди, как правило, из рабочих предместий, не шибко ученые, не говоря уж о какой-то специальной подготовке, обладали, подобно Ивану Федоровичу Генрихову, шагнувшему из милиционеров прямо в школьный директорский кабинет, нутряным педагогическим талантом, неподдельным, не в институтах приобретенным воспитательским чутьем, открывавшим им доступ к ребячьим сердцам, которые не всякому взрослому открываются. Дети точно отделяют жесткую прямолинейность от изворотливой неопределенности, подлинную строгость от напускной, настоящую ласку от фальшивой — короче, правду ото лжи. В детской душе припрятана лакмусовая бумажка, которую не обманешь. Конечно, бывают и малолетние подхалимчики, льстецы и лгунишки. Но, во-первых, их несравнимо меньше, чем в среде взрослых. И, во-вторых, юная среда гораздо решительнее обходится с ними, безжалостно выталкивая из своего круга, оставляя в одиночестве.

Первые вожатые — не ушедшим из жизни нынче под восемьдесят — кем бы они ни становились впоследствии: инженерами, дипломатами, врачами, военными, писателями, партийными работниками — навсегда оставались внутренне вожатыми: по главному своему пристрастию в жизни, по мировосприятию, если хотите.

Вот и 18-летний табельщик с текстильной фабрики «Красный парус» (название прямо-таки по Грину, хотя Грин еще своих «Алых парусов» не написал), выдвинутый неожиданно для него в вожатые, остался, как он говорил о себе, «вечным вожатым». И что бы ни вытворяла с Гусевым неблагосклонная к нему судьба — швырнула, например, ни за что ни про что из редакторов «Пионерской правды» в ковровую артель, — а вытряхнуть из него,

подавить в нем вожатого так и не смогла. Даже на войне, на которую уходил рядовым народного ополчения, в окружении, в партизанском отряде, даже командуя затем стрелковой ротой, не выходившей из боев, даже на санбатовских и госпитальных койках, трижды раненный и дважды контуженный, он не расставался с толстой тетрадью, куда заносил хронику пионерской жизни, выуживая ее из доходивших до него на фронте газет (добывал и «Пионерскую правду»), из радиопередач, хронику, превращенную им позже вместе с довоенными и послевоенными записями в большую книгу «Год за годом»; по существу, это созданная одним человеком энциклопедия для вожатых. Вышло три издания, над третьим он трудился уже парализованный, почти недвижный, диктуя страницу за страницей жене Елене Викторовне (когда-то вожатой из детского дома; она влюбилась в своего начальника, председателя райбюро пионеров — были такие — Андрея Гусева), диктовал, пока третий инсульт не лишил его речи. Но оставались зрячими глаза, и он сам вычитывал гранки, и Леля по движениям его губ угадывала поправки.

Вожатым оставался всегда и Сережа Марго с Выборгской стороны. Отстраненный несправедливо, как и Гусев, от любимого дела (кому-то почудилась подозрительной его «иностранная» фамилия, а он был слесарем в третьем поколении с «Нового Леснера», названного после революции заводом имени Карла Маркса; отца не единожды сажали при царе за стачки), Сергей не снимал с груди красного галстука, что могло показаться демонстрацией какой-то, вызовом, а было естественным, органическим движением обиженной души. И даже, говорят, уходя на воину, как и Гусев, в ополчение, с пионерским галстуком не расстался, упрятав его под солдатской гимнастеркой. Не вернувшийся с фронта, убит под Лугой, он не покинул Выборгской стороны: есть здесь улица Сергея Марго, улица вожатого, на которой живут его бывшие пионеры, их дети и их внуки уже.

Остается вожатым и живущий в Ереване 75-летний Саркис Мнацаканян, и не в переносном, символическом смысле, а в самом реальном: он старший пионервожатый в школе имени Горького. Стаж с 1927 года, перерыв был лишь на войну. И кто же решится предложить ему — на пенсию! Но не потому, что щадят его самолюбие, а из чисто практических соображений: трудно, почти невозможно найти ему преемника, равного Саркису по неутомимости, по авторитету у ребят. Что касается «заслуженного отдыха», как у нас принято называть пенсию, то он еще его, как считает, не заслужил. Да и от кого отдыхать? От детей? С детьми-

то он как раз и отдыхает от взрослых…

Хочу особо, отдельно рассказать про Юру Дитриха, который тоже оставался бы всю жизнь вожатым, если б не погиб в 34 года. Я знал его по «Искоркам», когда я еще был деткором, а он членом редколлегии. Это он, Дитрих, настоял, чтобы моя заметка про «ябед», вызвавшая сомнение у редактора, была напечатана. Мне запомнился этот человек вечно находящимся в движении, не сидящим, не стоящим, а стремительно передвигающимся в тесных редакционных комнатушках. И еще стремительнее были его мысли, идеи, выскакивавшие из него, как снаряды «катюши» — пачками и с такой же скоростью. Казалось, он еще только выбежал из лифта, а мысли, осенившие его во время подъема, уже влетают в редакцию, опережая их носителя. Даже на сохранившейся у меня коллективной фотографии Дитриху «не сидится», подался весь вперед, сейчас вскочит в нетерпении и начнет выдавать идеи, требуя их немедленного воплощения.

Я только что получил письмо от Юриного брата Жени; называю их так, хотя Георгию Станиславовичу было бы сейчас 76, а Евгений Станиславович чуть старше, и, значит, ему где-то под 80. У письма — маленькая история. Впрочем, не такая уж маленькая: я давно «ищу» Юру, то есть сведения о нем. Сам он, как вы могли заметить, зримо в моей памяти — а биографии не помню, да, скорее всего, и не знал, не считая того, что вычитал когда-то из его автобиографической повести «Казачата», но в ней лишь короткий, с год, период его жизни. И к кому бы из знавших Дитриха я ни обращался, все помнят Юру таким же, как помню я, и все, как и я, почти ничего о нем не знают. Но вот совсем недавно Елена Викторовна, вдова Гусева, сказала мне:

— Чего же ты раньше не спрашивал меня? Я в постоянной переписке с Женей Дитрихом. В Таллине живет, персональный пенсионер союзного значения, как член партии с 1920 года. Вот его адрес.

Ответ на мой запрос был сверхосторожен, видимо, из-за невразумительности самого запроса. Правда, Евгений Станиславович объясняет свою осторожность иначе:

> «…какую книгу Вы пишете и в какой связи хотите упомянуть в ней о Георгии Дитрихе? Да не покажутся Вам странными эти вопросы, ибо мне довелось не единожды иметь дело с работниками Лениздата, и, из-за крайне несерьезного отношения как авторов, так и редакторов, я от материалов, где упоминалось о моем брате (да и обо мне), ничего, к сожалению, кроме

огорчений, не получал. И поэтому нахожусь в некотором раздумий по поводу Ваших планов…»

Раздумье продолжалось какое-то время и после моего второго, более обстоятельного письма и наконец разрешилось сдержанным, почти анкетным сообщением: факты, даты без каких-либо эмоций, которые едва проскальзывают только в самом конце.

«Дитрих Георгий Станиславович

Родился 15 января 1906 года в Петербурге в семье служащего. Наш отец, Станислав Рудольфович, работал бухгалтером-ревизором в Государственном крестьянском поземельном банке. После Октябрьской революции — в Народном контроле по той же должности. Мать, Ольга Людвиговна, имела специальность портнихи, которой обучалась с 8-ми лет в мастерской. Но, выйдя замуж, не работала на стороне, обшивала своих детей, а нас было четверо: два брата и две сестры.

В конце 1918 года, будучи еще школьником, пытался — я ему помогал — организовать детский коммунистический клуб на Петроградской стороне. Нашли уже помещение, пустующую квартиру, на набережной Карповки. Но наша семья, кроме отца, вынуждена была уехать из Питера. В городе наступил голод, а я только что переболел брюшным тифом, и врачи рекомендовали немедленно куда-то выехать. Выбор случайно пал на Пензу: туда собиралась соседка по дому и нас пригласила с собой.

В Пензе я поступил на службу канцеляристом. Брат и сестры продолжали занятия в школе. В Юре еще не погасла идея организации детского клуба. И такой был создан для детей рабочих лесопильного завода. Помещение оборудовали в здании находившегося поблизости ипподрома: ребята могли наблюдать из окон клуба за скачками.

Вскоре на этой же территории, на ипподроме, расквартировался интернациональный отряд Красной Армии, которым командовал венгерский коммунист т. Терек. Он и его интернационалисты часто бывали в детском клубе.

В городе становилось все труднее с

продовольствием.

Отряд т. Терека, получив дополнительное обмундирование, снаряжение и боеприпасы, должен был перебазироваться на Южный фронт. Командир отряда и его жена, подружившиеся с нашей мамой, предложили ей ехать с ними, забрав младших детей, на Дон. Незадолго до этого в Пензу приехал из Питера отец. И мы с ним остались вдвоем в Пензе. Он работал в прежнем качестве и в прежнем ведомстве, которое называлось теперь Губрабкрином. А я, не бросая работы в канцелярии, по вечерам заменял Юру в клубе.

Мама с тремя ребятами добралась в эшелоне т. Терека до станции Алексиново, от которой отходила ветка до станции Урюпино (25 верст). Но путь был разрушен белыми, и наши тряслись на подводе, которую тащила пара волов. Поселились в станице Урюпинской. (В той самой, куда, если помнит читатель, после 25-летней службы в николаевских солдатах, приехал на постоянное местожительство мой дед-фуражечник и где родился мой отец. — *А. С.*)

В Урюпинской Юра создал из местных ребят отряд «юков» — юных коммунистов, который органически влился в новую жизнь станицы, недавно освобожденной от белобандитов. (Об «юках» как раз и написана повесть «Казачата», весьма популярная в самом начале тридцатых годов; за два года вышло три издания. И вот уже сорок лет, как не переиздается, и это несправедливо: книга хорошая, близкая по содержанию и духу своему книгам Гайдара. — *А. С.*)

Осенью 1921 года наша семья в полном составе возвращается в Петроград.

Юра все еще школьник, но организаторское начало в нем крепнет. И в определенном направлении: вот он уже вожатый первого в Петрограде пионерского отряда, созданного при фабрике «Красное знамя». Собирается отряд в фабричном клубе на Большой Гребецкой улице, переименованной ныне в Пионерскую. (Как хочется, чтобы рядышком, на Петроградской стороне, появилась улица Юрия Дитриха, как существует на Выборгской улица Сергея Марго. — *А. С.*)

И к возникновению первой в стране детской газеты Юра, как вы знаете, имел прямое отношение. Собственно, это его идея, поддержанная в Смольном.

Литературная работа занимала у него все больше и

больше времени: еще до «Казачат» он написал повесть «Конец и начало» (о конце скаутского движения и начале пионерского), вслед за «Казачатами» — «Через границы» и вместе с Евгением Шварцем сборник рассказов «Особенный день».

Одно время он был редактором знаменитых детских журналов «Чиж» и «Еж». (В известных воспоминаниях И. Андроникова и И. Рахтанова об этих «малых академиях» детской литературы не названо имя редактора Дитриха. — *А. С.*)

Потом…

А еще потом наша мама получила анонимную записку, сунутую в почтовый ящик: «Ваш сын Георгий Дитрих умер от воспаления легких».

Юра любил жизнь, любил работу с детьми. Любил музыку. Много читал. Учился в Институте восточных языков, но ушел со второго курса.

У него было много друзей. Своим открытым характером, исключительной общительностью (теперь говорят — коммуникабельностью), доброжелательностью он располагал к себе и ребят, и сверстников, и старших товарищей.

Евгений Дитрих

10 марта 1982 г.
гор. Таллин».

4

Итак, наша «легкая кавалерия» галопом скачет, ведомая, направляемая редактором Гусевым. Правой рукой у него, «помкомэском» — Коля Богаенок, напористый, настырный, распираемый изнутри взрывной силой, непропорциональной его росточку. Поразительно, каким образом в такой малой емкости размещается столько энергии. Мне не раз доводилось испытывать ее на себе, участвуя вместе с Богаенком в «рейдах», в «налетах». Так, мы «проскакали» с ним и еще несколькими «кавалеристами» по Васильевскому острову, получив от Гусева задание: проверить, как пионерские базы помогают предприятиям выполнять промфинплан. Да-да, именно так: пионеры и промфинплан. Одна из «шапок» в «Искорках» была такая: «Помни: завод отстает — виноват в этом и ты, пионер!» И вот мы в «проскоке» по району добрались до базы при табачной фабрике имени Урицкого.

Терзаем вожатого. Богаенок уже все знает про фабрику, запасся всеми необходимыми сведениями — у предприятия как раз неблагополучно с квартальным планом — и наскакивает на вожатого с вопросами, от которых того бросает в мелкую дрожь. Почему в цехах не созданы до сих пор пионерские посты? Почему не притащили (употреблен был именно этот глагол) на сбор директора фабрики с отчетом о работе? Почему равнодушно взираете на отставание с планом? И вдруг вожатый, здоровенный парнище, доведенный до белого каления нападками крошечного приставалы, сам переходит в нападение. Он достает из шкафа комплект «Ленинских искр» и тычет пальцем в очередной лозунг-шапку на полосе: «Курению — бой!» Имеются в виду не только малолетние, тайно потягивающие папироски курцы, но и взрослые курильщики. Напечатаны собранные по заданию редакции деткорами обязательства весьма почтенных личностей — академиков, известных артистов, партийных работников, например, тогдашнего завагитпропом обкома партии Стецкого — бросить курить. И вожатый сует нам газету с антитабачными материалами и ехидно вопрошает: как же совместить борьбу с курением и борьбу за промфинплан фабрики, выпускающей папиросы? И Богаенок, которого обычно трудно сбить с панталыку, в растерянности, он пытается как-то, но очень невнятно возразить вожатому, а тот усиливает нажим, я дергаю Богаенка за руку, и мы тихо, незаметно сматываемся из «табачной» базы в какую-то другую, кажется при текстильной фабрике. И тут уж у Богаенка широкий плацдарм для атаки, и мы с избытком набираем фактиков для разоблачительной статьи в газету.

Через всю полосу крупным, чуть не плакатным шрифтом «шапка»: «ЯРОШЕВСКИЙ, ТЫ ДЕЗЕРТИР!»

Откуда дезертировал Ярошевский и кто он такой?

Всенародно кается мальчик в своих грехах:

ПОЧЕМУ Я СНЯЛ КРАСНЫЙ ГАЛСТУК

Недавно меня в редакции спросили, почему я не ношу красного галстука.

На это я ответил, что ушел из пионерской базы.

Тогда меня попросили рассказать, почему я это сделал, какова причина.

В конце учебного года наш отряд имени Блюхера

форменным образом развалился. Из 42 пионеров стали приходить на сборы 15.

Как председатель совета отряда, я сообщил об этом в районное бюро.

Но никаких мер не было принято.

И тогда я снял пионерский галстук.

Деткор Миша Ярошевский».

Редакционное примечание к исповеди мальчика беспощадно:

«Скоро начинаются перевыборы актива. Зорче глядите, ребята! Во главе звеньев и отрядов поставим ребят-ударников, которые не побегут от трудностей, как это сделал Ярошевский».

Узнаю руку, стиль Гусева.

И тут же карикатура: пионер с красным галстуком, и он же, нацепивший галстук-бабочку. Вот до чего докатился, до буржуйской «бабочки»! Под рисунком четыре стихотворных строчки:

Тут развал, и в базу надо
Дать ударную бригаду.
А «ударный» предсовета
Сам сбежал из базы этой.

Дм. Цензор

Увидев как-то эту фамилию в газете, мама спросила меня:

— Дмитрий Цензор? Неужели тот самый?

— Какой тот, мама?

— Ну как же, в мои девичьи годы это был популярнейший, особенно среди девиц моего возраста, гимназисток-старшеклассниц, курсисток, сентиментальный поэт. Мы зачитывались его любовной лирикой, переписывали стихи в свои сокровенные альбомы. Кажется, до сих пор где-то припрятан у меня такой альбомчик, надо поискать… Цензор приезжал к нам в Кирсанов, взбудоражив тихий городок. Чтобы попасть на его вечер в актовом зале гимназий, я простояла ночь за билетом. Поэт читал без отдыха несколько часов допоздна и еще декламировал на ночных улицах, когда мы толпой провожали его в гостиницу. А утром читал стихи, высунувшись в окно вагона, заполонившим перрон поклонницам его поэзии.

Да, это был тот самый поэт, о котором Блок писал:

> «Дмитрий Цензор — создание петербургской богемы, одной из последних формаций… Он чист душой, и главное, что временами он поет, как птица, хотя и хуже птицы; видно, что ему поется, что он не заставляет себя петь…»

Дмитрий Михайлович приходил в редакцию в канун выхода газеты сочинять подписи под карикатурами, рифмованные комментарии к заметкам, что очень поощрял Гусев. Таким стишком было снабжено и мое, «легкого кавалериста», разоблачительное сообщение, которое называлось:

«НУ И ДЕЛЕГАТ!

> От базы при заводе имени Козицкого на Всесоюзный Пионерский слет ездил делегатом Петя Матычко. Приехав со слета, он рассказывал ребятам, как делегатов принимали в Москве, как их здорово кормили.
>
> Матычко должен проводить в жизнь решения слета, на который его посылали, а он этого не делает. Он даже в базу перестал ходить, ссылаясь на занятость в школе».

На картинке был нарисован толстощекий мальчик, уплетающий огромную котлету на фоне трибун, заполненных делегатами слета. А стишок такой:

> На слет собирался Матычко.
> Плоха у Матычки привычка.
> Он ехал не речи послушать,
> А сытно на слете покушать.

Между прочим, изображая пионера, сменившего красный галстук на буржуйскую «бабочку», редакционный карикатурист Борис Сергеевич Шемиот, маленький востроносый человечек с вставным серебряным горлом, никогда почему-то не снимавший в помещении кепки, срисовал эту «бабочку» в горошинку точь-в-точь с той, какую неизменно носил сам Дмитрий Михайлович. Да и в облике обуржуазившегося пионера явно проглядывали внешние черты поэта, только омоложенного лет на сорок. Но и в свои пятьдесят он был еще вполне «в строю». Пусть теперь девицы

не следовали за ним толпой, но всякий раз, когда он приходил в редакцию, в сквере возле издательства можно было видеть юную особу, и не всегда одну и ту же, поджидающую поэта, пока он корпел над строчками о плохой пионерской работе в такой-то базе. Спустившись в сквер, он брал свою очередную подружку под руку и, судя по движению губ, читал ей стихи. Надо полагать, это были не только что сочиненные стишата для «Баклажки», юмористического приложения к газете, а возвышенные вирши начала века, так потрясшие тогда девичье население города Кирсанова, в том числе и мою маму…

Но мы совсем забыли о дезертире Ярошевском. Тем временем идет суд над ним, специальное заседание «легкой кавалерии», отчет о котором опубликован в газете:

> «Левин:
>
> — Ярошевский дезертировал с пионерского фронта. Надо было продолжать бить тревогу. А он отступил.
>
> Нахутин:
>
> — А что ему оставалось делать? Он же заявил куда надо.
>
> Мышалов:
>
> — Это позиция оппортунистическая. Он сменил красный галстук на галстук франта. Находясь в пионерской организации с 26-го года, он не перековался. Его поступок подрывает авторитет деткора.
>
> Рапопорт кричит с места:
>
> — Я не согласен. Один Ярошевский был бессилен. Я за справедливость!
>
> Мейлицев:
>
> — Я Мишу давно знаю. И он удивил меня своим поступком. Он был председателем совета отряда. Так пусть снова соберет ребят. И тем самым искупит свою вину.
>
> Кто-то с места:
>
> — Исправляйся, Мишка!
>
> — Я совершил ошибку. Понимаю. И учту критику… — сказал в заключение обвиняемый Ярошевский».

Читаю, и через полвека жаль мне бедного мальчика Мишу.

Рядом с комплектом стареньких «Искорок» лежит свежий номер «Литературной газеты».

Статья — «Инфантилизм — опасный недуг».

Она подписана: «Доктор психологических наук

М. Ярошевский».

Надо ли уточнять, что «дезертир» Миша Ярошевский и профессор Михаил Григорьевич Ярошевский одно и то же лицо?..

Жирный заголовок над «подвалом»:

«ЛЕНСОВЕТ ЗАБЫЛ НАКАЗЫ ПИОНЕРОВ

Бригада «легкой кавалерии» в Смольном.

Нас трое.

Нам поручено редакцией проверить, как Ленинградский Совет выполняет наказы пионерского слета.

Идем в Смольный, получаем пропуск, поднимаемся в секретариат.

— Вам надо к т. Курдюковой, — говорят.

В соседней комнате у т. Курдюковой такой разговор:

— Мы из газеты «Ленинские искры».

— По правде говоря, ребятки, мы не все газеты получаем, а о такой я и не слыхала.

— А слышали вы о наказе детей снизить для них трамвайный тариф?

— Да, об этом что-то доходило. Но лучше узнать вам в орготделе.

В орготделе т. Чудин сказал:

— Вы из «Ленинских искр»? О наказах? Что касается предложения закрыть кирху на Кирочной улице рядом со школой, а улицу переименовать, оно передано в Союз безбожников. Там должны решить.

— А как насчет десятипроцентного отчисления от займа индустриализации на стипендии детям рабочих?

По этому поводу т. Чудин вообще ничего не мог сказать — не в курсе.

Вопрос о снижении трамвайного тарифа для ребят школьного возраста обсуждался в Ленсовете, но члены коммунальной секции пришли к выводу, что снизить плату можно только тем, кто ростом не выше метра.

Спрашивается, много ли найдется таких карликов среди учеников трудовых школ?

Был наказ о бесплатных билетах для детдомовцев в детских кинотеатрах.

— Об этом и думать нечего. Дело идет к тому, чтобы

вообще закрыть такие кино.

— То есть как это? — возмущаемся мы.

— Очень просто. Совкино обложено большими налогами, и надо искать выход из положения.

Мы считаем, что налоги налогами, а отыгрываться именно на детских кинотеатрах нельзя. Их всего-то два в городе.

Заявляем через «Ленинские искры»: в Ленинградском Совете не все благополучно в работе с детьми. Наши старшие товарищи забыли о наказах, которые им давали ребята»…

Под статейкой три подписи «легких кавалеристов», в том числе и моя.

— Послушай, — сказал мне приятель, которому я показываю иногда фрагменты будущей книги. — Зачем тебе понадобилось вытаскивать эту заметку? Хочешь, чтобы нынешние пионеры тоже шастали по Смольному и задавали вопросы?

— Откуда ты взял, что я этого хочу?

— Подтекст такой.

— Подтекст пятидесятилетней давности? Придираешься к бедным деткорам.

— Не притворяйся. Это твой подтекст, твоя задняя мыслишка.

— Ни задняя, ни передняя, никаких мыслей, только факт, эпизодик, крошечная примета невозвратного прошлого.

— А если редактор выбросит эту примету?

— Редакторы пошли теперь умные.

— А твой внутренний редактор?

— Он тоже поумнел.

— Ну дай тебе бог…

— Дай! — говорю и я.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В «Искорках» было напечатано 49 моих деткоровских заметок. Цифру эту запомнил не только потому, что она принадлежит к «несчастливым» (4 + 9 = 13), но и из-за того, что с ней связана у меня первая довольно серьезная неприятность в жизни, первая, фигурально выражаясь, ощутимая шишка на затылке, тогда еще мальчишечьем.

Свои заметки я выреза́л и наклеивал в тетрадку, нумеровал, вел им счет. Я занимался этим не из одного лишь честолюбия. Дело в том, что помимо принадлежности к официальному деткоровскому активу «Ленинских искр» (нам ведь выдали даже удостоверения как «легким кавалеристам», которые мы предъявляли на местах), я входил также в никем и нигде не зарегистрированную корпорацию деткоров, руководство которой обосновалось в городке Балашове на Саратовщине. Это были двое мальчишек — Илюша Мышалов и Володя Голубев, деткоры «Пионерской правды», установившие связи со своими «коллегами» из многих городов и сел. (В нынешней «Красной звезде» частенько можно видеть корреспонденции из Львова за подписью: подполковник в отставке И. Мышалов; тот самый Илюша, из Балашова он вскоре переехал к дядюшке в Ленинград и примкнул к нашей «легкой кавалерии». А в «Советской торговле» публикуются сейчас материалы киевского собкора В. Голубева; тот самый Володя.) Балашовские ребята издавали крошечный, в две ладошки размером, листок, назывался, кажется, «Голос деткора», печатался на ротаторе, экземпляров 100 наверно, и рассылался всем нам, входившим в корпорацию. Принимали же в нее тех, кто опубликовал в пионерской прессе не менее десяти заметок. В каждом номере «Голоса деткора», выходившего ежемесячно, имелась сводка: у кого сколько и где напечатано. За 25 заметок присваивалось звание: деткор первого разряда; за 50 — заслуженный деткор республики. Я одной заметки не дотянул до заслуженного. Со мной произошел казус. Вернее, сам проболтался. На очередном сборе в редакции расхвастался вдруг и выпалил:

— А у меня сорок девять заметок!

— Сколько-сколько? — переспросил Гусев, перегнувшись ко мне из-за стола так, что из обоих боковых карманов его пиджака вывалились вечно запихнутые в них газеты.

— Сорок девять! — повторил я весело, ничего угрожающего не почувствовав в тоне редактора. — И сдал уже пятидесятую…

— Пятидесятой не будет, — сказал сердито Гусев. — Не будет пятидесятой! — И стукнул кулаком по столу так, что свалившиеся на него газеты сползли на пол. — Скажи, какую бухгалтерию завел. Может, и другие занимаются подобными подсчетами, а? — Он обвел всех глазами, и у находившихся тут еще четырех подпольных «деткоров первого разряда», каким был я, и одного «заслуженного» сердечки, должно быть, екнули. — Нет, нам не нужны… — он сделал многозначительную паузу, в течение которой мы томились в неведении, кто же нам не нужен, — зазнавшиеся деткоры-генералы, понимаете.

А мне было обидно, но в редакции, при всех, я не заплакал, балашовцев с их «Голосом деткора» и помещавшимися там сводками не выдал, а дома разревелся. Хотел порвать тетрадь со злосчастными 49 заметками, но пожалел в последний момент, и она пролежала в книжном шкафу вплоть до блокадной поры, когда вместе с книгами пошла на растопку.

Моя деткоровская карьера оборвалась, завершилась. Да и возраст приближался в этом смысле к критическому, четырнадцать исполнилось, перестарок, можно считать, какой уж тут деткор. Я кончил семилетку, поступил в фабзавуч, заболел скарлатиной — всю жизнь у меня все с опозданием! — промыкался едва не полгода с осложнениями, из ФЗУ отчислили, и я явился в те же «Ленинские искры» к тому же редактору Гусеву, но уже вполне самостоятельный шестнадцатилетний человек с паспортом, с комсомольским билетом, и был принят в штат редакции. Приставку «дет» заменила «спец», я стал спецкором «при редакторе». В то время редактора часто менялись. Место Гусева, назначенного редактором «Пионерской правды», занял Геннадий Таубин, тоже бывший вожатый, но он вскоре исчез из Ленинграда, его заменил Миша Белилов, продержавшийся в этой должности месяца три, славный парень, только никакого отношения не имевший к журналистике, ушедший в армию, в войну командовавший танковым полком. Белилов передал власть Коле Данилову, подобно всем предыдущим также недавнему вожатому (он был, как и Гусев, с Петроградской стороны, с фабрики с красивым названием «Светоч» — выпускали школьные принадлежности). Николай Николаевич Данилов впоследствии редактировал «Пионерку», «Комсомольскую правду», работал в ЦК партии, секретарем Московского горкома партии, занимал и другие высокие посты. Ему я обязан серьезным поворотом в жизни, но об этом позже.

Первые мои впечатления, как уже штатного сотрудника «Ленинских искр», связаны с людьми, которые бывали в редакции.

Газета была детская, маленькая и по размеру и по значению в ленинградской прессе, в то время весьма влиятельной, не уступавшей в этом смысле и столичной. Тягаться в авторитете с «Ленинградской правдой», «Красной газетой» (утренней и вечерней), молодежной «Сменой» «Искорки», понятно, не могли. Но бойкую газетенку полюбили, тянулись к ней, стремились в ней напечататься (я уже называл «президента республики Шкид» Викниксора, «белого гардемарина» Колбасьева, космического прозревателя Перельмана, могу добавить Аркадия Гайдара, напечатавшего в «Искрах» рассказ «Патроны» еще под настоящей фамилией Голиков; Бориса Житкова, приносившего морские истории, ставшие теперь классикой детской литературы), да и просто заходили «на огонек» незаурядные личности, о которых читателям моей книги будет, наверно, любопытно кое-что узнать от меня.

2

Приходил репортер Р., обозначим пока его так. Тихий, застенчивый, деликатнейший из деликатных человек. Совсем поэтому непохожий на репортера, каким мы его себе представляем.

Одно время в Ленинграде почти монопольное право на доставку редакциям газет оперативной городской информации захватил, «трест АБД». Аббревиатура расшифровывалась пофамильно: Алмазов, Брискер, Двинский. Этот тройственный союз внутри своей маленькой, но мощной корпорации, забивавшей в активности даже ТАСС, четко разделил зоны улова новостей.

Наука — Академия наук, еще не переехавшая в Москву, институты, лаборатории, отдельные ученые — числилась за Алмазовым, самым молодым из тройки и в силу этого самым напорным и таранным, расставившим не только сети для добычи, но и надолбы против чуждого проникновения в его область.

Брискер, которого звали в обиходе Хиля и говоривший о себе: «Стилически я не очень, а достать — это Хиля!», ведал, так сказать, светской хроникой: приезды, отъезды, похороны и т. д. Он был объективен в оценке своих возможностей: добытчик на зависть. Он добывал и то, чего не было. Зоной у него для охоты являлись, главным образом, вокзалы и гостиницы. Узнав, что в Ленинград должен приехать первый американский посол в СССР

мистер Буллит, он подкарауливал его несколько дней в «Европейской», перехватил возле портье, взял интервью и у него, и у его сына. Но затем выяснилось, что у посла не сын, а дочь, и фамилия дававшего интервью не Буллит, а Пуллит, и не посол он вовсе, а голландский купец-меховщик, прибывший на пушной аукцион… Тот же Хиля организовал коллективный некролог по поводу смерти знаменитого дирижера Отто Клемперера, подписали его не менее знаменитые советские музыканты, а после опубликования из-за границы пришло письмо «похороненного» с благодарностью за теплые слова в его адрес.

Мартын Двинский — третий по алфавиту в этом триумвирате, но первый по опыту, по значительности, просто по возрасту. Он посылал репортажи с русско-японской войны, сотрудничал в больших петербургских газетах. Главные его связи — в мире искусств. Он говорил: «Когда-то мы с Верочкой…», «Мы с Севой…», «Мы с Федей…» Имелись в виду Комиссаржевская, Мейерхольд, Шаляпин. И вы знаете, это не было бравадой, беспочвенным хвастовством. Те, кто бывал на квартире у Двинского, видел фотографии прославленных артистов, музыкантов, художников с нежными дарственными надписями. Шаляпин ласково пишет о нем в своих мемуарах. Известно их пари с Федором Ивановичем. Где бы ни выступал певец, на всех его спектаклях, концертах неизменно среди зрителей в первом ряду находился Двинский, прибывавший в театр, в концертный зал вместе с Шаляпиным. И вот однажды было сказано: «Сегодня, Мартынчнк, ты в Мариинку не попадешь, сиди дома». — «Почему это?» — «В театре будет царская семья!» — «И что из того, так уже бывало…» — «А сегодня не пройдешь. Я не хочу!» — «Это ничего не значит, — сказал Двинский. — Я хочу!» — «Ах, так, — сказал Шаляпин. — Тебя за шиворот вышвырнут. Я прикажу!» — «Пари, что не посмеют и близко ко мне подойти, буду как всегда в первом ряду…» — «Пари!» — сказал Шаляпин. И велел всем службам Мариинки, обнаружив Двинского, в зал его не пускать… Когда спектакль начался и под ликование публики на просцениум в одеянии Бориса Годунова вышел Шаляпин, он увидел в первом ряду прямо перед собой… можно бы и не ставить многоточия: на своем обычном месте конечно же сидел Мартын. Говорят, при виде его победно подмигивающей физиономии великий бас впервые и единственный раз в жизни «дал петуха». Но как же все-таки проник Двинский в театр? А он не проникал, он гордо прошел, мило беседуя с царем, и, естественно, никакая охрана не решилась его остановить…

Вот что это был за «трест АБД». Позже, после

разоблачительной статьи в журнале «Большевистская печать», он поблек, сник и вскоре рассыпался. Но в пору, о коей я пишу, он еще находился в полной мощи, и соревноваться с ним было практически бессмысленно. Для всех, кроме тихого, застенчивого Р. Он упрямо делал свое дело. И это тем более удивительно, что репортеров, как известно, ноги кормят, а Р. сильно хромал, припадая на правую ногу. Раз в неделю, в одно и то же время, он появлялся в длинном темном коридоре здания на Фонтанке, 57, где когда-то, при царизме, размещалось пресловутое, мрачной памяти Третье отделение, сыскное, а при Советской власти расположилось большинство редакций ленинградских газет, в том числе и «Искорки». Он появлялся и разносил свои заметки. Они были всегда любопытны, свежи по тематике, довольно бойко написаны с точным учетом специфики и интересов каждой редакции. Одно для утренней «Красной газеты», другое для вечерней, одно для комсомольской «Смены», другое для «Крестьянской газеты». Как правило, попадал он в «яблочко» и нашей мишени. Причем «стрелял» с самых разных направлений: из Зоологического сада, из Ботанического, из общества филателистов, из Географического общества, из Военно-морского музея, из Русского, из кинопроката, с ипподрома. Да, принес с ипподрома забавную заметку про экскурсию школьников. Пришли на конюшню, понравилась лошадка, спрашивают жокея: как называется? Он говорит: «Как называется», вроде переспрашивает, они повторяют: как называется? И снова он говорит: «Как называется». Оказывается, так и называется: «Как называется». «Трест» ужасно раздражался, гневался на Р., всячески пытался его скомпрометировать. Все тщетно: маленький, хроменький, он был неуязвим, живуч и непотопляем.

В 1938 году, осенью, я тоже охромел, правда, не навсегда, но на длительное время.

Случилось это при обстоятельствах, которые изложу сейчас коротко, собираясь еще к ним вернуться.

Ледокол «И. Сталин», только что построенный на Балтийском заводе, флагман арктического флота, шел в свой первый рейс — в высокие северные широты. Там, зажатые льдами близ Новосибирских островов и уносимые все выше, дрейфовали почти уже год три ледокольных парохода — «Седов», «Садко» и «Малыгин», — которым грозила вторая зимовка. Их нужно было выручать. К ним подобрался испытанный выручальщик «Ермак», вытащил, вывел за собой «Малыгина» и «Садко», а «Седову» со сломанным рулевым управлением, да и сам поколоченный и покалеченный торосами, помочь при всем старании не смог. На

помощь «Седову» и был послан флагман. Вел его капитан Воронин, командовавший прежде и «Седовым», и «Сибиряковым», и «Челюскиным», и «Ермаком», человек, чьи жизнь и плавания еще ждут большой книги. А пока — только маленький эпизод из нашего похода.

В море Лаптевых попали в густейший туман, в мерзопакостную сырость. Решили приблизиться для ориентировки к берегу, шли по радиопеленгам, по счислениям. Штурмана докладывали их Воронину, не покидавшему ходового мостика. По расчетам, до острова Большевик оставалось 100 миль. «Мы ближе, — сказал Воронин, не глядя на прокладку, на карту. — Проверьте-ка цифры». Пересчитали — 100 миль. «Нет, — повторил Владимир Иванович. — Ближе! Вон гляньте, пуночка села на поручень. Она так далеко в море никогда не залетает, у нее свое счисление, свои точные пеленга. Мы по ним и пойдем». И оказался прав вместе с птахой, знакомой ему с поморского рыбачьего детства. До берега не было и половины пути, начисленного штурманами: ледокол снесло течением.

Флагман спешил к «Седову», которого отнесло уже за 83-ю параллель. Отнесло в дрейфе. А в свободном плавании таких широт никто еще тогда не достигал.

> «От острова Котельный, — пишет мне из Ленинграда мой друг Сан Саныч (Александр Александрович Гнуздев, капитан дальнего плавания, тогдашний наш 2-й штурман), — мы пошли в сравнительно легких льдах напрямик на север примерно по меридиану 130° по радиопеленгу «Седова», надеясь быстро подойти к нему. Но вскоре встретили тяжелый лед. Продвижение резко замедлилось, стали то и дело застревать. Шел напряженный обмен телеграммами с Москвой, с руководством Главсевморпути. Мы подробно докладывали обстановку… Постепенно доползли до широты 83°, пересекли ее. И остановились в ледяном поле, милях в 60 от «Седова», по чистой воде — пустяки, а тут — самые трудные, может быть, и непреодолимые мили. Стоим сутки, дожидаясь распоряжений из Москвы. Воронин нервничал, ворчал: «Не пускают…» Он считал, что есть шанс пробиться. Но можно было и московское начальство понять: сдерживало имя ледокола. Было бы другое название… А застрять и, обезуглившись, зазимовать, угодить в долгий дрейф с таким именем на борту?! Разрешить пойти на подобный риск начальство, что называется, не рискнуло. И нам приказали

возвратиться на юг».

Пока мы стояли в ожидании, и случился казус со мной.

Корабельный кок выбросил за борт, на лед, банки из-под мясных консервов, замусорил, считайте, центральный арктический бассейн. На запах съестного выполз из полыньи огромный моржище, видно, на разведку, чтобы повести за собой стадо. Он не успел как следует разнюхать обстановку, как был настигнут пулей. Ее послал из винтовки с мостика Воронин. И те, кто находился на палубе, бросились к штормтрапам, свисавшим с борта. Чтобы добить раненого зверя, отползавшего к полынье, не дать ему уйти. Среди кровожадной публики очутился и я. В азартном стремлении всех опередить, я, минуя штормтрап, сиганул через фальшборт с почти трехметровой высоты. Пригнулся в прыжке, распрямился, приземлившись, вернее, приледнившись, а шагнуть не смог, страшная боль, пронзившая левую ступню, припечатала меня ко льду. Обратный путь я совершил вместе с тушей моржа — мокрой, холодной, окровавленной. Нас поднимали краном в грузовой сетке из тонких проволочных тросов. На четырех концах — кольца, которые накидываются на гак, прикрепленный к шкентелю крана; они стягивают сетку, получается большая авоська. На дне ее — лючина, доска с люка, дабы при стяжке не придавило друг к другу подымаемых — моржа и меня. На палубе я был подхвачен матросами и, подпрыгивая на одной ноге, заковылял с их помощью в лазарет.

> «Таким манером, — пишет мне Сан Саныч, — ты можешь считать, что сорок лет назад установил мировой рекорд прыжка без парашюта за 83 градусом северной широты…»

Судового врача Т., красивого грузина, будто сошедшего с иллюстраций к «Витязю в тигровой шкуре», в лазарете не оказалось. До прыжка на лед я видел его на спардеке, он бегал с «ФЭДом», фотографировал, а сейчас, наверно, проявлял пленку — любимейшие занятия, ради которых он, похоже, и отправился в рейс. Когда фельдшер Митя своими мягкими многоопытными пальцами осторожно снял ботинок с моей ноги, оголил ее, явился и Т. Глянул на опухшую, посиневшую ступню, прикоснулся к лодыжке и сказал: «Сильный ушиб… Компрессик! Три дня постельного режима». Митя, отступивший в сторонку, я, приметил, недовольно мотнул головой, но возразить начальству не осмелился. Начальство было прислано на ледокол почему-то из Института мозга, где Т. состоял старшим научным

сотрудником. Может, наверху, в человечьей башке, он что-то и петрил, ну а все остальное в теле, «низы», как называют моряки нижние палубы, было для него, по-моему, темным лесом, гораздо темнее и непонятней, чем для того же Мити-фельдшера… Я пролежал назначенный срок, опухоль спала, как бы подтверждая диагноз. Меня спустили с койки. Ходить было больно, но Т. сказал: «Разойдешься… Массажик, втирания… До свадьбы заживет!» Так и прохромал я весь рейс и продолжал хромать, вернувшись из плавания. Кто-то из друзей посоветовал обратиться в Институт травматологии на Петроградской стороне, неподалеку, кстати, От Института мозга, куда возвратился со своими фотографическими трофеями доктор Т. В детстве мама возила меня на Петроградскую к известному профессору-хирургу Вредэну показывать выпирающие косточки на моих коленках… Я знал, что Вредэна уже нет и заменяет его новое светило в хирургии профессор Рубинштейн. Попасть к нему трудно, запись чуть не за полгода, но мне устроили протекцию. И вот я в клинике, дождался вызова, вхожу в кабинет и вижу за столом репортера Р. в белом халате. Я подумал, что он собирает тут материал и, как обычно в лечебных заведениях, ему выдали на время халат.

— Здравствуйте! — говорю, как знакомому по редакции. — Я к профессору Рубинштейну…

— Здравствуйте! — говорит. — На что жалуетесь?

— Да вот с ногой плохо. Хочу показать профессору. Он что, вышел?

— Ложитесь, прошу, раздевайтесь.

— Но… — говорю.

— Я и есть профессор Рубинштейн… — говорит, выходя из-за стола и прихрамывая, репортер Р.

Осмотрев ногу, он сказал:

— Кто вас лечил? Типичная профессиональная травма.

Я подумал, что он имеет в виду профессию репортера.

— Мы такой перелом называем матросским. Случается при палубных работах, при падении с мачты, в трюм…

— Я прыгал за борт на лед… — сказал я.

— О, любопытно! Такое в моей практике еще не встречалось… Косточки срослись неправильно, надо бы заново ломать. — И увидев в моих глазах ужас: — Но постараемся залечить консервативным способом.

Протягивая мне листки с назначениями, прибавил к ним с просительной улыбкой еще один листок со стола.

— Вы не будете сегодня в редакции? Не сочтите в тяжесть, передайте, пожалуйста, ответственному секретарю вот эту

небольшую информацию в номер. В Ботаническом саду расцвела виктория-региа…

Я посмотрел на подпись под заметкой: Б. Рейч. Постоянный журналистский псевдоним профессора Б. М. Рубинштейна.

3

Приходила англичаночка Мэри. Сначала как пионерка, потом как пионерская вожатая, потом студенткой университета, филфака. Девочкой была похожа на свою американскую тезку Мэри Пикфорд. Но чуть повыше росточком и не такая уж «жгучая» блондинка. Повзрослев, сильно вытянулась, еще потемнела и стала больше напоминать другую кинозвезду, шведку Грету Гарбо. Я мог бы обойтись без сравнений, Мэри и сама по себе была хороша, привлекательна. И носила известную в Англии и у нас в стране фамилию: Мортон.

Историю семьи Мортон широко распубликовали газеты, как «пари леди Астор». Эта дама, принадлежавшая к числу богатейших людей Великобритании, депутат парламента от консервативной партии, напечатала обращение к рабочим, в котором говорилось: «Вы защищаете СССР, но только на словах, а на деле никто из вас не отважится поехать в эту страну ужасов и прожить там хотя бы два года. Держу пари и все путевые расходы беру на себя». Пари с друзьями и знакомыми были не шутливые и не шуточные — на довольно крупную сумму. Но гораздо крупнее оказались предстоящие расходы на оплату переезда желающих поселиться в стране большевиков: десятки пролетарских семей из разных городов подали заявки. Затея получалась накладной даже для такой состоятельной леди, она забила отбой, согласившись финансировать поездку лишь одной семьи. Тянули жребий, и вытянул его литейщик Джеймс Мортон из Ливерпуля. В августе 1926 года он, его жена Рэй, 10-летняя дочка Мэри и сын Аллан, 7 лет, покинули Англию на советском теплоходе «Кооперация». Поселившись в Ленинграде, Джеймс пошел работать в литейный цех «Красного путиловца», а через два года (срок пребывания в СССР, объявленный инициаторшей пари) умер от рака, которым заболел еще несколько лет назад на родине. А еще через три года в туристскую поездку в Советский Союз собралась леди Астор. В связи с этим ленинградские газеты, в том числе и «Ленинские искры», напечатали письмо Рэй Мортон, оставшейся навсегда в нашей стране:

«Жалею, что не смогу встретиться с леди Астор в

Ленинграде. Уезжаю в отпуск с детьми в Германию, а затем, возможно, в Англию, чтобы повидаться с родственниками.

Леди Астор объявила, что любопытствует, как мы живем, т. к. чувствует известную ответственность за наше благополучие: одинокая вдова с двумя ребятами в чужой стране… У соседей по дому, у моих сослуживцев, у учителей моих детей, которым обеспечено образование соответственно их склонностям, наша «покровительница» сможет получить исчерпывающую информацию, интересующую ее. А я пользуюсь случаем выразить благодарность всем товарищам и организациям, сделавшим так много для того, чтобы чужая страна стала для нас родной. У моей семьи нет оснований для возвращения в Великобританию. Наш жребий вернее и лучше, чем участь миллионов английских безработных.

Это здесь увидит леди Астор, если, конечно, захочет увидеть…»

Мэри в отличие от своего, как она говорила (а говорила она по-русски, как заправская русачка), «аполитичного и бузотеристого» братца Алланчика, вечно попадавшего в какие-нибудь передряжки, из коих его вызволяло лишь иностранное происхождение, была чрезвычайно активна на общественном поприще. Она быстро и прочно вписалась в новую для себя среду, сперва пионерскую, а затем комсомольскую, тогдашний стиль которой стал для Мэри органичной сущностью. С «Искорками» она была связана с первых дней появления в городе, деткорствовала, «скакала», разумеется, в «легкой кавалерии», а студенткой то и дело заскакивала, забегала в редакцию и однажды оказала нам с Гришей Мейлицевым, репортерам, неоценимую услугу.

В Ленинград приехал Герберт Уэллс, завершавший свой второй визит в Россию. Первый, в 1920-м, он, наоборот, начинал в Петрограде. Было известно, что он неохотно дает интервью, в Москве сказал несколько слов для звукового кино, в нашем же городе никому из журналистов не удавалось пока встретиться с ним. А мы с Гришей ухитрились. Глагол избран правильно: в основе наших действий лежала хитрость. Правда, она не, полностью осуществилась — наполовину, но мы все же повидались с Уэллсом, не пишу — разговаривали, потому что разговаривала с ним Мэри… Разрабатывая план проникновения к

труднодоступному, несговорчивому фантасту, мы, естественно, сразу подумали о нашей приятельнице-англичанке, уверенные, что она согласится нам помочь. И не ошиблись.

Замысел был таков: старик избегает встреч с журналистами, но непременно захочет увидеться с представительницей семьи Мортон, чью историю наверняка знает, не может не знать: в Англии много о ней писали. Он обязательно примет Мэри, а все остальное будет зависеть от нее самой: надо усыпить бдительность собеседника и, незаметно переведя разговор на интервью для детской газеты, ввернуть несколько подготовленных нами вопросиков с ненавязчивой, нетенденциозной формулировкой. («Только так, — говорил Данилов, проверяя наш вопросник. — Чтобы не спугнуть жертву!») О любви к книге, о пользе знаний, о дружбе детей всего мира… В том, что нашей соучастнице это удастся, мы не сомневались: умна и находчива. Раздумывали, идти ли ей одной или вместе с нами. Видимо, для большего камуфляжа разумнее был первый вариант, но очень уж нам с Гришей не терпелось повидать Уэллса, и мы направились в гостиницу «Астория» втроем.

Все шло поначалу как нельзя лучше, в полном согласии с планом. Поднялись на этаж. Мэри постучалась в указанный портье номер, и дверь мгновенно открыл, будто стоял за нею и ждал нас, сам Уэллс. Похоже, он действительно кого-то ждал или собрался уходить: одет не по-домашнему, в строгий вечерний костюм для приемов. Что-то помешало ему пригласить посетительницу в комнаты, он вышел к ней в коридорный холл, и мы с Гришей, замершие в сторонке, возле лифта, слышали их разговор, ни слова не понимая, лишь по тону, по жестикуляции, по мимике догадываясь о его характере. Они говорили сначала стоя, чувствовалось, что Уэллс спешит, потом присели к столику в холле, мы ждали, что Мэри вот-вот вынет приготовленный блокнот из сумочки, но вынул записную книжку ее собеседник, и по интонациям было видно, что вопросы задает он, а не Мэри, что вроде бы не она берет интервью у Уэллса, а он у нее. К нашей грусти, так и получилось. Фамилия Мортон, как мы и думали, была известна писателю, более того, будучи знакомым леди Астор, он участвовал в том пари, и теперь, заинтересовавшись судьбой семейства, переехавшего из Англии в Россию, решил записать рассказ Мэри, а она… она, увлекшись, забыла, что должна не давать, а брать интервью! О чем вспомнила уже после того, как старик, поблагодарив ее и поцеловав ручку, а нам приветственно и не без ехидцы во взоре помахав рукой, удалился в свои апартаменты. И было ясно, что матч закончен с

результатом 1:0 в его пользу, причем мы сами себе забили гол в ворота и реванша не будет. Привыкшие частенько утирать нос соперникам из других газет, опережая их в перехвате «бацилл», сенсаций, мы должны были признать, что на сей раз основательной утирке подверглись наши собственные с Гришей репортерские носы. Но все-таки — все-таки! — мы были единственные ленинградские журналисты, которые ухитрились встретиться с недосягаемым Уэллсом. Это утешало в какой-то мере.

И еще о «бациллах». Однажды попалась под карандаш такая, что и вспоминать совестно. Но буду правдив и объективен. Сохранилось наглядное доказательство моего позора, обрывок старой фотографии, на которой юный репортеришка берет интервью у человека в огромном лохматом малахае, в полосатом халате. Это я, обставив всех конкурентов, всех их обскакав, «догнал» всадника — разыскал и приволок в редакцию участника конного пробега Ашхабад — Москва. О героях-туркменах, совершивших бросок через пустыню, писали в центральных газетах. И вдруг один из них объявился в Ленинграде. Где и как я его нашел — убейте, не могу вспомнить. Факт, что нашел! Сам по себе красочный рассказ конника был расцвечен еще и моей фантазией. И когда я отдиктовал его машинистке Лиле, первой и беспощадной оценщице наших литературных потуг, она, бесстрастно отстучав вдохновенное сочинение, сказала как бы мимоходом, глядясь в зеркальце и подкрашивая губки:

— Красиво… А я у этого твоего кавалериста вчера на Кузнечном рынке урюк покупала, хочешь угощу? — и протянула кулек. Урюк был деталью, несколько нарушавшей героический портрет. А затем последовал добивающий удар: в полном списке участников пробега, присланном из ТАССа, моего ашхабадца не обнаружилось…

4

Приходил, нет, лишь единственный раз пришел в редакцию непомерно высокий молодой человек в длинной военной шинели, из-под которой выглядывали обмотки. Он задел головой притолоку двери, отчего закачалась, дребезжа, вся полустеклянная перегородка, отделявшая большую комнату со столами литсотрудников от маленькой, где сидели два секретаря: ответственный и литературный — Константин Игнатьевич Высоковский, для всех нас дядя Костя. Вошедший, растерявшись из-за своей неловкости и поэтому сильно заикаясь, сказал, что он

«м-московский поэт», назвался, но фамилия, произнесенная с еще большим заиканием и начинавшаяся тоже на «м-м», никакого впечатления на дядю Костю не произвела. Поэт выложил из планшетки на стол несколько страничек машинописного текста, не очень четкого, третий или даже четвертый экземпляр, что уже, надо полагать, вызвало раздражение у Константина Игнатьевича. Он проглядел, пролистал сочинение, хотел, похоже, произнести строгие слова, но, глянув на робко взирающего с высоты своего роста автора, сказал снисходительно:

— Стих, знаете, крепкий, грамотный, но мы поэм не п-печатаем.

Это неожиданное заикание, которое конечно же было у никогда не заикавшегося Высоковского случайным, непроизвольным, могло показаться передразниванием, и дядя Костя, желая исправиться, сказал:

— Из-звините, — снова заикаясь.

— Извините! — сказал, не заикаясь, поэт и удалился.

Через некоторое время «Ленинские искры» перепечатали на полном развороте из журнала «Пионер» поэму Сергея Михалкова «Дядя Степа».

Этот эпизод был долго в редакции поводом для шуток о том, «как дядя Костя прозевал дядю Степу», но авторитета Константина Игнатьевича Высоковского в наших глазах не поколебал.

Старше всех нас в редакции — таких, как Гусев, Данилов, Таубин, Белилов, на 8—10, а таких, как Гриша Мейлицев, Мотя Фролов, Сева Игнатьев, Саша Липчин, я, недавние деткоры, на все 18—20 лет, он пришел в «Искорки» из «академии Маршака». Так называли детский отдел Гослитиздата, руководимый Самуилом Яковлевичем Маршаком и знаменитый тем, что на долгие годы, а лучше сказать, навсегда, определил стиль и класс советской литературы для детей. Что-то там произошло, какая-то размолвка с властным «президентом», и никогда ни перед кем не гнущийся Константин Игнатьевич «переехал» с Невского из Дома книги к нам на Фонтанку, принеся с собой дух и принципы маршаковской школы, которые, несмотря на личные расхождения, исповедовал всю жизнь: писать для ребят, как для взрослых, только еще лучше, не сюсюкать, не расстилаться, не заискивать перед ними, не болтать праздно, а вести дельный, серьезный разговор на базе твердого знания того, о чем пишешь. Эти постулаты он внедрял, вколачивал в нас беспощадно. На стенке над его столом висел плакатик: «Рукописи с пустопорожней болтовней не принимаются!»

…Минувшей ночью привиделся сон, который спешу занести

на бумагу: сны быстро забываются в деталях.

Где-то за границей я, в туристской поездке.

Старинный городок, дома́ в готическом стиле.

А гостиница, где мы остановились, не по городку — из современных многоэтажных, похожая на нью-йоркскую «Говернор Клинтон» на 7-й авеню, живу, как и там, на 33-м этаже.

Объявлен отъезд через два часа.

Прошвырнулся последний раз по улицам, возвращаюсь к отелю: навстречу дядя Костя Высоковский в своей шубейке на рыбьем меху, с парусиновым портфельчиком под мышкой.

Живет в этом городке постоянно. Один.

Спрашивает, как я живу, чем занимаюсь.

Говорю, что сочиняю книгу о своей молодости, об «Искорках», о нем будет.

«Хочешь, — говорю, — прочту кусочек?»

«Давай, — усмехается. — Посмотрим, пошли ли тебе впрок мои уроки. Небось пустых слов нашвырял, красивости всякой…»

Подходим к гостинице, а у подъезда уже автобус подан. И наши туристы спускаются с чемоданами. Все знают дядю Костю, здороваются с ним.

Без помощи лифта, минуя лестницу, оказываемся в моем номере, который, пока я гулял, превратился в вокзальную камеру хранения со множеством ящиков. В одном из них моя рукопись, но я не могу открыть его: забыл шифр. И вдруг все дверцы распахиваются — и на нас с дядей Костей обрушивается бумажный водопад. Я роюсь в этой все нарастающей груде, а своей рукописи не нахожу. А с улицы уже сигналит гудком автобус. Я роюсь, разгребаю — все не то, не то. Какая обида! Куда девалось мое сочинение? Дядя Костя говорит: «Наврал, приятель. Книгу он пишет! Как был газетным репортеришкой, так и остался, на большее не способен…» — «Подожди немножко, — умоляю, — сейчас найду, ты знаешь, как важно твое мнение…» — «Не подхалимничай, нечего мне тут делать, меня ждут действительно книги». И исчезает. А как только исчезает, находится, выныривает из-под груды других моя рукопись. Мой почерк, мои слова. Но что такое? Почерк остается моим, а слова вылезают чужие, мне не принадлежащие. «Где мои, где мои?» — просыпаюсь я с криком и продолжаю, ошалевший, искать свои слова.

5

Приходил Зощенко.

Мрачноватая наружность Михаила Михайловича,

контуженного и отравленного газами на войне, со смуглым, но не одного тона, — в верхней части, к вискам, темнее, — редко улыбающимся лицом, контрастировавшая с его смешными рассказами и сочетавшаяся в то же время с изысканно-утонченной вежливостью, медленная, размеренная походка опирающегося на палочку еще далеко не старого человека, которого, казалось, никакие катаклизмы и бури не заставят прибавить шагу, такая же медленная, тоже как бы опирающаяся на палочку речь с меланхолическими интонациями — все это и прочее описано в мемуарах, в частности, у Корнея Чуковского, у Михаила Слонимского (прекрасные воспоминания!), у Леонида Рахманова и, наконец, у Валентина Катаева в романе «Алмазный мой венец», остроумно названного кем-то романом-кроссвордом, поскольку в нем все реально существовавшие персонажи зашифрованы под псевдонимы-клички, с разной степенью трудности (или легкости) угадываемые читателями. Зощенко в этом кроссворде — штабс-капитан.

Нет, я не собираюсь конкурировать на равных с вышеназванными и неназванными маститыми воспоминателями. Не имею на это права: не был я знаком с Зощенко, хотя много раз видел, никогда не разговаривал с ним, хотя неоднократно слыхал, как он с другими говорил. И все же осмеливаюсь подать свой голос в общий хор мемуаристов, себя к ним не причисляя и понимая, что вряд ли буду в этом хоре расслышан. Но мне удалось однажды побывать (не лучше ли в данном случае употребить глагол «проникнуть»?) в святая святых писателя — в его рабочем кабинете на сестрорецкой даче. Я не знаю, была ли эта дача собственностью писателя или он снимал ее на лето. Мы, то есть наши родители, свою снимали, и она стояла, чуть наискосок, напротив зощенковской. Мы почти каждое лето ездили в Сестрорецк и всякий раз жили на новом месте. И не потому что мама не ладила с хозяевами, просто она выискивала что-нибудь подешевле — цены росли год от года. В тот раз, кажется, в 28 году, был снят флигелек близ вокзала, на Литейной улице, выходившей к Гагарке, полузаболоченной речушке — рукавку Сестры-реки; Гагарка впадала за железнодорожным мостом в Финский залив. Место тихое и скромное, особенно в сравнении со знаменитыми Дубками с их шикарным пляжем, где еще процветавшая, но уже предчувствовавшая близкий закат нэповская публика располагалась не столько для того, чтобы купаться и загорать, как пощеголять друг перед другом невероятной расцветкой и причудливой формой своих купальников, зонтиков от солнца, шезлонгов.

Литейная была улицей как бы в два этажа: правая, наша,

сторона возвышалась над левой, приютившей дачи в низине, в овраге, — от нас виднелись лишь их крыши и среди них зеленая гофрированная крыша дачи Зощенко; на расстоянии чудилось, что с улицы можно шагнуть прямо на эту крышу. На нее частенько залетал и скатывался футбольный мяч, который гоняли мы с Валькой Зощенко, чуть помоложе меня, чистым цыганенком и по колеру, и по ухваткам; маленький, верткий, цепкий, хоть в цирк отдавай в гуттаперчевые мальчики.

Надо сказать, что к этой поре у меня, перешагнувшего на второй десяток лет, накопился уже некоторый опыт общения с детьми и потомками известных писателей.

Назову Бобу Чуковского, долговязого и длинношеего акселерата (по нынешней терминологии) из девятого класса, который в отличие от своих сверстников, откровенно презиравших мелочевку из первой ступени, благоволил к нам и все переменки, малые и большую, торчал на верхнем, четвертом этаже школы, где размещались младшие классы. В своем потертом, возможно еще отцовском, гимназическом кителе он возвышался среди нас, как Гулливер среди лилипутов. Мы уже знали эту рассказанную Свифтом историю и в охотку играли в нее с Бобой, взбираясь на него, как взбирались на спящего Гулливера лилипуты. А главное, он декламировал стихи отца, по-моему, еще до того, как они появлялись в печати. Причем читал их, как я позже убедился, слушая не раз самого Корнея Ивановича, совершенно папиным голосом со всеми его характерными модуляциями. Боба был, кажется, единственным из клана Чуковских, не отдавшим себя служению литературе, искусству, он стал инженером-гидрологом. В недавних воспоминаниях Рахманова я прочел, что Борис Корнеевич погиб в первый год войны, в боях под Москвой.

Классом младше меня учился красивенький мальчик с именем, соответствовавшим его кудрям и точеному личику — Аполлон. Я запомнил его и по этому редкому, единственному на всю школу имени, и потому, что он хорошо рисовал и его работы показывал нам в пример на своих уроках учитель рисования Дмитрий Карпович Педенко. (Раз уж я вспомнил старенького ворчливого Дмитрия Карповича, скажу про его усы. Они были уже несколько поблекшими по цвету, но закрученными еще довольно лихо, а в полном цвету и в полной лихости вы можете увидеть их на картине Репина «Запорожцы». Дмитрий Карпыч в молодости, выпускником Академии художеств, позировал великому мастеру. И запечатлен на полотне среди хохочущих усатых казаков.)

Мальчик Аполлон был сыном Ильи Садофьева,

пролетарского, как тогда говорили, поэта. Позже, в самом начале тридцатых годов, я занимался у Ильи Ивановича в литературной студии при комсомольской газете «Смена». Мы собирались в самой редакции, но как-то руководитель пригласил нас всех к себе на квартиру — он жил близ Таврического сада. В передней я увидел развешанные по стенкам те самые рисунки, которые показывал на уроках Педенко. Я и прежде порывался сообщить Илье Ивановичу, что учился в одной школе с его сыном, да все случай не выпадал, а вот и подвернулся.

— Что Аполлон? — спросил я. — Что делает?

— Слесарем на Металлическом, где и я когда-то слесарил… — громко и гордо произнес Илья Иванович, словно отвечая не одному человеку, а целой аудитории, но тут же, погасив голос и сменив интонацию, добавил вскользь: — С матерью живет… — И снова повеселел, показывая на вбежавшую в коридор крохотную девчушку: — А вот моя меньшенькая…

Работая над этой повестью, я, как должен был заметить читатель, пытаюсь, поелику возможно, прослеживать судьбы упоминаемых в ней людей. Садофьевы? Со старшим несложно, он — в «Краткой литературной энциклопедии» (том 6, с. 600). Младший? Искать среди художников? Пробовал — не знают такого в их Союзе. И вдруг, как по специальному заказу, пришла книга из Ленинграда — «По одной истории из 50 блокнотов». Издание любопытное, особенно для профессионала: пятьдесят репортеров рассказывают каждый о самом примечательном случае в своей практике. Книгу прислал мне Гриша Мейлицев. С припиской: «Взгляни на мой скромный опус». Гришина статья — «Мальчишка с Манежной площади». Про Котю Мгеброва, 9-летнего мальчика, похороненного на Марсовом поле среди героев революции. По фотографиям, по архивным документам искал Мейлицев людей, знавших питерского Гавроша, и поиск привел его к доктору медицинских наук профессору-рентгенологу Аполлону Ильичу Садофьеву, который дружил с малолетства с Котей и, видно, взрослым предпочел приблизительности рисовальной кисти точность рентгеновского аппарата.

В нашем классе тоже имелись писательские потомки, но более дальние: братья-близнецы Батюшковы, Кирилл и Олег, двоюродные праправнуки Константина Николаевича Батюшкова. В подлинности их происхождения сомнений не возникало прежде всего потому, что к ним с нескрываемым пиететом относилась наша учительница литературы Анна Михайловна Астахова (о ней, известном фольклористе, собирательнице северных сказаний, вы также можете почерпнуть сведения в КЛЭ, т. 1, с. 347). Но вот появились еще два потомка, братья Шевченки, тоже близнецы.

Как звали, забыл, а лица представляю зримо: длинный, глистообразный, с навсегда застывшим бессмысленно-младенческим выражением лица, считавшийся старшим (наверно, на несколько минут раньше обрадовал мир своим появлением), и коротенький, почти квадратный, с некоторыми все-таки проблесками мысли в глазах, обладавший недюжинной физической силой; однажды стукнул, слегка играючи, по парте — и крышка разлетелась вдребезги, впрочем, она могла быть из гнилого дерева, но эффект получился потрясающий. Так вот, эти Шевченки утверждали себя прямыми правнуками великого Кобзаря и ходили в расшитых украинских рубашках. Правда, пиетета к ним со стороны Анны Михайловны что-то не наблюдалось. Это и подвигнуло меня на определенные исследования, в результате которых я установил, что поэт не был женат и прямых потомков у него не значится. Публичное разоблачение, которое я подготовил, не состоялось, так как Анна Михайловна, подтвердившая мои изыскания и выводы, тем не менее отговорила обнародовать их — да и Шевченки эти вскоре куда-то исчезли из нашей школы.

О, совсем забыл про Юрку Лавренева, быстроногого, ловкого, спортивного Юрку из параллельного с нашим класса. У них почти весь класс был такой, спортивный, побеждавший на всех школьных соревнованиях. Из этого класса вышли спортсмены, чьи имена замелькали на страницах газет: боксер Андрей Щупак, чемпион Ленинграда, вторая перчатка страны в полулегком весе; Эдуард Рохлин, рекордсмен СССР в прыжках в высоту, он преодолел 185 сантиметров. (Вы улыбнетесь этой цифре, нынче уже и для женщин пустяковой, но то ведь было 40 лет назад.) Юрка в знаменитости не выбился, наверно, оттого, что разбрасывал свою неуемную энергию: и плавал, и в теннис играл, и подымал штангу, и даже в конноспортивной секции занимался. В школе он был закоперщиком всех игр, всех массовых действ во дворе: и футбол, и чехарда, и лапта. Однажды, играя в лапту, кто-то (мы-то знали кто, только директору Степану Васильевичу не выдали) зафугасил мячом в стеклянную галерею, соединявшую оба здания школы, а мячик был «арабский», тугой, из черной толстой резины и, вылетев со скоростью артснаряда, нанес ущерб, как при землетрясении баллов в восемь: стекла посыпались чуть не со всей галереи… Этот случай имел для меня продолжение во время войны, в Полярном. Я дежурил ночью по Политуправлению Северного флота. С причала, с пирса позвонили, что пришел катер из Мурманска: «Прибыли товарищи с Москвы…» Товарищей было двое, интенданты в очках. С одним мы кинулись обниматься: Коля Михайловский, военный корреспондент

«Правды», бывший деткор «Ленинских искр». Второй тоже был мне знаком, но я не знал, знаком ли я ему. Я назвался: дежурный такой-то… Левая бровь его вскинулась, немного раскосые глаза прищурились, он переспросил:

— Фамилия?

Я повторил.

— А-а, — сказал он, — вот вы где мне, милейший, попадись. Вы не из Пятнадцатой ли школы на Моховой?

— Из Пятнадцатой, — сказал я, пригнув голову для наказания.

— Значит, так, стекла били все вместе, а раскошеливался за них один Юрин папа, поскольку ваш мудрый директор Евстифеев счел его самым состоятельным изо всех родителей башибузуков и всю сумму, чтобы долго не разбираться, содрал с него, с Юриного отца, с писателя Бориса Андреевича Лавренева, имеющего честь прибыть на Северный флот по командировке Главного политуправления, товарищ дежурный капитан-лейтенант… Будете расплачиваться?

— Буду! — сказал я и позвонил на квартиру жене, чтобы приняла гостей.

Но пора возвращаться в Сестрорецк, на Литейную улицу, к даче под зеленой крышей, к футбольному мячу, часто залетавшему на нее. И вдруг влетевшему в распахнутое окно на втором этаже. «Ой! — воскликнул Валька. — Это же папин кабинет!» И понесся в дом. И меня тоже толкнуло за ним. Думаю, что не только желание выручить мяч, Валька справился бы и без меня… Я знал, что Валькин отец — знаменитый писатель. У нас дома выписывали «Бегемот», а Зощенко печатался там в каждом номере. И я хохотал вместе со всеми, когда мама читала вслух про баню, про аристократку, про то, как один человек искал потерянную в трамвае галошу… Я знал всякие смешные словечки из этих рассказов, вроде «ложи́ взад». Как-то журнал пришел без Зощенко, мы хотели звонить в редакцию, узнать, что случилось, и, как видите, я запомнил этот факт до старости… Хотя, как сказано, я уже общался с детьми и потомками писателей, но самих писателей я еще не видел. Зощенко был первый живой писатель в моей жизни. Он приезжал на дачу по субботам, как и наш отец. Медленно шел, опираясь на палочку, по Литейной улице. В отличие от отца, он не тащил на себе ни сумок, ни свертков с продуктами. Раз они ехали в одном вагоне пригородного поезда, вместе шли со станции, и отец, даже в полном грузу ходивший стремительно, всем корпусом вперед, словно преодолевая встречный ветер, жаловался нам, что

умучился, стараясь не опережать спутника… Писатель — пишет. Это было мне ясно. Но как он пишет, где он пишет, за каким письменным столом, в каком кресле? Они же должны быть какие-то особые, как и ручка или карандаш, — нельзя же обычным «хаммером» писать рассказы, от которых обхохочешься… Мы взбежали с Валькой через веранду по деревянной лестнице на второй этаж, Валька раскрыл дверь — и мы очутились в крошечной комнатке, скорее чуланчике, где, кроме кухонного столика и такой же табуретки, ничего не помещалось. Нам, двоим мальчишкам, было тесно, мы натыкались друг на друга, ползая, собирая на полу сметенные мячом со стола листки, исписанные самой заурядной ученической ручкой с перышком № 86, а никак не роскошным гусиным пером, что видел я у Ломоносова на картинке в хрестоматии. Почерк мелкий, но поразительно четкий (Катаев называет его елизаветинским), без помарок, строки прочитываются вмиг, как печатные. Точно такие листки я видел потом в редакции. Михаил Михайлович передавал их машинистке Лиле, и она после его ухода, помахивая ими перед нашими репортерскими носами, говорила:

— Глядите, бумагомаратели, глядите на настоящую работу!

У меня в Москве с месяц назад гостили друзья из Ленинграда — Березкины. Лева, Лев Львович Березкин, мой школьный товарищ, моряк, дед без кавычек и «дед» в кавычках, «дед», как называют на торговых судах старших механиков, по дороге в болгарский порт Русев, где должен принять новый танкер для перегона на Дальний Восток, заехал к нам с женой Аллой. Мы с Левкой знакомы полвека (он еще возникнет в этой книге капитально, с ним связан один из главных ее сюжетов), и нам, что называется, есть о чем совместно вспомнить. Перебираем «живых и мертвых», «бродим» по нашей Моховой, по Пестеля, «вышли» через Фонтанку к Летнему саду и «мотнули» вдруг по какому-то поводу в Сестрорецк. Алла, погрузившаяся вместе с моей Валентиной в последнюю «Бурду», журнал мод, тем не менее, услышав про Сестрорецк, откликнулась:

— У нас дача в Сестрорецке…

— Где? — спрашиваю.

— В Рыбацком.

— Что-то не знаю такого?

— Поселок за Гагаркой.

— За Гагаркой? Там же сплошное болото.

— Э, брат, безнадежно отстал. Давно все осушено, застроено дачами, а нынче и их собираются, к нашей беде, сносить. Пойдут кварталы многоэтажных домов. С двух сторон. Со стороны

Литейной и с Приморского шоссе.

— Литейная! Мы жили на Литейной…

— Дышит на ладан твоя улочка, — сказала Алла.

— Ну почему на ладан? — поправил Лева. — Проспектом будет. Вольется в Приморское, в мощную магистраль. Ленинград вбирает, всасывает в себя Сестрорецк. А хочешь повидать прежнюю Литейную, спеши, пока еще сохранилось несколько старых дач. Где ваша-то стояла?

— Как свернуть от вокзала, от Дубковского шоссе, примерно посередине.

— По какой середине? Слева или справа?

— Справа, это я точно помню.

— Вот тут, знаешь, кое-что еще осталось. Приезжай.

Лева пригласил полушутя, а меня вдруг всерьез потянуло в Сестрорецк. И я сказал:

— Приедем!

Не претендую на оригинальность: к старости нарастет ностальгия по местам детства, юности. После войны жил ведь несколько лет в Ленинграде, бывал не раз по редакционным заданиям «Вечерки» на Сестрорецком инструментальном, да и позже, живя уже в столице, работая в «Огоньке», приезжал на этот известный завод по командировкам журнала — и никогда не заглядывал на левую, дачную сторону городка, на Литейную, на Гагарку, в Дубки, где прошумело мое детство. И где, между прочим, в ту пору, пятьдесят лет назад, была мне «запрограммирована» будущая работа в «Огоньке». А случилось это так.

Мы с мамой отправились на станцию встречать отца. Он приезжал, помните, по субботам, нагруженный снедью «дачный муж-мученик», бытовало тогда такое выражение. Я сжимал в ладони медяки: в субботу, в станционный киоск поступали новые журналы. Мама прошла по перрону вперед, села на скамью, а я занял очередь к газетчику. Он еще только распаковывал толстые пачки, делал это медленно, а очередь выстроилась длинная, и я волновался, что не дождусь. Придет поезд, и меня уволокут домой. Но вот киоскер начал наконец распродажу, кто-то сердобольный пропустил мальчонку; впереди себя, и я, схватив свеженький зеленообложечный «Огонек», кинулся, листая его на бегу, к маме. Она закричала мне вдруг навстречу. «Осторожно!» Но сдержать бег я уже не успел, и вот так, с распахнутым журналом, врезался в группу пограничников, неожиданно появившихся на перроне с собаками. Защищая хозяина, на которого я наткнулся, одна из ищеек хватанула нарушителя за самое удобное для этого место и совершила сие с таким тщанием,

что я до сих пор храню на себе глубокие следы ее преданности своему поводырю.

Что было дальше?

Мама, обычно шумная, экспансивная женщина, в подобного рода ситуациях становилась неузнаваемой: сама сдержанность, четкость действий, спокойствие. Так повела она себя и на сестрорецком вокзале. Тем более что у нее уже имелся некоторый опыт на собачьем фронте. В предыдущее лето, изменив Сестрорецку, мы жили на даче в Луге. Фамилия хозяина — Гиль, кажется, родственник шофера Ленина. У хозяина дачи была охотничья собака, великолепный пес, похожий на Белого Бима Черное Ухо, такой же добряк и умница. Мы, ребятишки, обожали с ним возиться, а он особое предпочтение отдавал Машеньке, девочке с соседней дачи, был ее верным стражем и защитником. И вдруг довольно сильно покусал Машеньку. Она с плачем побежала к бабушке, та попросила Гиля впредь держать пса на привязи, но Гиль принял более решительные меры: он застрелил собаку и зарыл в саду. Вот тут и выступила на авансцену наша мама. Сдержанно, спокойно потребовала экспертизы. Хозяин заартачился: убита — зарыта. Мама — в милицию. Заставили откопать, отрубить голову, отвезти в Пастеровский институт. Заключение: бешенство. Машеньку увезли на уколы. Помню, что долгие годы, вплоть до самой войны, ее родители присылали маме новогодние поздравительные открытки с непременной благодарностью за спасение их девочки.

Пограничная собака была конечно же вне подозрений. И все же мама вступила в переговоры с молоденьким командиром пограничников, носившим два «кубаря» в петлицах, по-нынешнему — лейтенантом. Спокойно договорились обо всем необходимом в таких случаях и прежде всего о ветеринарной справке на собаку. В понедельник за этой бумагой поехал в Белоостров, в штаб погранотряда, мой старший брат Валька, но вернулся без нее, произошла какая-то задержка с оформлением. И мама повезла меня к «Пастеру» на Петроградскую сторону. Я получил укол в живот. Второго не последовало, прибыл документ: овчарка в полном здравии… Через много-много лет я познакомился с генералом А. из пограничных войск. Сюжет требует, чтобы он оказался тем самым лейтенантом с сестрорецкого перрона. И я не могу не уступить требованиям сюжета. Генерал помнил тот случай, помнил пса. Это был ставший впоследствии знаменитым Азиат. Опробовав впервые молодые зубы на будущем специальном корреспонденте «Огонька» и определив этим его карьеру, Азиат за время долголетней службы на границе участвовал в задержании 119

нарушителей.

Сюжет есть сюжет, и он развивается.

Мысль о свидании с Сестрорецком не оставляла меня и вскоре осуществилась.

В день отъезда произошел эпизод, придавший всей поездке символический, если хотите, характер.

Я стоял на Беговой улице в ожидании троллейбуса. А машина все не шла и не шла. «Пока водители в «козла» не добьют, не дождешься, а потом гуськом потянутся…» — сказали в очереди. Я торопился и, увидев показавшийся на мосту трамвай, который тоже мне годился, побежал ему навстречу через дорогу к остановке. А мне навстречу, наперерез из проезжавшего мимо «жигуленка» выкатился в неожиданно приоткрывшуюся дверцу бесформенный комок шерсти с зубами. Крошечный собакевич, столкнувшись с препятствием, в прыжке ловко цапнул меня чуть пониже исторического в моей жизни, пятидесятилетней давности, укуса. В происшедшем можно было углядеть некий вещий знак, напутствие свыше и уж, во всяком случае, совершенно определенную связь времен.

Она, связь времен, если перейти от шутки к серьезному тону, сопутствовала мне, а скорее сказать, преследовала меня во все дни пребывания в Сестрорецке.

В первое же утро на даче у Березкиных мы поднялись с Валентиной пораньше, пока хозяева спали, и тихонечко, дабы их не разбудить, отправились на розыски следов моего детства. Мы вышли проулком к левому берегу Гагарки, бывшему болоту, и упомянутых «следов» здесь, естественно, обнаружить не могли. Хотя когда-то мы, мальчишки, бывали и на болоте — лазали за клюквой, за кувшинками, вторгаясь в лягушачье царство. Гагарка была вся в густой тине, в которой и лодки застревали, и, чтобы перебраться с берега на берег, приходилось совершать солидный, чуть не с километр, крюк к железнодорожному мосту. Теперь через Гагарку перебросили еще один, широкий, железобетонный, прямо к Литейной, как раз и соединяющий ее с Приморским шоссе. А сама Гагарка очищена и превратилась в гавань для баркасов, мотоботов, катеров; уходящих отсюда на рыбный промысел в залив. По ассоциации, по контрасту с этими суденышками — вон одно с грозным именем «Корсар» на борту продирается, постукивая дизельком, к устью — я подумал о больших океанских кораблях, которые проектирует в своем КБ Шурик Н., лауреат, профессор, доктор технических наук; с ним мы в малолетстве тоже, как и с Валькой Зощенко, гоняли в футбол и лазали за клюквой на болото. А вот и дача, где жил с матерью Шурик, ее легко отличить, от соседних по кирпичному

нижнему этажу и наружной лестнице в деревянную мансарду. Правый берег Гагарки в нетронутости, годы, война пощадили его, все дачи здесь старые, памятные мне, я узнаю́ их. Узна́ю ли нашу на Литейной, если сохранилась?

День воскресный, час ранний, улица еще не проснулась. Мы единственные на ней прохожие. Шуршит под ногами щебенка, которой сплошь покрыты и проезжая часть, и дорожка-тротуарчик вдоль заборов: Литейную готовят под бетонное покрытие, чтобы не уступала Приморскому шоссе, куда вольется. И негде нынешним мальчишкам гонять здесь в футбол… Я вглядываюсь в строения четной стороны, в уцелевшие старые номерные знаки, сами номера еще просматриваются сквозь ржавчину, а стоявшие когда-то на табличках имена владельцев уже и не прочтешь. Вот три буковки на одной вижу: «Фир…» Память сразу подсказывает: Фирфаровы, и тут же к ним подстраиваются, возникают Архапотковы, Бобровы, Емельяновы, Борисовы, самые распространенные прежде в Сестрорецке фамилии. Они мелькают и на страницах недавно вышедшего толстого тома «Истории Сестрорецкого завода». Раньше оружейного, теперь инструментального, поставленного на Сестре-реке Петром Первым, по указу которого свозились сюда с Олонецких заводов «на вспоможение» мастера, «работные люди». Уже тогда, судя по хранящимся в заводском музее спискам, были среди них Фирфаровы, Бобровы, Емельяновы, разросшиеся с годами: в широко разветвленные семьи, или, как любят сейчас писать в газетах, трудовые династии… Одно лето мы жили с мамой у Бобровых на Дубковском, совсем близко от взморья, от пляжа. У хозяйки был крошечный, годовалый мальчонка, ужасный крикун, не умолкавший и в минуты кормления, когда все младенцы обычно молчат. Опять сюжет требует, чтобы этого вопилу звали Севкой и чтобы именно из него вырос Всеволод Бобров, сестрорецкий уроженец, краса и гордость советского спорта, только что скончавшийся, о чем читаю в лежащей передо мной газете. Но в данном случае я настояниям сюжета не уступлю, против истины грешить не буду. Не помню, как звали того горлопанчика, и утверждать, что это и был будущий прославленный форвард, не смею, хотя возраст примерно совпадает… Из многочисленных же сестрорецких Емельяновых я знал Николая Александровича и Надежду Кондратьевну, у которых скрывался Ленин. Знал — сказано, пожалуй, с преувеличением, видел однажды и разговаривал, когда во второй половине пятидесятых годов приезжал к ним в Разлив вскоре после того, как они вернулись в родной дом и ждали возвращения сыновей…

Но все-таки, какая же тут из дач — «наша»? Их с десяток, все схожие, на один манер, в три-четыре окна по фасаду, с терраской, с мансардочкой, крыша толевая, давно не подновлялись, не красились в ожидании предназначенного им сноса, а крайняя к Гагарке уже и снесена, примыкающая к ней заколочена, брошена.

— Кажется, вот этот, — говорю я жене, показывая на домишко под номером 12, в середине улицы. — А может, этот, соседний, десятый. Терраса была вроде, как у него, справа…

— А я бы нашу избу в Раглицах твердо опознала, — говорит с печалью Валя. Она с Новгородчины, из лесного края, крестьянская дочь, не была на родине с детских лет, как вывезли в Ленинград. Последние годы все собиралась со своей подругой-землячкой Ольгой съездить в Раглицы, — путь туда сложный, это далеко от железной дороги, вместе добираться лесом веселее, — уж совсем было собрались, срок назначили, потом отложили по каким-то домашним обстоятельствам, опять списались, сговорились, снова отложили, а потом Ольгу увезли в больницу с инфарктом и она умерла. Вот так наоткладывались, в нашем возрасте это рискованно. Валентина ходит со мной по Сестрорецку, а сама мысленно вся там, в своей деревне, потому и в голосе у нее печаль, и я обещаю сопроводить ее в родные места, как только решит туда ехать.

— Это ты под настроение, — говорит она. — Засуетишься, завертишься в Москве, вытащишь тебя…

— Клятвенно обещаю! — говорю я, добрый сейчас и сговорчивый. — Непременно съездим.

К нашему разговору прислушивается старушка — божий одуванчик, выглядывающая из раскрытого окна. Видно, не спалось, поднялась раньше всех в доме, присела к подоконнику воздухом подышать, что-то жует, вернее, разминает беззубым ртом.

— Бабушка, — спрашиваю, — вы давно здесь живете?

— Давным-давненько, дедушка…

Одуванчик-то с зубками — «дедушку» мне выдала.

— И с какой поры?

— Ох, с давней, сразу опосля войны. Старче нас тут и нету никого.

А моя «пора» — двадцатые годы…

Я говорил, что у Литейной как бы два этажа. Теперь у нее две жизни. Доживаемая и нарождающаяся… Мне не очень удаются иносказания. Перейду к языку точной прозы, которой обучался когда-то у дяди Кости Высоковского. Он бы беспощадно вымарал у меня «две жизни», заставив написать без литературных ухищрений, без «штучек-дрючек». Так и пишу: вся низменная,

овражная сторона улицы превращена в строительную площадку. Здесь властвует («Опять кокетничаешь…» — сказал бы Константин Игнатьевич, но я бы все-таки уговорил его оставить это слово «властвует» вместо «хозяйничает») Ленинградглавстрой, о чем оповещено на всех ограждающих стройку заборах, на крановых стрелах, на возведенных этажах, на синих передвижных вагончиках. Меж них — этих «диспетчерских», «прорабских», «бытовок», вылезших уже и на возвышенную часть улицы, подступающих к ее сохранившимся пока дачам — мы и пробираемся с Валентиной к оврагу в поисках дачи Зощенко, то есть того, что могло от нее остаться.

Подчиняясь азимуту моей памяти, я держу путь немного наискосок к долженствующей тут быть деревянной лестнице, хотя понимаю, что вряд ли она уцелела, когда все кругом подвергалось сокрушению, которое предшествует всякому созиданию… Уцелела! Вот она. Пусть половина ступенек сгнила, пусть торчат лишь стойки без поручней, но она та самая, та самая лестничка моего детства, и я радуюсь встрече с ней, как с живым существом, и сбегаю по сохранившимся ступенькам, перепрыгиваю через провалы, честное слово, стой же прытью, как и полвека назад.

— Осторожней, не вляпайся… — возвращает к реальности голос жены, каким-то образом прежде меня оказавшейся внизу.

Мы стоим перед фундаментом снесенного дома, и я ищу в груде железа, дерева, стекла, толя доказательств, что это остатки т о й дачи. Ведь слева и справа такие же фундаменты, такие же руины, не расчищенные еще под строительство. В начале этой главки я писал, что у дачи Зощенко, в отличие от соседних, была зеленая гофрированная крыша. Вот кусок такой крыши — гофрированный, еще не потерявший своего зеленого цвета. И вот из подобной же толстой жести, но со следами голубой краски, поваленная наземь высокая круглая лечь. Я помню ее, стоявшую в комнате, где мы с Валькой играли, бывало, на ковре. И печка становилась в нашем воображении то сторожевой башней, то замком, то крепостью, в зависимости от сюжета игры…

Мимо разбитых садовых скамеек, мимо кустов одичавшей малины, мимо клена («Нет, это черная ольха», — сказала, вглядевшись, Валентина, лучше меня понимающая в деревьях) с прибитым к стволу электрощитом с рубильником, щадя и потому минуя дряхлую лестничку, поднимаемся из оврага к синим передвижным вагончикам. Возле одного из них плещется у рукомойника человек в такой же синей, как его жилье, майке. Увидел нас, спросил:

— Вы чего или кого разыскиваете?

— Зощенко ищем… — сказал я.

— Кто будет? На стройке у нас нет такого.

— Это — писатель…

— Как, говорите, фамилия? Зощенко? На мою похожа, я — Ищенко. А звать как?

— Михал Михалыч.

— Скажи пожалуйста, даже тезка мой, только я Григорьич… А чего он пишет?

— Он умер, — говорю я. — И похоронен на сестрорецком кладбище, в дюнах. А вон там, внизу, была его дача.

— А-а, слыхал, слыхал… Зощенко, значит? Спрошу в библиотеке.

Продолжаем движение по компасу моей памяти. Выходим к Дубковскому шоссе, соединяющему привокзальную площадь, на которой мы сейчас оказались, со взморьем, с пляжем. Станционное здание то же, что и пятьдесят лет назад, даже того же зеленого цвета, и своей старомодной деревянной конструкцией подчеркивает современность недавно возведенной чуть в стороне железобетонной пассажирской платформы. Вокзал не ухожен, как обреченный, видно, на слом. Ищу глазами место, где стоял газетный киоск, и нахожу темный квадратик земли из-под него — сам киоск перенесен неподалеку, к почте на площади. Покупаю там только что поступивший последний номер «Огонька». Не говорю — свежий, потому что он почти недельной давности в отличие от тех, которые в пору моего детства доставлялись в Сестрорецк в день выхода в Москве…

Почта тоже старенькая, с «моих» времен. Привокзальную площадь реконструируют, и, странное дело, ни почту, ни аптеку, находящуюся рядом, не переселяют, дряхлые их дощатые строения не трогают, даже, судя по крышам, подновляют, подлатывают, а вот здание напротив колотят-колотят и никак развалить не могут, настолько мощны его толстые кирпичные стены, его фундамент, поставленные в прошлом веке. Собираются взрывать. Наверно, у строителей есть какие-то резоны для разрушения того, что еще крепко стоит. Но мне, темному человеку в их делах, так этих резонов, этой логики и не понять, в каковом невежестве не стыжусь признаться. Тем более что я видел обновленную Моховую, ее дома, переживающие второе рождение в старых нетронутых стенах.

Перекресток возле аптеки и почты называли, помню, «перекрестком Мэри». И помню девицу, которая дала ему это наименование, красотку лет восемнадцати, возникавшую здесь в солнечные, утра, — а в Сестрорецке и в самый разгар лета не всякое утро солнечное, — когда потоки дачников устремляются со всех сторон к пляжу. Я никогда не видел на Мэри одних и тех

же туалетов. Она уже в то время носила то, что называется сейчас брючным костюмом, и это было, для того времени настолько эпатажно (можно так сказать?), что никто из самых смелых модниц не решался ей подражать. В тот самый миг, как только Мэри появлялась на перекрестке, она обрастала свитой, плотным кольцом из юношей примерно ее возраста, которые сопровождали принцессу в качестве рыцарей и пажей на пляж. Этот кортеж двигался по Дубковскому шоссе, а сбоку, не подпускаемая близко, семенила, суетилась мелочевка вроде будущего автора этой книги, будущего корабела Шурки, совсем крошечного Вальки Зощенко, который в силу своей гуттаперчевости выскакивал вдруг в середину торжественной процессии, тут же получал пинка от кого-то из рыцарей и отбрасывался к кювету, но через минуту снова выпрыгивал в эпицентр, чтобы отлететь уже и за кювет… В само́й свите Мэри была своя иерархия, были интриги, как и полагается им быть вокруг царственной особы. Кто-то выбивался из пажей в рыцари, кто-то торжествовал в фаворитах, кто-то впадал в немилость. Впрочем, как взлеты, так и ниспровержения длились недолго: по дороге на пляж наиболее приближенный телохранитель, которому доверено нести махровое полотенце фантастической окраски, на пляже — жалкий изгой, томящийся в отвергнутости, а с пляжа снова, ликуя, несет полотенце. Чаще других этой чести удостаивались Игорь А. и мой старший брат. Он, Валька, при недавней нашей встрече заявил, что знать не знал никакой Мэри и вообще я стругаю про него такое в своей книженции, что ему будет стыдно перед людьми. «Но хотя он мне брат, истина для меня дороже, и я ее буду отстаивать: чаще других полотенца Мэри таскали Игорь А. и Валька… Игорь А. тоже учился в Тенишевке, по-моему, в одном классе с Бобой Чуковским, которому не уступал в росте, а в ширине плеч значительно превосходил его. Жил он на Гагаринской возле Невы и по меньшей мере дважды на день, в школу и из школы, пробегал по правой стороне Моховой мимо маминого балкона. После окончания школы маршрут Игоря, естественно, изменился, но лето-другое он еще появлялся на сестрорецком пляже в свите Мэри, а затем вдруг вовсе исчез, и я встретил его года за два до войны, когда наш флагманский ледокол зашел в бухту Угольную на Чукотке пополнить свои бункера и к борту пришвартовался катерок с начальником зимовки, и это был Игорь А., которого я не сразу узнал из-за бороды, не тронутой еще ни единой сединкой. Седую его бородищу я вижу сейчас: он глядит на меня с вкладки с иллюстрациями к только что купленной книге о Чукотке. Подпись под фотографией: «…ветеран Арктики, вот уже полвека зимующий на полярных станциях». Таким образом, мы

проследили судьбу одного из рыцарей красавицы Мэри. Что невозможно сделать в отношении ее самой, бесследно пропавшей с горизонта, и не только сестрорецкого, где-то в начале тридцатых годов вместе со своим отцом, знаменитым парикмахером Полем, владельцем нескольких брадобрейных заведений в Ленинграде. Главное из них, занимавшее весь первый этаж огромного дома на улице Пестеля и украшенное многоцветными витражами наподобие собора Парижской богоматери, сохранилось до сих пор. И хотя давно принадлежит районному комбинату бытового обслуживания, старожилами, вроде моего друга Левы Березкина, именуется не иначе как «парикмахерская Поля».

От «перекрестка Мэри» Дубковское шоссе, раз-другой неохотно ответвившись к стоящим в глубине дачам, устремляемся напрямую к заливу, и я глазами памяти ищу яйцевидное окошко-просвет, который образовывали кроны деревьев, высаженных вдоль побережья. Первые посадки производил здесь собственноручно Петр Первый: его молоденькие дубки — по ним и название местности — разрослись с годами в исполинов, каждый, в четыре-пять обхватов, а нас, ребятни, требовалось с десяток, дабы окольцевать такого гренадера. «Яйцо» что-то долго не вырисовывалось, а пора бы, насколько я помню. Наконец его очертания начинают возникать, но какие-то рваные, как бы небрежно, клочьями выстриженные, и это удивляет на фоне раскинувшегося вокруг гладко причесанного, местами даже завитого и, я бы сказал, напомаженного парка. Он раскосмечен, расфранчен зазывными вывесками кафе и бутербродных, ярмарочными будками с сувенирами, цветистыми аттракционами детского городка, свежевыкрашенными трибунами ипподрома, по кругу которого проезжают сейчас на откормленных лошадках вальяжные амазонки.

По мере приближения к заливу понимаешь, что́ произошло с «яйцом», какие страшные «ножницы» прошлись по петровской зеленой гвардии. Она изувечена, исколошмачена, обожжена немецкой артиллерией, много дней подряд бившей сюда прямой наводкой с близкого противоположного берега. Часть деревьев была поражена насмерть, их не удалось спасти, и лишь пни остались надгробными им памятниками. А вот стоят ветераны — инвалиды Великой Отечественной. И я не совершаю кощунства, называя их так, приравнивая к людям; к героям войны. Они стоят со следами тяжких ранений, как этот гигант, у которого выжжена половина ствола, а крона не поддалась, не потеряла своей гущины, поддержанная, судя по металлической дощечке на стволе, врачевателями из лесопаркового хозяйства. Такие

номерные знаки, словно таблички на больничных койках, — на всех оставшихся в живых деревьях: не брошены, не забыты, продолжают курс лечения. Вот у соседа того, что с густой кроной, мертвы все ветви, кроме одной-одинешенькой веточки, сохранившейся на самом верху, на макушке, как крошечный зеленый околышек на фуражке ветерана. А рядом трогательно прижались к солдатскому плечу две березки, чьи корни переплелись с корнями израненного дуба, они питают друг друга, но, похоже, одна из березок, та, что слева, понастойчивей, она явно «отжимает», теснит подружку-соперницу, желая в единственном числе утвердить свое право на супружество… Что напоминают, с чем сравнить омертвелые, голые, причудливо изогнутые ветви пострадавших в войну деревьев, каждую в отдельности и в общем их мрачном рисунке? Моего убогого, приземленного воображения не хватает для этого. Вот бы сюда нашу шестилетнюю внучку Аленку-«сыроежку», прозванную так дома за пристрастие к сыру, который предпочитает любой еде. Фантазерка-выдумщица, она способна часами играть в одиночестве на полу с невидимыми персонажами, соединяя в едином сюжете, скажем, в спасении марк-твеновской тети Полли из болотных водорослей, куда та угодила и застряла по рассеянности (такого эпизода в книге нет, но Аленка никогда плагиатом и не занимается), старика Хоттабыча, Алису из Зазеркалья, стойкого оловянного солдатика, гуся Дорофея, Кота в сапогах, Аладдина с волшебной лампой, Снегурочку, Хитрого портняжку, Ерша Ершовича, Хозяйку медной горы, которые, несмотря на различие характеров, превосходно уживаются под крышей Аленкиной фантазии. Вот навыдумывала, навоображала бы она здесь, в Дубках, глядя на эти ветви-руки, распростертые как на распятье, протянутые к небесам, свисающие в бессилии долу, взывающие к нам, молящиеся и умоляющие. Впрочем, хорошо, что девочка их не видит…

Час уже не ранний, ближе к полдню. Самое пляжное время в такое солнечное утро, как сейчас. Но что-то не видели мы спешащих к морю людей. Да и вообще в парке не очень-то людно. А день воскресный. Странно… Вышли мы с Валентиной к пляжу. То есть к месту, где он находился в «мое» время. Нет пляжа. Нет под ногами золотистого мягонького песочка, ребристо укатанного волнами возле уреза воды. Все забетонировано. И путь к морю прегражден длинным забором из стальных шпунтов с многократно повторенной надписью белилами: «Купаться строго запрещено!» Молодой человек, бойко кативший впереди нас по бетону коляску с младенцем и остановленный мною для расспроса, объяснил:

— Лет десять назад начали строить шикарный причал для прогулочных судов. Возвели каменные террасы с колоннами и балюстрадой, видите? Уложили вдоль берега гранитные плиты. Вон они, в воде. Редкостный, особый гранит. Розовый. Откуда-то издалека везли… И внезапно остановили все работы, убрали краны, законсервировали стройку. Вот уже который год, пятый или шестой, ни пляжа, ни пристани…

— А где же купаться, загорать?

— В Ермоловке. В Солнечной. Там устроены великолепные пляжи.

— Но это ведь далеко отсюда, от Дубков. От парка с его кафе, аттракционами.

— Потому и пустовато тут в солнечную погоду. Все устремляются на пляжи. Так уж получилось.

— Странно, странно… — говорю я.

И это же пишу: странно! Затратить столько труда, столько денег, не одну сотню тысяч, наверно, и все бросить на корню. Темный я человек в строительных делах, темный…

Затянувшийся постскриптум завершаю еще одним интервью в Дубках.

Перекусив в молочном кафе, сижу в одиночестве на скамейке возле павильона. Жена удалилась в глубь парка, влекомая завистью к людям, которые выносят оттуда корзиночки с грибами, как с рынка… Сижу, значит, один, сытый, довольный. И вдруг, повернув инстинктивно голову вправо, замираю в ужасе. По дорожке катится такой же бело-черный комок шерсти с зубами, как и на Беговой улице день назад. А возможно, и тот же самый: поспешил прибыть вслед за мной из столицы в Сестрорецк на отдых. Поравнявшись со скамейкой, на которой сижу, резко, под 90°, свернул на сближение со мной. Невольно, в рефлексе, вскидываю ноги.

— Не бойтесь, не кусается… — мужской голос.

— Откуда я знаю, что не кусается, — говорю, продолжая прижимать колени к животу, вроде гоголевского Антона Прокофьевича, носившего «панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры». — Точно такая собачка, как эта, вчера в Москве…

— Такая?! В Москве?! — в голосе звенит возмущение на самой высокой ноте. — Да такая у вас в Москве только присниться может. Это же бикерстед-терьер (пишу породу, как услышал, не проверяя у знатоков). Понимаете, би-кер-стед! На всю страну двадцать один экземпляр, в Москве не зарегистрированы… У нас золотая медаль! Да и, видите, ветеринарный знак на груди.

— А что он означает?

— Укус безопасен.

— Но возможен? — не опускаю я ног.

— Мы не кусаемся, если нас не обижают. — Мужчина, видимо, не без юмора. — Вообще-то наш брат собачник — чокнутый брат. Но поймите, разве я, занятой человек, гулял бы три часа в день, если б не Ассоль… Да-да, ее зовут по-гриновски… И она обладает поразительным свойством. Выдыхает во сне кислород! И с ней можно спать вместе, дыша ее кислородом… — Низко нагнувшись, зашептал: — Хотите, могу достать такую же, вы мне нравитесь… Ассоль, Ассоль, куда же ты, моя милая? Иди ко мне, моя девочка…

Все. Постскриптум, оказавшийся длиннее самих воспоминаний о Зощенко, завершен. Возвращаюсь к основному тексту.

6

Приходила в редакцию молоденькая переводчица с не очень часто встречающимся именем Сусанна и совсем уж экзотической фамилией Згут, да и сама внешне по тому времени экзотическая, или экстравагантная, что ли. Ну а редакционные девицы, вербовавшиеся на журналистское поприще в основном из пионерских вожатых, учительниц начальных классов и соответственно экипированные, называли ее попросту «расфуфырей». На ней всегда были кофточки невероятных (опять же для того времени), расцветок, туфли на немыслимо высоких и тонких «гвоздиках», юбка (ах!) выше колен, в ушах каждый раз новые причудливой формы серьги или клипсы, губки накрашены до лиловости, ресницы веером-опахалом — словом, «вся из Парижа», как говорила машинистка Лиля, которая, в отличие от остальных дев, не скрывала своей зависти к нарядам переводчицы и в это «вся из Парижа» вкладывала больше восторга, чем суждения.

Переводчица была в значительной степени, если не главным образом, пересказчицей: под заметками, которые она вынимала из изящного лакированного ридикюльчика, стояло чаще слово «пересказ» и никогда, кстати, не указывалось, с какого языка сделан перевод или пересказ. А ответственный секретарь редакции, не по возрасту больший католик, чем папа римский, высказывал подозрение, что это вообще и не переводы и не пересказы, а просто собственный вымысел. «Коль так, — говорил редактор Коля Данилов, — то славно выдумано». Он явно

покровительствовал Сусанне Згут и однажды в яростной схватке отстоял ее заметку про саламандр, которую «католик»-секретарь счел «неприличной даже для взрослой газеты, не говоря уж о пионерской» и просил запротоколировать его мнение. «Ладно, запротоколируем, — сказал Данилов, — а покуда пошли в набор. Отказываешься? Что ж, сам отправлю!»

Я разыскал в старом комплекте эту «крамолу»:

«САЛАМАНДРЫ

У берегов лесной топи между камнями и кореньями ползет грязное маленькое животное. Солнце разбудило его, выволокло из зимней норы. Животное осторожно сползает в воду. Тут и там мелькает в воде его сплюснутая полукруглая голова. Она то исчезает, то появляется снова, чтобы через миг исчезнуть опять. Только выскальзывающие со дна пузырьки говорят нам о том, где скрылась саламандра.

Как только минует зимняя спячка, серовато-черный самец снимает свой будничный макинтош. На спине его воинственно торчит зубчатая складка кожи. Белые точки, полоска с перламутровым отливом на боковой стороне хвоста да мраморные пятна — вот новый его наряд.

В поисках подруги проплывает самец-саламандра сквозь водоросли и корни, ползет по камням, вдохнет воздух и опять уйдет на глубину. Среди беспорядочной груды камней замечает он маленькое оливковое туловище саламандры-самки. Самец раскрывает спинной гребешок и цветным огоньком кружится над ней. Трудно узнать в этом ловком танцоре неуклюжее грязное существо, выползшее на первый солнечный призыв.

Самка прячет яички в безопасных местах. Медленно плывет она меж водяных растений, приклеивая тут и там по одному яичку.

Пройдет 13 дней, из этих круглых яичек выйдут крохотные личинки — новое поколение саламандр».

Прелестно, не правда ли?

…Как-то Данилов, первым просматривавший толстые журналы, поступавшие в редакционную библиотеку, воскликнул, листая ленинградскую «Звезду»:

— Вот и пошла Сусанночка в литературу, молодец!

В журнале была напечатана повесть из студенческой жизни,

автор — Сусанна Георгиевская.

— Но ведь наша — Згут, — сказал кто-то.

— Вышла замуж, — сказал Данилов не без грусти в голосе.

Прошло несколько лет, шел второй год войны.

Со сторожевого корабля «Нептун» (СКР-20), на котором я плавал военкомом, меня перевели в Полярное, главную базу Северного флота, инструктором Политуправления. Приказ о переводе, переданный по радио, застал меня в Белом море, где наш сторожевичок нес дозорную службу, выслеживая неприятельские подводные лодки, пытавшиеся проскользнуть мимо Канина Носа. Мы только что отбились от очередного звездного налета вражеской авиации. С разных сторон заходят, бомбят, и мы увертываемся на стремительной циркуляции, одновременно зенитками заставляя немцев беспорядочно сбрасывать фугаски. Отбомбились они, ушли. Вдыхаю запах паленого в моей комиссарской каюте, куда спустился с мостика после боя: на подушке дымится осколок, единственный угодивший в корабль.

Прямой оказии из Иоканги в Полярное не случилось. Мне пришлось добираться сложным комбинированным и кружным путем: морем в Архангельск, затем поездом, с пересадками в Обозерской и Беломорске, в Мурманск, оттуда снова морем — Кольским заливом — до конечного пункта. На рейсовом катере — неожиданная встреча с Наденькой К., соседкой с Моховой улицы, из «дома Гончарова», которую знал девчушкой лет на пять моложе меня, бегала возле нас, мальчишек, в Летний сад. Потом встречал ее взрослеющей, когда наведывался с «морей» в Ленинград. И вот встретил расцветшей девицей во флотской форме — едет с командой таких же матросиков в юбках к месту службы — в Полярное. Обращала на себя внимание принадлежавшая к ним, но державшаяся в стороне, на отшибе странноватая девушка с беспокойным, блуждающим взглядом, который, я заметил, остановился вдруг на мне не то чтобы заинтересованно, а узнающе, и тут же погас, ушел вкось, словно ошибся. И мне в ней тоже почудилось что-то знакомое. Я спросил Наденьку:

— Кто это?

— Говорят, писательница. Но она-то сама отрицает. И кем была, не говорит. Пришла к нам в запасный полк. Почти все — ленинградки, блокадницы. Едва оправившиеся от голода, потерявшие близких. У меня мама погибла. У нее, у Сусанны, — муж, сын-малышка. А она и об этом молчит, и вообще слова из нее не выдавишь. Вся как из камня, только что движется…

Сусанна? Я вгляделся. Это была Сусанна Георгиевская. Но в

ней ничего не осталось «от Парижа», от кокетливой переводчицы изящных сказок. Облик женщины, совершенно отрешенной от забот о своей внешности. Лицо тронуто глубокой, навсегда застывшей печалью. Не по размеру широкая форменная юбка, висящая мешком, из-под неотутюженной фланелевки виден торчащий ворот мужской рубахи вместо тельняшки.

— Ох и достается бедной от старшины, — сказала Надя. — Наряды сыпет вне очереди за неаккуратность. И даже патруль задержал как-то в городе за нарушение формы одежды.

Я хотел было подойти к Сусанне, назваться, сказать о встречах в редакции, но был упрежден ее взглядом, переставшим быть блуждающим. Я наткнулся на ее гипнотически-сосредоточенные глаза: не надо, не хочу, чтобы вы меня узнавали. Я сдержал свой порыв и никогда впредь не напоминал ей о нашем прежнем знакомстве. Хотя имел для этого и возможности и поводы. Случилось так, что мы прослужили довольно долго под одной крышей. Впрочем, понятие «крыша» являлось для нее более относительным, чем для меня. Она была переводчицей в Седьмом отделе нашего Политуправления. Седьмые отделы ведали пропагандой среди войск противника. На нашем театре военных действий передовая линия проходила по полуострову Рабочий, а еще точнее, по хребту Муста-Тунтури, его склонам. Вот там и оказывалась часто «крыша» у работников Седьмого отдела. Их было трое: начальник майор В., ныне доктор исторических наук, его заместитель капитан Б., судьбы не знаю, и основная переводческая и дикторская сила матрос Сусанна. Да, она не только переводила на немецкий составляемые начальством листовки, но и вещала по-немецки в мегафон из фургона, придвинутого в предельную близость к позициям противника.

> «Гуськом, шагая один за другим, мы движемся (наша группа) вперед, в ветер, в ночь, в слабое звездное сиянье, во мглу, в камни, в шершавые скалы.
>
> Поземка. Неведомо откуда она взялась, ведь снег слежался! Поземка колет лицо, но не жалуйся даже и про себя, не смей замечать, ты идешь в бой.
>
> Внизу ручей. Через бурный поток, светящийся странным сиянием, более светлым, чем густая чернота ночи, проложена досточка.
>
> Вперед! Вперед!
>
> Перешли. Только ты, идиотка, копаешься — шаг твой короток и неловок. Росту в тебе сто пятьдесят три сантиметра. Нога — китайская. Номер ее — тридцать два. А сапог на этой ноге — номер тридцать шестой…

Валяй! Порхай! Перепрыгивай! Действуй!

Досточка скользит у меня под ногами, снизу, под ней вода. Я канителилась, канителилась… И вот возьми да и бах в ручей.

— Чтоб вы сгорели! — так мне крикнул радист.

Но от холода не горишь…

Насквозь промокли мои ватная куртка и кирзовые сапоги.

— На-а-аказание на наши головы… — это опять радист.

Я шла. Я шагала безропотно, измокшая. Не я — «наказание на чьи-то головы».

Выбрались и пошли по снегу. И по камням. Вода пронизала мою одежду, проникла к телу, а так как на мне очень много всего навьючено, я не просохну скоро, нет, нет! Я навечно промокла. Человек в ледяном компрессе. Храбрый воин в ледяном компрессе…»

Это она через тридцать лет подтрунивает над собой, иронизирует в повести «Монолог».

А тогда, помню, мой сосед по комнате в Полярном капитан Б. из Седьмого отдела говорил мне, вернувшись из очередной командировки на Муста-Тунтури:

— Храбра до безумия…

— Ты прямо по Горькому — безумство храбрых…

— А как это иначе назвать? Пробирались по склону хребта. Услышала снизу, через расщелину, немецкий говор из блиндажа. А слов с глубины не разобрать. Так знаешь, что она сделала? Воспользовалась, что ни майора, ни меня не было рядом. Мы бы не допустили. Она повисла на канате в узком прогале между скал. Держали ее втроем подносчики аппаратуры. Вот так висела над немцами, скрытая от них скалой, слушала, чего они болтают, запоминала. И доложила, поднявшись, начальнику. Как должен был он поступить? Отругать за риск или обнять за смелость?

А в «Монологе» она напишет об этом так:

«Я ничего не слыхала. От страха. Только удары своего изо всех сил колотящегося, трусливого сердца…»

Она бывала у нас в «Огоньке», приносила рассказы Александру Максимовичу Ступникеру, ведавшему отделом литературы. Я часто сидел у него в комнате, мы дружили. Она видела меня и… не видела, не признавала. Я, понятно, тоже не вылезал, помалкивал. И вдруг однажды в коридоре стремительно приблизилась, чуть в грудь не ткнулась, спросила: «Как Валечка?

Жива-здорова? Привет ей!..» Это она про мою жену, которая во время войны тоже работала в Политуправлении — вольнонаемной… Мы разговорились в коридоре — всё и всех прекрасно помнит. Не только по флотскому периоду, но и более давнему — по «Искоркам», когда она пересказывала про саламандр.

Сейчас передо мной ее последняя книга — «Старости не бывает». Толстый том — 766 страниц. Почти все, что успела написать Сусанна Георгиевская. Старости у нее не будет. Она рассчиталась с жизнью на пороге старости, в ее преддверии…

7

Приближалось, как мы считали, большое событие в жизни страны, во всяком случае, в жизни Ленинграда — юбилей «Искорок».

…Десять лет, одна десятая, века. Каждый, из нас прикидывал этот срок к себе, и он казался преогромным. В самом деле, десять лет назад мне было восемь, — я еще в школу не ходил, тогда многие родители отдавали ребят сразу во второй класс, с девяти, — далекое-далекое детство, седая старина, ничего и не помнилось уже из той эпохи.

Раз юбилей — нужны приветствия. А кто будет приветствовать, коль сам об этом не позаботишься? Официальные поздравления — из Смольного, от редакций взрослых газет и т. д. — взялся организовать редактор. Из составленного им же списка знаменитых, или, как тогда говорили, знатных, людей всяк тащил свою креатуру, своих знакомцев. Мотя Фролов уже согласовывал по телефону текст с Александром Александровичем Брянцевым из ТЮЗа. А Филя Щерба и согласовывать не собирался, настолько он вошел в доверие к старенькому президенту Академии наук. Марк Гейзель побежал в цирк к укротителю львов Борису Эдеру, и кто-то бросил ему вдогонку: «Пусть и Пурш распишется», Пурш был главный лев у дрессировщика… Я пребывал в раздумье, к кому обратиться, и, пока соображал, почти всех поздравителей расхватали. В почетном списке значилась и молодая поэтесса Ольга Берггольц, не очень еще знаменитая, но очень наша, из первых деткоров газеты. Говорю так осторожно — из первых, чтобы не обидеть живущую в Ленинграде мою приятельницу Анну Лазаревну Мойжес, бабушку трех внуков, собирающуюся вот-вот стать прабабушкой, Анечку Мойжес. Она была и есть первая! Ее заметка о пионерской лотерее в пользу бастующих гамбургских докеров

напечатана в первом номере газеты. А стишок школьницы Оли Берггольц — несколькими месяцами позже. Но к юбилею она уже писательница и включена в список знатных. Иду к ней.

А идти совсем недалеко от редакции, через Фонтанку, на улицу Рубинштейна (бывшую Троицкую), близ Невского, в «самый нелепый дом в Ленинграде». Это я уже цитирую «Дневные звезды». Помните?

> «Его официальное название было «дом-коммуна инженеров и писателей». А потом появилось шуточное, но довольно популярное тогда в Ленинграде прозвище «слеза социализма»… Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со «старым бытом» (кухня и пеленки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стряпни. Не было даже передних с вешалками — вешалка тоже была общая, внизу, и там же, в первом этаже, была общая детская комната и общая комната отдыха… Мы вселились в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и «отжившую» кухонную индивидуальную посуду — хватит, от стряпни раскрепостились… И вот, через некоторое время, не более чем года через два… когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления… кроме подоконников; на них-то первые «отступники» и начали стряпать то, что им нравилось, — общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома. С пеленками же, которых в доме становилось почему-то все больше, был просто ужас: сушить негде!.. Звукопроницаемость в доме была такая идеальная, что если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже все было слышно… Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом при невероятно маленьких комнатах-конурках очень раздражало и утомляло…»

Мое появление в этом доме совпало, видно, уже с периодом массового отступничества от принципов, заложенных в его «фундамент». Пока я поднимался по узенькой лестнице, изо всех распахнутых дверей (по первоначальному статусу дома-коммуны,

они не должны были закрываться — у них даже замков не было, — и это еще соблюдалось; позже их стали закрывать, о чем нам известно из стихотворения «Мой дом»: «…вот мой адрес — может пригодится? — Троицкая семь, квартира тридцать. Постучать. Не действует звонок»), изо всех раскрытых настежь дверей доносилось шипение примусов, — был предобеденный час, — и хозяйку квартиры на пятом этаже я застал как раз возле примуса, стоявшего на подоконнике. Она была в переднике, с поварешкой в руке. Помещение, где я очутился, нельзя было назвать ни жилой комнатой, ни кухней, ни передней, оно было всем, вместе, сложным гибридом. В его состав входили еще и рабочий кабинет с письменным столом, и детская спаленка, и… нет, этого, кажется, вовсе не было, как уж тут обходились, куда бегали, не знаю…

Прежде мы с Ольгой Берггольц не встречались, я принадлежал к следующему поколению деткоров, в редакцию она уже при мне не приходила, на литературных вечерах, которые я часто посещал, тоже не доводилось видеться. Вторжение незнакомого человека в квартиру без предварительного телефонного звонка и даже без предупредительного стука в раскрытую дверь несколько смутило, естественно, хозяйку. «Несколько» можно и убрать, как не точно передающее ее состояние. Она с нескрываемым недоумением — все еще мягко сказано — воззрилась на пришельца и даже невольно приподняла над головой поварешку, словно готовясь к обороне, вернее, «к нападению в пределах вынужденной самозащиты», по юридической формуле. Передо мной стояла молодая, совсем молоденькая, я бы сказал — юная женщина, если применимо такое сочетание, с мальчишеским зачесом светлых, в рыжинку, волос. И вообще в ней где-то притаился задорный и задиристый мальчишка, который по мере разговора все чаще высовывался и даже выскакивал из своего тайника наружу. Она была голубоглаза, с курносинкой, неожиданно завершающей абсолютно прямую, античную конструкцию носа, что, нарушая правильность черт и в ущерб, возможно, красоте, придавало лицу какую-то особую привлекательность.

Такой запомнилась она мне, таким ее тогдашний облик вошел в мою память.

А вот сам разговор, слова, которые произносились и, наверно, были слышны на третьем этаже у Чумандрина, из памяти выпали. Я мог бы их сейчас запросто воссоздать, их легко придумать, поскольку характер разговора абсолютно ясен: я назвался, объяснил, зачем пришел, и она согласилась выполнить мою просьбу, просьбу редакции. Но выдумывать слова, фразы не хочу,

да в этом и нет необходимости. Существует документальное свидетельство этой встречи: напечатанное в юбилейном номере приветствие Ольги Берггольц, «организованное» мной. И это не просто, знаете, традиционное поздравление, какими набита праздничная газета, а… Впрочем, судите сами:

«Перед Первым мая в 1925 году я пришла в «Ленинские искры». Я принесла туда стихотворение. Оно называлось «Красное знамя». И начиналось так:

Чье созданье это знамя?
Кто соткал его, когда?
Чьими мощными руками
Создан алый стяг труда?
Это знамя днем и ночью
До сегодняшнего дня
Ткал великий ткач рабочий,
Мысли гордые храня.

Стихотворение приняли и попросили меня написать о том, как в нашей школе готовятся к первомайскому празднику. Тогда во всех школах в первый раз делали красные гвозди́ки, чтобы Первого мая продавать их на улицах в пользу беспризорных ребят. Я написала, как в нашей 117-й школе за Невской заставой делают гвоздики, готовят спектакль и учат песню «Мы — красная кавалерия». Эта песня тогда только появилась в школах.

Заметку и стихотворение напечатали. С тех пор я часто стала бывать в редакции «Ленинских искр». Она помещалась в самом большом доме на Невском, в начале проспекта. Почти что под крышей.

Мне очень нравилось в редакции, я сидела там всегда долго, смотрела, как приходит детвора, как правят заметки, как делают газету. Я решила, что сама буду обязательно работать в газете.

В «Ленинских искрах» я получила первые навыки газетной и литературной работы. Печаталась я в этой газете долго, даже когда училась в университете. Самая первая моя книжка «Как Веня поссорился с баранами» также была издана «Ленинскими искрами».

Поздравляю родные «Искорки» с юбилеем».

И опять же не помню, написала она это сразу при мне, возле

примуса, или прислала по почте, или сама принесла в редакцию. Ближе к истине, сдается, третье — пришла, когда меня не было. А что уж точно помню, так это подпись под статьей: «Деткор Оля Берггольц», так было в рукописи. Но наш не по возрасту осторожный, не склонный к шуткам ответственный секретарь «деткора» убрал, «Олю» заменил на «Ольгу» и поставил заголовок «От деткора к писателю». В материал было заверстано довольно крупное овальное фото автора. Ретушь прибавила возрасту и напрочь упрятала задиристого мальчишку. Снимок анфас, курносинка исчезла, голубизну глаз тоже, само собой, не передало клише, глядят они на мир задумчиво, даже с некоторой тревогой. Это, несмотря на плохую типографскую печать и печать времени, пожелтевшее фото сохранилось.

Вторая встреча с Ольгой Берггольц — через много лет, где-то в шестидесятых годах, точнее сказать не могу. Время летит на космических скоростях — это факт твердо установленный — и не только для стариков, как прежде считалось, бежит оно так. Молодые нынче тоже жалуются на быстротечность времени. В этом своем движении оно, проносясь, сдвигает и перемешивает события в нашей памяти. То, что с ней происходит, можно назвать аберрацией внутреннего зрения: далекое видится близким, близкое далеким.

Встреча — неожиданная, мимолетная по своей краткости, но не летящая мимо души и сердца… У меня было дело в «Литературной газете». Я стоял внизу, в вестибюле, дожидаясь возвращения секунду назад ускользнувшего от меня лифта; на второй кабине висела табличка: «На ремонте». С улицы вошла пожилая женщина в вязаной накидке и остановилась чуть поодаль, тоже поджидая лифт. Я тотчас узнал ее, хотя и не видел все эти годы, узнал, скорее всего, по фотографиям в сборниках стихов, на суперобложке «Дневных звезд» — одной из самых близких мне по духовному строю книг. Но думаю, что узнал бы и без этих снимков. Есть лица, которые, несмотря на всю тяжесть отпечатков, положенных на них временем, несмотря на глубокие складки усталости возле рта и ставшие печальными глаза, не меняются в какой-то главной своей сути. В чем эта суть, трудно бывает определить, у каждого она своя. И если сохранилась, вы по ней узнаёте человека даже при самых резких физических изменениях его наружности, его лица.

Я в подобных ситуациях, будучи неуверенным, что меня тоже узнали, никогда, первым не открываюсь, чтобы не оказаться в неловкости.

У меня бывали такие случаи в жизни.

Когда мы зимой 1940 года ходили на флагманском ледоколе спасать, вытаскивать «Седова» изо льдов Гренландского моря — о чем вы еще прочтете в этой повести, если захотите дочитать ее, — с нами отправилась в числе журналистов и маленькая киноэкспедиция — три человека, которую возглавлял уже тогда знаменитый оператор, побывавший в Испании, в Китае. Несмотря на громкое имя, он вел себя просто, проще, например, своего помощника-звуковика, заносчивого парня, хотя и никому не известного. Со знаменитым у нас установились отношения, которые не назову близкими, — для особого сближения просто не хватило времени, — но мы были на «ты», он охотно разговаривал со мною, и, думаю, не потому только, что я, как парторг похода, ведал корреспондентской очередью в радиорубку, а он тоже корреспондировал в одну из центральных газет. Короче, мы вернулись из плавания, во всяком случае, хорошо знакомыми людьми, и, когда я вскоре оказался в Москве, он пригласил меня на просмотр своего фильма о седовцах, о нашем походе. Прошло не так уж много лет, сразу после войны я работал репортером в ленинградской «Вечерке» и однажды получил задание, а вернее сказать, сам напросился на него: взять интервью у приехавшего в город прославленного кинодеятеля, того самого оператора, ставшего еще более знаменитым. В успехе предприятия я не сомневался: мы же на «ты». Я знал, что он остановился в «Астории», позвонил в номер, смело назвался, но был переспрошен, повторил фамилию, снова был переспрошен («кто, кто?»); начав с «ты», перешел на «вы», напомнил поход за «Седовым», поход он вспомнил, а меня с трудом, в смутности, да и то уж скорее из вежливости. А на мою просьбу дать интервью сослался на чрезвычайную занятость. С грустью положил я трубку, сочувственно поглядывали на меня товарищи по редакции…

Другой похожий эпизод произошел уже в мою бытность очеркистом «Огонька». За двадцать лет, пока я там пребывал, сменилось несколько заместителей главного редактора. Одно время эту должность занимал Михаил Николаевич Алексеев, известный романист (тогда еще не такой известный). Мы с ним люди совершенно разные — и по биографии, и по воспитанию, и по характеру, правда, почти земляки — я из Саратова, он из-под Саратова, из села Монастырское. Несмотря на несхожесть по большинству, что ли, человеческих параметров, у нас с Михаилом Николаевичем установились деловые, благорасполагающие друг к другу отношения. Ему нравилось, как и что́ я пишу, а мне нравилось, что ему это нравится. И вот как-то он сказал мне: «Тебе пора собрать очерки в книгу, и будет она не хуже, чем у

других». — «Страшновато, Миша!» — сказал я. «Я тебе поспособствую, — сказал Алексеев. — Тут в одном из издательств отделом прозы заведует мой большой приятель, с которым мы вместе кончали Высшие литературные курсы». — «Кто же это?» — «Писатель К.» — «Кто, кто?» — переспросил я. «А чего ты так удивился?» — «Разве он в Москве?» — «Давно в Москве». — «Странно, — сказал я. — И не дал о себе знать. Ему-то известно, что я в «Огоньке»… Мы с ним в войну работали в газете североморских подводников «Боевой курс». Я — редактором, он — секретарем. Хорошо у нас получалось, дружно». — «Ну так и вовсе прекрасно!» — сказал Алексеев. «После войны, — продолжал я, — он приезжал в Ленинград, жил у нас недели две, мама обхаживала его, как могла, он ей ручку целовал. А мне оставил свой минский адрес, приглашал, но когда я приехал в командировку в Минск, до́ма по такому адресу совсем не оказалось». — «Случайность, — сказал Алексеев. — Ты, видно, сам что-то с адресом напутал. Парень-то он неплохой. И вообще фронтовую, военную дружбу люди в себе хранят, это — святое! Давай рукопись, не драматизируй по пустякам…» И я вручил ему через несколько дней папку с рукописью, и он отправился с ней в издательство к К. А на другой день мы встретились с Михаилом Николаевичем в редакционном коридоре «Огонька», и в глазах у него была грусть, и казалось, что ему желательно их, глаза, отвести от меня. «Ну что?» — спросил я, хотя и догадывался, что этот вопрос можно уже не задавать. «Он тебя не знает. В войну он действительно воевал на подплаве, но тебя не помнит. Рукопись взял с неохотой, сунул в дальний шкаф, сказав, что у них и без того редакционный «портфель» забит, и автору придется долго ждать ответа». Алексеев удара не смягчал, как и полагается делать в разговоре мужчины с мужчиной. Я долго не ждал, я передал рукопись в другое издательство, где у меня не было никаких знакомств. И когда через два примерно года мне позвонила редактриса из первого издательства и сказала, что товарищ К. поручил ей ознакомиться с моей рукописью, я сказал, что она может прочитать ее уже в качестве изданной книги… В недавно опубликованных посмертных мемуарах писателя К. «Годы в Заполярье» прочел: «…прислали редактором ленинградца… (следует моя фамилия. — *А. С.*). С этим стало куда легче работать. Сам он журналист, и журналист стоящий, талантливый, дельный». Ну, слава богу, оказывается, я все-таки не наврал Алексееву. И это тем более приятно, что воспоминания К. напечатаны в журнале «Москва», который Михаил Николаевич редактирует.

После «молока» я уже на «воду» дую. Так и не решался подойти к Марку Галлаю, известному летчику-писателю, Герою Советского Союза, которого то и дело вижу в Центральном Доме литераторов и с которым когда-то учился в одной школе и тоже был на «ты». Так и не решился назваться поэту Владимиру Лифшицу, с которым учился в той же школе, а с его братом Левкой в одном классе; уж было собрался подойти, протянуть руку, но, придя недавно в ЦДЛ, увидел его фотографию в траурной рамке.

Вот и в вестибюле «Литгазеты» я помалкивал. Женщина, стоявшая ко мне вполоборота и нервно перебиравшая, как четки, крупные янтарные бусы на груди, вдруг стремительно обернулась и спросила:

— Вы ленинградец?

— Бывший, — сказал я.

— Бывших ленинградцев не бывает. Коль уж ленинградец, то навсегда… Вы смотрите на меня так, будто мы уже встречались.

— Встречались! — сказал я, внезапно почему-то расхрабрившись. — Очень давно, у вас на Рубинштейна, в «слезе социализма», Ольга Федоровна. Единственный раз.

И я напомнил, как это было.

— Нет, — сказала она, — решительно ничего не помню. Ни вашего прихода, ни статейки, о которой вы говорите. Любопытно было бы ее разыскать.

— Она у меня выписана, хотите, пришлю.

— Буду признательна… Вы мне не назвались.

Я назвался.

— Позвольте, — сказала она, — это вы, значит, вместе с Мотей Фроловым писали когда-то в «Огоньке»? Вашу фамилию я и сейчас встречаю там… Вы давно уехали из Ленинграда? Давно изменили нашему городу? Изменили, изменили! Вон даже бывшим называетесь… — никак не могла она мне этого простить.

Лифт задерживался наверху, красная кнопка не гасла, я постучал по дверце, сверху крикнули, вызывая лифтершу, что-то поломалось, и мы стали подниматься по лестнице.

— Так, следовательно, вы Мотин друг? Надеюсь, не бывший.

— Видимся редко, как уехал я в Москву.

— Для неподдельной дружбы это не имеет значения.

— Ольга Федоровна, вы ведь по радиокомитету, по блокадному времени знаете Матвея?

— Да, до войны я не работала на радио… А вы где были в войну?

— Служил на Северном флоте.

— Моряк?

— Оказался в моряках. Плавал комиссаром эскаэра.

— Что это — эскаэр? Я знаю — линкоры, эсминцы…

— Сторожевой корабль. Дозорная служба, поиск врага. Быстроходные и довольно зубастые суденышки… В море не раз у себя в каюте я слышал передачи из блокированного Ленинграда, ваши выступления, ваши стихи слышал, обращенные к ленинградцам, к стране, ко всем людям Земли и долетавшие к нам в океан… «Говорит Ленинград!» Все свободные от вахты собирались у репродуктора… Однажды я проснулся, разбуженный каким-то пронзительно знакомым голосом. Прислушался, господи, Матвей говорит, ведет репортаж с Ижорского завода, а там, на Ижоре, в мартеновском цехе, мой брат Валя. Голосишко доносился слабенький, но живой, несомненно Мотькин, и у меня возникло ощущение, что вместе с голосом друга я слышу и дыхание стоящего рядом с ним братишки, хотя не знал, жив ли он… По-моему, это было летом сорок второго, мы несли дозор в Баренцевом море, у Канина Носа.

— О, к тому времени хлебную норму увеличили, и голосишки наши уже немного поокрепли. Но и поубавилось за страшную зиму, ох как убавилось моих блокадных побратимов! — Она остановилась, и ее длинные, тонкие, нервные пальцы перестали перебирать четки-бусы, продолжая судорожно прижимать их к груди, как бы боясь, что они рассыплются, и сгибы пальцев побелели от усилия. — Вы Лешу Мартынова знали? Моню Блюмберга?

Лешу? Знал, конечно. Еще с первых деткоровских лет; он писал заметки из школы № 1. у меня в книжном шкафу, за стеклом — фотография 1929 года, с пятилетнего юбилея.«Ленинских искр»; все мы тут, вся наша боевая, веселая, смеющаяся семейка, мальчишки и девчонки (их меньше, совсем мало), по скудности одежки очень отличные от нынешних ребят, но не менее их радующиеся жизни. Рядом с хохочущим черноглазым, цыганистым Мотькой, как раз у меня, тоже хохочущею безмятежно, за спиной — самый серьезный изо всех, даже серьезней взрослых на снимке, сосредоточенно вглядывающийся в аппарат и все же с чуть брезжущей, едва проступившей улыбкой на худеньком, в темных подглазьях лице — Леша Мартынов. Я знал, что перед войной он кончил университет, филфак, специализировался по французской литературе, работал в блокаду на радио и умер от голода… Как-то, через годы, в Москве, когда мы переезжали в новый дом, к нам зашла женщина из соседней квартиры, попросила разрешения позвонить по телефону, вошла в комнату, увидела вдруг фотографию за стеклом, спросила дрогнувшим голосом, откуда

она у меня, и, показывая на Лешу, сказала, что она вдова этого мальчика, такими словами и сказала: «вдова этого мальчика…» Но почему Ольга Федоровна назвала в одном скорбном ряду с Лешей и Моню Блюмберга? Он выжил в блокаду, и Матвей познакомил нас с ним уже после войны. Я только что демобилизовался, вернулся в Ленинград и хотел вернуться к прежней специальности, в газету. Вакансии для моей личности никто почему-то заранее не припас, и я не сразу смог устроиться. Матвей повел меня на радио к редактору Блюмбергу, своему товарищу, человеку прямо-таки светившемуся доброжелательностью. Он пошел к начальству хлопотать и возвратился ужасно расстроенный: начальство не возгорелось. И хорошо, что меня не взяли, все равно пришлось бы прогнать: я не представляю себя в качестве репортера с микрофоном в руке, это совершенно чуждая мне сфера журналистики… И все же почему Ольга Федоровна вспомнила о Блюмберге как бы в прошедшем времени?

— Он погиб недавно, — сказала она, словно отвечая на мой безмолвный вопрос. — Утонул в Разливе, спасая сына. Он сумел выхватить его из-под толщи воды, успел передать в руки подплывшего друга. А сам ушел на дно и не выплыл, не мог выплыть, потому что не умел плавать… Случай из тех, когда человек за счет скрытой в нем до поры, как в атомном ядре, невообразимой, нечеловеческой силы, о которой он и не подозревает, способен преодолеть немыслимый для себя в обычных условиях барьер, вот как это: не умея плавать, спасти тонущего. — Она умолкла и добавила: — Мы ведь в блокаду тоже преодолевали непреодолимое.

Кабина лифта скользнула мимо нас. Но мы уже поднялись на пятый этаж. Вошли в редакционный коридор и, попрощавшись, расстались: нам нужно было в разные отделы. Ольга Федоровна шла, кажется, с отчетом за командировку на Алтай.

Совсем недавний случай — с Галлаем.

Стою в очереди за заказом в магазине «Диета». Разглядываю «меню», подсчитываю свои денежные ресурсы и вижу, что их может не хватить. И «подумал» об этом вслух. Голос из очереди, голос Галлая: «Мы с вами так часто видимся, что можем считать себя хорошо знакомыми. Выручу вас, если потребуется…» — «Тем более, говорю я, что мы знакомы гораздо дольше, с двадцатых годов…» — «Как так?» — недоумевает Галлай, и, значит, я был прав, полагая, что он меня зрительно не помнит. «Да, — уточняю, — когда учились в Пятнадцатой на Моховой». И называю свою долитературную фамилию. «Господи! —

восклицает Галлай. — Так вы Фрошка? Мы из одного с вами класса?» — «Нет, это мой двоюродный брат, погибший на войне…» — «Я слышал об этом и оттого несколько в недоумении…» — «По поводу меня? Когда вы кончали девятый, я учился в шестом». — «Вместе с Машей Богорад?» — «Конечно…» И пошли имена, пошли воспоминания, которые всякий раз возобновляются, когда мы видимся то в ЦДЛ, то в «Диете», то в поликлинике.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Однажды на очередное занятие нашей литературной студии явился бледнолицый юноша во всем черном: под черным пиджаком черная сатиновая косоворотка, на черной же перекинутой через плечо пе́ревязи — изуродованная рука со скрюченными красными, как после ожога, пальцами. Когда он приготовился читать стихи, то левой, здоровой рукой вынул из бокового кармана листки и вложил в изувеченные, недвижные пальцы правой, из которых они выпадали, и он их снова всовывал туда и по мере чтения откладывал в сторону. Не хочу сказать, что таким образом он демонстрировал свое увечье, но что-то странное в этом виделось. И сами стихи были странные. То есть они казались нам такими в сравнении с нашими собственными бодрыми, правильными сочинениями про пятилетку, про ударный труд.

(Только что в журнале «Резец» было напечатано мое стихотворение «Ударная ночь», зарифмованный отклик на газетное сообщение о том, что завод «Красный путиловец» перевыполнил план выпуска тракторов. Более всего я гордился в этом стихотворении оригинальной рифмой: «Зубайло — зубами». «Зубайло» — фамилия заводского бригадира, «зубами» вгрызался в металл фрезерный станок. Рифма, согласитесь, почти на уровне нынешних. Радость от публикации была омрачена для меня пренеприятнейшей опечаткой: вместо «колхозные трактора» стояло «кулацкие», что искажало весь смысл и пафос стихотворения, и я стеснялся показывать его знакомым; позже я понял, что стыдиться этого опуса следовало не только из-за опечатки.)

Мы ринулись на новопришельца дружной командой, хотя в прежних обсуждениях особого единства у нас не наблюдалось, дискуссии бывали бурные. Но тут перед нами оказался человек с другой планеты, инопланетянин, как принято теперь говорить. И язык, смысл его стихов был нам чужд, если не сказать непонятен. Естественно, и для него все, что мы говорили о его стихах («аполитичность», «отрыв от действительности», «мелкобуржуазная отрыжка»), все наше витийство было тоже оглушительно чуждым. Он молча слушал, нервически перекладывая с места на место листки, лежавшие на столе вразброс. Потом сгреб их вместе, снова вложил меж скрюченных

пальцев, и вот так, с листками в больной руке, которую нес перед собой на некотором расстоянии на весу, пошел к двери. Открывая ее, он обронил один из листков. Кто-то бросился поднимать, но юноша сделал движение рукой, запрещающее прикасаться к упавшему листку, и доброхот отпрянул, остановленный не столько этим движением, как полным презрения, испепеляющим взглядом.

И точно таким же, ну, может быть, чуть смягченным взглядом был одарен и я, когда на другое утро, свернув с Моховой на улицу Пестеля, нос к носу столкнулся с юношей в черном, читавшим нам вчера стихи, и который, как выяснилось через минуту, живет вот в этом угловом доме, но я его почему-то до сих пор не встречал, хотя живу по соседству. А еще через минуту выяснилось, почему не встречал: он лишь позавчера приехал из Москвы к тетушкам… Да, мы остановились, протянули друг другу руки, я это сделал первым, преодолевая уничтожающий взгляд, сделал по какому-то неожиданному, внезапно возникшему влечению и получил в ответ тоже неожиданно довольно крепкое рукопожатие — здоровая, левая рука была у него сильная, цепкая, принявшая на себя почти все заботы правой, кроме удержания листков со стихами во время чтения их, да и это, как мы знаем, не очень ей удавалось.

Вчера я не расслышал его фамилии, а он, понятно, не знал моей.

Назвались.

— Алик Р-р-ривин, — сказал он, грассируя на французский манер. Позже я замечал, что, волнуясь, он заглатывает первую букву, получалось — Ывин.

И вообще он то грассировал, то картавил, не выговаривая ни «р» ни «л». Неодинаковость произношения, как и многое другое в его поведении, можно было принять за некое манерничание, нарочитость, но только по первому впечатлению. Впоследствии вы убеждались, что во всех своих проявлениях и поступках Алик естествен, натурален и менее всего озабочен как раз впечатлением, которое производит. Противоречивостей своего характера — а у кого их нет — он ничем не маскировал. Хотя бы вот этот его приход к нам на занятия. Замкнутый, одинокий, отрешенный по всей внутренней сути человек, он на другой день после приезда в чужой город разыскивает какую-то незнакомую литературную студию и спешит к людям, заведомо далеким от его воззрений, пристрастий, интересов, инопланетянам для него, спешит к ним и тут же бежит от них. А на следующий день, встретив на улице одного из этих инопланетян, не только не отвергает его рукопожатия, а тянется к нему и, взяв здоровой

рукой под руку, кружит и кружит с ним по аллеям Летнего сада, читает свои и чужие стихи, впрочем, чужие тоже почти свои, это собственные переводы с французского. Не странное ли поведение? Но не странен ли и его нынешний спутник, который еще вчера вместе с другими шумел, витийствовал, в пух и прах разнося эту аполитичную поэзию, советуя автору спуститься на землю, а сегодня вместе с ним охотно шарит где-то в космических высотах, забыв о редакционном задании, — он работает в детской газете и должен сдать материал о шефстве городских пионеров над сельскими, — и готовый слушать и слушать «эстета» (одно из самых оскорбительных в то время слов), окунувшись в совершенно новый для себя мир, казавшийся вчера чуждым, даже враждебным, а сегодня захвативший и не отпускающий?

И все-таки служба есть служба, и я нехотя поплелся в редакцию сочинять статейку о шефстве. Обычно я быстро управлялся в подобных случаях. А тут вместо критических стрел в адрес некоторых райпионербюро, «не уделяющих должного внимания этому вопросу», в голове роились строфы из «Пьяного корабля» Артюра Рембо, его же «Бала повешенных», из «Призрака» Бодлера, из апполинеровских «Каллиграмм». Возникали строчки самого Алика. Я их бормотал, бормотал и добормотался до того, что какие-то вставил механически в свою корреспонденцию. Машинистка Лиля, перепечатывая ее, обнаружила «инородное тело», подозвала меня, ткнула пальцем в висок, потом в текст и сказала:

— Ты что, совсем рехнулся? Что это тут вкатил ни к селу, ни к городу?.. Но очень красиво. Какая образность! Откуда ты это взял? Тебе ж самому ни в жисть такого не придумать…

Ни тех строк, вызвавших восхищение Лили, девицы, чрезвычайно практичной, скептической, ни других, ничего из написанного Аликом не помню. Ужасно жалею об этом. После войны искал его рукописи у себя в бумагах, случайно уцелевших в блокаду, — что-то он мне дарил, — спрашивал у людей, знавших Алика, тщетно, и листка не обнаружилось из тех, что мы когда-то видели в его искалеченных пальцах.

Я не знаю в точности, при каких обстоятельствах он ранил руку. Он не любил говорить об этом. И вообще о последнем периоде своей московской жизни. Как-то в разговоре он упомянул мимоходом, что окончание школы совпало у него с потерей родителей.

Не ведаю, где, у кого жил в Москве юноша. В институт принят не был, поступил на завод в ученики токаря. Напрягая все свое воображение, всю фантазию, не могу представить себе Алика возле станка. Недолго он потокарил! Сорвался трансмиссионный

приводной ремень, он пытался накинуть его на шкив, набросил, но не успел выхватить руки́. Вроде бы так это было, вроде бы… Читатель должен простить мне приблизительность биографических сведений об Алике. Кстати, я ведь и не знал его взрослого имени. Александр? А кто-то говорил мне, что Арнольд. Может быть.

Отношения, которые у нас возникли, я не решаюсь обозначить понятием дружбы. И не только потому, что оно подверглось нынче инфляции, измельчало. Нет, в дружбу, как я ее понимал и продолжаю понимать, наше общение не перешло. Да и приятельством не стало. Так чем же оно было? Меня не покидало ощущение, что я Алику не интересен, во всяком случае не в такой мере любопытен, как он мне. И не то чтобы он проявлял высокомерие, менторство, что ли, я бы этого не потерпел, но определенная полоса отчуждения, как на железной дороге, лежала меж нами. И если я порой переступал ее, то Алик держался на постоянной грани, не придвигаясь ко мне. Мы часто, как в первый день, бродили по Летнему саду — вдоль Лебяжьей канавки, вдоль Невы и Фонтанки, и он громко читал стихи, не замечая гуляющих и сидящих на скамейках, которые останавливались или приподнимались, глядя нам вослед. Я бывал у Алика дома, познакомился с его двумя тетушками, сестрами матери, к которым он приехал после долгого пребывания в больнице погостить и остался навсегда. Раз-другой и он зашел ко мне, мы выходили на мамин балкон, и Алик громко читал стихи, не замечая прохожих внизу, которые приостанавливались и глядели вверх, а некоторые задерживались иод балконом, слушая, как он читает.

Потом мы стали реже встречаться. И совсем редко в связи с тем, что я уходил в моря, сперва на «грузовиках» в загранку, позже на ледоколах; сперва это было редакционными командировками, потом — затянуло, превратилось в службу, во вторую, если хотите, профессию. Портами приписки судов, на которых я плавал, были Мурманск, Архангельск, я наезжал в Ленинград лишь на короткие побывки между рейсами. Вот и в предвоенное лето, в начале июня, я приехал на три дня, меня ждал в Архангельске «Сибиряков», собиравшийся в Арктику. Мама никуда меня не отпускала, откармливая на всю навигацию. Только в самый последний день я вырвался навестить остававшиеся мне родными «Искорки». Навестил — потрепался и заспешил домой, до отправления поезда оставалось часа четыре. По дороге я встретил еще кого-то из знакомых, прибавил после вынужденной остановки шагу и, сворачивая на резкой циркуляции мимо ограды Екатерининского садика к Невскому,

налетел с ходу на Алика, на его несомую на черной сатиновой перевязи руку. Мы не виделись полтора года. Мне показалось, что он стал еще бледнее.

— Здр-равствуй, — сказал он, грассируя. — Извини, что с таким опозданием поздравляю тебя с орденом. Не знал, куда писать. За тобой ведь не угонишься.

— Спасибо, — сказал я. — Как ты живешь, Алик?

— Пребываю… — сказал он.

— Я слышал, ты в университет поступил…

— Хожу…

— А сейчас куда?

— К Ивану Андреевичу, — сказал он. — Пусть басни научит сочинять. Что же мне еще остается?

Я понял мрачноватую шутку: он шел в Публичку, где баснописец Крылов работал когда-то главным библиотекарем.

— Ты, я вижу, спешишь… — сказал Алик.

— Спешу, — сказал я. Признаю́сь через много лет в грехе: я побаивался, что он начнет мне читать тут, на улице, стихи. Я же не знал, что мы больше не увидимся.

— Завидую вам с Борисом, — сказал он вдруг, прощаясь.

— Кто это Борис? — спросил я.

Он назвал фамилию, но, притом что я обычно мгновенно и надолго запоминаю фамилии, эта скользнула мимо сознания, и я ее не запомнил. Наверно, потому, что спешил.

— Мой друг еще по Москве, — добавил он. — Тоже моряк.

И я побежал через Невский…

Я попал в Ленинград через три года, в последнее военное лето, в июне. Приехал по служебным и личным делам.

В городе никого уже не было из моих близких.

Отца с матерью забрало в эвакуацию Военно-морское училище, сначала в Балахну под Горьким, потом в Баку; с ними была и семья брата — жена, дочка.

А сам Валька оставался всю блокаду в Ленинграде, вернее, в Колпине на Ижорском заводе, к которому вплотную подошла линия фронта. Брат был начальником смены в мартеновском цехе. Варили металл до последней возможности, а когда и она иссякла — сжигали трупы в печах, которые из сталеплавильных и отжигательных превратились в печи крематория. Валька никогда, никогда, никогда, как бы я его ни пытал, не рассказывал подробностей этого страшного куска своей жизни и лишь недавно выдавил из себя про сжигание… И такое еще: он шел как-то мимо кладбища. Навстречу краснофлотец с санками — старушку везет, передохнуть остановился. Брат подошел, спрашивает: «Мать?» — «Мама, — говорит краснофлотец. — Жива еще, дышит… А до́ма

все вымерли, никого… Я с корабля на два часа отпущен… Что было делать? Бросить до́ма, среди мертвецов?.. Могилку ей вырою… Придет смертная минута, положат… И буду знать, где ее могилка…» После прорыва блокады брат был переведен в другой город на металлургический завод и снова варил сталь для корабельной брони.

Моя жена, тоже Валя и тоже пережившая блокадную зиму и проделавшая долгий, длинный путь эвакуации через Северный Кавказ, Каспийское море, Туркмению, Казахстан, по гигантской дуге, охватившей полстраны, оказалась в конце концов у нас в Полярном, когда в главную базу Северного флота разрешили въезд семьям офицеров, находилась со мной, собиралась рожать, хотела — только в Ленинграде, и мои личные дела в поездке как раз и были связаны с этим обстоятельством — подготовить жилище для нее с ребенком.

В город началась частичная реэвакуация, возвращаться разрешалось строго по вызовам, по пропускам, но райжилотделы были забиты уже толпами ожидающих оформления документов, выдачи ордеров. Выстояв неделю в очереди, получив все, что требовалось, и имея день в запасе, я еще раз прошелся по Моховой, прощаясь с ней, теперь уж, считал, ненадолго, война шла к концу. Наш дом уцелел, хотя его и контузило, пошатало взрывными волнами от бомб, разрушивших дома напротив и рядом. Немецкие бомбардировщики метили в определенные объекты поблизости, но, гонимые зенитками, мазали в спешке, и доставалось больше всего бедной Моховой, милой моей улочке, по которой хожено и перехожено было с малых лет, когда я, помните, шлепая за отцом, подыскивавшим по ордеру жилье, видел ее полумертвой, заросшей травой, с пустыми, брошенными домами. Сейчас чуть не треть их была разбита, выжжена, и все-таки улицу не хотелось называть полумертвой… Полуживая, вот так, она проходила реанимацию, возвращалась к жизни. Дышала, пульс становился все наполнением, как говорят врачи.

Путь мой был печальным, поскольку я решил навестить в уцелевших домах квартиры знакомых людей: может, кто и жив. Я прошел мимо углового дома, в котором жил Алик. Весь угол — и со стороны Моховой и, главным образом, с улицы Пестеля — снесло бомбой от крыши до основания, все квартиры тут, в том числе и принадлежавшая Аликиным тетушкам, — я помнил примерно ее расположение, — были сейчас «нараспашку» — без наружных стен, перегородок и перекрытий. Я пересек улицу Пестеля, перешел на левую, четную сторону Моховой и вошел во двор огромного дома № 26. Здесь жили братья Ямпольские, рыжий Владик из нашего класса и Миша, постарше,

одноклассник, по-моему, Бобы Чуковского. Я позвонил, дверь открыла лохматая старуха, и я еле распознал в ней мать братишек, перед войной это была цветущая, красивая женщина, она глянула на меня застекленелыми, уже исторгшими все слезы глазами, не дожидаясь вопроса, сказала: «Убиты…» — и захлопнула дверь… В доме наискосок, № 31, в квартиру на втором этаже меня впустили, но ничего не могли сказать ни о Леве Березкине, моем приятеле-морячке, ни о его родных, здесь жила теперь другая семья, переселенная из-за Нарвской заставы, из разрушенного дома.

Пройдя всю Моховую, обе ее стороны, и никого из знакомых не обнаружив, я возвратился к улице Пестеля. Я знал, что там в аптеке — единственная на эти кварталы действующая телефонная будка. Возле нее, конечно, длинная очередь. Какая-то женщина говорила, по суждению стоявших, дольше обычного, ей постучали, она вышла, и я узнал Машу Богорад, тоже из нашего класса. Впрочем, узнавать, вглядываться в нее не требовалось — как была худыга, тонюсенькая, вечно болевшая девочка (она пришла к нам в середине года и в середине урока, и при виде этой тростиночки два оболтуса-второгодника, Смирнов и Скворцов, загыгыкали с «Камчатки», а Скворцов потянулся, чтобы ухватить ее за хилую косичку, но тут раздалось: «Садись, девочка, ко мне, и они тебя не тронут», и этот голос принадлежал мне, единственный рыцарский поступок за всю мою жизнь), такой и осталась бледной, худенькой, коснись — свалится, а ее и блокада не свалила — жива Маша! (Осталась жива в голод, чтобы через 30 лет погибнуть в автомобильной катастрофе.) А жила она в том самом угловом доме со снесенным углом. Бомба разворотила его как раз по линию подъезда, в котором находилась квартира семьи Богорад, саму лестницу зацепила, а квартир с правой стороны не тронула, и жильцов эвакуировали из них по пожарной выдвижной лестнице.

— Мамы уже не было, папа не поднимался с постели, его спустили на носилках, и он умер по дороге в больницу.

— Машенька, — спросил я, — ты не знала Алика Ривина? Он жил в вашем доме.

— Нет, — сказала она. — Фамилия незнакомая. В какой квартире?

— Номера не знаю, — сказал я. — Со стороны Пестеля. Может, встречала? Юноша с рукой на черной перевязке…

— О, странный такой? Идет и бормочет, натыкаясь на прохожих…

— Да-да, бормочет…

— Я не была с ним знакома. Видела на улице. Кажется, и в

блокаду видела раз. Он шел и по-прежнему что-то бормотал. Похоже, стихи… После той бомбежки я его не встречала.

…Алик не был в моей жизни из тех, кого помнишь постоянно, неизбывно. Облик его со временем стушевывался в памяти, удалялся в туман. И вдруг в каком-то из толстых журналов мелькнуло название стихотворения Д. Самойлова «Памяти А. Р.». Что-то померещилось в этих инициалах, вчитался в строфы. Это о нем, об Алике! Я переписал стихи. Обычно листок с переписанным или вырезанным стихотворением кладу в книгу его автора. Но книжек Давида Самойлова у меня не было. Сунул куда-то, а куда — напрочь забыл. С момента прочтения стихов тоже прошли годы, и немалые, лет пятнадцать. Я и вообще-то стихи не запоминаю, а тут век целый… Сижу, работаю, ворошу память, и все сильнее стучит во мне: нужен Алик, Алик, я должен написать о нем. И должен найти те стихи. Но, возможно, они были не о нем? Тем более надо разыскать, чтобы убедиться в этом, иначе буду мучиться. Пытаюсь вспомнить, куда же девал листок со стихами, — напрасно. Где я их читал? Вроде бы в «Новом мире». Перебрал двенадцатые номера, в которых печатается содержание журнала за год — нет таких стихов. Перелистал сборники «День поэзии» — нету. А не спутал ли я название? Стал искать в оглавлениях по смысловым признакам, засел для этого в библиографическом отделе Дома литераторов. Великолепная картотека. Перетасовал сотню карточек на Самойлова, на его книги, на отдельные публикации — нет, и по смыслу не нахожу. Подошел знакомый пиит: «Что ты ищешь?» Сказал, что́ ищу. «Так спроси же, — говорит, — самого Дезика, чего проще…» — «А кто это Дезик?» — «Ну Самойлов же, мы все его так зовем…» Но для меня-то он не Дезик, как же соваться, лезть к незнакомому человеку, да еще и знаменитому поэту? И все-таки полез я!

Вот как это было. Словно специально для меня, в ЦДЛ был объявлен авторский вечер Давида Самойлова. Пришли с женой загодя, усадил Валентину во второй ряд, а сам — за кулисы, перехватывать поэта. Пусто. Никого из администрации. Только ходит, нервно вышагивает какой-то парень. Я подумал, начинающий поэт поджидает метра, чтобы показать ему свои творения. Но почему-то на меня с подозрением поглядывает, чует во мне конкурента? Три девицы, все в очках, прошмыгнули, укрылись за задником сцены. Я глянул в прорезь — зал полон, шумит, пора начинать, а поэта нет. И никого за кулисами, кроме начинающего стихотворца. Вижу, он решительно шагнул, открыл дверь в артистическую. И меня толкнуло за ним не погасшее еще журналистское чутье. В артистической — Самойлов! А это,

оказывается, его сын, как я сразу понял из характера их разговора. Представляете мое состояние: влез, вторгся между отцом и сыном. Отцом, которому через минуту-другую — на сцену. И сыном, который, охраняя его покой, его сосредоточенность перед выступлением, прозевал нахала. Но делать нечего, иду на амбразуру.

— Давид Самуилович, извините, ради бога, я такой-то.

— Слушаю вас…

— Давид Самуилович, — выпаливаю я, — не было ли у вас стихов о юноше-поэте в Ленинграде?.. Он болен… он странный…

— Было такое стихотворение. Очень, очень давно.

— Это об Алике Ривине?

— Да. Вы его знали?

— Знал… А вы? — дурацкий вопрос.

— Нас познакомил Борис Смоленский…

(Борис Смоленский! Помните мою встречу в канун войны с Аликом на Невском. Он говорил о своем друге, которому, как и мне, завидует — он тоже моряк…)

— Это был прекрасный поэт. Борис погиб на Севере, на Петрозаводском направлении. Его имя на мемориальной доске внизу, в фойе… Всем, что вспомню об Алике, я поделюсь с вами. Но…

— Да-да, — говорю я, — понимаю, не сейчас, конечно. Разрешите позвонить вам.

— Мы переехали на новую квартиру, и у нас еще нет телефона. Я вам позвоню.

Телефонного звонка, обещанного поэтом, не последовало. Да я, признаться, и не рассчитывал, что он раздастся: поэтические натуры необязательны.

Воспоминания о безвестно сгинувшем Алике, казалось, завершены.

И вдруг письмо с почтовым штемпелем на конверте: «Пярну».

> «Уважаемый Абрам Лазаревич!
>
> В Москве я так был занят, что не успел позвонить Вам.
>
> К сожалению, об Алике Ривине мало что могу сообщить. Он появился в Москве перед войной, скорее всего, зимой или к весне сорокового года, чтобы познакомиться с тогдашними молодыми поэтами. Ему было около двадцати лет (в 1940 г. — 24, мы ровесники. — *А. С.*). В лице черты безумия. Пальцы одной руки изуродованы какой-то катастрофой. Он заявился ко мне и поселился на несколько дней. Одет он

был скверно. Жил бедно. Какие-то семейные трагедии томили его…

Читал он замечательные стихи. Свои и переводы. Кажется, из Рембо. В Ленинграде есть несколько человек, собравших все, что от него осталось. Знаю, что собирал его стихи Николай Иванович Харджиев. Я пытался найти у себя два-три стихотворения, записанных тогда, но так и не отыскал. Рассказывал мне артист Яков Смоленский, что видел Алика в блокадном Ленинграде, в деканате филологического факультета, около печки. Совсем слабый от голода, он читал какую-то книгу.

Как и где он погиб, я не знаю.

После войны я сделал короткую запись о встрече с Ривиным. Сейчас мои бумаги еще не разобраны после переезда на новую квартиру. Может быть, эта запись отыщется. Копию смогу прислать Вам.

А пока это все, что могу сообщить.

Очень прошу: если отыщете что-либо о нем, сообщите мне. Скорей всего, весну и лето я буду находиться в Пярну. Напишите, если не трудно, сюда.

С уважением

Д. Самойлов».

Обе фамилии, упомянутые в письме, — Харджиев и Смоленский, — знакомы мне.

Н. И. Харджиев — литературовед; его статьи и книги о Маяковском, написанные вместе с В. В. Трениным, я читал еще в тридцатых годах.

Телефон — в писательском справочнике, звоню многократно день, другой, третий, никто не отвечает. Жив ли?.. Встретил в ЦДЛ Леночку, Елену Владимировну, дочку Тренина, погибшего на войне. Сказала, что виделась с Николаем Ивановичем перед Новым годом, он собирался в Ленинград: занимается сейчас Мандельштамом, разыскивает материалы о нем.

Дождался возвращения Харджиева, дозвонился наконец.

Как же, как же, Алика, Александра Ривина он помнит.

— Он пришел ко мне от Заболоцкого, которому показывал стихи. Безрифмовые, верлибр. Николаю Александровичу они решительно не понравились. Он сказал: «В прозе я ничего не понимаю». И отослал ко мне. Я жил тогда в Марьиной Роще, в деревянном домике, сейчас там все снесено и заново застроено… Был сильный дождь, помню, я сидел за столом у окна и увидел пересекающего двор незнакомого юношу в плаще. Я не знал, к кому он направляется. Оказалось, ко мне. Плащ у него был

старый, дырявый, мальчик выглядел как мокрая бездомная собака. Какой-то затравленный, больной вид. Я переодел его, напоил чаем, и он начал читать стихи. Читая, он преобразился. Стих крепкий, мастерски сработанный, свой… Да, мне известно стихотворение Самойлова. Я не разделяю его концепции. Жалок этот юноша-поэт не был, разве лишь в дождь, промокший, в дырявом плаще, каким я его увидел сразу. Это был блестящий, знавший себе цену поэт, гордый и независимый. И не такой уж «угрюмый, мрачный», если оказывался в кругу близких ему духовно людей. Он понимал юмор и сам не чуждался его… Написал стихотворение, посвященное мне, хотя называлось «Казни Хлебникова». Любимейший его поэт. И еще — Лорка! Ради Лорки он изучил испанский, зная уже французский, итальянский…

— Николай Иванович, что-нибудь у вас сохранилось?

Пауза.

— Ничего, кроме «Казней», и не было.

— Могу ли я… Пауза.

— У меня кто-то из молодых литературоведов уже списывал эти стихи. Оригинал давно не попадался на глаза. Надо поискать. Позвоните как-нибудь.

— Когда?

— Эти дни я очень занят. Недели через две.

Звоню в назначенный примерно срок. Снова объясняю, кто я такой. Уже ушел из памяти и медленно возвращаюсь в нее.

— А-а… Искал, пока не нашел. У меня нет систематизированного архива. Всё или навалом, или в разбросанности. А это тетрадочный листок, искать в моем хаосе — безнадежное дело. Выпорхнет сам, обнаружится вдруг — я вам сообщу. Вы собираетесь его публиковать?

— С вашего разрешения, разумеется.

Пауза.

— Пожалуйста… Если найдется… Вряд ли я сам решусь писать о Ривине. Это рана, к которой боязно прикасаться… Как только обнаружатся «Казни», я извещу вас. Но я полагаю, вряд ли представит интерес для нынешней читающей публики обнародование единственного стихотворения никому не известного поэта. Коль уж знакомить серьезно, с циклом хотя бы. Попробуйте поискать в Ленинграде.

— У кого? Как?

— Вот это уж не знаю… Могу только пожелать вам успеха.

Я понял: мягкий, деликатный, вполне интеллигентный отказ.

Обращение к заслуженному артисту РСФСР Якову Михайловичу Смоленскому, однофамильцу Бориса, оказалось,

выражаясь спортивным языком, более результативным.

Разговор тоже телефонный, но, в отличие от Харджиева, с которым я никогда не встречался, Смоленского, как чтеца, я слышал не раз со сцены ЦДЛ и сейчас, вслушиваясь в интонации, я как бы вижу его самого, выражение его подвижного лица, мимику.

Для начала я прочитал Якову Михайловичу строки из письма Самойлова о том, как он, Смоленский, встретился с Аликом в блокадном Ленинграде.

— Совершенно точно, как всегда у Дезика. Это было в декабре сорок первого. Или в январе? Нет — декабрь! В январе я уже выписался в часть. Я долеживал в госпитале после ранения, был ходячий и решил побывать в университете. Я учился на филологическом, перешел на второй курс и — война!.. Понимал, что вряд ли кого застану, и все же побрел, благо это было не так далеко — госпиталь тоже на Васильевском… Через снежные завалы добрел кое-как до зеленого трехэтажного здания филфака… Ах, учились там недолго? Марра слушали? Ну это еще, значит, в ЛИФЛИ, до слияния с университетом… Помните расположение? На первом этаже, как войдешь, налево — деканат. В декабре это была единственная на все здание отапливавшаяся комната. Паровое отопление отключено, поставлена времянка, «буржуйка», курсовыми работами топили… Все живое наличие факультета собиралось тут, возле печки. И я сразу увидел Алика. Прежде я его на филфаке не встречал. И вообще не уверен, был ли он студентом. Возможно, на историческом, не у нас… Да и декан Александр Павлович Рихтин, помню, спросил меня: «Кто этот юноша, не знаете? Каждый день приходит и садится возле печки…» Он сидел в ватнике, в башлыке с книгой, с томиком стихов. А может быть, я это воображаю — что стихов. Но что с книгой сидел — это точно, это врубилось в память. Что-то мы сказали друг другу. Свидание мимолетное, слов не запомнил…

— Насколько я понял, вы уже были знакомы?

— Примерно с год назад, тоже зимой, мы встретились у моего приятеля — первокурсника Володи Шора.

— Владимир Ефимович Шор? — переспросил я. — Переводчик с французского, недавно умерший?

— Вы знали его?

— Приезжая из Ленинграда в Москву, он останавливался у наших соседей по дому, в квартире за стеной. Мы видались.

— Так вот, Володя позвал меня к себе, сказав, что у него соберется небольшая компания и придет читать стихи Алик. Я уже слыхал в нашем кругу об Алике, «странном малом», пишущем любопытные стихи… Но при встрече он не показался мне

странным, а стихи были действительно хороши.

— Белые?

— Нет, почему же. Нормальный классический стих со строгой рифмой.

— О! — воскликнул я от неожиданности услышанного. — Повторите, пожалуйста.

Повторил.

— Конечно, можно всякое сказать об этих строках. Помнится, тогда же, у Володи, кто-то нагнулся ко мне и прошептал: «Мрачность, пораженчество…» Но можно, услышать тут и другое. Гениальное, если хотите, предвидение своей судьбы, личной судьбы[1].

— Яков Михайлович, вы еще что-нибудь из Алика помните?

Пауза.

— Надо напрячь память. Какие-то разрозненные строки должны выплыть. Но только разрозненные. А их опять же смогут трактовать по-всякому. Необходимо нечто цельное, законченное. Чтобы возник и цельный образ поэта… Поищите все-таки в Ленинграде…

И назвал несколько фамилий.

Ленинградский поиск оказался схожим по характеру с московским. По характеру тех, к кому я обращался. Кто-то помнил Алика, но стихи из памяти ушли. Кто-то хранил одно-два стихотворения, затерялись в домашнем архиве, обнаружатся — пожалуйста. Кто-то… И вдруг неожиданное анонимное письмо из Ленинграда. В конверте без обратного адреса — машинописный листок со стихотворением, начинающимся строчками, мне уже известными: «Вот придет война большая…» Название: «Колыбельная другу Севе, которого убьют на будущей войне». К заголовку — сноска анонима: «Предположительно, Сева — сын Багрицкого Всеволод, действительно погибший на войне».

2

И еще один поэт в моей жизни б ы л.

Его звали Мирон.

Мое знакомство с ним состоялось, если можно так официально сказать про двух шестилетних мальчишек, в тот самый год, когда наша семья переехала из Саратова в Питер, и в том самом доме на Спасской, где мы остановились у дяди Яши. Прямо над его квартирой, на втором этаже, жила семья Левиных. Не помню, кем был ее глава, — кажется, адвокатом. Жена имела

какое-то отношение к литературе, по-моему, чисто служебное, слыхал, что в тридцатые годы, перед войной, она работала в аппарате Ленинградского отделения Союза писателей. У Левиных было двое детей — мальчик, мой сверстник, и девчоночка, совсем крохотная.

Среди мальчишечьей оравы, имевшей на Спасской такое отличное приспособление для своих воинственных игр, как турецкие пушки вокруг Спасо-Преображенского собора, Мирончик Левин отличался абсолютной несхожестью со всеми нами, ну хотя бы тем, что никогда не взбирался и не восседал на этих пушках, воображенно паля по «врагу», как делали все мы. А вот подробности их захвата у турков он знал на уровне военного специалиста. Это был не по возрасту начитанный, книжный мальчик, худенький, длинноносенький, прозрачно-бледный, то и дело покашливавший.

Позже мы несколько лет не видались, поскольку наша семья перебралась на Моховую и я пошел учиться в 15-ю, а Мирончик поступил в какую-то из соседних; и, хотя ребята из близлежащих школ часто сходились в Летнем саду по разным поводам, то для игры в лапту, или в очень популярный тогда крокет, или в начинавший приобретать популярность волейбол или для марафонских забегов по периметру сада, а зимой собирались на его пруду, превращенном в каток, я ни разу не встречал здесь Мирончика. Видно, иные занятия и интересы привлекали его.

А после шестого класса я угодил в предпринятую гороно перетасовку школ. Так до сих пор и не пойму, с какой целью ее учинили, для чего понадобилось по спущенной сверху разнарядке десять человек из нашего 7 «б» перебросить в другие школы, а из них десяток взамен к нам в класс. И сделать это за год до окончания школы, так как она становилась семилеткой. В результате пертурбации мы оказались в 22-й школе вместе с Мариком Тубянским, будущим историком. В двадцать два года он опубликовал обширную монографию о французском маршале Тюренне, которая вызвала блестящий отзыв академика Тарле, а через три года погиб под Сталинградом в составе экипажа разбомбленной немцами канонерской лодки. Новая для нас школа была расположена в здании с колоннадой на Фонтанке, возле Аничкова моста, построенном по проекту великого Джакомо Кваренги для Екатерининского женского института; эти сведения я получил, как понимаете, от Марика. Но теперь мой путь от дома до школы чуть ли не в три раза удлинился, и в силу этого творение Кваренги не пробуждало во мне особых симпатий, каким бы гениальным оно ни было.

Войдя в новый для себя класс, я обнаружил с порога

несколько старых знакомцев. С передней парты мое появление приветствовал, лихо присвистнув, Левка Березкин, с которым мы еще вчера гоняли в футбол на площадке Михайловского сада, где играть было удобней, чем в соседнем Летнем: там мяч часто скатывался в Лебяжью канавку и его приходилось вылавливать, топча при этом аккуратно подстриженную траву на склонах, что вызывало гнев сторожей; мы гоняли мяч, они — нас… Прищурился, вгляделся в меня, не сразу узнав, вернее, признав не сразу, сидевший рядом с Левой Мирончик. Я уже упоминал о его непохожести на других, с «возрастом» это усугубилось. А тут контраст этой парочки был просто вопиющим. Следовало специально потрудиться, чтобы найти и усадить за одну парту подобных антиподов.

Левка — типичное дитя улицы. Не в том смысле, что рос без родителей. Родители были — вполне приличные, нормальные родители. И почему, если сказать — дитя улицы, это должно обозначать непременно скверное дитя? И разве все улицы плохие, с тлетворным, как принято говорить, влиянием? А если это Моховая с ее домами, в которых жили Гончаров, Лесков, Тарас Шевченко, Глинка, Даргомыжский, Владимир Васильевич Стасов, адмирал Макаров? И носится по ней, дышит ее «тлетворным» воздухом еще один будущий моряк-морячина, пусть не ставший адмиралом, но за полвека службы в угольщиках, кочегарах, мотористах, механиках пересекший многократно на «торгашах», на пассажирских лайнерах, на танкерах, на плавучих кранах, на самоходных баржах, на перегонных доках все — это точно говорю, все! — океанские меридианы в самых различных направлениях. Да и параллели в придачу, кроме разве только самых северных и самых южных — у полюсов, — на ледоколах Березкин не плавал, это мне на них случайно довелось. А в канун войны, за неделю до нее, пароход «Волголес», на котором он, третий механик, уйдет вместе с другими. Советские экипажи попадут в интернирование, в концлагеря, в тюрьмы, в Маутхаузен, где Лева увидит генерала Карбышева, его ледяную смерть, воплощенную ныне в камне памятника. Из Маутхаузена — в гестаповскую крепость Вюрцберг. Никто из команды Леву не выдаст, ни того, что он еврей, ни того, что комсорг парохода. В Вюрцберге его примут в кандидаты партии и вместо кандидатской карточки он спрячет под стелькой выписку из протокола подпольного собрания коммунистов.

А пока Левка вращается, колобродит с ватагой мальчишек, предводительствуемый Маркизом (кличка — от имени Марк), который чуть постарше остальных и обладает колоссальной, не только для своего возраста, физической силой. Свидетельствую, видел, как он, подобрав на свалке ржавый велосипедный руль,

почти не напрягаясь, сперва выпрямил, а затем и согнул его в прежнее положение. Помнится, что у Маркиза не всегда сохранялись лояльные отношения с 14-м отделением милиции. Но, придерживаясь исторической объективности, добавлю, что тот же Маркиз помог той же милиции в схватке со шпаной из «придворного». Так называли в народе огромный, на целый квартал, домище на углу Фонтанки и Сергиевской (переименованной после Февральской революции Временным правительством в улицу Чайковского, но отнюдь не в честь композитора, а в ознаменование «заслуг» эсера Чайковского; я напоминаю об этом лишь для курьеза). Часть «придворного» занимала с построения дворцовая прачечная, а жилую часть отвели дворцовой челяди с семьями: швейцарам, поварам, кучерам, горничным, прачкам, дворникам и прочей царской обслуге. При новой власти прачечная перешла на обслуживание населения, мама носила туда белье. «Придворный» стоял на кратчайшем пути от нашего дома к Летнему саду, но родители запрещали пользоваться этой дорогой: опасно. В самом деле, злобная тамошняя шпана не раз избивала ребятишек с Моховой, с Пантелеймоновской, с Литейного, и мы бегали в Летний, давая изрядного кругаля, чтобы не наткнуться на «придворных», у которых главарем был некий Граф, сын бывшего дворцового истопника, впрочем, кажется, и не бывшего; многие из прежней челяди оставались служить при Зимнем, ставшем музеем. Маркиз с Моховой ненавидел Графа с Фонтанки, и тот отвечал ему тем же, хотя, кто кому отвечал, неизвестно, истоки взаимной ненависти были уже забыты, а сама она все возрастала. Личной встречи Граф избегал, страшился, ибо был плюгав и слаб перед Маркизом, а вот с компанией своих подручных подлавливал одиночек из Маркизова окружения и «костылял» им крепко. Вообще шпана из «придворного» была мелкопакостная, вороватая, гадливая, исподтишковая. Кто-то там ее науськивал, подстрекал. И милиция задумала очистную операцию, в которой, предвосхищая действия нынешних народных дружин, и принял участие Маркиз со своими оруженосцами. Был среди них и Левка Березкин, явившийся на другой день в класс с забинтованной головой. Что и как произошло тогда в «придворном» или возле него, не знаю, только бегать в Летний сад мы стали коротким путем и никто нас больше не трогал. Бывая сейчас в Ленинграде и Проходя по Чайковского к Фонтанке, я с некоторым все-таки остаточным страхом поглядываю на огромный угловой дом, на его окна — тихо. Все собираюсь расспросить Льва Львовича Березкина, когда мы встречаемся, о том, как укрощали «придворных», но что-то бывает не к моменту, да и тема у меня в

этой главке другая, ждет возвращения к ней. Лишь сообщу читателям о судьбе Маркиза: в финскую войну он погиб в парашютном десанте… (Написал эту фразу и вспомнил Аллана, молодого англичанина из семьи Мортон, переселившейся из Ливерпуля в Ленинград по пари леди Астор, помните? Он, Аллан, тоже убит в Финляндии и тоже в парашютно-десантной операции, но уже в Отечественную… Одна печальная зарубка в памяти сразу тянет за собой другую, вернее, две: скажу о судьбе Рэй и Мэри Мортон, матери с дочерью. Пережив ленинградскую блокаду, они эвакуировались на Северный Кавказ, в Пятигорск. С тех пор следы их пропали. Вениамин Я., муж Мэри, служивший у нас на Северном флоте переводчиком — офицером связи при английской военно-морской миссии, рассказывал мне после войны, что пытался узнать что-то о Мэри и ее матери. Тщетно. Сгинули, словно и не было их на земле.)

Возвращаюсь к парте, за которой рядом с Левкой сидит Мирончик Левин, полная, как уже сказано, противоположность по всем статьям своему соседу. В отличие от уличного происхождения Левки, Мирончик — дитя книжной полки. Не настаиваю на изящности этого определения, более подходящего не подберу. Тут должно бы последовать авторское умозаключение, обычное в таких случаях: полярные-де натуры прочнее сближаются. Но оно не возникнет: Левка с Мирончиком не дружили, все их взаимоотношения ограничивались сидением за одной партой; прозвучит звонок с урока, и вы уже не увидите их вместе ни в школе, ни за ее пределами. А Мирончика за «пределами» вообще редко кто видел, в свободное от школы время он исчезал с наших глаз. Говорили, что проводит долгие часы в Публичке, в зале для научных работников, куда он раздобыл постоянный пропуск. Для школьной программы не требовалось книг, выдаваемых в этом зале. Для чего же там сидит Мирончик? Но туда же стал похаживать и Марик Тубянский, они сблизились, и я под большим секретом узнал от Марика, что Мирон «серьезно занимается футуристами, их поэзией, Маяковским, Хлебниковым». А еще до Марика кто-то из старожилов класса рассказывал мне, что в прошлом году, в тот день, когда было объявлено о смерти Маяковского, Мирон на занятия не явился, не приходил и в последующие дни, уезжал, оказывается, в Москву на похороны поэта. А нынче, уже в мою бытность в классе, 14 апреля 1931 года, в первую годовщину со дня гибели Маяковского, он пришел на уроки с траурной повязкой на руке и обратился ко всем нам с печальной торжественностью в голосе, который звучал у него всегда на глубинных басовых нотах, контрастировавших с внешней

худосочностью:

— Прошу всех встать и почтить память прекрасного поэта!

И мы поднялись в молчании, и застыл в дверях только что вошедший учитель математики, типичный дореволюционный педель, весьма далекий от поэзии глашатая революции.

После окончания семилетки мы разбрелись кто куда, и я, поступивший в фабзавуч, потерял контакты с большинством ребят из 7 «а» 22-й, да, собственно, и во время моего полугодичного пребывания в этом классе особых приятельств не завел. Мы с Мариком оставались для них, обучавшихся вместе с первого дня, пришельцами со стороны, чужаками, — в 14—15 лет медленно притираются друг к другу, ершатся. Будучи уже взрослым, на традиционные встречи выпускников, проводимые в школах, я ходил не в 22-ю, где получил свидетельство о неполном среднем образовании, а в 15-ю, которую так и считаю пожизненно своей.

Итак, я потерял связи с выпускниками из 7 «а» 22-й школы. И вдруг неожиданно мы сошлись, сблизились с Мирончиком, самым неконтактным из этого класса. Столкнулись случайно на улице — он учился в одной из немногих сохранившихся в городе девятилеток, — разговорились, условились встречаться. Нет, я не собираюсь задним числом через столько лет присоединять себя к друзьям Мирона. Наши отношения, как и с Аликом, в состояние прочной дружбы не перешли. Кстати, я познакомил их, Алика с Мирончиком. И хотя у них был общий интерес: Маяковский — Хлебников или Хлебников — Маяковский, они довольно быстро разошлись-разъехались как раз из-за этого «или». Так и не смогли установить справедливую очередность этих имен. Мирончик считал, что первым идет Маяковский, Алик отстаивал приоритет Хлебникова.

К Мирончику меня притягивало, кроме его начитанности и знания литературы, еще одно обстоятельство: у него была возможность при содействии знакомого служителя проникать (а я с ним!) в артистическую, за кулисы зала академической Капеллы, когда там устраивались вечера поэзии. А это были вечера неповторимые. Из-за кулис я слышал Сельвинского, громыхавшего «Улялаевщиной» и нежно стелившегося «Белым песцом», Багрицкого, который приехал в Ленинград незадолго до смерти и читал в серой домашнего покроя блузе, не стеснявшей его астматического дыхания, «Птицелова», «Бессонницу», «Контрабандистов». Был вечер трех поэтов: Асеева, Кирсанова и Уткина. Меня удивило участие в этом составе Уткина, уж больно диссонировали его стихи со стихами недавних «лефов». «Они теперь дружны», — сказал неодобрительно Мирончик. И я убедился, что он не только информирован о бытии московских

поэтов, но и лично как-то связан с ними. Стоя в сторонке, я наблюдал, как он разговаривал по-свойски с Николаем Николаевичем Асеевым, причем Асеев слушал Мирончика с не меньшей заинтересованностью, чем Мирончик Асеева… В той же артистической я видел беседующих меж собой перед началом вечера Анну Андреевну Ахматову и Осипа Эмильевича Мандельштама; ни в каких мемуарах, ни в исследованиях я не встречал упоминания об этом совместном выступлении Ахматовой и Мандельштама. Но я их видел, слышал! И у меня нет основания не доверять моей памяти, она слаба на цифры, на даты и крепка на имена, на зрительные впечатления. Ахматова была еще очень похожа на ту, что написал Модильяни, — сохранилась челка, сохранился горделивый римский профиль, более рыцарский, чем женский, к этой голове шел бы шлем центуриона. А у Мандельштама был облик совсем не романтический, — с бородкой клинышком, с обширной лысиной, в накинутой на плечи тяжелой шубе он напоминал мне детского доктора Конухеса, который приходил к нам по маминым вызовам. Но какие стихи читал Мандельштам!

> Вы, с квадратными окошками, невысокие дома, —
> Здравствуй, здравствуй, петербургская несуровая зима!
> И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки,
> И еще в прихожих слепеньких валяются коньки.
> А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар,
> Продавал с гранитных лестничек добросовестный товар…

Ах, как хорош этот гончар, из тех гончаров, что видел я с весны до поздней осени на Фонтанке возле Прачечного моста!

— А ты знаешь, — говорю я Мирончику, — Осип Эмильевич учился в нашей Тенишевке…

— Что ж, неплохая деталь, украшающая твою биографию… — язвит Мирончик.

Прекратились вечера в Капелле, пошли на убыль наши общения с Мироном. Я отправился в моря-океаны, началась новая полоса в моей жизни, и мы больше не виделись. Появились иные друзья-приятели, непохожие на прежних, но, бывая между рейсами в Ленинграде, я мельком виделся и с прежними, узнавал, что с кем. Про Мирончика слыхал, что он глубоко залез в литературоведение, в Маяковского, опубликовал что-то сенсационно-неизвестное о нем, сам пишет стихи, занимается переводами. И действительно, мне попался на глаза в какой-то газете его перевод стихотворения незнакомого для меня

английского поэта, похожего по стилю на Роберта Бернса. Позже от Левы Березкина, с которым мы столкнулись за ресторанным столиком в мурманской «Арктике», придя из настоящей Арктики, — я на ледоколе, Лева на сухогрузе, — узнал, что Мирон болен, у него открылся туберкулез и бóльшую часть года он проводит в крымских высокогорных санаториях. А в первых числах мая 40-го, когда после тяжелой ледовой кампании в Белом море мы возвратились с помятым корпусом, с поврежденным винтом в Мурманск на капитальный ремонт, мне принесли в каюту толстую пачку накопившихся на берегу газет. И я, просматривая их, обнаружил на последней странице еще февральского номера «Литературки» траурную рамку, в которую были заключены три оглушивших меня слова: «Памяти Мирона Левина».

В эти дни, когда пишу о Мироне, я разыскал в старой подшивке тот некролог.

> «14 февраля в Крыму, в санатории Долоссы, умер 22-летний писатель Мирон Левин.
>
> Мирон Левин успел напечатать мало. Он сделал прекрасный однотомник Маяковского для Детгиза со своими рассказами-комментариями, но книга не была издана. Он напечатал несколько интересных статей по русскому стиху и в «Литературной газете» напечатал свои стихи, шутливо выдав их за перевод из английского поэта. Это были стихи мужественные, написаны они были человеком, который умирал.
>
> Мы потеряли талантливого молодого писателя, умного и веселого человека, потеряли друга, в будущее которого верили.
>
> За несколько дней до смерти Мирон Левин прислал письмо о том, как издавать Маяковского.
>
> *Виктор Шкловский, Н. Асеев, С. Маршак, К. Чуковский, И. Андроников, В. Перцов, Л. Ю. Брик, О. М. Брик, В. Катанян, В. Тренин, А. Ивич, М. Шнейдер».*

Я пишу о Мироне по памяти, как в основном и всю эту повесть. Мне нравится название книги И. Рахманова «Рассказы по памяти», и я следую тому же принципу — прежде всего память! Но хочется что-то к ней и добрать, доискать, найти дополняющие ее свидетельства, хорошо бы документальные. Помните мои телефонные разговоры с Н. И. Харджиевым? Я спросил его между делом и о Мироне, не знал ли он такого исследователя

Маяковского. «Знавал, — сказал он в несколько отстраненной, вяловатой манере, — способный был молодой человек. Он ушел как-то из моего поля зрения…» — «Он умер…» — сказал я. «Ах да, вроде бы скончался перед войной. А потом было столько гибелей, что…»

А спрошу-ка, подумалось, о Мироне у Льва Ильича Левина. Не родственники ли они, хотя Левиных — почти как Ивановых. Во всяком случае, какую-то справку обязательно получу. В отличие от «Краткой литературной энциклопедии», эта, ходячая, не краткая, обстоятельная, «словник» у нее, особенно пофамильный, неисчерпаемый. Критик, редактор Л. И. Левин тоже из тех знакомых моей юности, связь с которыми давно оборвалась, но я их вижу, встречаю, а признаться не решаюсь по причине, уже объясненной мною: боюсь быть неузнанным. И вот однажды в писательской поликлинике, в коридоре, он подошел ко мне и спросил:

— Вы такой-то?

— Я такой-то…

— А я такой-то…

— Знаю, — сказал я. — Мы бывали когда-то вместе на канале Грибоедова, в писательском доме, у…

— У Ефима Семеновича Добина. Так почему же вы всякий раз воротите нос от меня и меня вынуждаете к этому? Отлично вас помню. Давайте восстановимся.

— Давайте!

И мы «восстановились», шлем друг другу предпраздничные открытки, а видимся, беседуем все в той же поликлинике Литфонда, где же еще встречаться литераторам нашего возраста? Вот при очередном «Здрасьте!» — «Здрасьте!» я и наведался у Льва Ильича о его родственнике или однофамильце.

— К сожалению, только однофамилец… А вы что, дорогой мой, не читали статьи Мариэтты Чудаковой?

— Статью? О чем? Где?

— Немножко поинтригую, можно? Назову лишь журнал «Литературное обозрение» номер 7 или 8 за прошлый год.

Из статьи М. Чудаковой «О предмете и слоге критики» в «Литературном обозрении» № 8 за 1979 год:

> «Накопилось… сотни (без преувеличения) обширных или кратких упоминаний стихотворения С. Орлова «Его зарыли в шар земной…» (о котором в лит. энциклопедии особо сказано: «Широкую известность получило…»). При правильной организации дела поэтической критики, предполагающего обращение к широкому литературному

фону, рассмотрение окружающих текстов и т. п., среди этих упоминаний, правильно связывающих стихотворение с биографией поэта-фронтовика, должно было бы появиться хоть единственное указание и на ближайший литературный источник.

Но час пробьет,
И я умру.
Поплачьте надо мной
И со слезами, поутру,
Заройте в шар земной.

Стихотворение с этой строфой опубликовано было в «Литературной газете» в 1939 г. (26 июня, № 35). Публиковалось оно… под заголовком «Из Д. Дэвидсона» и принадлежало 22-летнему литератору Мирону Левину, через полгода умершему от туберкулеза».

Что могу прибавить к публикации Мариэтты Чудаковой?

Только полный текст стихотворения Мирончика в том виде, как оно было напечатано 44 года назад.

МИРОН ЛЕВИН

Из Д. Дэвидсона

Стакан вина!
Мне б жить да жить.
Других желаний нет.
До сотни лет
Готов я жить
На лучшей из планет.
Но старость —
Черт ее дери! —
С котомкой и клюкой
Стучится —
Черт ее дери! —
Костлявою рукой.
Могильщик думает: «Ну-ну!
И твой пришел черед!»
Но я до сотни дотяну,

Скажу вам наперед.
До сотни лет
Готов я жить
На лучшей из планет.
Стакан вина!
Мне б жить да жить —
Других желаний нет.
Но час пробьет,
И я умру.
Поплачьте надо мной.
И со слезами, поутру,
Заройте в шар земной.
Чтоб солнце —
Черт его дери! —
Светило круглый год,
Чтоб утром — свет,
Чтоб ночью — тьма,
А в шесть часов —
Восход.
До сотни лет
Готов я жить
На лучшей из планет.
Стакан вина!
Мне б жить да жить —
Других желаний нет.

А что добавить к стихотворению?

P. S.

Только что попала под руку книга воспоминаний Леонида Рахманова «Люди — народ интересный». В главе о Зощенко читаю:

> «…Зощенко нежно, я бы сказал — растроганно, любил стихи. Все его автобиографические рассказы идут как бы под рефрен чудесных бернсовских строчек, чудесно переведенных Маршаком:
>
> А старость, черт ее дери,
> С котомкой и клюкой,
> Стучится, черт ее дери,
> Костлявою рукой…»

А мы-то знаем, что это не Бернс и не Маршак, а

«Д. Дэвидсон», придуманный Мироном Левиным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я начинал в газете со школьно-пионерской тематики, с корреспонденции, статеек под такими, к примеру, заголовками: «Звено не работает индивидуально с каждым пионером», «Пионерскому отряду — комсомольское руководство», «Сам на сбор, а балалайка — дома» (призыв к тому, чтобы проводить сборы веселее, используя ребят, умеющих играть на музыкальных инструментах, петь, читать стихи), «Больше самокритики на выборах актива», «Ефремов, берись за учебу!», «Быть знаменосцем — большая честь» и т. д. и т. п. Я уже и сам ощущал эту ограниченность, да и дядя Костя сказал, прочитав и выправив мой очередной такой опус:

— Ну чего ты уткнулся в подножный корм. Ищи людей с интересными биографиями, судьбами, характерами, расспрашивай их, записывай их рассказы.

И я стал искать.

1

Среди первых моих любопытных встреч-открытий, если не самая первая, — Чапаев.

Фильм «Чапаев» еще не появился, и это имя не звучало столь громко, как в последующие годы. Но была книга «Чапаев», мы проходили ее в седьмом классе вместе с «Железным потоком» Серафимовича, «Разгромом» Фадеева, «Неделей» Либединского. Я хорошо знал содержание повести и, услышав случайно, что в авиаучилище на Петроградской стороне занимается курсант Чапаев, кажется, сынишка фурмановского героя, заинтересовался сим фактом и тут же отправился в «Тёрку». Так называли эту школу ее воспитанники, поскольку она давала только теоретические знания, а самое технику, машины они, если успешно сдавали теорию, осваивали затем в других училищах. Ленинградская «Тёрка», протиравшая парней и притиравшая их к авиации, — в биографии тысяч и тысяч военных летчиков страны…

Трамвай, в котором я ехал, приближался к нужной мне остановке и прокатил мимо курсантской колонны, возвращавшейся, судя по сверткам под мышками, из бани, и взгляд мой, скользнув по строю, задержался на замыкающем его малорослом курсантике: кроме свертка он нес еще и фонарь, как полагается всякому замыкающему. Вы уже догадались, что это и

был искомый мною сын Василия Ивановича Чапаева.

С Аркадием Чапаевым мы встретились лишь единожды. И не потому, что какие-то причины помешали дальнейшему сбору материала. Нет, просто я полагал его уже полностью собранным. По тогдашнему моему разумению, полуторачасового разговора было сверхдостаточно для того, чтобы написать очерк о человеке. Вернее, то, что я считал в 17 лет «очерком». Впрочем, и сейчас, проработав в документальной литературе чуть меньше полувека, я не смогу объяснить в точности, что же такое очерк. И в этом я не одинок.

Итак, один раз встретились, и в один присест сочинялось пять машинописных страничек, сколько требовалось на искровскую полосу с картинками.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕТСТВО

Степь как лысина — ни травинки. Ветер с разбега зарывается в песок, вздымая его столбами к небу. Темнеет небо. Через степь бегут люди. Тянут лошадей за поводья, лошади спотыкаются, мешают людям, и те бросают их в мертвой степи на погибель.

Это бегут белые казаки. Их гонят чапаевцы. Гонит Василий Чапаев, начальник 25-й уральской дивизии Красной Армии. Симбирский плотник Чапаев собрал небольшой отряд, выросший в боях в непобедимую дивизию. Чапаев гонит белых чехословаков, казаков, колчаковцев.

У начдива есть сын Аркаша. Ему семь лет. Он живет в селе Вязовке. В детском доме.

Был день, когда белые захватили Вязовку. Заведующий детдомом быстро собрал воспитанников. Кого успел. Посадил в фургон. Успели удрать из-под носа белых. Но не все. Несколько ребятишек осталось. И среди них Аркаша со своим другом Ванюшкой. Белые ходят по селу, ищут коммунистов. Председьсовета — предатель. Говорит:

— Вот этот мальчонка — сын Чапаева!

Маленький Аркаша — заложник. Белые держат его у себя. У них расчет: явится Чапаев на выручку сына — и тут его схватят.

Ночью белые копали ямы. Всю ночь лязг лопат. Гул осыпающейся земли. Утром проснулся Аркашка, выбежал

во двор. Ямы глубокие. Около них телеги с квадратными ящиками. Стаскивают их — и в яму.

— Что они прячут? — спрашивает приятеля Ванюшка. Он тоже тут вертится.

— Наверно, патроны, — говорит Аркаша, который чуть постарше. — На красных, на моего папку. Он бьет белых. Они скоро побегут отсюда. Вот и закапывают патроны. Думают, что вернутся.

Солдаты устали, решили перекурить. Ушли подальше, за дома. Значит, на самом деле в ящиках патроны. Возле боеприпасов курить нельзя — Аркаша знает это.

Последний ящик уложили. И стали ямы землей засыпать. Уровняли ее так, что и не видно, где рыли. Но сын Чапаева запомнил это место. И когда чапаевцы ворвались в село, показал отцу, где лежат ящики. Точно — патроны. Доволен мальчик — помог отцу.

И еще один раз помог, хотя совсем маленький мальчишка.

Дивизия пошла дальше. А Чапаев остался ненадолго со штабом. Чтобы выработать план действий.

Аркаша тут же в избе. Стоит у окна. Окно прямо на базарную площадь. Сегодня торговый день. Со всей окрестности съезжаются возы. Всю площадь заполонили.

Хорошо бы там пошляться… И как раз за картошкой послали на базар. Встретил по дороге Ваню-дружка. Ходят между телег, глядят, как мешки с картошкой, со всякой снедью сгружают с возов.

— Смотри-ка, — шепчет Ванюшка. — Что это?

Из мешка высыпалась картошка, а под ней ствол пулемета торчит.

Мигом сообразил сын Чапаева: белые пробрались в Вязовку. Скорей к отцу! Не то захватят его врасплох.

Бежит мальчик, задыхается. Кричит с порога:

— Б-батя, б-батя! Пулеметы!..

Начдив со штабом, с друзьями — на коней и к своим, догнали дивизию. Вернулся с одним из отрядов в Вязовку, и к вечеру белые были разбиты.

Бьет Чапаев Колчака, гонит. Взята Уфа, главная вражеская крепость. Все вперед и вперед устремляется дивизия. За ней, едва поспевая, катит по степям фургон. Двое мальчишек с матерью в фургоне: Аркаша и Шурик, который постарше. Если война продлится, может, и он еще успеет стать бойцом у отца. Но бои идут к концу.

Весь Урал у красных, вся Волга. Остался у белых только маленький городок на Каспии — Гурьев.

Фрунзе дал Чапаеву небольшой отпуск перед атакой на Гурьев. Но какой отдых у начдива? Не покидает штаба во Лбищенске. Позвал к себе отца, жену с Аркашей, которые жили в это время в Вязовке. Приехали. Зовут Василия Ивановича домой на побывку. «Нет, — говорит, — возьму Гурьев, вот тогда отдохну немного дома, и — на Польский фронт!»

Уехали обратно в Вязовку. Утром почтальон стучит в окошко, телеграмму сует в форточку, белый продолговатый листок: «Штаб Чапаева подвергся нападению тчк Чапаев убит».

А случилось это так. Белые окружили штаб 25-й. Ночью, врасплох. Начдив ранен в правую руку, левой стреляет, отстреливается. Бросился к реке. Товарищи помогают переплыть на другой берег. Но на середине реки пуля бьет Чапаева в голову…

Какая потеря для армии! Но она продолжает движение вперед. Вот и Гурьев взят. Разъезжаются чапаевцы по домам, возвращаются к мирной жизни.

Семья Чапаева — в селе Любичи под Пугачевом. Здесь Аркаша пошел в первый класс. Потом перебрались в сам Пугачев. Во время переезда — событие. Только вкатила телега на последнюю горку — догнали ребячью ватажку. Да нет, не ватажка, аккуратным строем идут, по двое, все в трусиках, даже девчонки, в белых рубашках. Красные галстуки у всех. Впереди — барабанщик. Барабанит так, что за версту слышно. Кто такие? Пионеры. Слово это Аркаша слыхал, но никогда таких ребят не видел. Соскочил с телеги, пристроился возле барабанщика. Не гонят. Так и добежал с отрядом до города.

А раз дошагал — в отряде и остался. То есть на другой день пришел на сбор отряда. А через неделю — звеньевой. Командир звена, почти как отец, который командовал дивизией. Но сначала-то — маленьким отрядом, немногим побольше Аркашиного звена…

Сын в отца, живет, бьется в нем организаторская жилка. Мало ему своего звена. Увлек с собой ребят в село Давыдовку неподалеку от Пугачева, за речкой Иргиз. Чтобы провести там агитацию среди местной детворы и создать пионерский отряд. Раздали книжечки с торжественным обещанием, красные галстуки

повесили. Только барабана не было на первом сборе. А потом и барабан появился, сельсовет купил для отряда.

Аркаша — в Самаре. Он уже почти взрослый. Собирается кончать школу. Комсомолец. Только вот росточком не вышел. Но ведь и отец был не из великанов. Разве все счастье в росте, в сантиметрах? Была бы сила в руках, ловкость в теле. А главное, смекалка в голове. Вот тут уж природа не обделила сына Чапаева.

Бежит, спешит куда-то по главной улице. И вдруг вывеска мелькнула перед глазами. Остановился с разгона, как лошадка, взятая под уздцы на полном скаку. «Планерная школа». И уже нет другого желания, другой мечты с этой минуты — в летчики!

Теперь ясен путь Аркадия Чапаева, который привел его к нам в город, сделал ленинградцем.

Планерная станция. Теория. Полеты. Диплом планериста. Путевка в военную школу летчиков.

Пока он курсант, учлет.

А как он учится, говорит заметка из газеты «Взлет», написанная его товарищами по роте: «Курсант подразделения «В» кандидат ВКЛ(б) Аркадий Чапаев идет ведущим во взводе, имеет средний балл по учебе 4,2 и благодарность от командования. Со времени поступления в школу нет ни одного дисциплинарного проступка…»

Таков 20-летний сын легендарного героя гражданской войны, воспитанник пионерской организации, комсомола, будущий командир Красного Воздушного Флота».

— Что ж, довольно бойкая статейка. Вранья в меру…

Это говорит мне Александр Васильевич Чапаев (помните Шурика в фургоне?), которому я показал свою корреспонденцию о его младшем брате через 46 лет после опубликования. Он ее прежде не видел.

Я пришел к генералу на московскую квартиру, и мы находимся в комнате, похожей на маленький ботанический сад, на оранжерею из диковинных, экзотических растений, названия которых мне неведомы. Но я не решаюсь спрашивать о них, потому что с первых реплик генерал показался мне человеком жестким, не терпящим в собеседнике дилетантизма, неосведомленности в том, что совершенно ясно и не нуждается в

рассусоливании. Он не сидит ни минуты на месте, он все время ходит (так и сказал мне сразу: «Я буду ходить, привычка, не обращайте внимания…»), то и дело исчезая в густой комнатной флоре, и тогда я слышу его голос из зарослей, как в лесу, только эха нету.

— Как это у вас, литераторов, именуется? Художественный домысел? Полет воображения?.. Думаете, Фурманов по этой части не грешен? Еще как грешен! Не ходил, к примеру, наш отец в молодости с шарманкой по деревням для заработка, как у Фурманова описано. Не было нужды в шарманке. Все мужики Чапаевы не в одном поколении надежным обладали рукомеслом: мастера по плотницкому и столярному делу. Деда Ивана помню вечно за верстаком. Деревянные бороны делал на заказ, далеко славились. Мы, ребята, любовались стружкой из-под его руки, такого причудливого извива я больше не встречал в жизни. Мы этой стружкой избу украшали, развешивали повсюду, в косу сестренке Клаше заплетали, сами опоясывались с Аркашкой, никогда она не рвалась, хотя была тонка, как пергамент.

И отец в короткие побывки с фронта тоже часто брался за пилу, за рубанок… Он ушел на первую мировую, оставив нас с матерью у своих стариков в Балакове. До этого мы жили в Мелекесе, Аркашка там родился… Отец служил, воевал в полку, который формировался в Саратове из волжан, из балаковских, мелекесских. Они, земляки, уговаривались между собой: если кто погибнет, друг берет семью убитого под опеку, заботится о ней. Был такой уговор и у отца с приятелем, Петром Камышкерцевым. Вот такая редкая фамилия, да и Чапаев — не из частых… Петра сразила пуля. Отец, кавалер четырех солдатских Георгиев, ранен был в который раз, лежал в госпитале и перед возвращением на фронт заехал в Балаково. Дома побывать и, согласно клятве, помочь как-нибудь осиротевшей семье товарища… Но своей жены, нашей матери, не застал. Она полюбила другого, уехала с ним, заскучала в далях по ребятишкам, вернулась и, что уж с ней приключилось, не знаю, померла вдруг, в Балакове похоронена… Мать звали Пелагеей Никаноровной, и жену убитого отцова друга тоже Пелагеей, Пелагеей Ефимовной. У нее были две дочери, у отца нас трое. И стали мы одной семьей, оставаясь ею и после гибели отца. Сорок лет прожила с нами Пелагея Ефимовна и никогда не была для нас мачехой. Вы этого слова относительно к ней и не употребляйте. Мать!

— Александр Васильевич, в моей старой корреспонденции она так и названа: «Двое мальчишек с матерью в фургоне…»

— Ну правильно, со слов же Аркадия записано… Но с хронологией у вас напутано кое-где. Не во Лбищенск они ездили

к отцу, а раньше, в Уральск. Это я точно помню — болел тогда, и меня не взяли, а Аркашку приодели для встречи с отцом: матросская курточка, голубой воротничок, пуговицы сверкают, я ревел от зависти, и в память врезалось название города, куда они отправились: Уральск… И с детдомом что-то не так. В детдом мы попали ненадолго, когда голод обрушился на Поволжье, дед с бабушкой у нас умерли. Это год двадцать первый, отца уже не было… И вообще вы Аркашку подвзрослили малость. Впрочем, он и сам себе прибавил возрасту, поступая в летное училище.

— А вы к этому времени были уже военный?

— Военный, артиллерист. Но моя первая профессия — агроном. Я им и всегда себя считал и, выйдя в отставку, вернулся, как видите, к любимому занятию. Между прочим, мать рассказывала, что отец не собирался после войны оставаться в армии, тоже тянуло к земле, к сельскому хозяйству. Войной, говорил, дракой сыт по горло. И сыновьям, говорил, закажу ступать на эту дорогу. Думаю, не одобрил бы стремления Аркадия в авиацию. Грешным делом, хотя чего тут грешного, не нравился и мне выбор брата. Знал я его характер, горячность и вечно пребывал в страхе за Аркашку.

— Где он учился после Ленинграда, после «Тёрки»?

— В наших краях. В городе Энгельсе, бывшем Покровске…

— На левом берегу Волги, прямо против Саратова?

— Знаете эти места?

— Я — саратовский.

— Чего же сразу не признались? С земляком разговаривать куда как приятственно… В Энгельсе Аркадий кроме летной практики и общественную школу, можно считать, проходил. Избирался членом ЦИКа республики. Ездил в декабре тридцать шестого делегатом на Чрезвычайный съезд Советов, принимавший Конституцию… Я вам сейчас фотографии покажу. Вот он с Ворошиловым, с Буденным. Вот среди соратников отца, тогда еще многие были живы…

— А тут он с кем? Никак с Чкаловым?

— С Валерием Палычем. Это позже. Когда мы жили в Москве в одном доме с Чкаловыми, в одном подъезде, они этажом ниже, как раз под нами… Аркадий служил уже в Подмосковье, сперва в бомбардировочной авиации, на тяжелых машинах «ТБ». Но скорости, понимаете, его не устраивали, перешел в истребители… Старший лейтенант, командир звена. Приезжал по субботам в город и всегда с товарищами. Шумная собиралась компания. И Чкалов нередко поднимался к нам или к себе зазывал молодых летчиков. Я одно время сердился на Валерия, он переманивал Аркашку в свой отряд испытателей. Я знал от приезжавших с

братом сослуживцев, что он неосторожен в полетах. Это они так говорили: «неосторожен». Я-то представлял, какие он при своем нраве штуки выкидывает в воздухе. А тут еще — в испытатели! Сплошной риск. Я сказал Валерию: «Не морочь парню голову!» Аркашка узнал об этом моем разговоре с Чкаловым, месяц на меня дулся, шипел.

— В моей памяти он тихий, застенчивый курсантик.

— Ого, тихоня! В малолетстве-то, правда, рос квелый, вялый. Головенка с рождения к плечу клонилась, будто требовалась ей подставка. А годам к тринадцати, к шестому классу, весь он как-то вдруг переменился, окреп, и голова выпрямилась, в рост особо не пошел, мы все в отца, но стал ловок, удал. Идем с ним по улице в Самаре, отскакивает внезапно в сторону и — на какого-то здоровенного верзилу с прыжка, бах ему по губам, бах, тот — дёру. Я спрашиваю: «За что ты его так?» — «Он, — говорит, — знает за что…» — «Это, — говорю, — ты при мне такой храбрый?» Обиделся. «Я бы, — говорит, — его и без тебя отделал. Не будет наших ребят задирать исподтишка, шпана этакая…»

Но я отвлекся… В испытатели рвался он, к Чкалову. Валерий Палыч внял моей просьбе. Посоветовал Аркадию — в Военно-воздушную академию. Сказал: «Жалею, что сам не окончил, мне уже поздновато, а тебе в самый раз. После академии к себе возьму». Этот аргумент подействовал. И я обрадовался: четыре года передышки, не надо каждый день волноваться — жив ли, не разбился?.. Пока обучался на первом курсе, Аркадий с молодой женой жил у нас на Садовой — Земляном валу. После гибели Чкалова в декабре тридцать восьмого улице дали его имя… Он погиб, испытывая новый истребитель в районе Центрального аэродрома. Это недалеко от Военно-воздушной. И многие слушатели видели, как великий летчик тянул падающую машину, чтобы она не рухнула на жилые дома. Может быть, и Аркадий видел… Меня в это время не было в Москве. Перевели под Горький командиром батареи. Там — наша последняя встреча с Аркашей.

Это было ровно за два года до войны, в последних числах июня. Возвращаюсь со стрельб. Плетусь усталый мимо футбольного поля, вижу, какие-то незнакомые лейтенанты с голубыми петлицами на гимнастерках гоняют мяч. Летчики? Откуда? В воротах невысоконький, ловко прыгающий, ловко отбивающий удары старший лейтенант с усиками. Аркашка! Ну, конечно, выбрал чего потруднее — с таким ростом в воротах… Оказывается, первокурсников академии, сдавших годовые экзамены, послали перед каникулами в учебную командировку. Объезжают для ознакомления разные рода войск, побывали у

пехоты, у танкистов, у моряков и вот к нам явились, в артиллерию. Три дня у нас в распоряжении. Начальство прикрепило к летчикам меня. Чтобы дать возможность пообщаться с братишкой. Да и в интересах дела: я неплохо знал все артиллерийские системы и калибры. В теоретическом классе не сидели, целый день на полигоне, все виды стрельб показал я им. В том числе и дистанционную батареей, наиболее сложную из стрельб, когда снаряды разрываются в воздухе, и должен быть особенно точен расчет расстояния, высоты, направления, сноса на ветер и прочих параметров.

Три дня к концу. Летчикам предстояла еще поездка в Борисоглебск, в авиаучилище на тренировочные полеты. Собрались попрощаться у меня в фанерном домике. Чокнулись. Кто-то сказал: «Подлетнем разок-другой на «табакерке» — они так ТБ называли — и до дома, до хаты!» — «Нет уж, — сказал Аркадий, — там появился «И-16», я его погоняю, отведу душу». Я как услышал про «И-16», дрогнул внутренне, я знал от людей, вернувшихся из Испании, что эта новая машина Поликарпова, истребитель, хороша по скоростям, но очень норовиста, капризна, войдет в штопор — можешь и не вывести… Когда мы остались вдвоем, я сказал брату: «Слушай, перестань петушиться, урезонься. У тебя — академия, дорога к большой работе». А он, и обычно-то вспыльчивый, вулканистый, тут едва не с кулаками полез на меня. «Хватит, — кричит, — мне твоей заботы, хватит! Рожденный ползать…» Это я, значит, ползать рожден, а он — летать… Потом, на войне, «ползая» со своей батареей, со своим артдивизионом, со своим гаубичным полком, со своей тяжелой пушечной бригадой с одного горячего участка фронта на другой, еще более горячий, я вспоминал слова Аркадия и представлял себе, каким бы бесстрашным бойцом стал он в небе войны…

В тот раз я проводил его до палаток, где жили летчики. Мы попрощались, расцеловавшись, оба какие-то примолкшие, притихшие. И не потому, что говорю это сейчас, задним числом, зная о гибели Аркаши, но у меня тогда было чувство, что мы больше не увидимся.

Они уехали в Борисоглебск. Через несколько дней телеграмма: «Аркадий умер». Вот такая, без подписи, два слова, и не «погиб», не «разбился», а вот так: умер… Он взлетел на «И-16», сам, судя по маневрам, ввел машину в штопор на высоте 3000 метров, и она упала с этой высоты, не выходя из штопора, в трясину. Парашюта у летчика не было. Аркадий и с парашютом все равно не оставил бы самолета… Это случилось 7 июля 1939 года. В тот день в Москве был подписан приказ о присвоении слушателю 2-го курса Военно-воздушной академии Чапаеву А. В.

очередного воинского звания «капитан», не заставший его в живых…

Окончен рассказ генерала Чапаева, захлопнут мой блокнот. Я ухожу.

Со стены провожает меня взглядом Василий Иванович Чапаев в папахе, кажется, впервые услышавший сегодня о том, как погиб его младший сын…

2

На одном из больших ленинградских заводов случайно обнаружилось, что в основании идущей из кузницы 40-метровой трубы выгорели кирпичи и она держится на честном слове, может вот-вот упасть. Стоит окруженная цехами и, рухнув, должна неминуемо разрушить здания самой кузницы и находящейся рядом заводской лаборатории. Работа и тут и там была прекращена. Времени для демонтажа и эвакуации кузнечного оборудования уже не оставалось, смогли лишь вынести в безопасное место ценные лабораторные приборы. На специальном совещании у директора решили пригласить верхолазов.

За верхолазами послали автомобиль. Они приехали вдвоем. Это были старые «корешки»-приятели, но звали друг друга по фамилии и на «вы».

Филиппов — лысый, сутулый, с лукавым подвижным лицом.

Филимонов — коротенький, толстый, рыжий.

У трубы их ждали директор и главный инженер. Поздоровались. Директор сказал:

— Труба у нас валится. Подгорела. Надо разобрать.

Филиппов, задрав голову, окинул быстрым безразличным взглядом трубу и процедил сквозь зубы:

— Ничего себе дурочка.

Филимонов повторил басом:

— Ничего себе, дурочка.

Главный инженер сказал:

— Работа, понимаем, рисковая, но выполнить ее необходимо.

Филиппов внезапно рассердился:

— Агитации нам не требуется, всё видим. — И, обернувшись к Филимонову, тихо: — Полезли…

— Лезем, — сказал Филимонов. — Я только жене позвоню.

Директор и главный инженер переглянулись. Филиппов объяснил:

— Товарищ Филимонов на серьезную работу всегда зовет

жену. Ей тут недалеко ехать.

— А вы свою не приглашаете? — спросил шутливо директор.

— Я холостой, — сказал Филиппов.

Он взял небольшой, легкий ломик, привязал его веревкой к поясу, выбрал среди лежавших на дворе досок одну потолще и, зажав ее под мышкой, приблизился вплотную к трубе, приткнулся к ней грудью, прижался, словно испытывая на крепость, правой рукой ухватил скобу и стал подниматься.

Утром лил дождь, скобы — мокрые, подметки скользили. Филиппов лез, не глядя себе под ноги, он смотрел на красный щербатый кирпич перед собой и что-то бормотал, а что — внизу не было слышно. Вот он прошел половину трубы, задержался, передохнул и впервые оглянулся. Он увидел зеленую крышу механического цеха, водонапорную башню, ниже текла Нева, по ближайшим мостам бежали трамваи. Филиппов любил с высоты смотреть на город, ему нравилось искать отсюда и находить глазами знакомые заводы, которые он узнавал по трубам. Но сейчас он ощутил всем телом раскачивание трубы, и не равномерное, как у всех подобных труб, а резкими, короткими рывками. Филиппов свистнул и продолжил подъем, ускорив темп. Ветер развевал полы его пиджака. Вдруг из-под ноги вырвалась скоба, и Филиппов, успев ухватиться обеими руками за верхнюю скобу и прижав локтем доску, повис на секунду в воздухе, потом подтянулся и полез выше. Внизу заметили его вынужденный маневр. Филимонов поднял упавшую скобу, долго вертел железяку, покачивая головой.

А Филиппов был уже на верхушке трубы, он сложил ладони рупором и крикнул:

— За-а-бра-а-лся!

Будто никто не видел, что он забрался.

В это время возле трубы появилась жена Филимонова. Он сказал ей что-то на ухо, она ему тоже на ухо. Пошептались, и он, взяв ломик и доску, полез к Филиппову. Лез, крякая, переговариваясь с женой, словно на земле не договорили. Он был уже почти наверху и вдруг крикнул оттуда:

— Настенька, что́ у нас на обед сегодня?

— Арбуз купила.

И Филимонов послал ей улыбку с высоты: он очень любил арбузы.

Встретившись на головке трубы, приятели обнялись и полезли вовнутрь. Там они положили доски на внутренние выступы кладки и приступили к делу. В трубе было так темно даже у выхода, что, стоя рядом, верхолазы смутно различали друг друга. В уши, в нос набивалась сажа, летели осколки кирпича, и

работали ломиками, сощурив глаза, не защищенные почему-то очками. Головка трубы — узкая, и Филимонов, любивший действовать широкими взмахами, все время задевал Филиппова. А тот бил короткими, но мощными ударами, отламывая и сбрасывая большие куски. И при этом рассказывал Филимонову про свою последнюю рыбалку, про немыслимые уловы. Филимонов, уже привыкший к этим рассказам, слушал терпеливо, вернее, не слышал, увлеченный работой. Он орудовал ломиком молча и жевал свою жевательную резинку; у него был знакомый моряк дальнего плавания, привозивший ему жвачку, и Филимонов теперь во всех случаях жизни жевал ее, яростно ворочая челюстями и чавкая. Вдруг Филиппов умолк, прислушался к чему-то и сказал:

— Ух и качается дурочка…

Филимонов сказал:

— Сыграем мы с вами сегодня.

Филиппов хмыкнул:

— А вы боитесь?

— Боюсь, — сказал Филимонов. — Я всегда боюсь. Десять лет лазаю и все боюсь. Душа у меня колышется. Брошу я…

Тогда Филиппов прибавил мощи в удар — и отвалилось сразу несколько увесистых кусков, один ряд кладки целиком вывалился, но Филимонов ударил тут еще сильнее — и посыпалась враз груда кирпичей. Верхолазы торопились. Они спускались все ниже и ниже, труба становилась широкой, и доски держались на выступах самыми кончиками.

— Надо сменить… — сказал Филиппов. — Я слазаю за другими.

— Подождите, — сказал Филимонов. — Я разошелся. Кончим этот ряд и сменим доски.

То и дело смахивая с лица пыль, перемешанную с потом, он бил и бил ломиком, стараясь прибить в себе, изничтожить чувство страха, которое чем больше он работал верхолазом, тем неотвязнее нарастало в нем. А Филиппов рассказывал про гигантскую щуку, которая чуть его самого не утянула в воду…

И вот маленький, толстый, рыжий Филимонов оступился, надавил на край доски, та съехала вбок и провалилась. Филимонов полетел. Филиппов выронил ломик, но успел схватиться за выступ трубы. Все произошло так неожиданно, что сперва Филиппов и не понимал, что произошло, но, пошарив в темноте, сообразил и заорал долго, протяжно. Филимонов же, падая, зацепился поясом за внутреннюю скобу и повис в трубе. Он повис и успокоился, страх покинул его. Потом он вспомнил про товарища, заволновался, заерзал, но отцепиться от скобы, чтобы

стать на выступ, не смог. Он слышал долгий ор напарника и понял, что тот жив-здоров. А еще через какое-то время до него донеслись два голоса сверху.

— Где Федя? — голос жены обычный, как всегда, похоже, и не волнуется, словно обед принесла в перерыв и ищет мужа.

— Упал… — убитый голос Филиппова.

— Чего ж ты толчешься? Полезай за ним. Ну давай я слазаю.

И полезет, с нее станет.

Филиппов спустился, толкнул Филимонова ногой.

— Тише ты, дьявол… — На «ты» перешел Филимонов. — Я же вишу.

Филиппов, осторожно поддерживая, помог ему сняться со скобы. И они поднялись на верхушку. Филимонов, вылезая, опять поскользнулся, но жена словчилась его подхватить и вытянуть. Когда она услышала крик Филиппова, никто из стоявших внизу мужчин и шевельнуться не успел, как эта женщина метнулась к трубе спасать Федю. Она лезла и не замечала высоты. Она ощутила ее, лишь вытянув своего Филимонова из черного, казавшегося теперь бездонным, горла трубы. Все трое спустились на землю. Отовсюду сбегались люди. Верхолазы посмотрели на трубу, она стала заметно ниже.

— Вот тебе и дурочка, — сказал Филиппов.

— Вот тебе и дурочка, — сказал Филимонов.

— Сами вы дураки, — сказала Настя.

Верхолазы разбирали трубу три дня. Директор приказал выдать им большую премию. Филимонов спросил Филиппова:

— Где теперь работаем?

— На Ижорском, — сказал Филиппов. — Там дурочка в шестьдесят метров, почище этой.

— Нам и такая не страшна, — сказал Филимонов, который внизу, на земле, ничего не боялся.

Они попрощались с директором, с главным инженером и пошли домой к Филимонову. Там их ждали Настя, арбуз и еще кое-что к арбузу.

3

Запись 1933 года. Водолаз Густав Гутт.

Напрягая не улучшающуюся с возрастом память, вижу юношу — ему было 24 года, а выглядел он еще моложе — с лицом тонкого, акварельного рисунка, с девичьим румянцем на щеках, с длинными девичьими же ресницами, с мягкими движениями и речью, выдававшей в нем горожанина по рождению, застенчивого

до робости, похожего скорее на студента-первокурсника перед экзаменом, а не на водолаза-силача, который рисовался моему воображению после того, как, готовясь к беседе, я прочитал книги о подводных работах. О принадлежности Гутта к морскому братству говорили только пуговицы с якорьками на кителе и золотисто-синий «краб» на фуражке, больше ничего.

Начал рассказ неохотно, вяло, медленно раскручивая нить его, разойдясь лишь где-то к середине.

— В Финском заливе затонула находившаяся в учебном плавании подводная лодка номер девять.

Упала на дно, не успев подать сигнала бедствия.

Правительство приказало нам, эпроновцам, найти и поднять «девятку».

Определили примерно район поиска, — десять квадратных миль, — где могла погибнуть лодка.

Два буксира потащили сеть. Она вроде рыбацкой. Но гораздо длинней и шире — гигантский стальной гамак. Трал.

Ползет по дну, не торопится. Ловит диковинную рыбу. Вдруг стоп, остановка, зацепился. «Нащупали!» — кричит мой товарищ — напарник Миша Хорошилкин. Мы с ним почти однофамильцы: я — Гутт, он — Хорошилкин… Лезет на дно. И оттуда сообщает: «Ошибочка, братцы. Каменюга!..»

Так шарим тралом, камни шевелим, коряги, рыб разгоняем, а то и прихватываем, на уху.

В первое лето обнаружить «девятку» не смогли. Шторма стояли на заливе. Хоть и зовется «Маркизовой лужей», а бывает сердитым, как открытый океан. Сидим в кубрике, ждем, вот, кажется, небо голубое, вода голубая. И настроение голубеет. Надоело забивать «козла». Можно в море. Не успеешь от берега отвалить — летит буря, волны захлестывают, наизнанку выворачивается вся водяная гуща. За все лето удалось раза два потралить нормально, полную смену. Водолазы народ небалованный. Лишь бы без шторма, холод, туман не помеха. Думали, осень, может, выдаст погоду получше. На Балтике так бывает: июль штормовой, в октябре штиль. Но и осень не была к нам милостива. Заморозки начались даже ранее обычного. Ледяная корка появилась. Пришлось сворачивать работы.

Летом прошлого года снова искали, расширив район поиска.

Наткнешься на какую-нибудь старую затопленную развалину, обхаживаешь с фонарем: что за корабль? Внизу, на дне, очертания расплывчаты, не сразу определишь тип «утопленника».

Фонари германского образца на глубокой воде лопались от большого давления. А мы уходили все глубже, глубже…

Электрики приспособили под фонарь кинолампу. Круглая, крепкая. Держалась. Но света и от нее не хватало. В упор надо глядеть — и то не разберешь сразу, что́ перед тобой. Самый верный способ — по обводам, по деталям корпуса руками ощупать. Бывалый водолаз руке верит больше, чем глазу.

Десятого августа прочно застопорило трал. Что-то там хватко подцепил. В разведку пошел дядя Вася Никифоров. Наверх телефонит: «Пароход». У него все корабли «пароходы». Какой — в темноте не разобрал. На водолазный баркас вылез перепачканный в серую, шаровую краску, в какую красят военные корабли. И притащил находку — кормовой флаг. Советский военно-морской. И, судя по тому, как сохранилась материя, не так уж долго прополоскался в воде, с год примерно. Срок нам подходящий. Запросили Кронштадт, штаб флота. Сообщают, что в этом месте могла затонуть только «девятка». А тут уже и второй водолаз вышел с находкой, Скрипочкин, музыкальная фамилия, и, между прочим, баянист. Он обшарил боевую рубку и вынес на поверхность спасательный круг: «Подводная лодка № 9».

Нашли! Лежит на глубине пятидесяти саженей… Мы любим между собой считать на сажени, давняя привычка. В водолазный-то журнал заносим, по инструкции, метры: сто пять метров записали в этот раз. Небывалая глубина для подъема. Спускаться спускались, а вот поднять…

Американцы нашли своего «Прометея» на шестидесяти метрах. Не подняли, не сумели.

Англичане на тридцати пяти застряли.

Тридцать пять… Шестьдесят… А до нашей «девятки» — все сто пять!

Конечно, имеют значение вес и форма корабля, предназначенного к подъему. Возможно, и американцам и англичанам достались тяжелые во всех смыслах объекты. Важно ведь и как лежит утопший, как завяз. Но, во всяком случае, нигде еще не подымали суда со стометровой глубины.

Мы выполнили, значит, первую половину приказа Реввоенсовета, разыскали лодку. И приступили ко второй части — подъему.

Погода благоприятствовала, море тихое.

Нас было десять водолазов: два «старичка» — Никифоров и Разуваев (по двадцать лет стажу), остальные молодежь вроде меня, хотя у каждого по четыре года, по пять лет стажа, а это немалый для нашей профессии срок. На прежних доставшихся нам глубинах и старому и молодому водолазу ясно было, как себя вести, — и по инструкции, и по рекомендациям врача, и по собственному опыту. На стометровке мы как бы заново обучались

подводному делу, совершали первые шаги.

А в прямом смысле шагать, ходить по дну под пятидесятисаженной толщей воды — это все равно, что оказаться в паровом котле: десять атмосфер давления, представляете? Еле-еле ноги передвигаешь. Да не только ноги. Всякое движение — пальцами пошевелить, повернуть голову — рождает азот в сосудах, скопление азота. Это самый опасный враг водолазов. Постепенно насыщает кровь и несет гибель. По расчету медиков, на такой вот глубине, на которой лежала «девятка», нельзя находиться больше сорока пяти минут. Предел для самого натренированного организма. И подниматься со дна следует по строжайшему графику — несколько часов, останавливаясь через каждые две сажени. Чтобы привыкнуть к перемене давления. Чтобы накопившийся в сосудах азот не разорвал их, а рассосался в крови… Поминутный порядок выхода со стометровки установил наш доктор Лаговский. Теперь так и называется — «график Лаговского». Обязателен для всех водолазов на подобных глубинах. А первыми опробовали его мы на поиске и подъеме «девятки». Так что, можем считать, потрудились и на пользу практической медицине.

Как поднимали лодку?

Точно веревку огромной девчоночьей скакалки, два буксира погружают на дно середину стального каната — подрезного конца. Сейчас объясню, почему — подрезной. Края его на буксирах, а середина легла в грунт у кормы «девятки». Буксиры дергают попеременно то один, то другой край каната, и он как бы спиливает, срезает дно. Просунули, подрезали под днище и опустят еще с пяток таких же, которым облегчил дорогу первый. Ложатся под корму, под носовую часть, под рули. Освободят корабль из тины, вырежут, выпилят его из-под грунта, тогда и вытаскивай стропами, как ведро из колодца. Дело водолаза направлять канаты куда надо, чтобы точно располагались, не съезжали в сторону, равномерно принимали на себя нагрузку.

Не упуская погоды, работали круглые сутки, в две смены — дневную и ночную. В первую инструктором — Бетак. Моя смена — ночная. А какая, собственно, разница? Что днем, что ночью — внизу все одно, темнота… Подрезка шла к завершению. Оставались последние два конца — под рули. И очередь спускаться — мне. Доктор осмотрел, пульс просчитал, говорит: «Норма!» Одеваюсь. Тыща одежек и все без застежек, как кочан капусты по детской загадке. Напялил фуфайку, еще одну. Затылок прикрыл вязаной феской. Ботинки смазал салом. На грудь — груза́, свинцовые бляхи. Чуть не вдвое стал тяжелее, а еще скафандр надевать. Проверил клапана́, шланг — порядок.

Ребятам, помогающим снарядиться, говорю: «Ну сегодня больше не увидимся. Минута, и — другие сутки». А им не понравились эти слова, интонация не понравилась. «Брось, говорят, Гутт, каркать. Все будет по твоей фамилии, «хорошо». И действительно, никогда перед спуском не болтаю, а тут разошелся, что́ на меня нашло, не знаю, чудно́ себя как-то вел, суетливо… Все было сделано, как положено: привинтили шлем, закачали помпу, протер иллюминатор. Снарядился по всем правилам. А вот внутри, в душе, какая-то неустроенность. Беспричинная. Миша Хорошилкин подтолкнул тихонько в спину, и я по ходовому концу — в воду, к рыбам. Видите, даже сейчас что-то осталось от тогдашнего настроения — к рыбам, сказал.

Булыгой проскочил первый десяток саженей, второй. Смена давления на пути вниз не страшна: летишь без остановок. Ногам тепло-тепло, будто в духовке. Ничего не вижу, но говорю, говорю всякое, зная, как ждут, ловят наверху мой голос. Качает. Заламывает шланг, течения-то на разных глубинах разные, вот и вертит, крутит, ломает шланг. Выправляю. Жарко. Стукнулся ногами о грунт, ударился — станция! Стою в илу. Огоньки перед глазами, красные шарики. Горячо в висках. Сейчас пройдет. Помню, знаю строгое врачебное указание: думать на глубинах только о чем-то одном. Говорят с древности: не растекаться мыслию по древу. Для водолаза это как инструкция по технике безопасности: сосредоточиться, собраться в одной мысленной точке. В данную минуту — найти подрезной конец к правым рулям, к правым рулям, к правым… Вот он. Спускаю его, как задано. Канат задел за нос лодки, побежал под киль, потащив за собой и шланг, а я не заметил, это позже обнаружилось… Всё выполнил. Ору, довольный, в телефон:

«Конец пошел нормально. Время не вышло?»

«Справился за семь минут!» — тоже довольный голос Хорошилкина.

«Миша, — кричу я, — раз время есть, давай я и левые подрежу. Зачем Бетака дожидаться? Утром стропа продернут, и можно будет поднимать. А?»

Хорошилкин понял, задумался.

«Ну, гляди, инструктор…»

«Сделаю!» К левым рулям — вокруг лодки. Я выбрал путь короче. Лег на живот. Вплотную прижался между килем и дном. Шлем застрял. Пролез все-таки, высвободился. Плечом двигаю — шланг не пускает, посильнее дернул — держит.

«Трави!» — кричу.

«Больше некуда», — сверху Хорошилкин.

«Трави!»

«Не идет».

Не могу выбраться. Никак. И привстать нельзя. Чуть рукой достал левого руля, дотянулся, заправил подрезной. Сигналю:

«Оба на месте!»

«Аккурат время. Давай на выход».

«Вали…»

Потащило меня веревкой за пояс, а шланг не дает. Сверху шумят:

«В чем дело, Густик?»

«Подожди. Шланг чего-то…»

Перебираюсь руками, дергаю на себя. Ни с места.

«Подожди…»

Полез назад к правому борту. И с правого и с левого тяну шланг — не вытянуть. Засел, как пришитый.

«Слушай, Миша, дело швах…»

Он знает, я зря не буду жаловаться. Другой голос мне по телефону. Узнаю́ — доктор.

«Товарищ Гутт, не волнуйтесь…»

Я рванул. Куда там! Опять огоньки, красные пузыречки перед глазами. Чувствую, обморок может завертеть. Спокойствие, спокойствие! Галоши увязли в ил. Нога подвернулась.

«Сколько времени, Миша?»

Молчит. Нервничают там, мечутся — не вижу, догадываюсь. Кричат. Не слышу, что́ кричат… Черт, будто знал — «сегодня не увидимся», будто знал, черт! Накаркал… Уронил голову на руки, бормочу:

«Концы на месте… на месте… сделано. Второго не посылайте… Ничего не надо… Обидно… Немного рановато…»

А!.. Будь что будет…

«Рвите шланг!»

Все равно — без воздуха погибать или с воздухом. Участь одна. И спасать некому, трезво понимаю. Там один водолаз, ученик, не пустят. А Хорошилкин уже спускался, ему нельзя. И захочет — не сможет. С береговой базы ждать — час ходу. А через час вытянут… Нет уж, лучше не сто́ит… Тихо, спокойно вокруг… Лечу головой вниз… головой вниз… Стоп… Светло… Приехали… ехали… ехали…

Так бы и заснул, если б не Хорошилкин. Нельзя было на погружение, а пошел. Еле выдернул из-под киля крепко запутавшийся шланг. Увидел мою спину. Я лежал, как коряга в траве, глубоко в грунте, рук не видно. В полусознании, в полусне. Хорошилкин тряхнул за рубаху, ее раздуло пузырем. Воздух бил через шланг в шлем. Меня рвануло вверх и в сторону. Хорошилкин успел правой рукой схватить мой ходовой конец,

левой прижать меня за плечи к себе. Кричит наверх:

«Поды-ымай!»

Меня подбрасывает, выкинет — хана. Хорошилкин силится удержать. Рука сползла с плеч. На спину. На пояс. Я выскальзываю. Он ловит за штанину.

«Держу… Держу… Нет сил. Сорвется…»

А я уже почти пришел в себя. Живой? Живой! Ногами повел, правую держит что-то или кто-то. Нажал золотник, выгнал лишний воздух. Стал подтягиваться по ходовому, сам пошел и Хорошилкина — понял, что это он, — тяну. А он думает, что я вырываюсь, и кричит в телефон:

«Все! Выпускаю. Ругайте меня. Больше не могу».

А я подтягиваюсь, подтягиваюсь, даю сигнал за сигналом:

«Подбирайте шланг!»

И мне сигнал за сигналом:

«Стой! Что делаешь? Стой!»

Это потом узнал, что так сигналили. А в тот момент я от радости, что живой, не разобрался, о чем это они сверху. Бывает состояние бесконтрольное такое, когда весь твой опыт, все инструкции, всё — прахом. Говорю, как было… Лечу вверх. А там в ужасе: «Пропал Густик».

Смотрю в иллюминатор: Миша Хорошилкин болтается на сигнальном конце. Не ушел, меня сторожит, не бросает. Под водой не до чувств, но все-таки… Говорить — не услышит. Подплываю вплотную, стукнулся мягко шлемом о шлем, приласкался вот так в знак благодарности. Понял меня, осклабился — стекло исказило улыбку. По спине похлопал… Сели вместе на выдержку. Даю ему знак: давай подымайся, посижу немного и — за тобой. Он видит, что мне лучше, пошел вверх. А тут у меня рвота началась. И он снова ко мне. Сидим. Хорошилкин мерзнет. Он ведь бросился за мной на дно, не успев надеть ни носков, ни второй фуфайки… Доктор уточнил нам график выхода, идем по графику. И все же сказались мои ошибки. Как вылез шлемом из-под воды — удар в плечо. Изнутри ударило — остатки азота в мышцах… Повели в изолятор, спиртом натерли. Обкомпрессили. Ноги поднывают, плечи. К утру прошло. И я в двенадцать часов — на водолазную станцию. Спусков в этот день не было. Погода помешала заводить стропы, на другой день перенесли. А если б потребовалось, я полез бы, какой разговор.

Скоро в газетах напечатали, что подводная лодка поднята и отведена в Кронштадт. Мы ездили на торжественные похороны экипажа.

Анкета? Пожалуйста. Я — москвич, сын рабочего. Кончил девятилетку. Был пионером, комсомолец, принят в кандидаты

партии. В школу водолазов послал комсомольский комитет с завода. Первая моя профессия — монтер. Водолазом пять лет, инструктор. Но это вы уже знаете.

В эти дни кладем через Неву трубы для Южной водопроводной станции.

…Перед самой войной Густав Гутт, узнал я, погиб в районе Таллина при подъеме транспортного судна, лежавшего на 150-метровой глубине, на 75 саженях…

4

Еще с Саратова у меня на памяти уличная ребячья считалочка для игры в лапту, в казаки-разбойники: «крыленка — дыбенка — калантай», где-то подхваченные, откуда-то влетевшие в уши и прочно прилепившиеся друг к дружке, наверно по созвучию, словечки, ничего для меня, кроме скороговорки, не означавшие. Позже я узнал, что это фамилии героев революции и гражданской войны: Николай Крыленко, Павел Дыбенко и Александра Коллонтай. А еще позже редакционные задания свели меня с прокурором республики Николаем Васильевичем Крыленко и командармом Павлом Ефимовичем Дыбенко. Я был совсем близок к тому, чтобы встретиться и с Коллонтай, но не получилось, ускользнула эта возможность. Дело было в 1936 году, летом, когда пароход «Лена», на котором я плавал в составе экипажа, стоял в шведском порту Евле и часть команды, свободная от вахты, отправилась на экскурсию в Стокгольм. Рвался и я, но не был отпущен старпомом, который по ряду причин не благоволил ко мне, своему подчиненному, а я не мог признаться, какова моя подлинная профессия, — об этом подробный рассказ впереди… Счастливцы, уезжавшие в Стокгольм, побывали в советском посольстве и даже беседовали с тогдашним полпредом в Швеции Александрой Михайловной Коллонтай. Вернувшись, с захлебом рассказывали об этой встрече, и я записал услышанное в свой потайной дневник, в свой «бортовой журнал». Но блокнот утерян, и сейчас ничего из рассказанного ребятами о Коллонтай я не могу восстановить в памяти, а придумывать не хочу.

У прокурора республики Крыленко была грозная репутация: в газетах публиковались его беспощадно-обличительные речи. И когда я шел к нему, некоторый трепет где-то все же шевелился во мне. В общем-то, оснований для этого не было: когда я позвонил в гостиницу «Астория» в номер, где остановился начальник

Памирской экспедиции Крыленко, мне ответил мягкий неожиданно, как-то сразу располагающий к себе голос, и на мою просьбу дать интервью было тут же назначено время для встречи — через час. Не буду продолжать в стандартном стиле: должность-де суровая, а личность оказалась ласковой, доступной. Во-первых, гибкость поведения в зависимости от обстоятельств и обстановки — прием обычный. А во-вторых, человек, открывший мне дверь, и внешне соответствовал своей должности, я имею в виду прокурорскую, впрочем, с должностью начальника экспедиции его облик тоже вполне корреспондировал. Этого коренастого крепыша, очень экономно по всем статьям сработанного — без излишков и в росте и в объемах, с выбритой до сверкания головой, лобастого, с холодноватым прищуром из-под припухлых век — легко было представить себе всходящим и на высокую трибуну, и на высочайший горный пик, какой-нибудь «шеститысячник», как говорят альпинисты. А голос такой же, как по телефону, мягкий, располагающий:

— Простите великодушно, я виноват перед вами. Назначил время, не глянув в календарик. Мне через полчаса — на Петроградскую сторону, в Дом… как это называется, в Дом коммунистического воспитания детей, к пионерам… Я звонил к вам в редакцию, а вы уже выехали. Извините, что так вышло…

— Николай Васильевич, — сказал я, сразу оценив ситуацию, как вполне удачно повернувшуюся для меня, — а что, если я поеду с вами и запишу ваше выступление? Вы ведь пионерам о Памире будете говорить? А я из пионерской газеты.

— И прекрасно, едемте!

Хочу признаться: записи, сделанные мною когда-то с живого голоса, я даю в этой повести в несколько — иногда значительно — реконструированном виде, расширяя их за счет каких-то новых сведений и добавочных деталей, подробностей, всплывших в памяти. Полагаю, что тут нет особого греха. Но вот «стенограмму» речи Крыленко перед школьниками я решил не трогать, не править, ничего к ней не прибавляя, не домысливая. Приведу ее в точности, как была записана мной и, завизированная оратором, напечатана в газете. Пусть через пятьдесят почти лет прозвучит в первозданности голос прокурора, умевшего разговаривать и с детьми. Позволю себе лишь два-три комментария к записи. Первый — сразу же: в опубликованном тексте нет обращения к слушателям. Помнится, прикнопив к стенке захваченную с собой географическую карту и оглядев аудиторию, — маленький зал был набит ребятней, — Николай Васильевич начал так:

— Товарищи… — Чуть задумался. — Товарищи ребята!
И далее по тексту:

«Я расскажу вам про пустыню в облаках. Нет, за облаками. Со всех сторон ее прикрыли горы, хребты, скалы. Высóты здесь такие: четыре, пять, шесть и все семь тысяч метров. Говорят, что горы — морщины земли. Хороша морщинка в семь километров! Это Памир, «крыша мира», «подножье смерти», как выражаются литераторы. Пустыня. Памирское плато. На картах его не было. Вот и на этой, которая вереd вами, нет. Ни размеров, ни контуров, неопределенное белое пятнышко, тайна, вакуум…

Пять лет подряд, каждое лето, пробивались разведчики, наша экспедиция, вглубь — а тут «вглубь» значит «вверх» — Памира. Зачем? За картой плато, собственно, за всей картой «крыши мира», потому что прежняя была настолько неточна, приблизительна, что и картой-то не могла считаться.

Геологи настойчиво утверждали, что Памир по их летосчислению слишком молод, ничего там ценного пока не накопилось, появится через миллионы лет, искать сейчас что-то на Памире, гиблом месте, — зряшная трата времени, к тому же связанная с большими опасностями. Есть, выражение: игра не стоит свеч. Картежная игра, за которую раньше садились при свечах. Свечи сожжешь, а выигрыша не добудешь. Вот и на Памир полезешь, затратишь огромные силы и — зря…

Мы считаем, мы уверены, что в этом районе должны быть свинец, ртуть, сурьма, золото, серебро, уголь и немало еще из таблицы Менделеева. Передо мной, я вижу, старшие классы? Что это за таблица, объяснять не надо? Не надо! Так вот, мы убеждены, что Памир химия не обошла, не обделила. Но следует это доказать. Не на бумаге, не в гипотезах. Ногами доказать. Добраться, найти. А как искать без карты? Первым делом, выходит, нужна карта. Вот и путешествуем, чтобы набросать, нарисовать карту. Сделать это несложно возле городов, селений. Где можно и пройти и проехать. Можно рабочих подвезти, провиант обеспечить. А в горах? На ледниках? На скалах?.. Всякий нормальный, здоровый человек приучен ходить с малолетства. В горах надо переучиваться, заново учиться передвигать, переставлять ноги. Начинающий альпинист подобен годовалому

«ползунку», делающему первые шаги, которого еще с опаской придерживают за руку или за «волоки». Горный шаг — особый шаг. Если и вообще-то это шаг, а не какое-то иное движение. Вернее, соединение многих движений, которое и не расчленишь на отдельные части, — шагание, ползание, карабкание, подтягивание, — настолько переплелись они друг с другом. Их еще и потому не разделишь, что движешься, как правило, не в одиночку, а в вертикальной упряжке, в веревочной связке, где верхний держит нижнего, где чуть шевельнулся один — волна по всей, цепи.

Чего мы достигли за пять лет, лазая по Памиру? Мы открыли много новых вершин, дали им названия. Когда я говорю «открыли», нужно понимать — не снизу, не с подножья обнаружили пик или перевал, а поднялись на него, оставили знаки пребывания на высоте…

Мы сняли почти полную карту Памира. Оставался маленький, но самый, пожалуй, трудный, считавшийся практически непроходимым район на северо-западе. Туда, к Памирскому плато, и устремилась наша экспедиция… Я задержался по судебным делам в Москве. Вы, видимо, слыхали, что я прокурор РСФСР… Товарищи выехали раньше, пришлось их догонять. Из Москвы поездом, из Ташкента до Гарма самолетом. В Гарме снова сменил средство передвижения, пересел на ишака и трое суток спешил в горах к главному каравану экспедиции, если можно спешить на ишаке… А знаете, можно! Это хоть и медленный, а верный доставщик и поэтому может оказаться быстрее более прыткого, но ненадежного. Зря говорят: «упрям как ишак». Клевета! Я на ишаке чувствую себя уютнее, чем в автомобиле, чем в любом транспорте. Знаю, что этот «мотор» никогда не забарахлит при ласковом с ним, конечно, обращении. На ласку, на добро отзывчив необычайно. Но и легко ранимая натура. Эта человеческая характеристика вполне к нему применима. Ишак ужасно обидчив, и на несправедливость отвечает непреодолимым упрямством. Это настоящий работник, недаром говорят: «Я не ишак, чтобы так трудиться». А мне досталась особенно старательная животинка; похоже, я ей понравился. Когда я слезал, чтобы облегчить ишачку ношу, он останавливался и тут уж тоже проявлял упрямство: пока снова не сяду, не двинется.

Я догонял караван сперва в одиночестве, а затем ко

мне присоединились еще трое опоздавших. Нет, правильнее сказать, что я к ним присоединился: они выехали из Гарма немного раньше меня, но другой дорогой, моя оказалась короче, и где-то мы повстречались, продолжая путь вчетвером. Вместе, ясное дело, проще преодолевать препятствия. А они, как вы догадываетесь, в горах на каждом шагу. И прежде всего речки, бурные, стремительные горные потоки. Вместо берегов — скалы, ущелья. Бегут в глубоком каньоне, вроде Муук-Су. Глянешь вниз, странное возникает желание, хочется прыгнуть, соскользнуть в эту пропасть, что-то притягивает, влечет. Это как на вашем Исаакиевском соборе. Заберешься по винтовой лестнице на самый верх, на смотровую площадку, под тобой гладкий, сверкающий на солнце золотой купол, еле удерживаешься от охоты скатиться по нему вниз, так и манит… На горные речки глядеть сверху любопытно, а преодолевать их — ох! Мостов нет, те, что были, сожгли, поломали басмачи, уходившие от преследовавших их красноармейцев. Мы наткнулись на один, случайно уцелевший, не тронутый разбойниками. Шириной с гимнастическое «бревно», которое считается у спортсменов самым коварным снарядом, равновесие на нем сохранить трудно, сбрасывает. А мостик этот оказался еще более коварным. «Бревно» неподвижно, этот же ходит, дрожит под ногами, прогибается, как резиновый, до самой воды. Ноги заливает — свалишься, подхватит волной, унесет. Но хоть и шаткий, хоть и без перил, а все же мост. Мы назвали его «Живой», так и на карту занесли.

Мы догнали основной караван. Он подошел уже к участку, где никакой транспорт невозможен. Я имею в виду лошадей, ишаков. Им тут не пройти. И человек не идет — пролезает, протискивается, карабкается. И все тащит на себе. А весу, слава богу, набирается. Спальный мешок, набитый пухом, легкий? Ночью он легкий, когда расстелешь, ночью хорош, влезаешь с головой, как в люльку, мягко, тепло, и страшный мороз не проберет. А днем — тяжесть на плечах, десять фунтов. И еще палатка. В горах это дом, квартира, незаменимое убежище, без нее нельзя, тащишь. И одежда, тоже ведь вес, меховая куртка, толстый свитер, три пары шерстяных носков, шлем. С ледорубом, с оружием, винтовкой или карабином — в горах еще и сейчас могут

встретиться бродячие басмачи-одиночки — пуда два на каждого. На ишака не взвалишь, остались ишачки на промежуточной базе. И без носильщиков идем, это в буржуазных экспедициях есть носильщики. Там альпинисты груз не тащат — у них наемная сила. Мы же, говорю, все на себе, на чужие плечи ничего не перекладываем, такой у нас образ жизни, такие нравственные принципы.

Вот так дотащились до ущелья Фортанбек. Самое глухое, самое дикое место на Памире. Полгода скрывалась здесь банда Азяма, появившаяся из-за рубежа. Полгода ловили басмачей пограничники, брали в кольцо, суживали его, не давая прорваться, уйти. Наконец загнали в тупик, прижали к реке. Широкий, несущийся с гор поток — не переплыть, не перебраться вброд. У Азяма были пироксилиновые шашки, он взорвал скалу, глыбы рухнули в реку — переправа! Азям с бандой рванули через нее, а на другом берегу — засада, кончился Азям, кончилась его шайка… А «мост» из камней называется Азямовой переправой. Мы решили не переименовывать, пусть напоминает о бое, который здесь произошел… Форсировали реку. Она была мутная, несла много песку. Кто-то из нас высказал предположение, что он золотоносен. Возможно. У нас не было времени для тщательной промывки, для поисков золота. Вернувшись из похода, мы передали карту Фортанбека геологам, специалистам-золотоискателям.

К «белому пятну» мы еще не подошли, но приблизились. Мы находились в районе ледников, уже нанесенных на карту. Самый большой — Шини-Бини, что означает: «Приди-посмотри». Я бы добавил: «И уходи поскорее, сматывайся». Нормальный ледник может служить дорогой в горах. А этот — баррикада на пути. Небывалое нагромождение покрытых льдом камней, глыб. Весь вдоль и поперек рассечен трещинами, как лицо старого индейца морщинами и шрамами. Видели на картинках к Фенимору Куперу? Оступишься, угодишь в такую трещину, самому и не выбраться.

На Шини-Бини мы надолго застряли. Ползли встречь нещадно палившему солнцу. Темные очки спасают глаза от его лучей, но с лица, обожженного ими, лоскутьями свисает кожа. Всякого повидал я на Памире, всякого натерпелся, а ничего страшнее этого «Приди-посмотри» ни до ни после не попадалось.

Ледник расходится на две стороны. Теперь мы были на самой границе «белого пятна». Вступив в его пределы, в пределы неведомого нам, караван разделился. Москвин со своей группой пошел на восток, я со своей — на запад. С этой черты каждый наш шаг был шагом первопроходцев. Всему встреченному нами — ущельям, ледникам, перевалам, вершинам — мы по праву открывателей давали названия.

Но однажды встретилось такое, что не успели и назвать: возникло и исчезло. Мы стояли на скале и видели внизу ущелье, из которого выбегала река. Метров пятьдесят или чуть больше проструилась и ушла в землю, где-то тоже метров, через полсотни вновь возникла, и так несколько раз появлялась, исчезала и вдруг взметнулась из-под земли высоченным водяным столбом — ему-то мы и хотели, присвоить имя, думая, что это постоянно действующий здесь естественный фонтан, а он бил-бил с полчаса, пока мы подбирали название, и внезапно сгинул, так же мгновенно, как и возник. Мы поджидали его возобновления, не дождались, река, видно, пробила себе дорогу в ледяном грунте и опять потекла на глубине, больше уже не показываясь, как Неглинка у нас в Москве.

До окончательной заштриховки «белого пятна», или же, как говорят геологи, оконтуривания плато, оставалось вроде бы уже немного. Разойдясь с группой Москвина и разведав свои участки, мы снова соединились, чтобы совершить всем караваном заключительный бросок. Легко произнести — бросок, рывок, энергичные слова. Но попробуйте броситься, рвануться, когда перед вами совершенно отвесная и при этом плоская, почти без выступов, взметнувшаяся на два километра ввысь скала. Можно, работая ледорубом, выбить, вырубить ступени на сто, двести метров вверх, но не на две же тысячи — никаких сил не хватит. Пытаться — просто безрассудно тратить силы, которые и так уже на исходе к концу экспедиции. Такую скалу штурмом, лобовой атакой да и никаким иным способом не возьмешь, не одолеешь, ее надо обойти. А идя в обход, натыкаешься на такие же, да и большей высоты, скалы. Ищешь и не можешь найти прохода, лаза, чтобы проникнуть, протиснуться вглубь. Знаешь, что остается каких-нибудь полкилометра по прямой. Но прямых в горах, особенно на Памире, не бывает.

Решили передохнуть, сделать привал. Не на ночлег. Дневной привал, отдышаться. Чтобы идти ночью, когда не жарко. И менее опасно, чем днем. Днем солнце расплавляет где-то наверху массы снега, и они, сползая, тащат за собой выветренные камни. Дорога рушится под ногами. А в ночное время она крепка. Мы вышли в четвертом часу. И к восьми поднялись на пик, который назвали пиком Крупской — среди нас были учителя, а Надежда Константиновна тоже учительница; вернувшись в Москву, я подарил ей камешек с вершины ее имени.

Поднялись на пик, стали спускаться. К плато. Довольные, что приближается финиш похода. И даже обрадовались солнцу, оно было тихое, щадящее, не слепило, не жгло. Положило всюду нежные голубые пятна — такая красота! И, любуясь этой красотой, мы потеряли бдительность, которая везде нужна, и особо в горах. Забыли, что они коварны, и попали под камнепад. Солнце успело все же растопить снег наверху, и вместе с ручьями понеслись, понеслись камни, осколки, комья. Все это летело мимо и над головой, свистя и завывая. Вы не слышали, как воют камни?.. Летящим осколком пробило мне меховую куртку, порвало свитер, рубашку и крепенько саданило по боку. Ребра уцелели, но идти стало трудновато.

Переждав в расщелине горную канонаду, мы двинулись дальше. Теперь цель была совсем близка. Если правильно избрали путь, если, по нашим расчетам, справа окажется ребро вершины — контур плато будет завершен. А если ошиблись… Нет, не ошиблись! Из-за черного гребня поднялась снежная грань. Она росла, превращаясь в ребро, выползая навстречу нам всеми своими долгожданными очертаниями. Все! «Белое пятно» стерто с карты.

Мы кончили свое дело и вернулись на базу.

Теперь за нами пойдут геологи, физики, химики, старатели.

Слушайте, ребята, подрастайте быстрее. Идите в горы!

И если не очень состарюсь, я тоже пойду с вами. Возьмете? Договорились».

Ребята выросли, повзрослели. Как раз настолько, чтобы уйти на войну. Те, кто возвратился с нее, может быть, и пошел в горы.

Но без Крыленко. Он до этого времени не дожил…

5

После войны, работая репортером в ленинградской «Вечерке», я не раз и не два бывал в Кронштадте.

А до войны, когда Кронштадт был главной базой Красного Балтийского флота (после награждения орденом он стал называться Краснознаменным), лишь дважды: в 1929 году как деткор «Ленинских искр» и через восемь лет уже — как их спецкор.

В тот первый раз Андрей Гусев привез нас, пятерых мальчишек, на подшефный пионерской организации боевой корабль — посыльное судно «Пионер». Вообще-то, если строго придерживаться военно-морской классификации, посыльные суда принадлежат не к боевому, а к вспомогательному типу (служба связи, портовая служба, обслуживание больших кораблей и т. д.), но для нас, юнцов, «Пионер» со своей пушечкой на корме был конечно же настоящий боевой корабль. Что он впоследствии и подтвердил на войне, вступив в схватку с немецким миноносцем и погибнув, не спустив перед ним флага.

Перед поездкой Гусев сказал строго:

— Едем, запомните, не на прогулку, не на экскурсию, а с делом. Мы — делегация, которая должна ознакомиться с жизнью экипажа, с его нуждами и определить, понимаете, чем можно ему помочь. Не глазеть праздно, а вникать, товарищи! (Им, товарищам, было по 12—13 лет.)

Чеканно сформулированное, как всегда у Гусева, руководящее указание было делегацией выполнено, судя по напечатанной в газете странице, заполненной нашими заметками-впечатлениями от пребывания на корабле. Они, эти впечатления (слова не из гусевского словарного запаса, он бы сказал — наблюдения), обобщены в коллективной корреспонденции:

«НАС 115 ТЫСЯЧ

Да, в Ленинграде и области 115 тысяч пионеров.

И все мы шефы посыльного судна «Пионер».

Нас так много, что, если понадобится, мы на руках, на пальцах сумеем поднять и вынести этот корабль из

кронштадтского дока.

А знаете ли вы, шефы, что краснофлотцы не могут порой побывать у вас в гостях, потому что у них нескольких рублей нет для поездки из Кронштадта в Ленинград?

Знаете ли, что в судовом красном уголке отсутствует радио?

Знаете ли, что для упражнений в стрельбе им не хватает учебной винтовки «Геко», которая стоит всего лишь 40 рублей?

Начнем же собирать в базах, отрядах, и звеньях шефскую копейку раз в месяц. Одну копейку — не больше, но с каждого пионера. Обязательно с каждого из 150 тысяч. Подсчитайте, сколько наберется в месяц… А в год?

Вот это будет действительно подлинное пионерское шефство!»

Копейка — в фонд военного корабля, не наивно ли? — спросит нынешний читатель. Нынешний. Тогдашний не удивился бы: сбор средств в помощь армии, флоту, авиации был одной из примет того времени.

Через восемь лет, как сказано, в феврале 1937 года мы отправились в Кронштадт вдвоем с Гришей Мейлицевым, участвовавшим и в первой, деткоровской поездке. Теперь мы были репортерами, специальными корреспондентами «Ленинских искр» и нам предстояло подготовить материалы в номер газеты ко Дню Красной Армии и Флота, которые уже не нуждались в шефской копейке… Была предварительная телефонная договоренность с работниками флотского Политуправления, и нас принял сам командующий флагман 1-го ранга (тогда еще не ввели снова адмиральских званий) Александр Кузьмич Сивков. Он сидел в кабинете, оклеенном голубыми обоями под цвет моря, которое открывалось за широким итальянским окном. Правая рука командующего, забинтованная от плеча до запястья и согнутая в локте, покоилась на перевязи.

— Катался в минувшее воскресенье с сыном на лыжах, упал. Хорошо еще, правая сломана — я левша.

Глянул на наши командировочные удостоверения.

— Где хотите побывать, молодые люди?

— Там, где вы прикажете, товарищ командующий, — сказал Гриша, который умел говорить с начальством.

Флагман поднял левой рукой телефонную трубку и сказал

кому-то, откликнувшемуся на его звонок:

— Прошу зайти, Владимир Филиппович.

На пороге кабинета возник высокий с узким удлиненным лицом капитан 2-го ранга (в званиях мы с Гришей разбирались: четыре средние нашивки на рукавах), соответственно доложился и был приглашен сесть.

— Журналисты из «Ленинских искр», — сказал командующий. — Знаете такую газету?

— Вижу у дочери-пионерки, — сказал кавторанг и протянул руку для знакомства: — Трибуц.

— Вы свободны на три дня от штабных дел и прикомандировываетесь на сие время к этим симпатичным ребятам в качестве сопровождающего. Побывайте на вашем родном «Свердлове», на «Марате», у подводников, на торпедных катерах и, если Мушнов не возражает, на одном из фортов.

Мы радостно переглянулись с Гришей, мы знали, что форты — закрытая зона, гражданские журналисты там не бывают, а вот мы — первые! — попадем, не решится же некий Мушнов возражать командующему.

— Будет исполнено! — сказал кавторанг, который через два года станет командующим Балтийским флотом и в звании адмирала поведет флот в бои.

А пока он повел нас как сопровождающий.

Все было исполнено, как обещано. Утро — на эскадренном миноносце «Яков Свердлов», которым Владимир Филиппович когда-то командовал. (А начинал армейскую службу фельдшером, окончив затем военно-морское училище и академию). Он рассказал нам историю «Свердлова», который назывался до революции «Новик» (когда-то на Руси «новик» означало «новобранец»), потому что был первым, головным в семействе новейших эсминцев, отличавшихся от прежних кораблей этого класса быстроходностью — на них стояли турбины — и более мощным вооружением. У каждого из них было, понятно, свое имя, но всех их называли «новиками». В первую мировую они прославились в Моонзундском бою. Сейчас можно добавить, что и в Отечественную воевали, но уже как ветераны. На Северном флоте, где я служил в войну, это были «Куйбышев», «Урицкий», «Карл Либкнехт», на Черном море — «Фрунзе», «Дзержинский», «Железняков». Конечно, «новики» уступали в быстроте, маневренности, огневой мощи новой серии эсминцев — «семеркам» (их названия начинались с буквы «с»: «Стремительный», «Сокрушительный», «Строгий», «Страшный»…), но все, что могли, сделали. Первый «новик» «Яков Свердлов» воевал там, где родился, — на Балтике, и погиб, подорвавшись на

минах, когда шел в конвое из Таллина в Кронштадт, охраняя транспорты.

Полдня мы провели на линкоре «Марат», на котором Трибуц тоже несколько лет плавал старпомом, а сейчас корабль показывал нам сменивший его в должности капитан 3-го ранга (в войну стал контр-адмиралом) Птохов, но скорее не нам, а своему предшественнику демонстрировал, что у него, Птохова, порядок на корабле не хуже, чем у прежнего старпома. Обедать мы были приглашены в каюту к командиру корабля. Нас встретил человек, похожий на мистера Пиквика, надевшего морской китель. Мы знали, что его зовут на флоте «Маруся» за тоненький девичий голосок. Между прочим, во время похода «Марата» в Англию на коронационные торжества «Маруся», командуя с мостика своим нежным голоском, сумел на заполненном до отказа кораблями со всего света Спиткейдском рейде в Портсмуте поставить линкор в этой теснотище, мешавшей маневрированию, на фертоинг — на два якоря, при сильном приливе, за рекордные пятьдесят три минуты (вся мировая пресса писала об этом), в то время как рядом корабль подобного же типа потратил на это тринадцать часов, что, в общем-то, вполне нормальный срок для столь сложного маневра, совершаемого неповоротливой громадой — линкором. С «Марата» мы проследовали за сопровождающим на бригаду торпедных катеров, чем и завершился наш первый день в Кронштадте.

На другой день намечалось посещение форта. Трибуц повез нас к Мушнову, который был главным комендантом Кронштадтской крепости, начальником всех охраняющих ее фортов — высокая генеральская должность, комендант носил три комкоровских ромба. Он не только «не возражал», а поехал вместе с нами на санях к самому отдаленному островному форту. Мы пробыли в его маленьком гарнизоне целый день и в результате написали с Гришей для газеты довольно большую корреспонденцию. Перескажу ее коротко.

В заливе стоит остров, имеющий форму прямоугольника. В его возникновении природа не повинна. Он искусственный. Строили его до революции. Очень долго. Первоначальные инженерные расчеты были нарушены из-за мягкости грунта и штормовых волн. В расползавшееся дно вгоняли тысячи деревянных свай, скрепленных и обшитых железом. Пространство между сваями заполнялось щебнем и песком. Вода размывала затрамбованные слои. Остров поглотил вместе со всей своей начинкой огромную сумму денег. Когда он все же поднялся, вырос из воды, на самодельном плато возвели бетонированные

сооружения, поставили дальнобойные орудия.

Сейчас это форт О., укрепленный боевой форпост, стерегущий подступы к Ленинграду. Он выдвинут впереди всех фортов. Он впередсмотрящий, как говорят на флоте. Он первым примет удар противника и первым его отразит.

Форт — это маленький городок с электростанцией, водопроводом, канализацией, баней, фабрикой-кухней, клубом со звуковым кино и библиотечкой, прачечной, пекарней и даже «свиноводческим совхозом», попросту свинарником.

Основное население форта — краснофлотцы с трехгодичным сроком службы. За это время, овладевая боевой техникой, они повышают и свое общее образование.

Так, Иван Савельев пришел на форт неграмотным. Научился читать и писать. Назначен на хозяйственную должность — «директором совхоза». У него в подчинении свиньи с поросятами. Служат ему со всей верноподданностью, хотя их судьба, сами понимаете, предопределена.

Командир форта веселый, умный человек. Немолодой, проживший трудную жизнь. Список его профессий нескончаем: землекоп, арматурщик, каменщик, плотник, кессонщик, шофер, пекарь, грузчик, дорожный техник, крановщик, водопроводчик… Ну и само собой — артиллерист! Пришел на форт рядовым, стал его командиром. По этому поводу шутит: «А куда мне было деваться? Кругом вода. Вот и рос, не выходя за ворота…»

«Форт О. — на страже. Он — наготове!»

Так заканчивался наш репортаж 1937 года.

Из книги воспоминаний бывшего командующего дважды Краснознаменным Балтийским флотом адмирала В. Ф. Трибуца «Балтийцы вступают в бой», вышедшей в 1972 году:

> «…форты Кронштадта, особенно литерные «О» и «П»… вели интенсивный огонь из своих орудий по узлам дорог, переправам, скоплениям живой силы противника в Териоках и Куоккале, били по его огневым точкам, облегчая нашим войскам закрепление на основном оборонительном рубеже… Артиллерийского огня номерных, литерных фортов… фашисты боялись».

Третий день командировки мы провели у подводников, но уже не в Кронштадте, не на острове Котлин, а на материке, в Ораниенбауме, который моряки издавна называли Ранбовом, и сейчас так называют, хотя он переименован в Ломоносов. Мы сидели в кают-компании плавбазы подводников, бывшей царской

яхты, и записывали рассказы командиров лодок, флагманских специалистов.

«Длительному пребыванию под водой учатся в автономном плавании. Лодка уходит в одиночку и надолго в определенный четырехугольник моря, и там мы, как принято у нас говорить, отрабатываем задачи. Школьники решают их у доски или в тетрадке, мы тоже так делаем в учебных классах, но продолжаем занятия в открытом море, под водой.

Расскажу об одном таком походе, последнем по времени, минувшей осенью. Как обычно, проверили перед уходом на позицию каждого члена экипажа — здоров ли, да и лодку на тот же предмет — здорова ли. Убедились, в частности, что цистерны полны топлива и утечек нет, в море хватишься — будет поздно, придется из-за недостачи горючего возвращаться в базу, а это уже не автономность.

Синоптики вычислили шторм, но командование решило не откладывать похода: плавать нужно в любую погоду. Предсказание сбывалось: ветер крепчал и к рассвету достиг 8 баллов, для лодки на поверхности это многовато. Мы приготовились к погружению — перекрыли все наружные отверстия. Я спустился из рубки, прочно захлопнув за собой люк. Все задраено, лодка герметически закупорена и медленно пошла вниз.

Подводная жизнь резко меняет человеческое поведение: необходимо помнить, что кубатура лодки невелика, каждый кубический сантиметр воздуха дорог. В надводном состоянии мы ходим по палубе, проводим собрания, даже боксом занимаемся. На глубине не помитингуешь, не побоксируешь. Вахтенные, дежурные заняты делом, стоят на постах, наблюдают за отсеками. Остальные — отдыхают. Но на погрузившейся лодке отдых особый, специфический. Только лежа, только в неподвижности должен находиться отдыхающий. Двигаясь, человек поглощает 40 литров кислорода в час, а лежащий в неподвижности — 15, сберегая нам 25 литров. Так что отдых на лодке тоже дело, тоже вахта!

Ночью мы хотели всплыть, чтобы запастись воздухом. Но на море стоял штормяга на десяток баллов, если не на всю дюжину. Лодку то выбрасывало на высоту, то зарывало и кормой и носом, чуть не на попа ставило. Решили переждать непогоду, ушли на глубину,

в тихие слои. И когда выплыли через несколько часов, уже не штормило. Дул ветерок легкий, нежный, приятно обвевающий. Люди выбежали на верхнюю палубу, глотая свежий воздух. Чертовски ведь устали в сдавленной атмосфере под водой. Я прислонился к релингу и вздремнул стоя, говорят, даже храповицкого задал…

Днем мы, как правило, шли под водой, ночью всплывали. Получалось, что ночью у нас день, днем — ночь. И соответственно распорядок суток: в 6 вечера — утренний завтрак под водой, в 9 вечера — обед наверху, в 2 часа ночи ужин тоже наверху, а в 8 утра — вечерний чай под водой.

В конце плавания мы решили уйти под толщу воды на продолжительное время, более длительное, чем в предыдущие залегания. На грунте лежали. Если в верхних слоях температура была примерно +25°, то здесь она упала до почти минусовой. Самое высокое тепло было +5. Начались простуды. Врачевали заболевших боцман и я. Накладывали компрессы, ставили банки, прописывали таблетки и капли. Одному краснофлотцу, пожаловавшемуся на больное горло, боцман по ошибке выдал слабительные таблетки. Спохватился, когда тот уже их принял. И, о чудо, горло они вылечили, а основных своих функций не исполнили…

Ну это я вам так, для шутки.

Все задачи автономного плавания были нами решены. Продолжалось оно дольше, чем предполагали, и остается пока рекордным для лодок типа нашей».

Рассказ командира подлодки был напечатан без указания фамилии по тогдашним соображениям секретности.

Это был Михаил Федорович Хомяков, моряк лет сорока, но для его возраста и опыта — невысокого воинского звания: старший лейтенант.

Объяснение этому я нашел через много лет в книге «В глубинах полярных морей», которую написал Герой Советского Союза контр-адмирал Иван Александрович Колышкин, командовавший в войну бригадой подводных лодок Северного флота. (Я редактировал многотиражную газету этого соединения «Боевой курс».)

Колышкин и Хомяков были одногодками, однокашниками в военно-морском училище и с некоторым перерывом долгими сослуживцами на подплаве.

Вот что пишет Иван Александрович:

> «Мы служили с Хомяковым в Кронштадте… Потом я перешел на Север, а Михаил Федорович оставался на Балтике… Тут и случилась с ним неприятность.
>
> В одну из темных ночей подводная лодка капитан-лейтенанта Хомякова столкнулась с небольшим судном. Авария произошла целиком по вине судна, лодка оказалась пострадавшей стороной. Коль уж сам факт аварии имел место, то решено было наказать и командира лодки. От должности его не отстранили, а в звании снизили…»

Так Хомяков, представленный перед этим к званию капитана 3-го ранга, оказался старлейтом. На военной службе всяко бывает; впрочем, не только на военной.

Мы могли бы встретиться с Хомяковым в войну, поскольку он, уже капитаном 1-го ранга, командовал дивизионом лодок на Севере. Но по трагическим обстоятельствам не повстречались. Я был назначен редактором «Боевого курса» как раз в те дни, когда Хомяков ушел в море…

У Колышкина читаем:

> «…неожиданно командующий приказал мне отправить в Карское море «К-1».
>
> Почему именно «К-1» в Карское море? Чем была вызвана такая необходимость? Оба подводных крейсера стояли в ремонте. Правда, «К-1» была уже почти отремонтирована и ее готовность измерялась недолгим сроком. Но командир лодки Стариков с началом ремонта получил отпуск и еще не успел вернуться. Времени же, чтобы вызвать его, не оставалось.
>
> Почему же все-таки потребовалось направить в Карское море именно «Катюшу»?..
>
> Командующий терпеливо объяснил. Не исключена возможность набега на наши внутренние коммуникации надводных рейдеров. Поэтому признали целесообразным иметь в Карском море подводный крейсер, вооруженный солидными пушками и способный вести артиллерийский бой.
>
> Предпосылка с тактической точки зрения была несостоятельной. Если перед лодкой ставится задача по прикрытию своих коммуникаций от надводных сил, то в расчет должно приниматься лишь ее торпедное вооружение. Противник может послать для рейдерства

корабль не менее чем крейсерского класса. А против такого корабля глупо даже применять лодочную артиллерию. Она нужна для самообороны при вынужденном всплытии или для удара по транспортам, не добитым торпедами…

И если уж так требуется «лодка с пушкой», то чем плоха, например, лодка типа «С», которых у нас сейчас хватает? Ведь на них стоит такая же «сотка», что и на «Катюшах». И наконец, как же можно посылать в боевой поход лодку без командира?

Все это я, может быть слишком взволнованно, высказал командующему… Он устало ответил:

— Иван Александрович, я знаю это так же, как и вы. Но Москва настаивает, чтобы пошла «К-1». Я дважды туда звонил, все мои доводы отвергли. Старикова требуют заменить комдивом. Так что готовьте «К-1». Пойдет Хомяков.

Ремонт на «К-1» закруглили и срочно подготовили ее к походу. С тяжелым сердцем провожал я в море Михаила Федоровича Хомякова. Беспокоило состояние лодки. Да и вообще все как-то получалось нехорошо в этой спешке…

Было это в сентябре… Связь с лодкой оборвалась, и в базу она не вернулась к назначенному времени. Прошли все сроки окончания похода, а «К-1» так и не появилась в Екатерининской гавани…

Мы потеряли подводный крейсер и замечательную команду во главе с опытным комдивом, старым подводником».

Колышкин и Хомяков были не только однокашники и сослуживцы, но и дружили семьями.

Оба, воюя на Севере, тревожились за судьбу своих жен, остававшихся в Ленинграде и живших в одном доме.

Иван Александрович жены не дождался: она умерла в блокаду.

Жена Хомякова выжила и приехала к мужу в дни его последнего похода.

Она была машинисткой и, зачисленная в штат политотдела, печатала и для нас, для редакции «Боевого курса». О муже мы с ней никогда не говорили, она даже не знала, что я был с ним знаком.

Я охотно следовал совету дяди Кости насчет «подножного корма» и поиска интересных людей, ситуаций за пределами школ и отрядов. Гусев, у которого уже само сравнение школьно-пионерской тематики с «кормом», да еще «подножным», вызвало бы ярость, переехал в Москву, в «Пионерку», и я, чувствуя себя «на свободе», стал ею злоупотреблять, всячески отказываясь от посещений школ и отрядов. Я говорил: «У меня верхолазы, водолазы, летчики…» Это сердило нового редактора Таубина, приверженца гусевских принципов, назревал конфликт, а кто выигрывает в столкновении редактора с рядовым сотрудником, пояснять не приходится. Спас меня от увольнения Миша Белилов, в то время заместитель Таубина, будущий командир танкового полка, никакой не журналист, просто милый человек. Геннадий поручил ему возглавить выездную редакцию в Мурманск, где было плохо с успеваемостью в школах. И когда спросил у Миши, кого он хочет с собой в помощники, тот неожиданно назвал меня. Таубин удивился: «Это ж тебе камень на шею. Он зазнался, чурается пионерских дел, пора с ним вообще расставаться. У нас не «Вокруг света»… Ладно, раз ты просишь, пусть это будет ему последним испытанием». Белилов сообщил мне о разговоре с редактором уже после нашего возвращения из Мурманска. Мы пробыли там месяц, жили в специальном вагончике с типографским оборудованием, через день выпускали листок «Ленинские искры» — за отличную учебу», который распространялся по школам. Не знаю, поднялась ли в них успеваемость в результате наших печатных стараний, но мы с Белиловым понравились друг другу, вернулись приятелями. И Таубин остался доволен работой выездной редакции, сказал про меня: «Вот и исправился наконец».

В канун нашего отъезда из Мурманска, с которым через несколько лет надолго будет связана моя жизнь, пришло сообщение об убийстве Кирова. Мы возвратились в Ленинград в день траурной процессии. Поезд оттащили на дальние пути, никого не выпускали с вокзала. Но мы все же увидели печальную церемонию. Стоял сильный мороз, на улицах пуржило, заметая снегом колесницу с гробом и всех сопровождающих…

Таубин заблуждался: я «не исправился». Благо принявший газету Данилов считал, что, оставаясь детской, она должна расширять диапазон своих интересов. Первый у нас редактор с высшим образованием — у него имелся диплом инженера-электрика, — человек начитанный, читавший и по-английски без словаря, всегда всех побеждавший в блицигре на большее количество знаменитых фамилий по заданной букве, он придавал

«Искоркам» познавательный характер, возможно, чуть их перевзрослил, — вспомним спор с ответственным секретарем о саламандрах, — но не считал это недостатком, полагая, что читатель обязан подтягиваться до уровня газеты, а не наоборот. Получив толчок-импульс от дяди Кости Высоковского, взлетев с его трамплина, я далеко разбежался в разыскании интересных сюжетов для репортажей и однажды явился к секретарю с просьбой подписать командировку в Москву.

— В столицу? Зачем?

— На встречу Виктора Михайлова с Николаем Королевым.

— Кто такие?

— Боксеры, — сказал я тоном сожаления по поводу того, что нашелся человек, не знающий Михайлова и Королева. — Чемпионы страны в полутяжелом и тяжелом весах. Матч на звание абсолютного чемпиона.

— Только нам бокса и не хватало. Прославлять в детской газете мордобитие… Категорически возражаю.

— Очень жаль, — вмешался сидевший за соседним столом дядя Костя Высоковский, с которым у нас все уже было заранее сговорено. — Бокс не драка, а искусство. Вы когда-нибудь видели настоящий бой тренированных людей? Это же наслаждение…

— Для того, кто наблюдает, как другого бьют? — съязвил секретарь. — И видеть не желаю. И поездку на нелепое зрелище санкционировать не могу.

— Пойдем к редактору, — сказал мне Высоковский.

Мы вышли от Данилова с подписанной однодневной командировкой в Москву: утром приехать, вечером после матча уехать.

Я ликовал. Срок давности, как говорят юристы, освобождающий меня от наказания, позволяет мне признаться, что ликовал я не так в служебном плане, как в личном. Уверенности, что мой отчет о матче, несмотря на согласие Данилова, поддержку Высоковского, напечатают, не было. В самом деле, ни одна пионерская газета еще не пропагандировала бокс как вид спорта, коим полезно заниматься с малых лет. В Москве хоть существовала в виде эксперимента детская школа боксеров, открытая благодаря авторитету знаменитого Градополова, который и возглавил ее. В Ленинграде же попытка создать такую наткнулась на твердое сопротивление со стороны гороно. Тамошнее руководство считало, что потворствовать дракам среди школьников преступно. Аргумент, что бокс как раз и будет отвлекать от драк, отвергался. Бумагу мне Данилов подписал, но решится ли в последний момент подписать мой материал к печати? Захочет ли, да еще подзуживаемый

секретарем редакции, вступать в спор с официальной точкой зрения? Что ж, если не захочет, побоится, то уж всяко после того, как я побываю на матче. А для того чтобы это было именно так, я быстренько смотался с командировочным удостоверением в кармане и больше в тот день носу не казал в редакцию. Вдруг Данилов передумает и отберет документ…

Я понимал, что оказаться в Москве, тем более в самый день состязания, не означает еще попасть в цирк, где оно должно было проходить. Но то, что я увидел на Цветном бульваре, превзошло все мои опасения: часов за пять до начала боя площадь перед цирком была уже запружена жаждущими лишнего билетика. С вокзала-то я отправился в спорткомитет, но, глянув на мою бумагу, мне вежливо объяснили, что весь лимит пропусков у них исчерпан. «Попробуйте к администратору». Цирковой администратор, к окошку которого удалось как-то пробиться, всем, не глядя, отвечал одинаковой, очень, видно, понравившейся ему фразой: «Хоть к Калинину обращайтесь, ничем не могу помочь». А вслед за моим просительством вообще захлопнул окошко и больше не открывал. До матча оставались минуты, и теплилась надежда лишь на чудо, и оно свершилось. Вдруг перед глазами мелькнула «соломинка», за которую я, утопающий, успел в отчаянии ухватиться, и она вынесла меня из водоворота, понесла к берегу. «Соломинкой» оказался Владимир Васильевич Лебедев, ленинградский художник, известный иллюстратор детских книг, живописец, в прошлом питерский чемпион по боксу, теперь судья на соревнованиях. Я знал, что он приглашен в судейскую коллегию предстоящего матча. Он пробирался сейчас сквозь толпу к служебному входу с двумя дамами в каракулевых шубках. Я рванулся к нему, работая локтями, с нахальной просьбой провести, бормоча, что я ленинградский журналист, специально приехал, и как же быть? Нахальство несусветное: я не был знаком с Лебедевым, только и видел его на соревнованиях да раза два он заходил к нам в редакцию. И вдруг он говорит: «Идемте!» И уже никто не может меня остановить, я гордо шагаю с одним из судей матча. Своих спутниц и меня Лебедев усадил на гостевые места в первом ряду. Весь бой дамы заметно волновались, иногда даже громко вскрикивали, и по их репликам чувствовалось, что они разбираются в тонкостях бокса; одна «болела» за Михайлова, другая — за Королева. Позже я узнал, что сидел рядом со скульпторами Верой Игнатьевной Мухиной и Саррой Дмитриевной Лебедевой.

По-английски «спикер» — оратор.
В британском парламенте это председатель палаты.

На спортивных соревнованиях — человек, объявляющий их участников.

Старик Бессонов когда-то сам был боксером, а теперь — спикер. Голос у него громовой, раскатистый. Он возвещает начало матча между чемпионом полутяжелого веса Виктором Михайловым и чемпионом тяжелого веса Николаем Королевым.

Бойцы, окруженные секундантами, стоят, приплясывая, каждый в своем углу ринга, сбросив яркие, цветистые халаты.

Михайлов — высокий, подобранный, поджарый.

Королев — прямая ему противоположность: на голову ниже, короткие массивные ноги, широкие плечи, вся его фигура медвежевата. Он тяжелее соперника на 12 килограммов. А моложе на 10 лет, ему 20.

Бьет гонг — и бойцы сближаются.

Обычно в начале боя противники насторожены, медлительны, обмениваются легкими разведочными, прощупывающими ударами. Королев следует этой тактике. А Михайлов ведет себя совсем по-другому. Наверно, считает, что может выиграть у тяжеловеса только непрекращающимися стремительными атаками. Он с первых же секунд устремляется на Королева, засыпая его молниеносными ударами. Тот защищается, и вроде бы не очень удачно, пропуская их в лицо, в корпус. Но это не выводит его из терпения, он по-прежнему невозмутим. Подвижный, верткий Михайлов прыгает около Королева, как вокруг, памятника. Зрители недовольны молодым тяжеловесом. Шумят неодобрительно в его адрес. Но вот он вдруг оживает, бьет с обеих рук сильно, да не точно. И Михайлов успевает прыжком уйти в сторону. Королев снова замирает, словно ему неохота биться, и противник никак не может его раздразнить.

Во втором раунде картина боя резко меняется. Михайлов посылает свою левую руку сбоку, но медлительный, неуклюжий Королев успевает опередить его. Откуда эта ловкость, быстрота, неожиданная для зрителей? Им-то что, не больно. А вот Михайлов нарывается на сокрушающий прямой удар, вслед, за которым вылетает откуда-то снизу и правая рука. Михайлов вынужден отступить к канатам. Королев не отпускает его. Соперник закрыл лицо руками и, упав на веревки, старается оттолкнуться от них. Не может: Королев давит всем корпусом и бьет, бьет. Только гонг выручает Михайлова. И все видят, что ему достался противник, какого у него, блистательного боксера, никогда еще не было.

Но Михайлов достаточно опытный, умный боец, чтобы не растеряться, и когда, после отдыха, начинается третий раунд, он бежит на неохотно встающего с табуретки, по виду усталого

Королева и обрушивает на него, как и в первом раунде, серии коротких неожиданных ударов, и не ото всех из них тяжеловесу удается спастись. Они явно чувствительны для как будто непробиваемого Королева. Михайлов этой своей тактикой хочет смутить, обезоружить его, и в какой-то степени это удается: по очкам Королев проигрывает третий раунд. Но поглядите, как он сидит теперь, отдыхая, в своем углу, пока секундант обмахивает его полотенцем и что-то нашептывает в ухо. Всем видом Королев показывает, что пороху у него в пороховницах, то бишь в боксерских перчатках, еще достаточно. «Я тебя еще вымотаю, ты у меня иссякнешь, и тогда пущу в ход свою тяжелую артиллерию» — написано на лице у Королева, когда он поднимается с табуретки.

Не знаю, «прочел» ли это Михайлов, но тактике беспрерывного нападения не изменил и вдруг в середине раунда провел свой коронный, часто досрочно заканчивавший его бои «крюк» в челюсть. Сколько бойцов падало на ринг от этого удара! Сам непобедимый гигант-норвежец Паттерсон был повержен таким образом Михайловым. И вот снова точный, сильный «крюк» в челюсть, а Королев не качнулся, не отступил. (В своей книге «На ринге», вышедшей в 1950 году, он вспоминает: «…этого я уже не ждал! Звон в ушах, пляшут колени, в глазах словно дымовое облако… Как же я не успел предупредить страшнейший михайловский крюк?.. Надо скрыть действие этого удара. Надо! Сам виноват. Забылся… Теперь расхлебывай. Скорее в ближний бой. Наклонив голову, бить и бить ударами снизу вверх. Обману ли?») Обманул!

Михайлов, похоже, обескуражен. Его излюбленный, самый опасный маневр не достиг цели при всей точности и силе удара. Думается, с этого момента Михайлов изверился в победе и старался лишь достойно завершить бой. Что ему и удалось. Два последних раунда, пятый и шестой, боксеры провели в центре ринга. За мельканием их рук невозможно уследить. Кажется, что в ходу не две пары перчаток, а четыре, шесть, восемь. Цирк замер в тишине как бы в ожидании кульминации, какого-то особого удара. И он последовал. (К восторгу, добавлю сейчас, одной из моих соседок, болевшей за Королева, и к огорчению второй. — *А. С.*) Он был послан тяжеловесом, и Михайлов зашатался. И все же не упал. Такое состояние называется «грогги», в глазах двоится, потолок соединяется с полом. Не всякий это выдержит. А Михайлов, играя ногами, подпрыгивая, продолжает, как любят говорить боксеры, «работать»: слова «драться» они избегают. Михайлов продолжает бой, хотя исход его уже всем ясен. Только выдержка старого бойца и удар гонга спасли его от нокаута.

Он первым поздравил Королева, ставшего абсолютным чемпионом страны. В боксе 8 чемпионов, каждый в своем весе. 20-летний Николай Королев теперь чемпион всех восьми чемпионов.

На редакционной летучке Данилов похвалил мой репортаж. Секретарь молчал. Промолчало и гороно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

С авиацией у меня давнишние связи.

Первый полет в жизни, если не считать уже описанного «полета» сквозь оконное стекло, я совершил полвека назад. И есть документальное свидетельство тому — заметка, напечатанная в «Ленинских искрах» 3 сентября 1930 года:

«КАК Я ЛЕТАЛ НА «ЛЕНИНГРАДСКОМ ПИОНЕРЕ»

— Контакт!

— Есть контакт!

Завертелся пропеллер, затрещал мотор.

Самолет быстро-быстро побежал по полю Комендантского аэродрома.

И вот «Ленинградский пионер» — в воздухе. И я вместе с ним. Я тоже ленинградский пионер.

Я сижу впереди пилота, крепко привязанный к сиденью. Самолет забирает все выше и выше.

Вначале даже немного страшновато смотреть по бокам: я смотрю в небольшое отверстие внизу. Но потом привыкаешь. Это только первое ощущение.

Толпа на аэродроме — уже не толпа, а несколько клякс, нечаянно посаженных на зеленое поле вместо тетрадки.

Земля с самолета похожа на хорошо, аккуратно вычерченный план. Вот дорога, по которой бежит маленькая оловянная лошадка с таким же оловянным всадником.

Но вдруг — что такое? Я падаю, я не вижу земли. Перед глазами только кусок неба. Мелькает мысль: а вдруг сейчас вылечу и упаду туда, далеко вниз? Но вот самолет круто повернул и опять выпрямился. Пролетаем над заливом. Да какой это залив! Просто лужица от недавно прошедшего дождя. А это что такое? Неужели Черная речка? Мне она кажется тоненьким синим шнурочком от спортивных тапочек.

Опять поворот, и опять чувство падения.

Внезапно мотор перестает трещать. Самолет остановился в воздухе. Это продолжается 1—2 секунды. Потом я узнал, что при спуске летчик всегда выключает мотор.

«Ленинградский пионер» стал плавно спускаться. Земля совсем близко. Я машу шлемом.

Вот и твердая почва. Самолет, как и при подъеме, быстро бежит по траве. Навстречу бегут красноармейцы.

Я вылезаю из кабинки. Смотрю на небо, где летает много самолетов. Только что я тоже там был.

Деткор А.»

Корреспонденция проиллюстрирована крошечной фотографией: мальчуган в летном шлеме, занеся ногу, вылезает из самолета. Подпись из текста заметки: «Я вылезаю из кабинки». Лица не видно (и это, как вы поймете далее, оказалось мне на руку). Но «деткор А.» — это я, поверьте. Инициал вместо полной подписи поставлен по моей просьбе. Я был вынужден прибегнуть к конспирации, хотя и стремился в свои тринадцать лет к славе. Но полеты в то время не были еще таким массовым явлением, и взмывание сыночка к облакам, о котором мама прочла бы в «Искорках» — мы получали газету на дом, — могло даже задним числом не на шутку разволновать ее. Надо отдать должное благородству моего старшего брата Вальки, с которым я, не выдержав тяжести носимой внутри тайны, поделился ею, и он не выдал меня, хотя имел все основания отомстить мне. За несколько дней до появления заметки мы шли с мамой по проспекту Володарского (бывшему Литейному, а ныне снова Литейному) и возле проспекта 25 Октября (бывшего Невского и ныне снова Невского) увидели Вальку, шедшего в компании своих сверстников нам навстречу. Заметив нас первым, он проделал какую-то стремительную манипуляцию правой рукой — снизу вверх, сверху вниз и за спину — и в конце ее, этой манипуляции, я все же углядел мелькнувший огонек папиросы. «Мама, — крикнул я, — он курит!..» Валька был изобличен, получил вечером изрядную взбучку от отца, что не помешало ему стать неисправимым курильщиком на всю жизнь. Так вот, он меня благородно не выдал, уже тогда продемонстрировав лучшие, чем у меня, моральные качества, и мама так и не узнала о моем первом полете, но впереди у нее было еще немало возможностей для волнений за меня.

…Бывает же такое: приехав сейчас в Ленинград по делам этой повести (можно так сказать. — по делам повести? По-моему, можно), я живу в гостях у брата Вальки — 69-летний, он только

для меня и остался Валькой — в доме на Серебристом бульваре, пересекающем территорию бывшего Комендантского аэродрома, с которого я пятьдесят лет назад впервые поднялся в воздух.

— Почти все названия в нашем микрорайоне, как вы, наверно, заметили, — от аэродрома, от рождавшейся на нем отечественной авиации, от ее дочери — космонавтики… Улица Ефимова, Мациевича, первых русских пилотов, летавших здесь, а Мациевич здесь и разбился… Проспект Испытателей — на Комендантском испытывали новые самолеты. Бульвар Котельникова, изобретателя парашюта, который был проверен впервые тоже на этом аэродроме. Бульвар Поликарпова, конструктора бессмертных «У-2» — «ПО-2», Улица Королева — на Комендантском, в особой лаборатории создавались первые реактивные двигатели. Богатырский проспект…

— При чем тут богатыри?

— А как же, отсюда взлетали «Русский витязь», «Илья Муромец» Сикорского…

— А Серебристый бульвар, — уже сам догадываюсь я, — от серебристых крыльев?

Поэтический образ авиации…

Мой гид — Елена Петровна Кулакова, учительница литературы 66-й школы. Она заведует развернутым здесь Музеем истории Комендантского аэродрома. Это официально зарегистрированный филиал Государственного музея истории Ленинграда. А сокращенно — кто-то из ребят красиво придумал — ИКАР, История Комендантского Аэродрома.

— У нас все права на такую экспозицию. Школа, по свидетельству очевидцев, по сохранившимся фотографиям — вот они — стоит точно на бывшей взлетной площадке, на первой взлетной полосе России…

— А почему аэродром — Комендантский? Откуда это наименование?

— Петр Первый, назначая коменданта только что заложенного города, пожаловал ему угодье на Черной речке. И оно стало называться Комендантским полем, или Комендантской дачей. Место дуэли Пушкина… В конце прошлого века здесь оборудовали скаковой ипподром. А в начале нашего столетия, когда появились самолеты и для их взлетов и посадок потребовалась большая площадь, ипподром превратили в аэродром с ангарами. В 1910 году здесь состоялась первая авианеделя России, воздушный праздник. Вот уникальный снимок: мальчишки на деревьях, наблюдающие за полетами. Делаем попытку разыскать кого-нибудь из них, кажется, вышли на

один след, но пока не скажу о нем, чтобы не сглазить… На том празднике полеты демонстрировали летчики, прибывшие из Франции — французы и группа первых русских летчиков, обучавшихся там. Недавно в ответ на наш запрос мы получили из Парижа, из министерства ВВС, два толстых пакета — списки этих авиаторов, копии их дипломов. Бесценный дар для наших поисковиков, для ребят, составляющих именной реестр всех, кто когда-либо взлетал с Комендантского или работал здесь.

— Чкалов?

— Конечно! Он два года служил на Комендантском в Первой краснознаменной истребительной эскадрилье. Отсюда совершил свой знаменитый рискованный пролет между ферм Троицкого моста… Перед вами пропеллер его самолета.

Читаю:

> «Обнаружен в дер. Шапки Ленинградской области у вдовы Гудкова, бывшего бортмеханика Чкалова. Доставлен в музей учениками В. Галюк, М. Кораблевым, А. Куликовым, С. Цаль, В. Чернышевым».

— Мы переписываемся с семьей Валерия Павловича. И с семьей Ильюшина. Он начинал мотористом на нашем аэродроме…

На стендах — на подставках, под потолком — на тонких тросиках — модели всех самолетов, базировавшихся на Комендантском до войны, в войну, после войны. Среди них, естественно, «У-2», неутомимый работник во все времена. Увидев его, совершаю грубую тактическую ошибку.

— О, — воскликнул, — вот на таком и я поднимался отсюда полвека назад.

И все — пропал! По сигналу Елены Петровны — едва приметному движению брови — я мигом взят в артиллерийское перекрестье, в плотное кольцо следопытов, разведчиков, поисковиков. Для них я в некотором смысле историческая личность, долженствующая оставить след в музее. Нагибаю покорно голову под шквалом обрушившихся на меня расспросов: кто? что? когда? зачем? «Ленинградский пионер»? Почему так назвали самолет? Построен на деньги пионеров? Как собирали, долго ли? Где, где можно об этом прочесть? Эдик, запиши: «Ленинские искры» за 29-й год… И есть о том, как вы летали? В 30-м? Номера не помните? Не прихватили с собой из Москвы блокнота с выписками? А вы, значит, москвич? И не слышали о нашем музее… Ничего, поищем газету в Публичке… Ну да, фиг найдешь, газетный зал давно закрыт, сто лет на ремонте… Пришлите, пожалуйста, свою заметку о полете… А с кем вы

летали, с каким летчиком, фамилия? Славка, запиши: кажется, Тарасов… Что-то нам такая фамилия не встречалась в списках воздухоплавательной школы… Так он же, наверно, не курсант был, а инструктор… Надо спросить у Сергея Михалыча… Кто это — Сергей Михайлович? (Это я уже интересуюсь, оправившись от ребячьей атаки.) Персональный пенсионер, старый авиатор, постоянный консультант музея. Летал тут в самом начале тридцатых годов, многое и многих помнит. Сейчас в санатории, как вернется, расспросим.

В Москве я получил письмо от Елены Петровны. Сообщала, что летчика по фамилии Тарасов не было. Был моторист Тарасов, обслуживал самолеты на земле, в воздух не подымался, с аэродрома уволился, поступил на завод. Дальнейшая его судьба неизвестна… Я тоже выполнил просьбу поисковиков, послал фотокопию своей заметочки. И таким образом официально зафиксировался в истории Комендантского аэродрома.

2

Заметка «Как я летал» — деткоровская.

Позже, когда я стал штатным сотрудником газеты, появилась уже знакомая читателям этой повести статейка про Аркашу Чапаева, курсанта авиаучилища. Но к моменту нашей встречи с ним он еще в воздух не поднимался, проходил теоретическую подготовку, и на аэродроме, в полете я его не видел.

А вот и репортаж с аэродрома:

«ПОЛЕТ

Летчика Ямщикову мы встретили на Корпусном аэродроме ранним утром.

Опечатки нет: летчик на самом деле летчица, и ее зовут Ольга.

— Подождите, — крикнула нам Ольга Ямщикова, — сейчас сброшу парашютиста и тогда побеседуем.

Кроме того, что пилот девушка, все остальное обычно, как сто раз уже описывалось: самолет на старте, механик возится с пропеллером: «Контакт!» — «Есть контакт!», машина мчит по полю, плавно оставляет землю и так же плавно, спокойно набирает высоту.

Позади летчика — парашютист. Он положил руку на

борт и смотрит вниз, словно выбирает место, куда падать.

Самолет долго кружит над нами, то уходит куда-то за фабричные трубы, то прячется в одиноком сером облаке и, вдруг замолкая, планирует в неожиданной тишине. Здесь, внизу, ждут.

— Чего же он не вылезает? — волнуется инструктор.

Еще немного, машина уйдет за положенную границу, и будет поздно прыгать.

Но вот, мы видим, на крыло неуклюже карабкается человек с парашютом и так же неуклюже, как бы нехотя, сваливается с крыла.

Самолет идет на посадку вслед за парашютистом.

Ямщикова бежит по полю, то и дело оглядываясь на своего недавнего пассажира; вот он встал, выпрямился, и она перестала следить за ним: все в порядке…

Показывая на небо, говорит нам, слегка картавя:

— Я ему ору: «Вылезай!» — а он как приклеился. Немного промедлит, на провода угодит… Состояние-то понятное, сама такое испытала, когда прыгала первый раз. Инструктор нам советовал: «Глаза закрывайте, чтобы землю не видеть…» Я попробовала, ступив на крыло, сомкнула ресницы, боязно, но интересно все же глянуть, чуть приоткрыла глаза, в щелочки — солнце на все небо! Ветер шуршит, земля зовет к себе, прыгнула с широко раскрытыми глазами, и весь страх ушел, спускалась, как по лестничке, и хочу подольше оттянуть время полета к земле…

Мы сидим на траве. А Ямщикова все еще там, в небе. И неохотно переключается на рассказ о себе, как мы ее просим. Говорит сперва — будто заполняет анкету, кратко, без подробностей. Год рождения — 1914-й, скоро двадцать. Место рождения — Казань. Была в пионерах. Комсомолка. В Казани кончила семь классов. Семья переехала в Ленинград. Училась здесь в 13-й школе на Гагаринской улице, недалеко от Летнего сада. Сначала было увлечение автомобилем, сдала в пятнадцать лет на шофера. Потом — самолеты. Но в осоавиахимовскую школу не приняли. И по возрасту, и потому, что девчонка. Устроилась мотористом на аэродроме. Через эту службу прошли многие летчики, даже сам знаменитый Водопьянов! Протирала масляной тряпкой тонкие трубочки, выслушивала мотор, чтобы не хрипел, не кашлял… Исполнилось семнадцать, зачислили в виде

исключения, за старание в учебный авиапункт. А отсюда уж прямая дорога — в воздух. Вот и вся биография, вся анкета.

Разговор пошел веселее — полеты!

Рассказывает так, что мы все видим, ощущаем, словно это с нами происходит.

Первый взлет. Ты еще гость в небе, пассажир. Перед тобой затылок инструктора, спокойный, уверенный затылок. Муреев правит самолетом, переговариваясь с тобой по телефону, объясняет свои движения, манипуляции, показывает границы аэродромной зоны, дает характеристику облаков, всей метеообстановки, знакомит с небом, в котором ты завтра будешь почти хозяйка. Почти, потому что хотя штурвал и в твоих руках, но рядом тот же Муреев, инструктор, следящий за каждым твоим движением и готовый в случае ошибки принять управление на себя.

Вот так восемь часов в воздухе с инструктором, не за один раз, конечно. Всего-навсего восемь часов? Но ведь это полторы тысячи километров. Не так уж мало. «Можно выпускать одну…» — сказал Муреев. И вот она одна в небе! А до этого было так.

К четырем часам утра задолго до срока Ямщикова пришла на старт.

Кадры — как в кино: моторист прогревает мотор. Ямщикова надела шлем и воздушной покачивающейся походкой направилась к машине. Запрокинула через борт ногу, подтянулась, поглубже устроилась в сиденье. Муреев тут как тут. О, как ему хочется — рядышком. Он не отойдет, пока машина не двинется. Руки Ямщиковой слегка подрагивают на штурвале. Что такое? Мотор глохнет. Муреев сердится, говорит какие-то грозные слова, мотор набирает обороты, и машина, словно испугавшись, подпрыгивает, гнет траву, бежит, бежит, убегая от рассердившегося Муреева сперва по горизонтали, а затем и вверх. И Муреев хохочет, мотористы надрываются со смеху, так смешно всё это получилось. Все смеются, все довольны, все рады, что на нашей зеленой земле, в нашем голубом небе появился еще один летчик. Летчица.

…Это мы рассказали про пилота.

А на какой машине она летает?

На «Ленинских искрах».

Помнишь, как ты собирал пятаки и принес в отряд

полтинник. Полтинник, так похожий на колесо самолета. Миллионы таких полтинников, гривенников и в самом деле превратились в самолет.

Два года служит на аэродроме «У-2». Старушка «Искра», как называют ее пилоты, механики.

На нашем — мы имеем полное право так называть его — самолете обучилось уже 50 летчиков. Многие были пионерами, носили красный галстук, как Оля Ямщикова, теперешний инструктор ленинградской летной школы, воспитавшая уже пять летчиков.

Вчера мы снова встретились с Ольгой на аэродроме, хотели показать то, что мы про нее написали.

— Ладно, — сказала она. — Некогда. Улетаю в агитполет. Лечу по всей области агитировать девушек в авиацию…»

Из интервью с инженером-полковником авиации — О. Н. Ямщиковой, напечатанного в газете «Правда» 7 марта 1978 года:

«…— Ольга Николаевна, боевой путь вы начали под Сталинградом. Что вам запомнилось из тех дней?

— Сталинграда никогда не забуду. Это был бесконечный бой. На земле и в воздухе. Сажали самолеты только чтобы заправить горючим и взять боеприпасы. Но перед глазами другое: катера вывозят сталинградских детей, а над ними кружат фашистские самолеты. И мне все кажется, что и моя дочурка в катере… Ненависти было много. Опыта, правда, еще недоставало… Потом пришли удачи. Часто меньшим числом машин навязывали противнику бой и побеждали…

— После войны вы занимались испытанием новой авиационной техники. Но ведь испытатель — мужская профессия…

— А я о ней мечтала. Еще в войну между боями соберемся с девочками из полка, о будущем заговорим. Не очень-то они верили, что пробьюсь в испытатели: опытных летчиков-мужчин было много. И все же испытателем стала, и на реактивном взлететь довелось. То июньское утро сорок седьмого года хорошо помню. Иду к самолету, а товарищи-мужчины подсмеиваются: «Куда, безумная?» Кто-то в кабину полевой цветок бросил… сорок минут длился тот полет, вот уж

действительно — крылья! Тряски не чувствую, шум обгоняю. Счастливый был день…

— Ольга Николаевна, иногда исключение подтверждает правило. Ваше мнение: способны ли женщины освоить реактивную авиацию?

— Сегодня многие летчицы пилотируют реактивные машины. Марина Попович, Лидия Зайцева, Светлана Савицкая, Наталья Проханова, Галина Корчуганова, Женя Морозова — всех не перечислишь. Сколько они рекордов установили, сколько для нашей авиации сделали! Сбросить бы и мне годков сорок, снова бы в летчицы пошла. Не хочу судьбы иной!»

Диалог автора с Ямщиковой.

Время встречи — март 1979-го.

Место — квартира Ольги Николаевны в подмосковном городе.

На столе — принесенная мной фотокопия старой статейки из «Ленинских искр». Она только что прочитала, и идет комментарий, от которого я немного поеживаюсь. Нечто похожее испытывал я и при встрече с генералом Чапаевым. Но он, человек, в общем-то, жесткий, был все же снисходительней.

— Поторопилась я, значит, тогда с вылетом. Надо было глянуть на ваше сочинение. Доверилась. Ну откуда вы взяли у меня картавость?

— Тут сказано: «слегка картавя…»

— И «слегка» не было.

— Картавость, — говорю, — для расцветки.

— А Казань для чего? Вятская я по рождению, из Уржума, землячка Кирова… В Ленинград мы переехали с мамой в двадцать девятом. Она — бестужевка, словесница, но бестужевские курсы диплома не давали, и она приехала сдавать экстерном за Герценовский. Сдала, и мы остались в Ленинграде. А отец разъезжал по заграницам, в торгпредствах служил… Я кончила в Тринадцатой восьмой и девятый классы. Кстати, вы и адресок ее спутали. Не на Гагаринской школа, а в Соляном переулке…

— Нет, — вступился я за юного репортера из тридцатых годов, — это не ошибка, разве что неточность небольшая. Здание вашей школы выходит и в Соляной, и на Гагаринскую.

— Извините, тут вы правы, я забыла. Хотя парадный-то вход с переулка.

— Я учился по соседству, в Пятнадцатой.

— Ах, вот откуда ваша осведомленность. Вы, значит, из бывшей Тенишевской, из знаменитой?

— Ну и ваша, Тринадцатая, с историей! По-моему, ее Писарев кончал…

— В середине прошлого века… Недавно мне прислали приглашение на стопятидесятилетие школы. Не смогла выбраться. С ногами плохо.

— Наши школы были в дружбе. Старшеклассники проводили совместные вечера. Чаще — у вас, потому что наш актовый зал забрали под ТЮЗ.

— А зато какая была вам лафа! Верхней галереей, потайным ходом прошмыгнуть на спектакль. Моя подружка Томка Одинцова, учившаяся в Пятнадцатой, не раз вот так протаскивала меня на тюзовские постановки. Помню, одна называлась, кажется, «Ундервуд». Сюжета не помню. Какое-то сочетание сказки с реальной жизнью.

— Как всегда у Евгения Шварца: баба-яга живет в Лесном, близ Политехнического института, и выкрадывает в учреждении пишущую машинку для своих проделок…

— Действие из памяти ушло… Осталось по сию пору ощущение праздника в душе, рожденное этим спектаклем.

— Еще бы! И пьеса хороша, и играли в ней молодые Черкасов, Чирков, Полицеймако… А тогдашняя критика в пух и прах разнесла спектакль, сочтя его вредоносным и для детей, и для взрослых.

(Пальнули по «Ундервуду», не удержались и «Искорки». Напечатали фотомонтаж: пишущая машинка с торчащим из каретки листом, на котором крупными буквами текст: «Товарищи! Не могу молчать. Я пишущая машинка «Ундервуд» не имею ничего общего с пьесой Е. Шварца «Ундервуд». Точно так же притянуты в пьесу за уши пионерский галстук и юнгштурмовка. Мы протестуем, потому что взяты только для окраски! Без нас пьеса с таким же успехом могла быть представлена и 153 года назад! Требуем убрать нас из этой вредной пьески». Досталось заодно и «Трем толстякам» Юрия Олеши, про которых было заявлено, что «такие пьесы нам не нужны, они отвлекают от насущных задач пионерской организации». А деткор М. Фролов в рецензии на книгу Иннокентия Грязнова «Искатели мозолей» объявил, что она «вполне может заменить теперь марктвеновского «Тома Сойера»; обнаружив сию заметочку в старом комплекте, я, сами понимаете, не преминул сообщить об этом с ехидцей моему другу Матвею Львовичу Фролову, собкору Центрального радио по Ленинграду. К тогдашним левым завихрениям «Искорок», подражавших, естественно, взрослым

газетам, следует добавить и их атаку на безобидного ваньку-встаньку: «Необходимо изъять из магазинов эту вредную игрушку. Кого она изображает, над кем измывается в своем глупом упрямстве? Пусть ответит директор фабрики, выпускающей эту продукцию…» Вот так!)

— Позже, когда я работала инструктором в Ленинградской летной школе, вот там, на Корпусном, был среди курсантов юноша из вашей Пятнадцатой. Нынче довольно известный летчик-испытатель, Герой Советского Союза и, между прочим, писатель.

— Галлай?

— Марк Лазаревич. Я из-за него, из-за курсанта Галлая, три дня на «губе» отсидела.

— Как так? Расскажите.

— Стоит ли? Получится, жалуюсь через полвека, больно долгим задним числом.

— Ну все-таки…

— Дело — зимнее. Я выруливала «шаврушку» из ангара на взлетную полосу, к знаку «Т». С километр пробега. Обычно при рулежке два-три курсантика бегут рядом. На всякий случай. Чтобы помочь, если потребуется летчику, путь расчистить. В тот раз один Галлай бежал. Снег глубокий, утопать он стал в сугробах, отставать от машины. Поднажал, пыхтит, но все равно отстает, задыхается. И тогда ухватился рывком за расчалку, вспрыгнул на лыжу самолета, покатил, продолжая держаться за расчалку. Это не полагается, нарушение. А мне жаль пария, и я его так и провезла до взлетной. Он соскочил с лыжи и стоит возле крыла, руки по швам, вроде как сделал дело, сопроводил машину. Но начальство издали зацепило глазом. И нагоняй мне, как старшему по службе, за нарушение инструкции, «нелегальный» провоз курсанта. Трое суток гауптвахты. Сидела на Инженерной, в военной комендатуре… Случаев вспоминать этот случай выпадало нам с Галлаем после не раз: мы несколько лет работали с Марком вместе. Сейчас видимся редко, по торжественным лишь поводам. Пригласила меня тут Наташа Кравцова, Герой Советского Союза, писательница, — мы летали с ней в войну в соседних полках — на свой творческий вечер в Центральный Дом литератора. Пришли и другие ее соратницы по боям. Посадили всех в президиум. Председательствовал Галлай. Оглядел нас, обвел вальяжно рукой и обратился к залу: «Вот видите, перед вами женщины — ветераны авиации. Я знал их когда-то молодыми и красивыми, да-да, красивыми, поверьте уж мне на́ слово…»

— Не очень-то деликатная шуточка, — сказал я.

— Что ж, — сказала Ямщикова. — Другу простишь и такую… Но вернемся к вашей статье.

— Вернемся, — согласился я робко в ожидании новых разоблачений.

А они, к моему удивлению, не последовали.

— О прыжках написано более или менее точно. Сбрасывать парашютистов над Корпусным аэродромом было сложнее, чем над Комендантским в Новой деревне. Там — простор, а здесь узкий пролет между двумя железными дорогами. Маневр стеснен: транспортные постройки, провода. Поезда туда-сюда снуют. Легко промазать, и человек врежется… Не всем инструкторам разрешалось вывозить курсантов на прыжки. Я имела такое право, как окончившая кроме летной еще и высшую парашютную школу в Москве, куда была командирована. У Мошковского обучалась. Вам памятно это когда-то гремевшее, а ныне забытое имя?

— Не только фамилию помню, но и самого Мошковского знал, видел не раз.

— В Москве? На воздушных парадах?

— Нет, он был зятем наших соседей по ленинградской квартире и приезжал к ним. Глава этой семьи, дядя Миша, был приятель и земляк моего отца по Борисоглебску, маленькому городку, известному своей летной школой. Тихая дяди Мишина дочка Манечка окрутила, прибрала к рукам самого удалого, бесшабашного курсантика Яшу Мошковского, бывшего беспризорника из Одессы. Когда он, на моей памяти, навещал переехавших в Ленинград родителей жены, это не был еще знаменитый парашютист-рекордсмен. Но летчики в то время были редкостью. И каждый раз появление во дворе красавца авиатора во всем кожаном, с голубыми петлицами на отворотах куртки вызывало у нас, у мальчишек, дикий восторг. Мы даже в лапту прекращали гонять, взирая с раскрытыми ртами на это двигающееся чудо. Однажды он перехватил уже взлетевший мяч и, размахнувшись, запустил «свечой» высоко-высоко, выше нашего четырехэтажного дома, словно показывая, где он, пилот, летает. Мы все бросились ловить мячик, счастливчика, поймавшего его, летчик водрузил на плечи и, к черной зависти остальных, пронес ликующего через двор…

— За всю мою жизнь в авиации повидала я, знаете, безудержных храбрецов, презиравших страх. Для Мошковского же просто понятия такого не существовало — «страх». А следовательно, и понятия «бесстрашие». Оно было обычным для него, естественным состоянием в любых обстоятельствах. И ему это качество не требовалось; специально в себе вырабатывать,

тренировать. Оно родилось вместе с ним. Представьте, что человек лишен способности ощущать боль. А она ведь сигнал об угрозе, об опасности. Как жить без такого защитного средства? И как жить без чувства страха перед опасностью? Мошковский жил…

— Не граничит ли такое с безрассудством? И не оборачивалось ли против других?

— Я поняла, о чем вы. Случай расскажу… Едем на показательные прыжки: первый выпуск парашютной школы, группа Мошковского. Расселись по бортам грузовика — скамеек нет. Машина пришла за нами с опозданием, шофер спешит, гонит — прыжки должны начаться в точно назначенное время. Тряхнуло на повороте, я пригнулась, чтобы удержаться, зацепила вытяжной тросик, он выскочил, парашют раскрылся, и меня выбросило на ходу за борт. Потянуло вверх, но парашют погас — и шлепнуло о землю. Машина остановилась, я залезла в кузов, сижу, потираю бока. Прибыли на аэродром, прямо к самолету подкатили. Времени в обрез, спешу привести в порядок нарушенное снаряжение. Подошел Мошковский: «Ну как, Лёлька, дела? Прыгать можешь?» — «Могу, Яков Давыдыч!» — «Давай, говорит, поменяемся парашютами». — «Что вы, что вы, говорю, ни в коем случае». — «В таком разе запрещаю прыгать, отстраняю от прыжка!» — приказным тоном, категорически. Пришлось отступить, отдать ему свой парашют и надеть его, собранный по всем правилам, в спокойной обстановке, в классе. Так и прыгали — Мошковский с ненадежным, можно даже считать поврежденным парашютом, рискуя, естественно. То есть он-то не полагал, что рискует, а меня от риска оградил, не допустил, чтобы я рисковала. Вот и судите, как отражалось на других его бесстрашие…

— Ольга Николаевна, я слыхал о каком-то прыжке вдвоем…

— Вдвоем на одном парашюте, точно. Мы опять всей группой один за другим прыгали с «АНТ-9», небольшого самолета. Дверь снята, подходишь к порогу. Мошковский, инструктор, подталкивает в спину, толчок его и нежен и решителен, как бы задает «тон», стиль всему прыжку, летишь вниз, словно продолжая ощущать направляющее прикосновение ладоней Якова Давыдыча. Сам он в тот раз не собирался прыгать, стоял в дверях без парашюта. И вот кто-то из группы замешкался в проеме, заелозил. Переступает с ноги на ногу и никак не может оторваться от порога. Мошковский раз-другой — в спину его, а тот ухватился вдруг за инструктора и поволок, потащил за собой. Вот так вместе и вывалились они, вдвоем на одном парашюте. Мошковский принял управление на себя и с повисшим на нем

курсантом совершил, тому в назидание, затяжной прыжок, раскрыв парашют на предельно малой высоте от земли…

— Прыгал, мне рассказывали, и со сломанными ногами?

— Не врали вам. Сломал левую, чуть срослась, ходил еще с палкой, взбирался в самолет и прыгал, приземляясь на одну правую. Сломал и ее, передвигался на костылях и продолжал прыгать, приземляясь, как он выражался, «на корму»… Человек был веселый, анекдотчик, словом одесский характер, добрый, но взрывной. Ужасно сердила его потеря прыгающим кольца́ от парашюта. Первое, о чем спрашивал тебя после приземления, — кольцо? А его, довольно тяжелое, не всегда удержишь при сильном рывке купола. Ладонь невольно разжимается, и кольцо выскальзывает, ищи потом. Лишних не было, каждое на счету. А без него парашюта не соберешь, и Мошковский, бывало, снимал с прыжков за утерю кольца. Мальчишки, бегавшие по аэродрому, смекнули, разыскивали в траве кольца и сбывали нам по пятерке за штуку. Как-то и я купила, хотя и не теряла, на всякий случай, если свое оброню, сунула под комбинезон поглубже. Прыгнула и угодила в огромную копну сена посереди поля, ноги провалились, руками придержалась, а выбраться не могу, как пошевелюсь, еще глубже проваливаюсь, к тому же и куполом накрыло. Прибежал Мошковский: «Где тут принцесса на горошине?» Помог вылезти и сразу: «Кольцо?» Протягиваю — удержала. И тут выпало запасное, спрятанное в сверхукромном месте. Хохочет: «Ох и хитрованка, буду теперь перед прыжком обыскивать, не постесняюсь…»

Сбрасывал нас не только над аэродромом. Говорил: «В воздухе всякое бывает, надо привыкать…» Приучал к различным вариантам приземления: в лесу, на болото, в холмистой местности, на шоссе. Меня кинул однажды над ЦПКиО, в Нескучный сад. Кстати, это было в мой день рождения, 6 июня, — я в один день с Пушкиным родилась. И, наверно, в рубашке: повисла на дереве и даже не поцарапалась. Дерево гигантское, в три обхвата, не помню уж, какой породы, я в них не шибко разбираюсь, оно и ныне торчит в парке посреди пруда, высотой с трехэтажный дом, было бы еще выше, если б росло напрямую, а не под наклоном к воде. Повисла я так, что ни спрыгнуть, — прыгая, упадешь на сплошные коряги в пруду, раскровенишься, — ни слезть по стволу, поскольку до него не дотянуться, вишу, болтаюсь меж ветвей под углом к дереву градусов в шестьдесят. Только пожарным с выдвижными лестницами, с баграми и достать меня. Вызвали их, едут. А пока прикатил Мошковский с аэродрома, кричит с берега: «Лёлечка, не скучай, милая, я тебе за героизм весь парашют дарю на платье ко дню рождения!» А купол действительно необыкновенно красивой расцветки — на

оранжевом фоне, мировое шелковое платье можно скроить, и не одно… Вишу, значит, и «выкраиваю» мысленно будущие свои наряды. А вокруг, на берегу пруда, толпища, гуляющие собрались поглазеть на удивительное зрелище: тогда парашюты были еще в диво. Но вот прибыли пожарные, быстро, ловко сняли меня с дерева вместе с парашютом, подхватив его на багры. И тут случилось непредвиденное. Толпа ринулась к многоцветному шелковому полотнищу, обещанному мне Мошковским в подарок, и в мгновение ока разодрала его, нет, не Мошковского, а парашют, на мелкие-мелкие кусочки, унося их домой в качестве сувениров и оставив мне на память об этом парашюте лишь парашютное кольцо, которое я успела спрятать в карман комбинезона. Так что я осталась при прежних нарядах.

Мошковский вторым пилотом в экипаже Алексеева участвовал в воздушной экспедиции на Северный полюс и высадке папанинцев на дрейфующую льдину. Был награжден орденом Ленина. Затем уже в качестве первого пилота летал на розыск пропавшего самолета Леваневского. При возвращении после тщетных поисков машина Мошковского потерпела аварию. Взлетая с аэродрома на острове Ягодник под Архангельском, упала вдруг в Двину и затонула. Большинство находившихся на борту удалось спасти. Но четверо ушли на дно, и в их числе больной Бабушкин, известный летчик, Герой Советского Союза, имя которого носит сейчас один из районов Москвы. Мошковский после аварии какое-то время не летал, продолжая заниматься парашютизмом, и даже активнее прежнего. Обучал молодежь и сам прыгал, прыгал, прыгал чуть не каждый день, да и по нескольку раз в день. Через год примерно после аварии он во время воздушного парада в Тушине, приземляясь, ударился виском о борт одного из грузовиков-автолавок, скопившихся на узкой площади. Подбежали друзья — мертв. Уложили на носилки, унесли. Отец мне написал тогда (я уже служил на Севере), что в тот вечер к нам в квартиру кто-то позвонил, открыли дверь, на пороге дядя Миша, Михаил Семеныч. Стоит и тихо плачет, не в силах слово выговорить. Потом прошептал сквозь рыдания: «Яша… Яша…» А что́ с Яшей, так и не смог произнести…

Взор Ольги Николаевны снова обращен на фотокопию старого газетного листа. Я слежу с трепетом. Но опять обошлось.

— Муреев! Анатолий Матвеевич… Первый мой инструктор!

— Жив?

— Жив, знаете, жив! Да он и не так уж старше меня, как мне

тогда казалось. Что́ в нашем возрасте разница в три-четыре года. Ровесники, можно считать. Живет в Питере, скучает по авиации, само собой. Пишет мне, а я, безобразница, ленива на письма. Вот последняя его, вчерашняя открыточка — к Восьмому марта. Милое, нежное письмецо. Будете в Ленинграде, загляните к Матвеичу, на Невском живет, передайте привет. Самой-то мне вряд ли уже выбраться в столь далекий вояж. И в Москву-то трудновато. Ноги донимают, совсем плохо с суставами… А вот тут вы «обратно» наврали!

Я вздрогнул.

— Ну что вы пишете, что пишете, креста на вас нет! За восемь-де часов налетала полторы тысячи километров. Да это же тихоходная была машина, от силы сотнягу делала в час… Нет, поторопилась я тогда с вылетом, поторопилась…

Меня спасает телефонный звонок.

— Здравствуй, Мариночка! Непременно, Мариночка! Уже собираюсь. Что ты, что ты, никакой машины присылать не надо. Я вполне на ходу. Была уже сегодня на утреннике, перед малышами выступала… Собираюсь, собираюсь, вот только гостя провожу.

И мне, повесив трубку:

— Марина Попович звонила из Звездного. Мы с ней долго вместе работали. Созывает к себе, по случаю праздника, подруг. Будут жены космонавтов, я со многими из них дружна. Вы уж меня простите, спешу на девичник…

3

Быстро листаю комплект «Искорок» за 1935 год в поисках еще одного моего авиационного сочинения, репортажей об агитполете санитарной авиации по Ленинградской области. С первого захода не нахожу. И со второго, медленного, не обнаруживаю. Комплект полный, все номера, без изъятий. Нет репортажей. А полет был, и я в нем участвовал в качестве «больного».

В ту пору журналистскую братию охватило поветрие, начало которому положил Михаил Кольцов своими «Семью днями в классе», «Тремя днями в такси», «В ЗАГСе», когда он, становясь соответственно школьным воспитателем, шофером, регистратором браков и разводов, вникал в проблему изнутри, в шкуре своих героев, если так можно выразиться. Мы обезьянничали, подражали метру. Я отправился осветителем на съемки фильма «Федька» про гражданскую войну, которому предсказывали судьбу будущего детского «Чапаева» (картина получилась плохая). Сжег какую-то редкую, дорогую лампу, был

разжалован в подносчики реквизита, но тем не менее соорудил для газеты пять «подвалов» об этой киноэкспедиции на Волгу, в те же места, где снимался и «Чапаев». Естественно, когда редакции предложили послать корреспондента в агитполет, выбор пал на меня, как уже имевшего опыт в мистификации. На сей раз я должен был изображать «больного» для наглядного показа населению всех возможностей санитарной авиации. Но репортажи, как выясняется, не состоялись — нет их на газетных полосах. Полагаю, что причиной тому происшествие, приключившееся со мной в воздухе и, видимо, выбившее у меня перо из рук.

Я был уложен плашмя в узкую полуоткрытую кабину «Ш-2» — «шаврушки», превращенную как бы в воздушные носилки, туго принайтовлен, то есть прихвачен ремнями так, что не мог даже повернуться с боку на бок, свободными оставались лишь движения головы, и я использовал это сначала для наблюдения за проплывавшей внизу землей, за спиной летчика, который изредка тоже оборачивался ко мне, за мерно покачивающимися крыльями, а затем… Затем голова моя клонилась то к левому, то к правому борту уже в других, более утилитарных намерениях, свешивалась, и плитки шоколада, съеденной перед вылетом, хватило, чтобы перекрасить оба борта из зеленого в коричневый цвет. В Лодейном Поле, первой остановке в пути, меня, вмертвую укачавшегося, вынесли из кабины на глазах у собравшейся на аэродроме любопытствующей публики — естественность, наглядность агитпоказа была полной! — и отправили в подъехавшей карете «Скорой помощи» в местный лазарет уже как больного без кавычек, на чем мое участие в демонстрации достижений санитарной авиации и завершилось. В больницу меня сопровождал в машине пилот. Это было совсем не обязательно, но он настоял на своем присутствии возле пострадавшего на все время транспортировки и покинул приемный покой лишь после того, как меня облачили в больничный халат. Возможно, хотел убедиться, что наверняка избавился от незадачливого «демонстратора». А возможно, преследовал и более гуманную цель. Скорее всего, именно так, ибо через несколько дней редакционная секретарша Лидочка сообщила мне, благополучно возвратившемуся в репортерский строй, что звонил летчик Страубе и интересовался состоянием моего здоровья.

Фамилия летчика, произнесенная Лидочкой с особой модуляцией в голосе, была в то время известна в стране примерно так же, как нынче имена космонавтов. Страубе входил вторым пилотом в экипаж Чухновского, разыскавший часть экспедиции Нобиле, которая затерялась во льдах Арктики после

аварии дирижабля «Италия». До появления «Красной палатки» оставалось чуть не полвека, и поход «Красина», полеты чухновцев были у нас еще на живой, так сказать, памяти во всех деталях. Правда, челюскинская эпопея несколько затмила по своим масштабам спасение итальянцев, но славы Чухновского и его товарищей — Страубе, Алексеева, Шелагина — не смогла все же погасить. И поэтому, когда в штабе санавиации меня знакомили с пилотом, с которым мне предстояло отправиться в агитполет, и он, протянув руку, назвался: «Страубе», я, не видя скрытые под его кожаной тужуркой ордена Красного Знамени и Красной Звезды на кителе, решил, что это родственник знаменитости. Так и спросил:

— Вы брат?

— Нет, — сказал он, — всего лишь праправнук!

Так я впервые попал на язычок ироничного Георгия Александровича, и это его качество, неоднократно проявлявшееся при дальнейшем нашем общении, наверно, и удержало меня от описания в газете агитационно-показательного полета, в котором я так опозорился.

Вспомнил я Страубе, воздушное с ним путешествие, и захотелось побольше узнать об этом человеке, о его судьбе, как хочется мне это сделать в отношении всех, кто оставил след в моей памяти. Начал с розыска в собственном доме, в книгах об Арктике, коих у меня предостаточно, собираю их с давней поры, со времен, когда сам плавал в тех краях. Есть и впрямую относящиеся к интересующей меня сейчас теме. Например, «Красин» во льдах» Эм. Миндлина, журналиста, участвовавшего в походе ледокола. Книга многократно переиздавалась с дополнениями и уточнениями. Отсылаю к ней читателей, желающих проследить весь ход событий, разыгравшихся летом 1928 года в районе архипелага Шпицберген. Я с ними знаком и перелистаю еще раз лишь те страницы, на которых упоминается мой герой — Георгий Страубе. Кстати, автор называет его почему-то Джонни.

«…Джонни Страубе, молодой помощник Чухновского, второй летчик на самолете. В присутствии Джонни Страубе становилось удивительно весело… Страубе — самый молодой из счастливой семьи чухновцев… Он — весь в шутке, в юношеском задоре. Но весельчак Страубе умел быть не по-юношески серьезным, хотя даже в наиболее серьезные минуты жизни не переставал улыбаться. Тридцатилетний Чухновский не мог не чувствовать в двадцатичетырехлетнем Джонни ученика, на которого может положиться учитель…»

…Льды приостановили продвижение «Красина», и в воздух на поиск поднялся с наскоро оборудованной ледовой площадки трехмоторный «ЮГ-1», имея запас горючего на шесть часов.

Через шесть часов радиограмма Чухновского на ледокол: «Группа Мальмгрена обнаружена на широте 80°42′, долгота 25°45′ на небольшом остроконечном торосе… Двое стояли с флагами, третий лежал навзничь… Группа Вильери не найдена…» Обрыв связи, и затем едва расслышанная радистом ледокола морзянка: «Не смогли подойти к «Красину» из-за тумана. Выбора посадки не было. Сели на торосистое поле в миле от Кап-Вреде. В конце пробега снесло шасси. Сломано два винта. Все здоровы. Считаю необходимым «Красину» прежде всего идти спасать Мальмгрена…» Последняя фраза облетела с газетных полос весь мир, оценивший благородство Чухновского и его экипажа.

Маленькая подробность посадки самолета.

Первым вылез из кабины Страубе. Огляделся вокруг, увидел покрытый ледниками берег. Потом сунул руку в карман, вытащил пачку денег и, протянув их в сторону пустынного мыса, воскликнул:

— Товарищи! Двести рублей наличными! Мы обеспечены… Теперь не пропадем!

Между спасательной экспедицией в арктических широтах и агитполетом по Ленинградской области — семь лет. Что делал, где летал эти годы Страубе? Ведь снова отличился: я помню, что к моменту нашего знакомства у него было два ордена: первый — «за Нобиле», а второй за что? И почему из гремевшей тогда, осененной подвигами полярной авиации Георгий Александрович перешел в скромную санитарную? Кажется, к началу войны он уже не был жив. Да, в книге Миндлина, в заключительной ее главе, нахожу лаконичную печальную справку: «Еще до войны разбился никогда не унывавший Джонни».

— А я думаю, что это ошибка. Даты гибели точно не помню. Но, во всяком случае, уже в войну. Нет, он не летал. Тут, знаешь, сложная, трагическая ситуация. Я могу что-то напутать. Жаль, нет в живых ни Бориса Григорьевича, ни Анатолия Дмитриевича. У них бы ты получил исчерпывающую информацию. Ты же знал обоих.

Знал. И Чухновского и Алексеева. А познакомил меня с ними тот, чьи слова я привел сейчас, Савва Тимофеевич Морозов, внук Саввы Тимофеевича Морозова. С ним, не со знаменитым дедом, естественно, а с внуком, с Саввушкой, мы, в свою очередь, знакомы с военных времен, с 1942 года, с Полярного, куда нас занесла флотская служба с пером в руке. Морозова — фронтовым

корреспондентом ТАСС, меня — редактором «Боевого курса», газеты североморских подводников. А затем после войны наша дружба закрепилась, подогретая «Огоньком», где мы работали разъездными спецкорами. Савва разъезжал главным образом по северным краям. У него с Арктикой любовная крутежь давняя — с начала тридцатых годов, с первых ленских экспедиций — и взаимная. На ледоколах, на полярных станциях — наземных и дрейфующих, — а особенно среди летчиков полярной авиации фамилия Морозова популярна и уважаема, поскольку подтверждена его жизненной позицией. Всю свою корреспондентскую жизнь он пишет не с чьих-то слов, а лишь наглотавшись собственными легкими морозного арктического ветра.

Так вот, однажды к нам за столик в ресторане Дома журналиста Савва пригласил только что вошедших в зал двух пожилых мужчин, которых я не раз уже видел здесь среди обедающих, но не знал, кто это. Они всегда приходили вдвоем — маленький, сухонький, стеснительный в движениях, словно старающийся показаться еще меньше, занять место понезаметней, и высокий, громоздкий, с лицом будто с мороза, хотя на дворе стояло мягкое московское лето.

— Знакомьтесь, — сказал Савва, когда они подошли.

Я встал, протянул руку.

— Чухновский, — произнес чуть слышно маленький, деликатно пожимая мне ладонь.

— Алексеев, — пробасил второй, и после его рукопожатия меня следовало отправить в реанимацию.

Живут через дорогу, на Суворовском, в доме, построенном перед войной для семей полярников. Чухновский холостяк и обычно «столуется у прессы», как выразился Алексеев, а он, Алексеев, человек семейный, сопровождает приятеля из чувства солидарности… Бориса Григорьевича и Анатолия Дмитриевича я встречал потом не только за обедом, они приходили на вечера, устраиваемые секцией очеркистов, Алексеев даже выступил у нас на вечере, посвященном Арктике, полярной авиации, а Чухновского уговорить не удалось, он ответил с тихой улыбкой: «Как-нибудь в другой раз… Толя все гораздо лучше меня расскажет. Я не говорун с трибуны…» — «Не скромничай, — говорил Алексеев, — когда путешествовал с Самойловичем по Европам, очень даже был разговорчив». — «То в молодости, в далекой молодости». И не пошел с Алексеевым в президиум, устроившись в дальнем уголке зала, у стеночки.

Эту повесть я еще тогда не задумывал, а просто так, ради праздного любопытства, при встречах расспрашивать Чухновского

и Алексеева о делах минувших не решался. И зря. Наверняка разговор зашел бы и о Страубе, о его судьбе. А теперь вот спохватился, да поздно.

— Не огорчайся, — сказал мне Савва. — В Ленинграде живет вдова Георгия Александровича с дочерью и внуком. Знаю об этом от Чухновского. Он в последние годы жизни часто навещал их. У меня хранится часть архива Бориса Григорьевича. Я поищу в его записных книжках нужный тебе адресок. Непременно должен быть.

И вскоре позвонил:

— В блокнотах ничего не обнаружил. Я не сообразил, что Борису Григорьевичу незачем было записывать то, что он издавна держал в голове… Не падай духом. И оцени мою обязательность. Я провел дополнительную разведку. Раздобыл тебе адрес у Матрены Григорьевны Штепенко… Правильно, вдова Героя Советского Союза, прославленного штурмана полярной авиации. Штепенки жили в одной квартире с Чухновский… Ну, это ты, батенька, в Моссовете узнай, почему столь заслуженные люди в коммуналке пребывали. Ни Чухновский, ни Штепенко не принадлежали к пробивным натурам, когда касалось личного… Но ты меня увел от дела. Записывай: Ленинград, проспект Стачек… Индекс? Есть и индекс. Матрена Григорьевна в переписке с Марией Ильиничной… И вот еще что. Тебя интересует, что делал Страубе после красинской эпопеи? Имеется книжка, выходившая, по-моему, году в тридцать четвертом — «На самолете в Восточной Арктике». Автор Обручев. Нет, не академик, не Владимир Афанасьевич, а его сын Сергей, тоже геолог и географ. Летал на почти не исследованной тогда Чукотке. Пилотом у него был Страубе. У меня этой книги нет, библиографическая редкость, не переиздавалась. Не поленись, залезай в Ленинку.

> «Арктика утеряла уже таинственный ореол романтизма. Идем в Арктику не для того, чтобы рассказать потом о героических неудачах, но чтобы сделать серьезное дело. Лишь при помощи аэроплана или дирижабля можно с достаточной полнотой в короткий срок изучить географию приполярных областей Союза, в частности Чукотку…»
>
> «Предстояло идти не только вдоль морских берегов, но и пересекать значительные участки суши — до 500 километров — с небольшими реками и озерами, пригодность которых для посадки гидроплана была

неизвестна… И все-таки нужна морская машина, способная садиться везде на побережье и вместе с тем преодолевать горные хребты высотой до 2000 метров без водоемов… Остановились на самолете фирмы Дорнье типа «Валь» (кит), который обслуживал карские экспедиции и енисейскую линию. Он находится в Красноярске на ремонте, и ему нужно перелететь отсюда через Иркутск и Читу на Амур, а затем вдоль Охотского и Берингова морей до Анадыря.

Первым пилотом назначен Страубе, участник спасения Нобиле и многих полетов на Севере…»

«Я с любопытством осматриваю биплан, которому в течение 4 месяцев предстоит быть нашему экипажу домом, а при печальном исходе и гробом…

«Дорнье-Валь» действительно напоминает кита: это лодка с тупым носом и длинным хвостом. Про себя мы назвали ее «Дашей»… Самолет стоит в затоне на берегу между кучами бревен, старыми опрокинутыми будками, среди зарослей лебеды и полыни. Под ним меланхолически бродит выводок свиней…»

«Первый пробный полет… Снизу у «Даши» тяжелое прямоугольное очертание, жабры и туловище окрашены в черный цвет, и она носится в воздухе, как некое мрачное чудовище, оживший бред больного воображения…»

«Страубе любит крутые виражи и доставляет себе удовольствие: с высоты 1500 метров стремительно снижается по спирали, затейливо кружит над заливом…»

«12 июля 1932 года, вылетели из Красноярска…

…В полете с людьми Страубе изящно — другого слова подыскать не могу — управляет машиной.

Моторы рассчитаны на 100 часов полета.

Мы верим картам и пилоту, который летал много раз зимой и летом на линии Хабаровск — Сахалин…

Мыс Наклонный выскакивает из тумана метрах в 200 впереди призрачной серой стеной. При нашей скорости это только 6 секунд до смерти, но Страубе успевает отвернуть влево, крыло к воде — и гряда зубчатых серых скал проносится безмолвно мимо и исчезает в тумане…»

«Анадырь — начальный пункт рабочих полетов.

Маршрут — по материку, к заливу Креста, заснять величайшую вершину северо-востока Азии гору Матачингай, 2799 м, и далее пересечь Чукотский полуостров к Берингову проливу.

Чукотка с высоты — беспорядочные скопища закругленных гор, то черных, то красных, то серых, с громадными между ними долинами, идущими совсем не так, как показано на картах. И горы — не так. Надо заново все рисовать…»

Пять дней сидят в Уэлене, пережидая погоду. Но ждать больше нельзя. Возникла необходимость полета на остров Врангеля. Там, по сообщению начальника станции Минеева, создалась тяжелейшая обстановка. Три года нет смены зимовщикам, кончаются продукты, горючее, патроны для охоты. Нужно вывезти больных, женщину с только что родившимся ребенком и, самое главное, сошедшего с ума повара: он сжег всю свою одежду и теперь лежит связанный — в смирительной рубашке… Пароход «Совет», посланный к острову, не смог пробиться сквозь льды, его сносит, и грозит опасность быть раздавленным в торосах, как уже случилось с направленной ранее шхуной «Чукотка». Единственно оставшаяся возможность — самолет, да и она вот-вот иссякнет. День-другой, и сохранившиеся возле острова лагуны замерзнут, садиться будет некуда. Лететь. Хотя, по погоде, лететь нельзя — лететь!

«Чуть просвет — и взлетаем…

Впереди только белесая масса облаков, колеблющаяся и неровная… Изредка проступает поверхность моря — все те же тяжелые, сплошные льды, перед которыми остановился «Совет». Но вот промелькивают узкие трещины между ними, едва заметные, затягиваемые свежим льдом. Пароходу и здесь не пройти… За ледовым кольцом открывается вдруг уединенная лагуна, то, что мы ищем. Перед нами темный и отчетливый силуэт гребня, это центральная часть острова с пиком Бера…»

Легкий, увертливый бот снует между берегом и самолетом. С самолета — запасы зимовщикам, с берега — восемь человек (повар, по-прежнему связанный, на носилках), пушнина. Горючего у «Даши» на три часа. Надо спешить к «Совету», вышедшему на более или менее чистую воду, высадить людей, передать груз…

«Садимся возле парохода в полынье. Пришвартовались к льдине, она тянет нас или мы ее — словом, дрейфуем. Мелкие льдины распихиваем багром и просто ногами. Бот с парохода взял нас на буксир, и мы тащимся вслед за «Советом», который ищет

спокойное место для выгрузки…»

После аварийной работы есть возможность пообедать в кают-компании, но в самый разгар трапезы вбегает Страубе, не покидавший самолета, и «с обычной своей экспансивностью требует немедленного взлета»: льды придавливают машину, и уже поврежден руль высоты…

> «Улетаем… Смотрю в боковое стекло на угрюмые скалы Врангеля, на теснящиеся к нему торосы и думаю — неужели мы там были? Нет горючего, чтобы облететь весь остров, но все же набрасываю сверху уточняющую карту…
>
> Раз-другой «Дашу» изрядно встряхивает: Страубе успевает увильнуть от легкомысленной чайки, которая устремляется под винт, а при ее жестком телосложении это может печально окончиться и для птицы и для нас… Удивительная реакция у нашего пилота!»

Снова вынужденная отсидка из-за непогоды, на этот раз в Анадыре.

> «Перед глазами торчит черно-белая цепь — хребет Рыркаина.
>
> — Старик Рыркаин опять смеется над нами, — говорит Страубе утром. Я отворачиваюсь от окна, чтобы не видеть издевательски-насмешливую «улыбку» хребта.
>
> У Страубе на голове — ледяная каска. Она образовалась из смерзшихся волос. Выбегая из дому, он забыл в спешке надеть шлем — спасали «Дашу», которую штормовой волной сорвало с якоря и выбросило на берег».

Полеты…

> «Пересекаем залив в направлении полуострова Гавен. Через 15 минут встречаем снежную тучу. Она все заволокла. Летим на предельно бреющем. Снег залепил козырьки, Страубе должен высовывать голову, чтобы нащупывать дорогу в почти беспросветной пелене… Вынуждены все же возвращаться в лагуну из-за снежной атаки… Крутой вираж над самой водой — и после поворота резкий удар, я цепляюсь руками за перекладину, у Салищева разбиты очки. Мгновение спустя самолет отскакивает от воды (это называется

«барснуть» — прыжок барса) и с ревом начинает набирать высоту, преодолевая снеговой пресс. Но я уже не вижу этого — в момент удара я повернул голову назад и увидел сквозь открывшуюся от сотрясения горловину хвостового отсека, что дно машины пробито, хлещет вода. Дыра в четверть метра, все дно покороблено. Мчусь в нос, сообщить о пробоине. Непостижимо быстро проскакиваю через горловину, в которую обычно едва протискиваюсь, весь сжимаясь. Передаю записку Страубе: «Пробито дно перед рулем. Беда…» Решаем повернуть снова вперед и дотягивать до бухты Корфа: с такими повреждениями, как у нас, посадка в безлюдной лагуне, с которой мы взлетели, чревата гибелью самолета.

Но что же произошло? Говоря техническим языком, самолет при вынужденном вираже потерял скорость со 150 километров до 90, а она недостаточна для удержания машины в воздухе, она ударилась о воду, имея еще и вынос направо. В момент удара, в какую-то долю секунды, Страубе успел дать полный газ моторам, они послушались, забрали, и «Даша», на наше счастье, ограничилась первым «барсом» — на втором хвост был бы залит и волна потащила бы самолет к берегу, в полосу прибоя, дополнительно его поуродовав, а при ударе посильнее и вообще изничтожив в куски. Благодарение богу и рукам Страубе!..»

Читаю книгу Сергея Обручева, ворча в адрес наших издательств, предавших ее почти полувековому непонятному забвению (думаю, что и из коротеньких цитат видно, как хорошо она написана), делаю выписки (первая с титульного листа: «Дорогому Георгию Александровичу Страубе от автора на память о совместной работе на Чукотке в 1932—33 годах»), конспектирую, и занимаюсь этим не в Москве, не в библиотеке, а на ленинградской квартире у семьи Страубе. Я списался с ними и с их разрешения приехал «пытать».

Признаться, и для меня такие вот встречи оборачиваются пыткой, я и кавычек не ставлю. Ну, если не пыткой, то, применю распространенное ныне выражение, внутренним дискомфортом. Я испытываю его все чаще, хотя за пятьдесят лет профессионального журнализма пора бы привыкнуть к той тягостной работе, которая выпадает на долю документалиста. Наоборот, мне с каждым разом все труднее вторгаться в чужую

жизнь, и я завидую беллетристу, который может ее придумать, сочинить безо всяких для себя неприятных последствий. Но «крест» документальности я когда-то принял и несу добровольно, и уже поздновато от него отказываться…

Страубе живут за Нарвской заставой. Когда-то я часто бывал здесь, уж раз в неделю обязательно. Среди школ, которые я «курировал» как сотрудник пионерской газеты, собирая в них информацию, была и та, что возле Нарвских ворот, первая в стране школа, построенная после революции. Этим славилась, сюда везли экскурсии, иностранные делегации. Приезжали Горький, Луначарский (он, кажется, и открывал ее торжественно как нарком просвещения), Барбюс, Клара Цеткин. Здание преоригинальнейшее: архитекторы изобразили серп и молот. С земли очертания неясные, странные, а с воздуха точно: серп и молот. В войну этот контур оказался приметным ориентиром для немецких летчиков, бомбивших район Кировского завода; школу пришлось замаскировать… Необычная конфигурация здания вызывает некоторые неудобства для учителей, дежурящих во время переменок в коридорах. Если в тех, что образуют «рукоять молота», всё просматривается напрямую из конца в конец, то дежурным по «серпу» концы не видны и приходится сновать челночно туда-сюда, чтобы следить за шумной ребятней, которая как раз и скапливается в закруглениях «серпа», скрываясь от учительского глаза… Из окон квартиры Страубе видна еще одна местная примечательность: высокая, причудливо изогнутая чугунная решетка детского парка, служившая до революции оградой Зимнего дворца. Я читал у кого-то, что перенос за Нарвскую заставу царской ограды, перед которой в девятьсот пятом были расстреляны путиловские рабочие, акт символический: теперь она оберегает их внуков. Символикой была проникнута и мысль выложить красной брусчаткой мостовую возле Нарвских ворот: первые залпы раздались здесь, первая кровь — тут…

За столом нас пятеро, впрочем, пятый, уточняю, под столом. Пятилетний Сашка время от времени, высовываясь снизу возле коленей бабушки (около маминых это делать опасно: тут же вытянет за шиворот), подает реплики, поскольку кое-какие сведения о деде у него тоже имеются.

Моя задача немного упростилась: я задаю вопросы не в одиночестве. Марина Георгиевна, в облегчение матери, перенесшей недавно инфаркт, организовала все таким образом, чтобы за один вечер разделаться с двумя зайцами. Первый «заяц» — литератор из Москвы. Второй — «зайчиха», Галина Андреевна Решетникова, старинная знакомая семьи, служившая у

Георгия Александровича в авиаотряде радисткой, а ныне собирательница экспонатов для открывающегося в Архангельске музея полярной авиации; там будет стенд, посвященный Страубе. Решетникова давно просит своих приятельниц допустить ее к домашнему архиву, вот и приглашена вместе со мной.

— Галина Андреевна, должна вас огорчить, у нас мало что сохранилось. Часть я уже отдала в Музей Арктики, в Музей Революции. Ордена…

— Дедушкин шлем, — печальный голос из-под стола. — Я говорил, не отдавай. А чухновскую ложку я спрятал, не найдете…

— Что за ложка, Сашок? — заинтересовалась Решетникова.

— Борис Григорьевич, вы знаете, навещал нас, — говорит Марина Георгиевна. — И я бывала у него в Москве. В последнюю встречу перед смертью передал нам две самодельные ложки, которые были у них на льдине. Вырезаны из дюралюминия и на каждой инициалы по принадлежности. На папиной — «Г. С», на другой — «А. Ш.» Я отвезла ее Андрею Степановичу Шелагину…

— Моторист Шелагин жив? В Ленинграде? — спрашиваю, удивленный.

— В Ленинграде. Но очень плох, полная потеря памяти после инсульта.

— …Мало что у нас осталось, — повторяет Мария Ильинична. — И не потому только, что я отдала в музеи. Георгий не любил накопления «утильсырья», как он называл письма, пригласительные билеты, газетные вырезки и прочее. Он посмеивался над отцом, который до самой смерти в тридцать шестом собирал и расклеивал в альбомы вырезанные из газет и журналов статьи, корреспонденции, заметки о сыне, о его полетах, снимки. Они, эти альбомы, как и многое другое, пропали в блокаду, в эвакуацию… Что-то иногда находится вдруг. Как вот эта книжка Обручева, чуть не единственно уцелевшая из сожженной библиотеки. Или этот красивый, в золоте отпечатанный пригласительный билет, лежавший у старика с двадцать четвертого года: «Товарищу Страубе Александру Эдуардовичу. Высшая военная школа летчиков-наблюдателей Красного воздушного флота республики просит Вас пожаловать на праздник по случаю первого выпуска…» А вот и фотография того выпуска. Георгий второй справа от Фрунзе. Наркомвоенмор прибыл на торжество..

— А я еще подумала: кто это такой знакомый с усиками? Фрунзе! Забираю и билет и фотографию.

— Голубушка Галина Андреевна, не так прытко. Эдак у нас вовсе ничего не останется.

— С возвратом, Марь Ильинишна, непременно с возвратом. Я

сделаю репродукции.

— Ну хорошо, зная вашу обязательность…

И ко мне:

— Вообще-то Александр Эдуардович поначалу не был в восторге от избранного младшим сыном пути: Еще не утихла боль от потери старшего. Борис ушел на гражданскую войну и комиссаром полка погиб на Южном фронте… Александр Эдуардович был человек сугубо штатский…

— Вон он, мой старший дедушка! — высунулся палец из-под стола.

Я уже обратил внимание на большой живописный портрет на стене.

— Изображен Михаилом Ивановичем Авиловым, академиком живописи, известным баталистом. Полководцев рисовал. А у Александра Эдуардовича была очень мирная профессия — хотя и причинявшая людям боль, но в избавление от страданий. Стоматолог. Авилов лечился у него, как лечились многие жители Петербурга, Петрограда, да и из других городов приезжали к нему на Васильевский остров. Зубной врач был первой руки. Хотел и сыновей приохотить к тому же. Но — один сражен в бою, другой устремился в небо. Отец сперва сетовал, затем гордился славой сына, а до его трудных дней не дожил…

Задаю вопрос, который вертится у меня на языке, но я дожидался для него повода и, не дождавшись, задаю без такового:

— Почему в воспоминаниях, в книгах о красинской экспедиции Георгия Александровича называют иногда Джонни? А у Миндлина и совсем не упоминается его настоящее имя. Джонни и Джонни…

— О, тут забавная историйка, — кажется, впервые за вечер Мария Ильинична улыбнулась. — Когда «Красин», возвращаясь после спасения итальянцев, зашел на стоянку в одну из южных бухт Шпицбергена, туда устремились суда с туристами, падкими на сенсации. Появилась и шхуна американской миллионерши, совершавшей от скуки вояж в приполярных водах. Экзальтированной дамочке в возрасте приглянулся юный голубоглазый второй пилот из экипажа Чухновского. Она узнала, что его зовут Георгий, Жорж, переделала почему-то в Джонни и принялась преследовать, убежденная, что миллионы обеспечат ей успех охоты за жертвой. Бедняга «Джонни» скрывался от этой неожиданной напасти, как мог, на берегу и на ледоколе. Друзья шутили: «Такой шанс разбогатеть теряешь!» Чухновский, свободно владевший французским, английским, со свойственной ему деликатностью вел переговоры с ошалелой миллионершей, всячески убеждая оставить в покое женатого человека, — а он еще

не был женат, мы встретились через два года в Севастополе, — но она лишь восклицала: «О, Джонни! О, Джонни!..» Так и приклеилось к нему это имечко…

— Вы как-то говорили, Марь Ильинишна, о письме академика Павлова. Нашлось? — поворачивает Решетникова разговор к своему интересу.

— Так и не разыскали покуда, всё перерыли с Мариной, не нашли… Георгий вывозил откуда-то из дальней лесной глубины тяжко заболевшего на охоте сына Павлова… — Это мне в объяснение. — Иван Петрович встречал самолет на аэродроме, благодарил, а позже прислал и письмо: сын был спасен. Хорошо помню, что было послание, уже после войны держала его в руках, и вот запропастилось, обидно. Пока искали павловское, обнаружилось письмо профессора Тушинского, о котором и не знала. Очень, мне кажется, трогательное, взгляните.

Протянула Решетниковой не тронутые временем, листки, и я, понятное дело, полюбопытствовал, скосил глаза. Галина Андреевна метнула в ответ ревнивый взгляд собирательницы, но все же дала и прочесть и переписать.

«Глубокоуважаемый товарищ Страубе!

На днях (30.VIII) исполнится год, как Вы перевезли мою больную мать из Лужского района (деревня Мерёво на Мерёвском озере) в Ленинград.

Мне так хочется снова Вас поблагодарить за Ваш прилет, за перевоз на аэроплане моей матери.

Моя мать была врачом. Она 44 года работала «думским врачом для бедных» в таком бедном, захудалом районе, как Лиговка (бывшая Александро-Невская часть). Она любила свою работу, свою специальность и пользовалась большим и заслуженным довернем среди лиговско-чубаровского населения.

В деревне, летом прошлого 1934 года, у нее проявился рак желудка и печени. Болезнь сопровождалась сильнейшими болями в животе. Нужно было перевозить в Ленинград. Пятнадцать верст на лошади проселочной «российской» дорогой, г. Луга, железная дорога. Это были бы невыносимые муки. На машине — автомобиль — еще хуже.

Моя старуха-мать сама решила, что переехать возможно только на аэроплане. Я не верил в такую возможность. Что ответить матери? И вдруг в облздраве узнаю полуслучайно о реальности воздушного перевоза.

Мать не без основания считала, что за свою 44-

летнюю работу врача «для бедных» она заслужила право на такой переезд в ее положении.

С каким волнением ждали мы Вашего прилета. Около 12 часов дня я не выдержал и побежал к озеру. Вдруг мы услышали шум аэроплана. Поразительное впечатление!

Я помню газетный рассказ о том, как Ляпидевский первым прилетел к челюскинцам на льдину. Старый молчаливый морской волк Воронин, которого ничем не удивишь, бросился со слезами обнимать летчика и всех стоявших вокруг. Нечто подобное пережили и мы с Вашим прилетом.

Я представился Вам. Вы назвали свою фамилию. Как много она мне сказала! Ведь весь мир следил за спасением экспедиции Нобиле… Я спокойно передал Вам самого близкого мне человека, с которым неразлучно прожил 52 года…

Я сказал матери: «Тебя перевозит Страубе!» И получил неожиданный ответ: «А зачем они с Чухновским спасали Мариано?» Она, как и все мы, не могла простить итальянцам гибели прекрасного норвежца Мальмгрена, брошенного ими умирать во льдах…

Сигнализировал Вам костром при посадке юноша-студент, будущий геолог-разведчик Александр Ивашенцев (сын профессора Ивашенцева, погибшего полтора года назад под автомашиной). Восемь лет назад Саше в этой же деревне разъярившийся конь расшиб голову, раздробил череп в области лобного бугра. Мы вызывали из Ленинграда профессора Гессе и на лошади везли потом мальчика проклятые пятнадцать верст. Все счастливо сложилось, операция прошла хорошо. Юноша полностью здоров. И сейчас он говорит: «Случись это со мной теперь, меня бы перевезли на аэроплане — быстрее, спокойнее, безопаснее». Конечно!

Какое огромное дело Вы исполняете! Вместе с Вами, с Вашим самолетом на Мерёвское озеро опустилась современная культура, современная техника. Характерна реакция местных крестьян. Сперва они отнеслись к перевозке Александры Михайловны на аэроплане, как к сказке, потом как к блажи. Благодаря Вам они поняли всю реальность и необходимость аэросантранспорта.

Еще раз хочется пожать Вам руку и сказать спасибо от всей нашей семьи, понимающей, какой благородный труд вершится Вами и Вашими товарищами.

Профессор 1-го Медицинского института

Мих. Тушинский

(Всегда к Вашим услугам. Тел. А-1-28-09.)

Лнгр.
пр. Добролюбова, 13, кв. 5.
Мих. Дм. Тушинский».

Я перечитал дома письмо Тушинского, и вдруг, неведомо почему, у меня возникло ощущение, что оно написано не сорок пять лет назад, а недавно. Пусть вся фактура относилась к давнишнему времени, но что-то, так и не пойму, что именно, как бы омолаживало это послание, приближало к моим сегодняшним восприятиям. И номер телефона, и обратный адрес словно приглашали: позвони! Напиши!.. Спохватился я, как неисправимый тугодум, уже в Москве. Там, в Питере, мог бы просто отправиться на Петроградскую сторону. Правда, вряд ли человека, которому в 1935 году было 52, застанешь в живых. А вдруг? Читатель ждет, что это «вдруг», раз я его уже интригующе загадал, свершится. Нет. Я опоздал. Но всего лишь на восемь лет… Запрошенная мною обязательная Решетникова сообщала:

> «По Вашей просьбе была в доме 13, кв. 5 по проспекту Добролюбова. Застала старушку, которая помнит Тушинского и его большую семью. Вот уже 10 лет, как они здесь не проживают, переехав из этой коммунальной квартиры в отдельную, кажется, в Автове. Сам Михаил Дмитриевич на 90-м году жизни, а также его супруга умерли 8 лет назад…»

— И все-таки почему Георгий Александрович сменил престижную в то время полярную авиацию, служба в которой принесла ему два ордена, на малопопулярную санитарную? — домогаюсь я и получаю на сие вполне заслуженно:

— Престиж и популярность не из лексикона моего покойного мужа… Были разногласия с руководством Севморпути, но ворошить их через столько лет не хочу. Георгий осудил бы меня за «сплетни». Да и не обида окончательно определила его решение. А новизна дела, к которой он всегда стремился и которая опять открывалась перед ним. «В арктическом небе, говорил, стало тесновато, а тут — раздолье, неизвестные

трассы…» Для меня добавлял: «Буду ближе к дому». И действительно, утром, днем — полеты, к вечеру — с семьей. Ему нравилось в «санитарах»… Вы когда летали с Георгием?

— Летал — сказано слишком категорически… — говорю я и рассказываю Марии Ильиничне, как все было. Смеется.

— Я не слыхала от Георгия об этом случае. Вообще-то он со мной всем делился, а тут умолчал. Видимо, предчувствовал, что вы сами придете через столько лет и расскажете. Это было в тридцать пятом?

— Летом.

— А осенью он участвовал в поисках немецкого воздушного шара… Георгию обычно сопутствовала удача в розысках пропавших. А ему это не раз приходилось делать. После спасения итальянцев — вывоз американского пилота Маттерна, совершившего вынужденную посадку на Чукотке. Потом поиск оленеводов, затерявшихся в тундре под Анадырем. И вот — немцы. Занесло их в Карелию и — как испарились. Искали долго и многие, нашел Георгий, летая на краснокрестовом «У-2» в отвратительную погоду, чуть не в нулевую видимость. Аэростат упал в лесу, деревья задержали, ослабили удар, немцы оказались живы-невредимы.

…Мы похоронили Георгия на Митрофаньевском. На кладбище уже рыли братские могилы. Женя, сын, выкопал под снегом рядом с братской отдельную для отца. Под двумя березками. И сделал зарубки на обеих… Мы уехали в эвакуацию, в Киргизию, в Таласский район. Вернувшись, мы могилы не нашли. Кладбище было под обстрелом, и наши березки, видно, снесло. Братская могила захватила и одиночные. Георгий лежит вместе со всеми.

В комнату вбежал Сашка с бутербродом в руке, что-то срочное нужно сообщить бабушке, кажется, пожаловаться на маму. Застывает около стола:

— Бабушка, ты почему плачешь?

4

К моим авиационным материалам тридцатых годов можно присоединить еще один, хотя речь шла в нем не о летчиках, а о стратонавтах. Но и у тех и у других единая дорога — в небо. Разница лишь в высотах.

Вот записанный мною рассказ командира первого советского стратостата «СССР-1» Георгия Алексеевича Прокофьева, приехавшего в Ленинград вскоре после полета.

— Мы готовились к полету восемь месяцев и девятнадцать дней, если считать со дня приказа Реввоенсовета. Полет продолжался восемь часов и девятнадцать минут.

Для чего мы «прыгали» в стратосферу?

Но сначала о том, что такое стратосфера.

Это часть околоземной атмосферы, начинающаяся примерно с десяти-одиннадцати километров высоты. То, что ниже, — топосфера.

Аэропланы летают в топосфере, а надо было им научиться летать над ней: чем выше, тем разреженней воздух, тем меньше помех и сопротивления, которые должен преодолевать самолет. Но у стратосферы свой характер, свои повадки, свои особенности, ну хотя бы тот же разреженный воздух — как дышать в нем? Человеку опасно внедряться в новые для него пространства, предварительно их не разведав. Исследования стратосферы ведутся давно с помощью шаров-пилотов, снабженных самопишущими приборами, с помощью радиозондов, которые подают соответствующие сигналы. Показаниям этих разведчиков мы верим, и все же они — механические информаторы, хорошо бы их проверить — для еще большего доверия к ним. А как это сделать, кто осуществит такой контроль? Только сам человек. Личным, так сказать, прикосновением к стратосфере. Значит, надо побывать в этих высотах. На чем? На стратостате.

Стратостат — это, в общем, такой же аэростат, воздушный шар, какие вы частенько видите в небе над городом, но способный забраться значительно выше. За счет увеличенной подъемной силы, которую придает ему газ, водород. Больше газа — выше «потолок» подъема. Вместимость оболочки нашего «СССР-1» — двадцать пять тысяч кубометров. Это равно кубатуре дома из ста трехкомнатных квартир. И прибавьте еще маленькую комнатушку — подвешенную к оболочке гондолу для экипажа; она диаметром в два с половиной метра. Площадь достаточная для временного пребывания на ней трех воздухоплавателей, хотя и в некоторой тесноте. Впрочем, во время подготовки к полету мы проводили в гондоле оперативные совещания, «летучки», по десять человек набивалось…

О чем мы говорили на оперативках, какие у нас были заботы?

Первая, естественно, — оболочка! Как подобрать такую и по прочности и по расцветке — да-да, цвет очень важен — одежду стратостата, чтобы на ней не отразились пагубно ни космические лучи, ни низкая температура? Чтобы она не пропускала газ. До сих пор баллонную прорезиненную ткань для аэростатов мы ввозили из-за границы. Она вполне годилась на малых высотах.

Но испытаний на новых параметрах, которые, по расчетам конструкторов, могла предъявить ей стратосфера, не выдерживала. Требовалась иная рецептура. И ее разработали наши химики-резинщики, а изготовил оболочку завод «Каучук». Теперь, после полета, мы можем сказать: одежка стратостата по всем кондициям хороша. Легка, прочна, надежна.

Не меньшая забота — гондола! К обычному аэростату подвешена плетеная корзина для наблюдателя. В стратосферу в эдакой плетенке не полезешь. Нужно что-то посолидней, герметическая кабина нужна, металлическая гондола. А из какого металла? Какой формы? Какой толщины должны быть стенки? Опять вопросы, вопросы… К кому обратиться за советом, за опытом? К Жюлю Верну? Перечитали роман, который для краткости именуют «Полет на Луну», а полное его название «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». Фантаст послал на Луну трех своих смельчаков в «снаряде-вагоне», выстреленном из гигантской пушки типа «Колумбиада». Опасаясь разрушительного действия пороховых газов, создатели этой своеобразной гондолы определили толщину ее стенок в двенадцать дюймов, тридцать сантиметров. Для нашей кабины, изготовленной из кольчугалюминия, отечественного сплава, названного так по Кольчугинскому заводу, где был получен, понадобились всего лишь два миллиметра, то есть в сто пятьдесят раз меньше, чем для жюль-верновского ядра. Этой толщины вполне достаточно, чтобы выдержать давление не только в одну десятую атмосферы, ожидавшее нас на предельной высоте, но и все десять атмосфер. Почти стократный, как видите, запас прочности. «Кольчуга» наша, как и оболочка стратостата, легка, прочна, надежна.

— Но… Готовясь к такому небывалому полету, какой мы задумали, следует задаваться многими «но», даже если они сами по себе и не возникают. Лишняя оглядка, перепроверка, лишние сомнения никогда в подобных случаях нелишние. Гондола должна хорошо, стойко вести себя в стратосфере, в этом мы были убеждены после многократных испытаний. Но… ведь мы собирались не только взлететь, а, между прочим, и вернуться хотели, спуститься на землю. Скорость спуска — не менее трех метров в секунду, а то и все пять. Необходим, значит, амортизатор, предохраняющий кабину, людей в ней, приборы, от неизбежного удара о землю. Из какого материала соорудить эту подстилку? Перебрали всевозможные варианты и остановились на тех же ивовых прутьях, из коих плетут корзину для обычного воздушного шара. Для нашей гондолы сплели восемь «ног» из эластичных, упругих веток ивы. Теоретически рассчитать такой

амортизатор невозможно, просто подвергли его испытаниям на самые разнообразные динамические и статические нагрузки — все выдержал. При возвращении же из полета, при довольно сильном толчке, даже не треснул. А мы предполагали, что он может и сломаться, лишь бы защитил экипаж и приборы от удара… Но я уже во второй раз заговорил о спуске на землю, хотя мы еще, в моем рассказе, не покинули ее.

Мы не претендуем на то, чтобы нас считали первыми разведчиками стратосферы, мы — из первых. У всех на памяти два недавних полета бельгийцев профессора Пиккара и его спутников; 27 мая 1931 года им был Кипфер, а 18 августа прошлого года Казинс. Максимальные высоты, достигнутые этими отважными людьми: 15 671 метр и 16 370 метров. Жаль, что в обоих случаях стратонавтам не удалось осуществить свою научную программу. Помешали изнурительная жара в первом полете и ужасный холод во втором. Кроме того, были разбиты приборы — при первом взлете и при втором спуске… Ради бога, не сочтите, что говорю об этом в умаление свершенного; мы преклоняемся перед подвигом бельгийцев. До них тщетно пытались штурмовать стратосферу американцы, испанцы, французы; было девять попыток. Трижды в кабинах вернувшихся кораблей находили трупы замерзших воздухоплавателей. Мы знали об этом перед полетом и помним после полета, перед новыми стартами.

Мы стартовали два раза. Вернее, 24 сентября, в тихую, безветренную погоду, хотели стартовать, но не смогли. Стратостат не был вовремя готов к взлету. Произошла задержка, клапана заело. Пока возились с ними, исправляя, наполз незаметно туман. Ни ветерка по-прежнему, ни облачка, — самый идеал для старта! — но туманище такой, что ладони собственной руки не видишь, взлетать нельзя. К утру начал рассеиваться, расползаться, оседая при этом на оболочку, утяжеляя ее, она намокла, потеряв половину своей подъемной силы. Стало ясно, что взлетать невозможно. Открыли клапан, дали выход газу, оболочка начала морщиться, опадать и огромной смятой простыней легла на землю. Грустные разошлись мы с аэродрома.

Через шесть дней, 30 сентября, едва не повторилось то же самое. Не с аэростатом, с погодой. Оболочка к назначенному часу, к восьми утра, была заполнена из газгольдеров на треть своего объема, что вполне достаточно для взлета. Сейчас она зависла гигантской грушей. Газ, постепенно расширяясь по мере подъема, превратит ее в столь же гигантское яблоко, которое окончательно созреет лишь на предельной высоте. И мы скажем, что стратостат выполнен, такой у нас существует термин… Итак,

оболочка-груша осмотрена, ощупана с маленьких воздушных шаров-прыгунов, морщины разглажены, клапан в норме, поясные стропы, закрепленные на земле, отданы, сброшены, корабль удерживается только за гондолу руками красноармейцев стартовой команды… и надвигается туман. Неужели опять помешает? Я стою возле штаба полета, всматриваюсь — туманная полоса низко стелется по краям аэродрома, не захватывая его, не приближаясь. Жду решающей метеосводки, нервничаю, как и все вокруг; не докурив папиросы, гашу ее, затягиваюсь новой, бросаю в урну, беру последнюю из пачки, решив выкурить до конца. И вот бежит дежурный метеоролог с листком бумаги в руке, торопится, спотыкается о кочку и чуть не надает на меня. «Смотрите, — кричит, — какая расчудесная погодка вам приготовлена! На туман плевать, это ошметки, сейчас разойдутся…» Сводка в самом деле предвещает оптимальную для полета погоду. Штиль обещан такой, что, наверно, долго будем висеть над столицей. Что ж, мы рады будем опуститься на Красную площадь… Туман рассеивается, уходит, открывая ясный, чистый горизонт, кем-то старательно промытое голубое небесное полотно. И я, по ассоциации, даже ощущаю запах свежевыстиранного белья, самый любимый мой еще с детства, с маминых постирушек. И настроение как в детстве — все тревоги ушли.

Докуриваю, глубоко затягиваясь напоследок, как бы на весь полет — там не покуришь, — иду к гондоле, лезу по веревочной лестнице. Сколько раз поднимался я вот так за семь лет, пока командую отрядом военных аэростатов! А у Бирнбаума стажу еще побольше моего. Он в империалистическую служил в одной из русских крепостей рядовым воздухоплавательной роты, летал в разведку над боевыми позициями; и в гражданскую, на Южном фронте — тоже на воздушных шарах. Так что мы с Эрнестом не новички в небе. Но этот наш корабль, «СССР-1», собирающийся взлететь в стратосферу, лучше всего из троих знает конечно же Константин Дмитриевич Годунов — он его конструктор… Меня, влезшего в кабину, оба моих спутника встречают, может показаться, непочтительно, даже головы не повернув, взмахом руки не поприветствовав, до того их головы и руки заняты уже делом. Годунов налаживает какой-то из множества подвластных ему, как бортинженеру, приборов, кажется альтиметр, определяющий высоту взлета. Бирнбаум склонился над передатчиком: второму пилоту среди прочего поручена радиосвязь, и он готовится с первых же минут подъема начать работу с наземными станциями… У Пиккара радио не было. Могут сказать: тем значительней подвиг бельгийцев, тем благороднее риск, которому они подверглись. Но ведь мы

поднимаемся в заоблачные высоты не ради спортивного интереса, не для состязания в храбрости. Для дела, во имя науки штурмуем стратосферу. На пользу человечеству. Зачем же отказываться от такого могучего здесь оружия, которым оно, человечество, уже обладает, — от радио?.. Нашим позывным был «Марс».

Я высовываюсь из иллюминатора. Почти вплотную вижу вытянувшиеся от физического напряжения лица красноармейцев, которые удерживают рвущийся в небо стратостат уже за один только амортизатор, за его ивовые прутья. Вижу поодаль высокую фигуру в длиннополом кожаном пальто, это товарищ Алкснис, начальник Военно-Воздушных Сил страны; все последние дни и ночи он проводил вместе с нами на аэродроме. К нему подходит стартер Гаракелидзе, я не слышу слов, но по кивку командарма понимаю, что он разрешает взлет. И вот Гаракелидзе, человек темпераментный, взрывной, хотя и пытающийся постоянно гасить свои эмоции, быть невозмутимо-спокойным, направляется к гондоле, стараясь не торопиться, не выдерживает, ускоряет шаг, почти бежит, подбегает, силится сдержать голос: «Экипаж в кабине!» — «Есть в кабине!» — рапортую, тоже утишая голос. «В полете!» — срывается вдруг в крик начальник старта. И я в тон ему тоже кричу неожиданно для себя с такой силой, что сам вздрагиваю: «Есть в полете!», не осознавая еще, что кричу с высоты. Стратостат без толчка, не вращаясь, свечой, по безукоризненной вертикали, взмывает ввысь, отпущенный руками красноармейцев. И они вместе с землей, с ее деревьями, домами, аэродромными вышками, ангарами, заборами стремительно проваливаются куда-то в яму, в пропасть, несутся вниз по прямой, а не уходят плавно вбок и вниз, как видится с самолета. За четыре минуты мы выскакиваем — другого слова подобрать не могу — на высоту двух тысяч метров.

«Задраить лазы!» — командую я, и Годунов поворачивает рычаг, молниеносно захлопываются небольшие, но массивные дверцы, наглухо закупоривающие кабину, герметичность абсолютная. Мы отторгнуты от окружавшего нас до сих пор мира. Мы вторгаемся в мир иной, потусторонний; я употребляю слова, которые обычно применяются в мистическом, религиозном плане. То, что мы совершаем, не миф, не мистика. Это вполне реальное дело. Но мы атакуем стратосферу, преддверие космоса, а это мир практически еще не изведанный, он пока за пределами наших знаний, и в этом смысле для нас потусторонний…

Все вверх, вверх, судя по альтиметру, стремительно взмывает воздушный корабль. И мы его пока не сдерживаем под уздцы, даем полную волю, хотя сам подъем, скорости взлета у нас во власти. Мы можем управлять ими, манипулируя клапанами

выпуска газа из оболочки, сбрасывая подвешенные к гондоле мешочки с балластом, с дробью. Движение стратостата по вертикали — в наших, говорю, руках. А вот горизонталь, направление и дальность зависят только от ветра, от его прихотей. Куда снесет, туда и снесет, тут мы бессильны. Потому так долго, терпеливо «подбирали» себе погоду, поджидая затишья. Плывет «наш челн по воле волн», как сказал поэт. Пока снос незначителен, метеорологи не обманули. Вот, на память, одна из первых записей в бортовом журнале: «8 часов 59 минут, 6 тысяч метров высоты, видимость прекрасная, проходим стадион «Динамо». А ведь это рядышком с Центральным аэродромом. Можно считать, почти не сдвинулись за полчаса, зависли над районом взлета. Нас хорошо видно с московских улиц. Вся Москва, рассказывали потом, ходила в этот день с задранной вверх головой, разыскивая в небе голубой шарик.

Я стою у иллюминатора. Широкая и ясная подо мной земля, как еще сказать про нее, не знаю. Широкая. Ясная. А вокруг неожиданное фиолетовое небо. И если б не знать, что летим, — никаких внешних признаков полета. Неподвижность. Тишина. Только шелест оболочки да бегущая стрелка альтиметра выдают движение стратостата. Прибор докладывает: 14 000… 15 000… 16 000… А еще нет часа, как мы взлетели. Стрелка чуть замедлила свой бег и снова пошла уверенно вперед. Годунов трогает меня за плечо и говорит почему-то шепотом, как о некой тайне: «Алексеич, мы уже выше Пиккара, видишь?» Вижу: 16 800. Рекорд. Ликовать надо бы, но нам некогда справлять торжество, витийствовать — мы очень заняты… Мы летим и разговариваем с землей, которая для нас на радиоязыке «Рыба».

Вот, опять же по памяти, кое-что из наших телеграфных и телефонных переговоров:

«Говорит «Марс». 9 часов 32 минуты. Принимаю на репродуктор. — Он кричит на всю кабину. — Вы просили говорить четче, реже. Говорю реже, слу-шай-те. Радио от товарища Алксниса приняли. (Он просил нас не особенно увлекаться, не рисковать.) Руководствуемся вашими указаниями. Привет от первого экипажа стратонавтов, достигшего рекордной высоты». Не выдержали все-таки, похвалились. И тут же возвратились к деловому тону: «Передаем ответ на ваши запросы. Кислород работает хорошо, запас его достаточен. Температура внутри гондолы +14°. Сторона кабины, обращенная к солнцу, горячая, противоположная холодна, но не очень, терпимо. Сейчас гондола разворачивается, разогрев должен быть со всех сторон равномерен. Кончаю передачу, перехожу на прием».

«Рыба» поздравила с рекордом, опять порекомендовала не

рисковать, передала несколько распоряжений начальства, попросила уточнить параметры полета. Пока говорила большая «Рыба», ее настойчиво перебивали, врываясь в переговоры, малые «рыбешки» — коротковолновики. Им известна наша волна, и они, состязаясь друг с другом, стремятся выйти на связь со стратостатом, получить «радиооткрытку» из стратосферы. В эфире вокруг нас прямо-таки толчея, каждому охота прорваться, опередив «соседа». Приятно, что за нами с таким рвением следят из разных точек страны, да и со всего мира. Но для Бирнбаума это просто беда, помеха основной связи. Эрнст Карлович ворчит. А кому-то из назойливых даже резковато ответил, в смысле — отвяжитесь. Но сразу, как человек вежливый, извинился. Вероятно, это надо зафиксировать как первый случай извинения с такой высоты…

«Говорит «Марс». Высота по альтиметру прежняя. Мы уравновесились. Наружная температура —67°, внутри +22°. Маневренного балласта израсходовано 80 килограммов. Перегрев газа в оболочке 75°. Земля просматривается отчетливо. На́чало довольно интенсивно сносить. Видите ли вы нас? Где мы находимся?»

«Говорит «Рыба». Наземные наблюдательные пункты определяют ваше положение в 11 часов: 24 километра на юго-восток от места взлета…»

«Говорит «Марс». После осадки балласта поднялись на 18 400 метров. Механизм сбрасывания безотказен. Клапана управления в порядке. Оболочка выполнена!»

Вы уже представляете, что это означает — выполнена. Мы в такой разреженной атмосфере, что почти не ощущается давления на оболочку. Газ свободно расправил ее, раздул, превратив из груши в налитое, без единой морщинки, огромное яблоко. Но этот зрелый плод не падет с «дерева», он в подчинении у нас, можем продолжить, можем и остановить взлет. Движемся вверх, замедляя это движение, не торопясь, не рискуя, к этому нас все время призывает Земля… Я слежу за землей, которая сейчас в дымке, окутавшей ее подобно шарфу. Но все, что внутри «шарфа», различимо и без бинокля. С высотой видимость даже улучшилась. Это потому, что здесь нет пыли, паров, ничего мешающего зрению. Лишь бы не было облаков, а их, слава богу, нет пока под нами. Вижу железнодорожное полотно, длинную стеклянную нить реки, легко, не вглядываясь, отличаю грунтовую дорогу от шоссейной… За спиной у меня то жужжит, то стрекочет регенерационная машинка, особый вентилятор. О, это бесценный участник полета, «перехваченный» нами у подводников. Мы, как и они, — в закрытой, наглухо законопаченной коробке. Дышим. А

куда девать выдыхаемую вредоносную углекислоту? Как «проветривать» гондолу, откуда брать спасительный кислород? Этим и занимается машинка регенерации, что по латыни — «возрождение, возобновление». Она поглощает углекислый газ, кислородом нас кормит. Так пусть себе жужжит, стрекочет, издает любые звуки симпатичный, добрый аппарат!

Стрелка альтиметра дрогнула, остановилась, дрогнула и уже как-то решительно остановилась, будто сказала: дальше не хочу. Потолок? Станция назначения? Можем превратить ее в полустанок и, сбросив балласт, который еще не израсходован, приподнять «потолок», лезть выше. Но по здравом размышлении, посоветовавшись с командованием, решаем завершить подъем на достигнутой высоте, не зарываясь. Произвести все запланированные наблюдения, все записи, замеры. После чего спускаться… Просим Землю передать правительству наш рапорт; я диктую его Бирнбауму: «Экипаж первого советского стратостата «СССР-1» успешно выполнил поставленную задачу и сообщает о благополучном подъеме на высоту 19 360 метров по приборам. Готовы к дальнейшей общей работе по освоению стратосферы». На пике полета мы задержались с час. И пошли вниз, вниз. Это сразу заметили на земле. Метеорологическая обстановка была по-прежнему оптимальной. Эдакое благорастворение воздухо́в: прозрачность, ясность. Грех жаловаться на небесные силы: они были в этот день явно расположены к нам… «Рыба» сообщила:

«Ваш рапорт передан по назначению… Наблюдаем спуск. Вы находитесь в 50 километрах от старта, в районе Бронницы. Ветер способствует вашему приближению к Москве. В 16 часов передадим данные шаропилотных наблюдений для расчетов на посадку. Вероятный район приземления — Коломна».

Жаль, что не на юго-запад несет. Вот бы приземлиться у не так уж далекой отсюда моей родной Вязьмы, сесть возле депо, откуда отец много лет выводил на маршруты свой паровоз, где начинал я подручным слесаря, в комсомол вступил в девятнадцатом году. Хорошо бы с высоты помахать землякам-вяземцам, среди которых, между прочим, и корзинщицы из промыслового колхоза, что сплели ивовый амортизатор для нас. Хорошо бы… Но что поделаешь, дорогу выбирает нам ветер.

Комментарий автора, перебивающий рассказ стратонавта: хочу обратить внимание читателя, что Георгий Алексеевич Прокофьев, командир первого советского стратостата, и его почти тезка Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт мира, земляки по рождению: Вязьма и Гжатск — соседние городки на Смоленщине.

— …Идем на снижение. Те же манипуляции балластом, клапанами. Регулируем спуск, то ускоряя, то замедляя его, как управляли подъемом, только с еще большей осторожностью. Малейшая ошибка, неточность, и спуск может обернуться падением. Глаз не сводим с оболочки: с ней обратное превращение — из яблока в грушу… Половина пути на землю пройдена, зона стратосферы покинута, еще три-четыре тысячи метров вниз, и открываем люк! Можно вдохнуть живительный воздух земли… И вдруг Годунов, высунувший голову в иллюминатор, кричит:

«Разрывная!»

Этого возгласа достаточно, мне не надо объяснять, что́ случилось, а Годунову — что делать, мое приказание — «Исправить!» — секунда в секунду совпало с его броском к люку, он мгновенно, ухватив одной рукой поручень, перебросил тело за борт и другой рукой подтянул к себе веревочную лестницу, сам подтянулся, полез вверх по гондоле, повис над землей, поймал веревку, запутавшуюся в стропах, распутал, вытянул и передал конец мне. Это и есть разрывная вожжа, прикрепленная на оболочке к звездообразному пластырю-заплате, которую срывают за 9—10 метров до приземления, давая выпуск газу, чтобы не волочило по грунту. А сорвется или лопнет раньше, что и может произойти при запутанной разрывной, — стукнет так, что никакая вяземская плетенка не обезопасит.

Все ниже, ниже сползает наша груша. Сперва она была зрелая, налитая, потом постепенно сжималась, морщилась, пока не превратилась в сухофрукт из компота… Земля порой вдруг подскакивает нам навстречу, как волейбольный мяч над сеткой, это, беспокоит нас, мы хотим, чтобы ее приподнимали неторопливо, подавая, как арбуз на подносе. Это я сейчас придумываю не очень удачные сравнения, а тогда, в моменты спуска, было не до сравнений, не до «арбузов». Употребляя все способы — газ, балласт, мы притормаживали, притормаживали, притормаживали, но и так, чтобы снова не взлететь в стратосферу.

Нас сносит к Коломне, это уже явственно определилось.

«Сядем, скорее всего, в Выселках, — говорит Годунов, знающий здешние места. — На левом берегу Оки».

Как бы в самую реку не угодить, несет к ней. Нет, благополучно миновали. Показались заводские корпуса. Вон проходная, вон каменная ограда. Мимо, мимо. Трубы, крыши, вагонетка с песком, огородные чучела, колодцы, заборы. Мимо, мимо. Железнодорожная платформа, четко видим: «Голутвино».

Дергаю разрывную вожжу, сдерживая над самой землей бег нашего коня. Сбрасываем гайдропы, длинные, стометровые, толстые канаты. Они, волочась, дополнительно смягчают неизбежный удар о землю, способствуют оболочке мягко, тихо лечь в густую еще, хоть и конец сентября, траву. Стратостат замирает, обласканный ее прикосновением. Навстречу бегут люди. Рабочие, красноармейцы. Лиц не видим, они прикрыты взметенными, приветствующими нас руками.

Нам помогают выйти из кабины. Все! Мы дома. Мы вернулись из «потустороннего» мира, который перестал для нас быть по ту сторону. Мы приобрели множество точных сведений о нем. Мы приблизили его к Земле… Впереди, и в самое ближайшее время, новые высотные полеты воздушных кораблей.

5

К моменту старта «СССР-1» был готов взлететь с соседнего аэродрома еще один точно такой же размером, но несколько отличной конструкции стратостат «Осоавиахим-1», построенный в Ленинграде. И экипаж — ленинградский: командир — пилот Павел Федорович Федосеенко, бортинженер Андрей Богданович Васенко и ученый-физик Илюша Усыскин. Я применил уменьшительное имя в отношении представителя науки потому, что так в большинстве случаев называли его тогда в газетах: Илюша, гораздо реже — Илья. Ученому было 23 года. Ильей Давыдовичем он стал после гибели стратостата: на мемориальной доске в Кремлевской стене, в научных докладах, в энциклопедиях…

Понятное дело, узнав в свое время, что в стратосферу собирается комсомолец, недавний студент, мы в «Искорках» ужасно заволновались, засуетились, возгорев желанием непременно обойти, опередить соседей по издательскому коридору, журналистов молодежной «Смены», перехватить у них Усыскина, поскольку считали, что он, как бывший школьник, пионер, не в меньшей степени принадлежит и нам. Попытка перехвата была конечно же заранее обречена на провал: сменовцы выстреливали свои полосы ежедневно, кроме понедельника, мы выходили два-три раза в неделю, десять номеров в месяц. Тем не менее кто-то бросился к телефону, начал лихорадочно названивать и в результате произнес огорченно: «Он в Москве». У «Смены» в Москве был собкор, мы такового не имели, командировка же в столицу — немыслимая роскошь. И мы примолкли, переполненные клокочущей завистью к богатой,

могучей соседке-газете, с трепетом раскрывая по утрам ее страницы. Но, кроме официальных и весьма лаконичных тассовских информации, ничего про «Осоавиахим-1» не находили. А тут еще стало известно, что полетит «СССР-1», и наш интерес к Усыскину, естественно, угас. Он вспыхнул опять после моей встречи с Прокофьевым и особенно после того, как несколько отвлеченно прозвучавшая фраза Георгия Алексеевича о новых полетах стратостатов подтвердилась конкретными сообщениями о предстоящем зимой взлете ленинградского экипажа, состав которого остался неизменен: Федосеенко, Васенко, Усыскин.

К тому времени среди газетчиков города сложилась уже некая версия, почти легенда о молодом человеке с нежным именем Илюша и твердейшим характером. Невысоконький такой, говорили, лобастенький, весь в веснушках, «орешек», который не разгрызть. Интервью категорически не дает, все асы репортажа, пытавшиеся подступиться к нему, ничего не добились. Я себя к асам пока не причислял, но задумал учинить им, асам-репортерам, «втык». У меня возник тактический план: я решил бросить с тыла в атаку своего старшего братишку Вальку. Он уже появлялся и еще будет появляться в моем повествовании. Для данного эпизода существенно то обстоятельство, что мы с ним, родные по крови, не обладали ни единой сходной, общей «кровинкой» в облике, в характерах, в жизненных интересах. Лишь сейчас, к старости, вместе с морщинами проступили какие-то объединяющие нас внешние черты. В частности, носы оказались одинаковыми. И еще: и он и я владеем редкостным — попробуйте! — искусством шевелить ушами, чем всего и дороже нашим внучатам.

Итак, Валька — в качестве моего тайного агента. Дело в том, что Усыскин — недавний выпускник Политехнического института. А Валька — первокурсник этого же очень популярного в Ленинграде учебного заведения. Вообще-то они ровесники, год рождения — 1910. Но брат задержался с высшим образованием. Не по своей вине. Год за годом успешно сдавал вступительные экзамены, а в списки принятых не попадал. В Политехническом отдавали предпочтение кандидатам с рабочим стажем, парттысячникам. Валька же ни в какой другой институт поступать не желал: только сюда, на металлургический факультет, в химики. И потому — после скульптурной мастерской — шесть лет отбухал молотобойцем в заводской кузнице, честно выковывая путевку в Политехнический… К журналистской карьере младшего брата старший относился если и не презрительно, то, во всяком случае, как к легкой жизни, способной развратить человека. Совсем презирать меня он не мог, поскольку я вышел в семье в

первые заработчики, перекрыв своими гонорарами зарплату отца, не говоря уж о Валькиной студенческой стипендии. Но, повторю, мою жизнь брат считал легкой, а заработок тем более. Меня это, сами понимаете, злило.

— Слушай, — сказал я однажды. — Сейчас в нашей газете поворот к науке. Нужны беседы с крупными учеными, с академиками. Есть такой профессор Хвольсон, почетный академик…

— Как, разве он жив? — спросил Валька, когда-то проштудировавший все пять томов знаменитого хвольсоновского «Курса физики».

— Жив. Здравствует. И хорошо бы взять у него интервью, обращение к школьникам, чтобы лучше изучали физику. Сделай! У нас за такое неплохо платят.

— Это запросто, это пожалуйста! — воскликнул Валька, клюнувший на мою наживку. — Дай адрес.

Сказав про Хвольсона «здравствует», я сильно хватил через край и сделал это сознательно. Старик, как я узнал, был совсем дряхлый, хворый, никого не принимал, не мог принимать, и я был уверен, что у Вальки ничего не получится. Не осуждайте меня за мелкую провокацию: очень мне хотелось проучить братца, показать, какая у меня «легкая» жизнь. Но проучил меня Валька: он приволок в редакцию интервью с Хвольсоном. Старик, обрадованный, что не забыт, встрепенулся, ожил и продиктовал понравившемуся ему корреспонденту превосходный текст, который напечатали на первой полосе.

Вдохновленный недавним успехом, — гонорар в самом деле отвалили щедрый, — Валька охотно принял мое новое предложение.

— Усыскин? Из физтеха? Я знаю его. Он ведет у нас семинар по марксистской философии, диамату.

— Ты не путаешь? Он физик.

— А физик не может читать философию? Шибко шпарит! Завтра как раз занятие… Он что, собирается, говоришь, в стратосферу?

— Ты газет не смотришь, Валька?

— Читаю. Не обратил внимания. Так что нужно-то?

— Взять беседу о предстоящем полете.

— Понял. Сделаю!

— Валя, — говорю я, на сей раз действительно заинтересованный в удаче. — Это не так просто, как тебе кажется. Это не Хвольсон. Усыскин никому еще не давал интервью. Тут нужен обходной маневр.

И мы условились, что Валька подойдет к руководителю после

семинара, задаст по теме какие-то вопросы и тонко — очень тонко! — переведет разговор в русло интервью, но так, чтобы допрашиваемый не догадался, что у него берут интервью.

— Не волнуйся, братик. Исполню как по нотам.

С семинара явился с кислой миной. Похоже, «концерт» не удался.

— Что, потерпел фиаско? — спросил я для смягчения в интеллигентной форме; не выдержал, уточнил: — Послал тебя подальше?..

— Не так далеко, — сказал Валька. — Но хорошо сунул мне под ложечку. «Дешевый, — говорит, — номер, молодой человек…»

— Так и обратился — молодой человек?

— Ага. Отшлепал, как первоклашку.

— А ты — первокурсник…

— Тебе все шуточки… Чтоб я еще!..

На этом карьера новоявленного сотрудника пионерской газеты тихо завершилась.

И я решил действовать напрямую. Впрочем, в моем новом замысле прямая была опять же с некоторой кривизной, с заходцем. Я знал, что Усыскин не только научный сотрудник Физико-технического института, но и недавно избранный секретарь комсомольской организации. Вот как к таковому, а не как к стратонавту и являюсь к нему. Тут уж не открутится. Тем более я позвонил в райком, заручился их согласием на беседу с молодым секретарем о первых его шагах в этом качестве. Обещали дать соответствующее указание, чтобы поговорил с журналистом. И даже в подтверждение позвонили в редакцию: все в порядке, указание дано, ждет. Ждет! Я возликовал и подготовил хитрые, как считал, вопросики. Начну издалека, чтобы ничего не заподозрил, совсем далеко от стратосферы. Ну, скажем, спрошу, как дела в подшефной школе (я же из детской газеты). Приближусь: как комсомольцы-ученые связаны с производством? («Мы в своей газете рассказываем читателям, будущим членам ВЛКСМ, о жизни комсомола».) Если сойдет, рванусь грудью на ленточку: над какими научными проблемами работают молодые ученые? Лассо, петля, капкан! Попробуй, Илюша, выкрутиться, выскользнуть, попробуй не рассказать о подготовке к полету… И я в боевом расположении духа поехал в Физтех, в Лесной.

До сих пор не знаю в точности, как же правильно: Лесной или Лесное. В справочниках, путеводителях, адресных книгах разночтение, так и эдак пишут. Мне с детства, с юных лет как-то ближе на слуху: Лесной. Ленинградский пригород, в северной стороне, предместье в мое время. Ловлю себя на этом «в мое».

Значит, в прошлом. И, значит, нынче время уже не мое? Ладно, не буду придираться к самому себе. Так вот, в мое время, в тридцатых годах, — дальний зеленый массив, вроде Сокольников или Филевского парка в Москве; час езды из центра на трамвае, на девятке, которая по-прежнему ползает сюда. Метро подбрасывает за пятнадцать минут. И сплошным зеленым массивом этот район теперь, пожалуй, не назовешь. Застроен, рассечен магистралями на острова-парки. Самые большие образовались возле и вокруг Лесотехнической академии, Политехнического института, Физтеха. Последние два — в едином архитектурном ансамбле, на одном «острове», соседи — через дорогу. Соседи? Кровные родственники. Политехнический alma mater Физико-технического, который когда-то отпочковался, перебравшись через улицу, и начал самостоятельную жизнь, как выросший сын. А повел его в эту жизнь академик Абрам Федорович Иоффе, организатор и директор, «заведующий детским садом», «папа Иоффе». Называли так потому, что среди научных сотрудников института не было никого старше тридцати лет.

Сто раз бывал я тогда в Политехническом и не был еще в Физтехе. Сто раз проходил и пробегал мимо его высокой ограды. Узорчатая чугунная решетка меж каменных столбов с оригинальным барельефом (бараньи головы в разных ракурсах) — предмет для постоянных шуточек по поводу их сочетания с задачами научно-исследовательского института. За оградой, за корабельными соснами — желтое, подковой, двухэтажное здание с колоннами и куполом, стиля ампир, воздвигнутое к 300-летию династии Романовых сперва под дворянскую богадельню, позже отданное под психиатрическую больницу, а затем перестроенное для Физтеха; опять же, как понимаете, простор для острословия.

Пропусков в институт тогда не водилось, стражем в вестибюле была старуха гардеробщица, которая на мой вопрос — где тут у вас комсомол? — пробурчала: «Сорок комнат в заведении, сам ищи свою комсомолию». Но вдогонку прибавила поласковей: «На втором этаже, кажись, в самом углу». Я не стал уж уточнять, в каком — справа или слева. Поднявшись на этаж, повернул по наитию налево и в конце коридора обнаружил табличку: «Бюро ВЛКСМ». Закуток весь в плакатах. Почти все пространство, если это можно назвать пространством, занимал массивный дубовый стол на узорчато выточенных ножках. За столом в таком же кресле, вроде тронного, с инкрустациями, с высокой овальной спинкой в золотисто-шелковой обивке, — очень эффектная на этом фоне девица в юнгштурмовке, комсомольской форме того времени, которая шилась на один

покрой, независимо от пола. Гимнастерка цвета хаки с портупеей и широким ремнем, только что без кобуры. Воинственность несколько снижали очки. Поднялась мне навстречу:

— Вы из редакции?

— Из редакции.

— Садитесь, пожалуйста. Что вас интересует?

— Мне бы секретаря…

— Я заместитель.

— Очень приятно, но мне бы товарища Усыскина…

— Товарищ Усыскин в райкоме.

— Я звонил в райком, сказали…

— Да-да, он ждал вас, но неожиданно вызвали… Что вас интересует? Я могу ответить…

— Досадно, — сказал я. — Ну что ж, подожду его возвращения.

— Это может быть нескоро…

— Подожду, — сказал я и прочнее уселся, всем видом показывая, что сижу и не встану.

Смутилась, такого поворота не ожидала.

— Вы знаете, он может не вернуться сюда, пройдет прямо к себе в лабораторию. А возможно, он еще и там, еще не ушел… Это в другом конце коридора.

Так. Пойду в другой конец.

Стучусь в закрытую изнутри дверь — ключ в замке.

— Кто там?

— Простите, я из редакции. Ищу…

И не дожидаясь уточнения, кого я ищу:

— Усыскин у себя в комсомольском бюро.

— Я оттуда…

— Тогда ищите в другом месте, — в голосе из-за двери явное раздражение занятого человека.

И я пошел по другим местам. Из лаборатории в лабораторию, из кабинета в кабинет, из мастерской в мастерскую. Из помещения в помещение. А их, как известно из информации гардеробщицы, только в главном корпусе, в «богадельне», сорок. И не меньше в пристроенном крыле, в соседних зданиях на Приютской улице, в Яшумовом переулке. Я и туда ходил в канцелярию, в бухгалтерию, в столовую, в библиотеку. Нет, ошибся, библиотека в «богадельне», на втором этаже. Кстати, книжные шкафы в ней столь же дорогие, как и мебель у комсомольцев, — из красного дерева, в резьбе, в инкрустациях. Да и повсюду шкафы, диваны, кресла, люстры, настольные лампы, ковры, дорожки будто из какого-то дворца или из антиквариата. Пока я там ходил, мне было не до шикарной мебели. Но она

отложилась в памяти, и позже, поинтересовавшись, я узнал, что в 1918 году, когда создавался Физтех, папа Иоффе и его помощники получили разрешение приобрести оборудование из Зимнего дворца. Таким образом, не исключено, что девушка в юнгштурмовке восседала в кресле императрицы или великой княгини… (Сейчас у меня дома тоже хранится редкость — фарфоровая лампа-фонарь из Зимнего. Отец приобрел ее в самом начале нашей питерской жизни, случайно попав на аукцион во дворце, — шла распродажа царского имущества. Лампа филигранной работы — свет струится сквозь тончайшую сетчатую поверхность — и кажется такой хрупкой, что прикоснуться к ней боязно. А она уцелела в блокаду, сотрясаемая взрывными волнами от падавших поблизости бомб. Вещи тоже могут быть ветеранами войны, как деревья в сестрорецких Дубках…)

Хожу, хожу. И слышу:

— …Был, ушел…

— …Не заходил…

— …Не заходил…

— …Был, ушел…

— …В стеклодувной посмотрите…

— …Нет, у нас не был. Может, в механической?

— …В травильной, кажется, был…

— …Пошел к профессору Лошкареву…

— …Третий день его не вижу…

— …Забега́л, забега́л. Чашку чая выпил и понесся…

— …Оформлял командировку в Москву. Собирался в библиотеку…

— …Сегодня книг не брал…

— …Нет ли его у ядерщиков?..

— …А не в барокамере он?..

— …Наверняка у себя в лаборатории, возится с камерой Вильсона…

Круг замкнулся, снова стучусь в дверь, которая заперта изнутри.

Никто не отвечает.

Умученный безрезультатным поиском-хождением по коридорам, уязвленный в своем профессиональном самолюбии — не привык возвращаться в редакцию ни с чем — и чувствуя, что неуловимый Илюша где-то здесь, я решил использовать последний остававшийся у меня шанс, к которому следовало, наверно, прибегнуть в первую очередь. Но… С полгода назад во время встречи ученых со старшими школьниками в белоколонном конференц-зале Академии наук я пытался взять интервью у академика Иоффе и получил любезный полуотказ. Сказано было,

что беседовать на ходу, не подготовившись, затруднительно, милости просим в Физтех, поговорим в спокойной обстановке с необходимыми материалами под рукой. Вот я и приехал. Но через полгода, и с чем? Когда Усыскин потребовался. Определенная неловкость в этом обозначилась. И поэтому я не решился сразу обратиться к директору института: помогите, мол, найти. А теперь стоял в отчаянии, готовый на все. Была не была. Да и помнит ли он о каком-то приставшем к нему когда-то репортеришке? И чем интервью со знаменитым академиком об его ученике хуже беседы с этим учеником? Отличный репортерский поворот. А там, глядишь, и Усыскин обнаружится. Все! Иду к директору… И тут я увидел, что по коридору навстречу мне идет сам он, папа Иоффе. Он меня тоже увидел и сразу узнал. Он был не один, рядом шел очень высокий, выше меня — а во мне тогда уже было метр восемьдесят пять — человек лет тридцати в синей спецовке-халате. В точно таком, какой носил наш школьный учитель физики Павел Иванович Галкин. Схожесть полная и по цвету и по покрою, даже по пуговицам. Как у Галкина, из верхнего кармашка торчат толстый цветной карандаш «фабер» и логарифмическая линейка. И хотя весь я был охвачен иными мыслями, мелькнула и такая: сейчас вызовет к доске, как Павел Иванович…

— Здравствуйте, юноша, — сказал, остановившись, Иоффе. — С чем пожаловали?

Я залепетал в растерянности нечто невразумительное. Все мое заранее подготовленное и казавшееся таким логичным словесное построение обратилось в месиво:

— В Академии наук… Вы обещали… Усыскин… Стратосфера… Вы обещали… Ищу… Это очень важно… Усыскин… Детская газета.

— Голуба моя, — сказал Иоффе. — Рад бы, но спешу, билеты в Филармонию… Вот Гарик… — Он обернулся к человеку в синем халате, и тот мгновенно умоляюще возвел руки, словно обороняясь от неожиданного нападения. — Вот Игорь Васильевич, — произнес академик тверже, — побеседует с вами. Прошу, Игорь Васильевич, вам и карты в руки как бывшему воспитателю детского дома. Помогите, пожалуйста, мальчику.

Я мог бы обидеться на «мальчика», мне шел уже восемнадцатый год, но было не до обид. Академик удалился, и мы остались вдвоем.

— Давайте присядем, — сказал с тоской в голосе Игорь Васильевич, показывая на широкий подоконник, и я заметил, что кончики, подушечки его пальцев какого-то странного ярко-розового цвета, как обожжены.

Только мы пристроились на подоконнике, как мимо быстро-быстро прошел, прошмыгнул невысоконький парнишка студенческого облика, в кепочке. Он искоса глянул — лицо в веснушках — и бросил Игорю Васильевичу: «Привет, Гарик!», тот в ответ: «Физкультсалют!», и мне показалось, что они перемигнулись, но я не придал этому значения, всю жизнь медленно соображаю. Через минуту я увидел в окно этого студента, стремительно пересекавшего двор. Возле самых ворот он на секунду приостановился, обернулся, глянул вверх, приподнял кепочку, как бы прощаясь с кем-то. Взгляд его, перехваченный мною, был явно направлен в сторону окна, за которым мы сидели. И тут меня с опозданием осенило:

— Это был Усыскин? — спросил я Игоря Васильевича.

— Угу, — сказал он. — Усыскин. Надеюсь, вы не кинетесь его догонять?

— Кинусь, — сказал я и соскочил с подоконника, но был придержан за рукав.

— Не надо, — сказал Игорь Васильевич. — Все равно ничего не выйдет. Илюше не до интервью. У него не ладится с камерой Вильсона, и он нервничает.

— А что это за камера? — спросил я, снова усаживаясь на подоконник.

— Вы школьник, студент?

— Я сотрудник газеты «Ленинские искры», — сказал я, педалируя, отвечая этим и на «мальчика» и на «школьника».

— Понятно. Но образование-то у тебя какое? — перешел на «ты» мой собеседник.

— Семилетка, фабзавуч…

— Значит, должон кумекать чего-то в физике. Слыхал о строении атома, об атомном ядре? На уровне, говоришь, учебника Знаменского? Что ж, до недавнего времени все мы находились примерно на этом уровне. Да и сейчас, чуть углубившись, о многом лишь догадываемся или думаем, что догадываемся. Чувствуем, что ядрышко это должно таить в себе невообразимую энергию, которая может быть и разрушительной и созидательной, как всякая энергия. Это, брат, такой джиннище в закупоренной бутылке, что, коль выпустить его бесконтрольно на свободу, бед натворит — не оклемаешься, он мир перевернет и вывернет, если вовсе не изничтожит. Вот и шебаршим, соображаем, как сделать, чтобы не перевернул, а перестроил по нашей потребности, на пользу человечеству. Ищем путь в глубь атомного ядра, бомбим его, хотим разобраться в его законах-загадках, хотим приручить, прикоснуться к нему руками, я говорю, понимаешь, в переносном смысле, в прямом сие небезопасно для рук…

Я снова взглянул на руки Игоря Васильевича, на его ярко-розовые, будто обожженные пальцы и, кажется, начал догадываться, чем они обожжены. Заметив мой взгляд, он убрал руки, заложив их за хлястик халата, как делал это на уроках физики и наш Павел Иванович, расхаживая по классу. Моему собеседнику стало неловко сидеть на подоконнике, заложив руки за спину, и он, встав, тоже начал расхаживать передо мной. Шаг широкий, размашистый, почти в длину подоконника.

— Ищем… И пока не знаем, какой путь вернее, чему отдать предпочтение. Пока мы на распутье.

— Как богатыри на картине… — выпалил я расхожее, тертое-перетертое сравнение, в данном случае, пожалуй, оправданное: крупного, статного Игоря Васильевича легко было представить богатырем на коне. (Позже, через много лет, я прочел, что друзья еще в юности называли его Генерал — за рост, за осанку.)

— Ну какие же из нас богатыри, богатырская сила внутри атомного ядра, и если уж принять твое сравнение, ее надо разбудить, как в спящем на печи Илье Муромце. Как разбудить, чем воздействовать? Какова в точности структура ядра? Не зная этого, к нему не подступишься. Есть предположение, что разгадку могут дать космические лучи, не так давно открытые мельчайшие частички, приносящиеся к нам из космоса. Эта пыльца, невидимая глазу, эта мелочь обладает невероятной, скрытой в ней энергией. Подсчитано: энергия импульсов лучей видимого света равна одному вольту, импульсов рентгеновских лучей — десятку тысяч вольт, гамма-лучей радиоактивных веществ — двум-четырем миллионам вольт, а каждый импульс лучей из космоса исчисляется в несколько миллиардов вольт… Записал? Не спутай, наврешь — отвечай за тебя. Ладно, не обижайся, не первый раз имею дело с вашей братией… Записывай дальше: для изучения космических лучей существует специальный прибор. Он прослеживает маршрут частичек-лучиков, измеряет скорость, улавливает, даже фотографирует и докладывает об их свойствах. Это и есть интересующая тебя камера Вильсона. Аппарат довольно точный, исполнительный, но поле действия у него на земле, в земной атмосфере, ограничено. К нам доносится, к тому же теряя по дороге какие-то свои качества, лишь ничтожная часть космических лучей, мелко-мелко моросящий дождичек, а вот высоко, в стратосфере, они потоком льются. Ливень. Вот бы где поработать на просторе камере Вильсона. И возникла мысль поднять ее на стратостате, раз уж такие полеты начались. Возможно, мы заметно продвинулись бы в атомной физике, возможно. Но камера слишком громоздка, тяжела для гондолы. А уменьшить габариты, облегчить камеру без ущерба для ее

работоспособности невозможно, так считалось. Илюша вызвался сделать это в своей лаборатории и был зачислен по предложению Абрама Федоровича в экипаж стратонавтов… Старт был назначен, ты знаешь, на минувшую осень. И его уже дожидался новый «Вильсон», маленький, легкий, компактный прибор. Но полет «Осоавиахима-1» отложили, взлетел «СССР-1». Образовалось добавочное время, а Илюша не из таких, чтобы не воспользоваться этим обстоятельством. Он решил еще уменьшить камеру, еще облегчить. Разобрал, собрал, разобрал, собрал, сделал несколько моделей. Был совсем близок к идеалу, к цели. И, как часто бывает близ цели, неожиданный сбой, изъян в конструкции поршня, очень важной детали. А время уже на исходе — старт твердо назначен… Не надо сейчас тревожить Илюшу, не надо. Возвратится из полета, отдадим его вам, газетчикам, на растерзание.

— Игорь Васильевич, а пока расскажите о нем, что знаете… — смирился я с невозможностью повидать стратонавта.

— Обыкновенный парень с необыкновенным мозговым веществом… — Он взглянул на часы. — Ого, это целая пресс-конференция получается. Хватит, дело ждет, бегу… Физкультсалют, дорогой товарищ пионер!

— Игорь Васильевич, я не знаю вашей фамилии.

— А она зачем? Я же не собираюсь пока в стратосферу.

— Но как же без фамилии? Без этого нельзя, у меня не примут материала, — взмолился я.

— Ох, ты же и гвоздик в дырку! Фамилия — Курчатов. Физкультпривет!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Газеты печатали обширные биографии кандидатов в депутаты первого Верховного Совета страны. Разве могли «Искорки» отстать от взрослых «Ленинградской правды», «Красной газеты», комсомольской «Смены». Никак не могли, не имели права. Мы перебегали им дорогу, всеми способами перехватывали у них будущих депутатов. Среди них был недавно назначенный командующим Ленинградским военным округом командарм 2-го ранга Павел Ефимович Дыбенко, легендарный балтийский матрос, герой Октябрьских событий, именем которого сейчас названы улицы и в Ленинграде, и в Москве. Гриша Мейлицев, уже известный читателю мой напарник по репортерству, несший в нашем тандеме все организационные заботы и хлопоты, которые тяготили меня всю мою журналистскую жизнь, договорился с командармом о встрече. Он принял нас на квартире, в доме по Кронверкской улице. Этот дом был тыльной частью раскинувшегося на несколько улиц знаменитого корпуса с адресом: Кировский проспект, 26/28. Здесь обитало все ленинградское начальство, здесь еще четыре года назад жил сам Сергей Мироныч… Квартира Дыбенко была квартирой с обилием мебели, ковров, картин. У меня в памяти запечатлелась одна особенность этого жилья, а может быть, в тот год это и не было особенностью: по каким-то ушедшим из той же памяти деталям обстановки видно было, что часть ее оставлена прежними хозяевами квартиры. И еще запомнилась мне большая фотография на стене в кабинете командарма. Это был групповой снимок прославленных военных, полководцев гражданской войны, среди которых запечатлен и хозяин кабинета. Мы бывали у Павла Ефимовича не раз — он разохотился и первоначальная беседа вылилась в несколько бесед.

«РАССКАЗ О МОЕЙ ЖИЗНИ

Я родился в санях морозной ноябрьской ночью, когда мать возвращалась домой с базара. Я был пятым из восемнадцати. Одни появлялись, другие помирали, выжило семеро.

Мы жили на Черниговщине в селе Лютое. Наверно, назвали так когда-то по жизни, которая тут царила. Да и к моему времени

она не изменилась. Край лесной, небогатый хлебом. У моего отца, Ефима Васильевича, весь надел — полторы десятины. Попробуй накорми этакую семьищу! И он почти каждую осень, напялив рыжий латаный-перелатаный тулуп, надвинув до бровей выцветшую мохнатую шапку, отправлялся с лубяной коробкой на спине по соседним и дальним селам продавать иголки, нитки, пуговицы и прочую мелочь. Коробейничал всю зиму. Коробка становилась легче. Вроде бы хорошо, раз покупают. Но в карманах не очень-то звенело, чуть не вся выручка уходила у отца на собственный прокорм в дороге.

Он возвращался домой к весне, под самый конец сказки, которую мать рассказывала нам, малышне, коротая зимние вечера. Сказка была длинная, бесконечная и, как у Шахразады, состояла из множества маленьких сказок, сменявших одна другую. Мы лежали на печи, плотно сгрудившись, переплетясь ручонками. Слышится тихий напевный голос матери. А внизу тлеет лучина. И боязно, что вот-вот она догорит, вместе с ней погаснет и сказочка. Но мать успокаивала:

«Это только присказка, — говорила она. — Главная сказка впереди».

Отец небылей не рассказывал. И вообще не очень-то был скор на язык. Зря не крикнет, родительскую власть не употреблял попустому. И порол редко. Меня отделал единожды. Правда, отхлестал так, что давно, что называется, при бороде я, а порку ту не забываю. Прискорбный этот случай произошел на праздник — в покров день.

Мать приготовила к обеду яичницу на свином сале. Такая появлялась на столе два раза в году — на пасху и на покрова́. К яичнице подоспела, само собой, тетка Дарья, отцова сестра. Она была из богатеньких, а все на стороне норовила схватить, хотя бы пообедать. Брата, его жену никогда в гости не звала. Племяшам леденца не подарит. А как у брата в кои веки глазунья — тетка Дарья с первыми петухами в дом стучится… Мать старалась угодить золовке. И два огромных сияющих желтых глаза, не успев никому подмигнуть со сковороды, оказались на тарелке у паршивой тетки. «Ого!» — вырвалось у меня.

И тут же получил по лбу отцовской деревянной ложкой. И был вышвырнут из-за стола в угол. Теплый смачный запах яичницы стлался по избе. За столом ели весело, громко. Тетка Дарья чавкала шумнее всех, а облизывая ложку, еще и языком причмокивала и в мою сторону поглядывала, дразнила. Чтобы не заплакать, я сдавливал кулаками веки, но слезы все равно просачивались сквозь пальцы и стекали за рукава холодными солеными струйками.

После обеда отца позвали к старосте — на сходку. Мать отправилась в ближнее село к куме. Все мои братишки и сестрички рассыпались по задворкам. А я остался дома. Да еще дед на печи. Тот прилег и затрубил сразу носом, как пароход на реке, а потом засвистал жалобно-жалобно, как подраненная птица… Я вышел в сени, вытащил из-под скамейки кошелку с яйцами, разбил пару на сковородку. Во дворе за хатой развел костерик, чтобы поджарить глазунью. Не заметил, как пламя полоснуло угол хаты, и услышал уже треск нижних бревен. Перепугался, бросил сковороду в костер, а сам — в погреб. Упал на землю, прижался к ней лицом.

Тут меня и нашел отец, прибежавший со сходки. Огонь был затушен: подоспевшая соседка погасила, залив из ведра… Лежу недвижный. Не пошевелился даже, когда отец, ухватив за ворот, потащил в сени, кинул на скамейку, взмахнул кнутовищем. Свидетельницей моего позора была тетка Дарья. Она сидела на краю скамьи, придерживала меня за ноги и приговаривала сытым голосом:

«Так ему, Ефимушка, так, озорнику… Вдарь его еще, Ефимушка, вдарь!»

Я и прежде не любил тетку, а теперь люто возненавидел и поклялся в душе отомстить.

Месть свершилась зимой. Вместе с теткиным сыном Гришкой мы катались на ледяных санках, вырубленных из куска озерного льда. Они были вроде лодки, но без носа и кормы, совком таким. Ложились на них животом и скатывались с горушки. По очереди. Но Гришка нарушил уговор и попробовал скатиться два раза подряд. Он уже лег было на лодочку и оттолкнулся. Я успел подставить ногу, и санки рванулись в сторону, накренились, сбросив Гришку, и он кувырком под гору, упал на спину, валяется так с открытым ртом. А потом вдруг как заорет:

«У-би-и-или!»

Это он мать увидел на дороге, ей и заорал. Тетка Дарья разъяренной медведицей кинулась на меня и, всячески понося и проклиная, поволокла в хату. На крыльце стоял отец, остававшийся в ту зиму дома. В руках у него вожжи. Перекинул с руки на руку и стал спускаться с крыльца. Тетка подтолкнула меня. И вдруг что-то небывалое взыграло в душе. Глядя отцу в глаза, я по-взрослому зло выпалил:

«Не посмеешь!»

Отец отступил на шаг.

«Вдарь его!» — крикнула тетка Дарья, и отец снова шагнул вперед.

Но я уже ухватился за вожжи. И то ли отец не очень крепко

держал их, то ли обида прибавила сил, но вожжи оказались у меня. Тетка стояла рядом.

«Вдарь!» — запоздало крикнула она.

И я, развернувшись, огрел ее по плечам. Тетка выскочила со двора, я — за ней. Она бежала через улицу в свою хату, крича, завывая, но вожжи все-таки достали ее еще пару раз пониже плеч.

И знаете, отец в тот день не тронул меня. Может, он в душе и доволен был, что его злая, жадная сестра-подстрекательница получила сдачи.

Весной меня отдали к кулаку Зенченке пасти гусей и свиней. Это великолепное стадо я пас вдвоем с Яшкой Барсуковым. Он был на год старше, чуть знал грамоту и носил за пазухой букварь. Пока гуси и свиньи наслаждались раздольной жизнью, мы устраивались в тени, предаваясь высокой науке. Яшка рисовал палкой на земле буквы, а я должен был называть их — обычный деревенский способ обучения грамоте. Я произносил буквы громко, нараспев, наслаждаясь самими звуками — то звенящими и тонкими, словно сыгранными на пастушечьей дудочке, то протяжными и гулкими, будто они вылетели из басовой трубы, то раскатистыми, как удар по барабану. Сперва я долго не мог понять, почему некоторые буквы произносятся как две, а пишутся как одна. А еще дольше я не умел складывать их в слова, хотя весь алфавит держал в памяти.

Осенью и зимой я продолжил свое образование. У поповны. Она слыла ученым человеком в Лютом. Получала книги из города. Говорила в нос, картавила, и это тоже считалось признаком ее учености. Нас было несколько одногодков, обучавшихся у поповны. Матери отрабатывали ей за это на огороде и в поле. В комнате, где мы занимались, было сыро и нетоплено. Наставница сидела, закутавшись в черный пуховый платок, так что торчал только ее длинный, острый нос. Склонившись над букварем, я первое время боялся, что поповна тюкнет меня своим твердым, как у дятла, носом по темени. Но она пользовалась другим орудием наказания за ошибку — линейкой, ребром по руке. Позже-то я прочел в книгах о злых учителях, что это не ею придуманный способ. Поповне он доставлял, видно, особое удовольствие. Потому что, когда не было повода для удара, она мрачнела, а как только ошибешься — перекладинку у «Н» скривишь или произнесешь «Е» как «Э», — она расплывалась в улыбке и, медленно занеся линейку и так же медленно поворачивая на ребро, вдруг стремительно, как хлыстом, стегала по запястью. После каждого занятия можно было сосчитать, сколько раз ты ошибся — по красным полосам на

руке.

Такого обучения не всякий мог выдержать — к весне у поповны остался единственный ученик. Им был я, судя по этому факту, мальчишка терпеливый. Дорвался до грамоты… Но весной мать сказала: «Хватит, ученый…» Я в рёв, она повторила: «Хватит!» И пинка дала. Теперь-то я понимаю: при том, как она трудилась по дому, ей была конечно же невмоготу еще и отработка поповне. А тогда желание учиться все мне застило, и я кинулся к отцу с жалобой, хотя и знал: он ни в чем матери не перечит. Так и было, он сказал: «Повремени, сынок». И я вернулся зареванный к своему стаду, к гусям и свиньям.

Мать, естественно, жалела меня, только вида не показывала. И первая же обрадовалась предложению Марии Климентьевны. Это была жившая в селе преподавательница из местного благотворительного училища. Мать ходила к ней по вечерам прибираться, мыть окна, стирать. Иногда и меня прихватывала помощником. И вот Мария Климентьевна, узнав о моем горюшке, предложила матери отдать меня в училище. Учебный год к концу, но она обещала похлопотать перед директором. Хлопоты были успешными, я возликовал. И вдруг мать снова сказала: «Не убудет тебя, пойдешь с осени». Вообще-то понятное дело, с ее стороны, мой заработок у старика Зенченки не был в дому лишним.

Матери я подчинился, но и в благотворительное училище нашел лазейку, в прямом смысле лаз проторил.

Совсем ранним утром, на рассвете — первые петухи уже кончали петь, а вторые лишь собирались, — я, размахивая длинной, упругой хворостиной и прислушиваясь, как свистит она в утренней тишине, отгонял стадо на дальнюю лужайку. Сперва пас в одиночку и, не теряя времени, готовился к урокам в училище. Дома я скрывал, что бегаю на занятия, пробираясь задними дворами. Стадо не оставалось без присмотра, его пасли прибегавшие мне на смену маленькие ребятишки. У нас сговор был. Я обещал им, когда вырасту и стану богатым, подарить каждому по мешку с горячими бубликами. Точно помню: только с горячими… После уроков я тем же путем возвращался к стаду, пересчитывал его и гнал в село.

Расписание было отработано, сменщики меня не подводили, вахту несли безупречно. Беда обрушилась вдруг под самый конец мая. Вернувшись с занятий, я недосчитался трех гусенят. Мои пастушата сидели на взгорке тихие, грустные, боязливо глядя мне в глаза. Высоко в небе кружили ястребы. Я погрозил похитителям кулаком, выругался по-мужски и бросился в соседнее стадо. Схватил трех бродивших в кустах гусенят, зажал им рубашкой головы, чтобы приглушить гоготанье, и тут же вспомнил, что

владельцы метят домашнюю птицу: кто вырезает на лапках две перепонки, кто три, а кто просто капает на гусиные макушки воск. У Зенченковых гусей вырезаны три перепонки, а у этих, краденых, две. Старик сразу обнаружит подмену. Что делать? За пазухой у меня был ножик, вытащил, приступил к операции. Ассистентами — пастушата мои, одному бы не справиться. Гусенята бились в руках, щипали клювами ладонь, судорожно вытягивали шеи, пытаясь вырваться, но дополнительного клейма не избежали. Я разрезал у них на лапках по третьей перепонке, приобщив таким кровавым способом к своему стаду, и погнал его к Зенченке во двор. Хозяин сосчитал сперва свиней. Он считал, как всегда, медленно, шевеля губами, загибая пальцы. Я облокотился на крыльцо в позе человека, равнодушного ко всему происходящему вокруг. Безразлично поглядывал поверх забора. Потом старик пересчитал гусиную компанию — все на месте. Я уже собрался сматываться, как вбежала соседка, кинулась к гусям, нагнулась, стала ощупывать всех сбившихся в кучу гусей, вскочила, запрокинула голову и завопила:

«Подме-е-е-тили!»

Я прошмыгнул в полуоткрытую калитку и был таков.

Зенченко предъявил нашей семье иск. Он требовал уплаты — полтора рубля за гусенка, четыре с полтиной, значит, за всех. «Дешево отделаетесь…» — сказал. Но денег таких не было. Предстояло в счет иска сорок пять дней боронить, пахать и молотить на кулака. Или он грозился отнять у нас единственную коровенку. Первый раз я видел мать плачущей…

«За что мне это? — жаловалась сквозь слезы. — За какие грехи перед богом?..»

Лучше бы уж отколотила…

«Мама, — сказал я, — не плачь. Все отработаю!»

Сказал это и почувствовал, что силы во мне прибавилось.

Я нанялся к Зенченке в работники, в батраки на весь сезон. Он меня сразу впряг в самые тяжелые мужицкие дела.

В то лето появились плуги с дышлом. Я ходил за плугом по полю, то поднимался в гору, то спускался к оврагу, двигался взад и вперед, прибавляя борозду за бороздой. Менялись тени от солнца, росли, перемещались, становились меньше, а я все ходил и ходил, рубашка из белой делалась пепельно-серой, я заглатывал стекавший со лба соленый пот, ноги, руки, плечи — все деревенело. А Зенченко лежал в кустах, сосал трубку и приговаривал:

«А ну-ка еще одну бороздку, малец… И еще одну…»

Земля была рыхлая, пахучая. К вечеру я пьянел от работы и

запахов земли, шел домой покачиваясь, ничего не видел, ничего не слышал и ничего не понимал. А ночью снились плуги, они громоздились друг на друга, и этот столб из плугов доставал до туч, разгонял их, лез выше, закрывал солнце, ложилась темь, плуги качались, скрипя, в темноте, вот-вот вся эта пирамида развалится, и самый верхний плуг заговаривал неожиданно басом, голосом Зенченко: «А ну-ка еще одну бороздку…» Я просыпался — рассветало, запевали петухи, нужно было спешить в поле.

Осенью, на молотьбе, Зенченко и сам работал. Мы проходили по каждому ряду дважды. Первый раз оба били цепами, во второй — хозяин, я не мог — сил не хватало — и только переворачивал снопы. После молотьбы падал на сено и, кажется еще не приземлившись, засыпал… Я заработал за лето и осень семь рублей пятьдесят копеек. Четыре с полтиной старик удержал в счет гусиного долга и выдал мне торжественно трешку. Он растрогался от собственных щедрот и к деньгам прибавил еще… и тумака. Но это был, можно сказать, поощрительный тумак, от широкой души.

Заработок я нес домой в крепко сжатом кулаке, и кто бы ни напал, никакому силачу не вырвать бы у меня этих денег, разве только вместе с кулаком… Мать сшила мне шерстяную гимнастерку с золочеными пуговицами вместо льняной рубахи, много раз латанной и крашенной. Отец стачал сапоги взамен своих старых, изживших век, которые я носил и в которых ноги болтались, как в корыте. Гимнастерки и сапог хватило на пять лет, держались бы и дольше, если б не вырос. Гимнастерку я надевал лишь на праздники, сапоги чаще — в училище, а по дороге на занятия и с занятий домой сбрасывал, вешал через плечо, берег, бегал босиком. В нынешнем своем командармском качестве я, как понимаете, босый не хожу, но привычка сберегать одежду и обувь сохранилась во мне, и я не считаю ее худшей из своих привычек.

Итак, я продолжал свою учебу в благотворительном. Это было трехклассное училище. Все уроки, кроме закона божьего, вела в нашем классе Мария Климентьевна. О, как бы мне хотелось сказать такие слова о ней, чтобы все увидели и услышали эту прекрасную учительницу, как я вижу и слышу ее через столько лет!.. Помните, я рассказывал о мешках с горячими бубликами, обещанными мною ребятишкам, которые подменяли меня на пастушечьем посту. Но я не объяснил, почему именно горячие бублики я сулил им как высочайшую награду. Да потому, что за такими чудесными бубликами для учителей посылала меня Мария Климентьевна на больших переменах к булочнику. И тот

постоянно давал мне лишний бублик, и не по доброте своей, как я думал сначала, а за дополнительную плату, внесенную заранее Марией Климентьевной, как я узнал позже. И получал я еще один теплый, хрустящий на зубах и таявший во рту бублик, который всегда почему-то оставался после учительской трапезы. Первый я съедал в училище, а второй относил домой младшим братишкам и сестренкам. Они завидовали моей «богатой» жизни, и этот уже остывший, но все еще хрустящий и таявший во рту бублик создавал мне дома немыслимый авторитет среди малышни.

Я учился хорошо, особенно преуспевая по далеким друг от друга предметам — истории и арифметике. Похвастался, сказал вам об этом и ощутил вдруг через сорок лет внутреннюю гордость за мальчишку, которому ох как трудно приходилось в жизни, а учился вот хорошо, опережая сытеньких. Мария Климентьевна говорила на уроках, ставя меня в пример лодырям и тупицам: «Гляньте, руки у Павлика в мозолях и ссадинах от работы в поле, дома, а почерк какой красивый!..» Кончил я трехклассное, и безумно захотелось — дальше. А куда? В Новозыбкове, уездном городишке, существовало училище с шестилетним курсом обучения, туда требовалось держать экзамены. Я — к матери. Слышать не хочет: «Вон чего задумал! Отличаешь пятак от трешника, и ладно. Семье работник нужен, а не писака…» Я — к Марии Климентьевне, в которой уже ощутил своего доброго гения. «Ты будешь учиться, — сказала. — Приходи ко мне по вечерам, подготовимся к экзаменам. Выдержишь, а там мы как-нибудь уговорим уж мать…»

Два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям — я приходил к Марии Климентьевне, и мы занимались до полуночи. Маленькая, с низким потолком комната, освещенная керосиновой лампой, была в полутьме. Окно зашторено, и эта занавесь как бы отделяет, отсекает спокойный, находящийся в неподвижности комнатный мир от того, заоконного, с Зенченковым стадом, с семейными невзгодами, с батрацкой долей, неустойчивого, тревожного мира. Но не напрочь отделяет, соединительной с ним нитью струится сквозь прорезь в шторах трепетный лунный свет. Вместе с колеблющейся, причудливо изогнутой тенью от лампы он напоминает о каком-то движении жизни, в которую я вернусь отсюда.

А пока передо мной тяжелый резной книжный шкаф, дверцы его распахнуты, и я могу взять любой из томов, провести ладонью по переплету, по корешку, наслаждаясь таким прикосновением, могу пролистать страницы, вслушиваясь в их шелест и тоже ощущая от этого чисто физическое удовольствие, могу, наконец, читать, читать, читать и, читая, узнавать о новых книгах, о новых

сочинениях, властно притягивающих к себе. Это радовало меня, но и огорчало. Радовало потому, что книги стали таким утешением в моей жизни, которого уже никто не мог лишить меня. Огорчало, даже мучило то, что за каждым прочитанным томом выстраивались в очередь ко мне, теснились, просились в руки книги непрочитанные, а разве мог я их все осилить? Эта череда была бесконечной, не знающей предела, разветвленной во все стороны человеческих знаний… Ощущение некоего бессилия перед гигантской горой, которая все возрастает и возрастает, покуда ты карабкаешься к ее вершине, не покидало меня всю жизнь, да и нынче при мне.

Неласковость ко мне жизни не сказывалась, видно, на здоровье. Помню себя парнишкой жилистым, в крепкий узелок завязанным. На кулачках биться по зряшному поводу не любил, а постоять за себя был способен. Не простужался, животом не маялся, заразные болезни тоже не приставали. Ноша, возлегшая на мои мальчишечьи плечи, была бы и иному взрослому не под силу. Я оказался фактически основным работником в семье, заступившим место отца, который с его тяжелой контузией на русско-турецкой то и дело выбывал надолго из строя, в постель ложился. А матери я облегчал весь ее труд по дому, в хлеву, в огороде, в поле. Я еще и с мужиками в луга уходил на косьбу — за двенадцать верст от села, у реки. В тот год травы выдались на диво высокие, густые — не раздвинешь, места им до горизонта не хватало, уходили за горизонт. Мы косили рядами. Я шел, раз уж взялся, в одном ряду с мужиками, думая лишь о том, как бы не отстать, как бы не оставить позади нескошенной травы. Шел мах за махом, не останавливаясь, слегка пригнув спину, чувствуя, как намокает, тяжелеет от пота, липнет к телу горячая рубашка, и хочется скинуть ее, уткнуться в траву, зарыться с головой, забыться. И вдруг прохватывает ветерком, и, хотя касание его мимолетно, рубаха уже не тяготит, руки задвигались быстрее, ноги — ходче. Можно снова шагать мах за махом, не останавливаясь и не отставая от соседа. Косцы работали молча, слышалось только жиканье кос да шелест срезанной и падающей травы.

Много позже, скажу вам, я прочитал описание косьбы у Льва Толстого в «Анне Карениной». Помните Левина, вышедшего в луга вместе с мужиками? Прочел я и подивился точности описаний, схожести ощущений — своих и переданных писателем. И теперь мне трудно определить — что в моем рассказе о давней косьбе от собственной памяти, а что от Толстого. И не судите меня за это…

Внезапно все косцы враз остановились, повинуясь чьей-то

неслышной команде, отерли косы травой и начали точить их. Остановился и я, отер косу пучком травы, прижал рукоять к плечу, левой рукой придерживаю, а правой зажал брусок и вожу им, копируя движения соседа. И вдруг рука с бруском, не подчиняясь мне, соскальзывает, указательный палец касается острия, короткая, пронизывающая боль, руку словно пламенем обдало, кровь брызнула на рубаху, на рукоять, коса качнулась, упала и, падая, полоснула по ладони, по бугорку большого пальца, крови прибавилось, во рту — едкая горечь, круги перед глазами. Ряд, в котором я шел, сомкнулся, не оставляя мне места, и мужики, все так же молча, двинулись дальше. Но это не было с их стороны безжалостным поступком, просто они, не ахая, не вздыхая по поводу моей раны, высвободили парнишку от косьбы, а взрослый, наскоро перевязав рану, продолжал бы с ними косить… Я, разорвав рубаху, обмотал лоскутом ладонь и побрел вдоль луга в село. Домой не пошел, а прямо к Марии Климентьевне. Она сидела у окна, на подоконнике книга, читает. Увидела меня, захлопнула книжку, бросила в ящик стола. Мелькнула помятая зеленая обложка, а названия я не разглядел.

Мария Климентьевна обмыла мне руку, залила йодом — я волчком вертелся от боли, — перевязала. Она была в необычном для себя рассеянно-задумчивом настроении, вернее, я ее такой еще не наблюдал. Собственно, я ничего не знал про мою учительницу — кто она, откуда появилась в Лютом, какой жизнью жила прежде. Так вот, она показалась мне иной, чем обычно. А возможно, это и было ее подлинным состоянием, которое, занимаясь со мной уроками, она приглушала в себе. Забинтовав рану, сказала неожиданно, как бы продолжая свой внутренний разговор со мной:

«Вырастай, Павлик, побыстрее…»

«Я и так вон какой», — сказал я. В самом деле вымахал детинушка, хоть в солдаты…

«О другом я, — сказала Мария Климентьевна и повела меня во вторую комнату, где стоял платяной шкаф с зеркалом во всю дверцу. — Глянь на себя, Павлик».

У нас в избе зеркал не было, имелся у матери осколок с ладошку, девчонки в него смотрелись, а мне, мужику, чего глядеться, разве лишь после бани, угри со лба выдавливая. А вот так, в полный рост, всего себя я увидел впервые. Взгляд вмиг охватил и слипшиеся на лбу волосы, грязные дорожки на щеках от стекавшего пота, черные запекшиеся губы с белыми пузырьками в уголках, и рваную, разодранную рубаху с двойными заплатами на боках, которая вылезла из штанов, оголив полоску живота, штаны, из которых ноги, покрытые царапинами и

синяками, тоже давным-давно вылезли. Все это, и раньше виденное мною, но как-то в отдельности, не враз, а теперь слившееся в единый печальный облик, заставило меня вздрогнуть и отшатнуться от зеркала… Не знаю, в тот момент или позднее в мозгу забилось, запульсировало: почему? Почему я такой? И не давало долго уснуть ночью: почему? Почему Мишка Зенченко щеголяет в новом пальто, в красивой фуражке с медной бляхой, а у меня нет такой одежды? Почему отец ни в хозяйстве, ни в коробейничестве ничего так и не накопил? Почему мать в сорок лет глядит старухой? Почему?.. Почему?.. Почему?.. И почему я так поздно спохватился задавать себе эти «почему»? И даже Марию Климентьевну возле зеркала не спросил. Она-то наверняка знает — почему.

В конце августа я сдал экзамены в городское училище. Предстояли переговоры с матерью, которых я страшился. Их провела Мария Климентьевна. Сказала, что вступительный взнос — 10 рублей она заплатит, а потом Павел будет и учиться и работать, парень он сильный, толковый, доказал же, что его хватает и на работу, и на занятия, докажет и дальше. Мать, к моему ликованию, дала на этот раз согласие без особых уговоров, а отец — как мать решила… Я поступил в Новозыбковское шестиклассное и одновременно на местную спичечную фабрику — клеить коробки́. За тысячу коробков полагалось двенадцать с половиной копеек. Я наловчился склеивать эту тысячу за три часа. Мать была довольна моим заработком, и я мог спокойно заниматься. Посещая училище, я не забывал Марии Климентьевны. Каждый свободный вечер я проводил у нее. Я узнал, какую книжку читала она в тот день, когда я пришел с пораненной рукой. Я прочел эту брошюру в зеленой обложке, она называлась «Коммунистический манифест» и ответила на многие мои «почему».

Однажды я застал свою учительницу не в рассеянно-задумчивом настроении, в котором уже заставал ее не раз, а, наоборот, в возбужденно-сосредоточенном состоянии, как это ни странно звучит. Да, она была возбуждена, и это отражали ее блестевшие, как при температуре, глаза и обычно редко проступавший на щеках румянец. Но в то же время чувствовалась и сосредоточенность на чем-то, подчинившем себе все ее мысли, все ее волнения.

«Павлик, — сказала она, — народ поднимается… Бастуют Москва, Петербург, бастует близкий к нам Минск. Я тебе обо всем расскажу. А сейчас возьми вот это».

Она протянула мне завернутый в газету сверток, и я ощутил

легкий шелест листков, отличный от шелеста травы, к которому я привык.

Еще одно попутное замечание. Эпизод, к которому я приступаю, может показаться тривиальным. Но что поделаешь, если я начинал, как начинали сотни, тысячи солдат революции, а собрался рассказывать об этом позже других.

«Это листовки, — сказала Мария Климентьевна, — прокламации. Их надо расклеить по городку, где сможешь. Возле фабрики побольше, погуще. Будь осторожен. Я доверяю тебе… Вот банка с клеем, кончится, выбросишь… Ты же у меня специалист-склейщик, — добавила она шутливо и повторила серьезно: — Будь осторожен!»

От Лютого до уездного Новозыбкова версты три — моя ежедневная недальняя дорога. Пока шел, стемнело. На окраине стонала гармошка, пьяный голос пел: «Славное море, священный Байкал!» И гармонь и певец удалились, смолкли. Городок погружался в темь и тишь: гасли окна, запоздало, не получив отклика, пролаяла собака… Люди засыпают, подумал я, и не ведают о листках, свернутых в трубочку у меня на груди. Вглядываюсь в темноту, словно в силах увидеть кого-то в этом мраке. Как назло, не горят фонари, в их тусклом свете я бы обнаружил, если кто вдруг появится. Постой, но и тебя бы разглядели. Хорошо, что не зажжены почему-то фонарщиками, это мне на руку. А вот луна вывалилась из-за облака не вовремя… Вовремя! Положила световое пятно между окон кирпичного особняка — купец живет. И я быстрым движением выхватил листок из пачки, мазнул клеем и припечатал к степе в самый лунный след. Действительно, пригодилась склейка спичечных коробков — управляюсь мигом, точно, в два-три приема, и листовки послушно ложатся меж окон, на столбы, на забор, на афишную тумбу. Глаза приобвыкли к темноте, слух чуток. Впереди — скупо освещенный корпус нашей фабрики, крадусь вдоль забора, приближаясь к проходной. Использовал здесь весь оставшийся запас листовок, будет что почитать утром идущим на работу людям. Нет, одну приберег для себя. Я ведь еще не знаю, что в этих прокламациях, только догадываюсь, некогда было читать, дома тайком прочту… Но, возвращаясь домой, и остатнюю пришлепнул. Хата Зенченки — на пути через село, не удержался от соблазна. Вот будет рожа у хозяина, когда узрит мой ночной подарок на окне, — к стеклу приклеил, истратив последние капельки со дна банки, а банку Зенченке же во двор и забросил.

В нашей хатенке свет горит, лучина зажжена. Это — неожиданность. Не спят? Вхожу в сени, храп слышу. Но отец не спит, сидит за столом одетый, причесанный. Ждет меня: так поздно я еще не приходил.

«Где шлялся?»

«У дружка с фабрики был».

«Врешь поди. Чего руки прячешь? Покажь».

А на пальцах корочки засохшего клея.

«Это мы коробки́ дома клеили. Впрок…»

Не допытывается больше. Понял, что все равно правды не скажу. А может, поверил.

Я заснул, едва прикоснувшись к тюфяку, как после косьбы. И стук в дверь на рассвете разбудил меня позже всех. В хате зашевелились, заерзали, задвигались.

«Открывай!» — голос из-за двери, мне незнакомый, а отцу, похоже, известный.

«Открой, шельмец…» — говорит.

Шлепаю босой через сени, отодвинул задвижку: пристав, два жандарма — в званиях я разбираюсь, — и меж них торчит унылая фигура старосты Никанора. Обыск? Бежать? А куда и зачем? Им нечего находить — последняя у Зенченки… Пристав идет в горницу согнувшись, чтобы не задеть притолоки, — во длиннющий. Кажется, вот-вот разломится пополам и по хате будут ходить два пристава — один с головой, другой без оной. Когда он нагибается, его огромные закрученные усы повисают в воздухе — хочется ухватиться за них и подтянуться, как на гимнастических кольцах. Эта идея веселит меня, и я окончательно успокаиваюсь. А отец по старой солдатской привычке вытягивается перед приставом, руки по швам, во фрунт.

«Что прикажете, вашбродь?»

Из-за спины пристава высунулся староста Никанор. Лицо с черной повязкой — сколько помню, вечный флюс у него, даже жаль человека: будешь унылый при таких зубах.

«Отойди, Василич, — говорит он отцу. — Твое дело покамест пятое».

И отводит отца за плечи к окну. Молчит батя. Душа-то у него гордая, я знаю. И вижу, как услужливый, послушный солдат уступает в нем место солдату, который никого не страшится, готовый в бой. Как так: в его хате, и пятое дело! Ввалились чужие люди, распоряжаются его вещами, передвигают его скамейки, лезут в подпечник, громыхают ухватами и сковородами. Вот они высыпали содержимое из сольницы, перелили молоко из бидона в бидон, перевернули рогожку на полу. Поднялись на полати, скинули с лежавших там и заревевших ребятишек тулупы, деду

велели слезть с печи, тот заворчал, обозвал пришельцев «бисовыми детьми», но слез, перекрестился и снова залез. А мне уже совсем-совсем не боязно. Смотрю на неуклюжего пристава, который спотыкается, задевая длинными, стрекозиными ногами то лопату, то квашню с тестом, то ведро с водой; на старосту гляжу, как левой рукой шарит по стенкам, по щелям, а правой ежеминутно хватается за больные зубы; на жандармов, которым вот так уж надоел весь этот зряшный обыск, и один подмигнул мне сочувственно, ведь и у жандармов бывает что-то человеческое на самом донышке души. А отец все молчит. Я знаю цену этого молчания, знаю и боюсь за отца. В такие минуты он неподвластен никому, даже нашей матери… Так и есть, рванулся к приставу. Когда тот подошел к сундуку-укладке и хотел поднять крышку. «Не трожь!» Эта укладка была в доме неприкасаемая, в ней лежала праздничная одежда отца. Он с силой дернул пристава за рукав, но тут же был отброшен жандармами к двери, ударился о косяк и сполз на пол. Пристав вытащил из сундука пересыпанные махоркой пиджак, жилетку, зарылся в домотканое белье, ничего не нашел, плюнул, еще раз перебросил все с руки на руку, отшвырнул и, показав отцу кулак, вышел из горницы. За ним — вся свора… Отец тяжело поднялся и — ко мне, я не успел отпрянуть, он начал меня трясти:

«Ты?»

Вся подступившая в нем к горлу злоба против пристава, жандармов, старосты, этих охранителей ненавистного ему порядка, выплеснулась, опрокинулась на сына.

«Ты?»

Он тряс меня, то прижимал, то отпихивал, но не выпуская из рук, я бы мог вырваться, я был уже сильнее и все же подчинился его силе. Он не понимал, что произошло за пределами его дома, что искали в его доме и продолжал допытываться:

«Ты?»

И тогда я выбросил ему в лицо:

«Ну, я!.. Я!.. Я!..»

В этом ничего не объяснявшем крике тоже была вся накопившаяся в груди ненависть, все мои «почему». И отец расслабил руки, выпустил меня, отступил. Во второй раз в жизни. В первый, помните, когда я хлестал тетку…

В училище у меня появился приятель, его звали Марик, Марк Генкин. Чуть не половину населения Новозыбкова составляли евреи, по преимуществу ремесленники, владельцы лавчонок, были и побогаче, была и голь перекатная. Семья Генкиных — среднего достатка, но чем именно занимался ее глава, не помню.

Как не помню, на какой основе сблизились мы поначалу с Мариком. Представьте себе деревенского детинушку, рослого, сильного, привычного к любой мужицкой работе, создавая которого природа не прибегла к особо тонким инструментам — можете убедиться, вот он на единственной сохранившейся с того времени фотографии, — ширококост, широколиц. И по плечо ему был, хотя и на год старше, худенький, нервный, быстрый в движениях, в сообразительности, в речи, тонкий, изящный юноша; жаль, не осталось снимка, а вероятно, кем-нибудь и хранится, все не соберусь разыскать… Так вот, не помню, что́ нас потянуло друг к другу. Вернее сказать, не знаю, что́ во мне привлекало Марка, а меня-то к нему — несомненно, начитанность. Я к той поре тоже уже немало прочел, но с Марком состязаться не мог и был снедаем неприкрытой завистью: про какую книгу ни скажешь, он ее знает, читал. И вообще неизвестно, когда приобщился к печатному слову, столь давно это было. Шутил, что мать, пеленая его, одновременно обучала грамоте. Кстати, она была подругой Марии Климентьевны…

А о Марке говорили, что он каким-то образом связан с Савицким. Это у меня так отложилось в памяти: говорили… Вряд ли шел говор в открытую, громко. Савицкий считался государственным преступником: за его поимку было объявлено большое вознаграждение — кажется, 3000 рублей золотом. Он командовал партизанскими отрядами на Черниговщине, которые жгли и уничтожали помещичьи усадьбы, раздавая добытое в них добро крестьянам. Савицкий со своими сподвижниками скрывался в лесах; к нему стекалось пополнение со всей губернии, да и из соседних. Действия его отрядов были всегда неожиданны, стремительны и результативны. Матери из бедных семей рассказывали о нем легенды детям, как о герое, несущем людям благо, в богатых же домах детей пугали его именем… Связь с таким человеком была, естественно, криминальной, и до меня мог докатиться только потайной слушок. Он носил, скорее всего, предупредительный характер: остерегайся, мол, Генкина, он связан с Савицким. И я наверняка отмахнулся: что за ерунда? Марик, витающий в книжных облаках, и бородатый — непременно бородатый — партизанский командир, громящий и даже, говорят, убивающий помещиков? Быть не может. Но вы уже догадываетесь, что я ошибся.

Я часто приходил к Марку за книгами, которых у него было еще больше, чем у Марии Климентьевны. Но, в отличие от нее, он не очень-то, надо сказать, любил выпускать книги из дому. Говорил, что растаскивают, что некоторые из знакомых считают за доблесть взять томик и не вернуть. Я же, аккуратно возвращая

все взятое, вошел в доверие и то, чего не находил у Марии Климентьевны, получал у Марка. Вот и в тот вечер я забежал к нему, помнится, за томиком стихов Гёте. О том, что я зайду после работы, мы условились еще в училище, и мой приход не был для Марка неожиданным. Неожиданность ожидала меня: в комнате возле книжного шкафа стоял незнакомый мне человек, молодой, ну лет на пять старше хозяина, не больше, а стало быть, немногим старше и меня, в студенческой тужурке (позже я узнал, что он исключен из Петербургского университета), которого мое появление тоже не удивило, похоже, он поджидал его, потому что сразу протянул руку и назвался:

«Савицкий…»

Странное дело, но и я не удивился этому, хотя, как уже сказал, не мог себе прежде представить дружбы Марика с легендарным партизаном. Правда, с таким, как он рисовался в моем воображении: здоровенным, бородатым, со шрамом на лбу, с револьвером на поясе. А этот был из нашего ряда, что ли, обыкновенный юноша, светловолосый, с мягкими чертами лица, с добрыми глазами, — знаю-знаю, вы скажете на это описание: тоже штамп, вроде партизанской бородатости. Но у него действительно было такое лицо и такие глаза. Про глаза, чтобы вы окончательно обвинили меня в пристрастии к штампу, скажу: вместе с добротой в них проглядывало и нечто жесткое, стальное… Протягивая встречно руку, я все же оглянулся на прислонившегося к белой кафельной печи Марка, как бы ища у него подтверждения услышанному.

«Савицкий, Савицкий», — сказал Марк.

«А я Дыбенко, — сказал я Савицкому. — Дыбенко Павел…»

«Ефимович, — продолжил он. — И мне известно не только ваше отчество».

Что он знает обо мне? Что говорил ему Марк? Я был в этот момент обижен на него, на Марика, он чувствовал это и виновато улыбался. Хорош друг, думал я, Савицкому нарассказывал, а от меня все скрыл. И я решил показать Савицкому, что я тоже кое-что знаю о нем.

«А вы не боитесь находиться в Новозыбкове? Ведь вас и тут, и в окрестностях ищут».

«Сегодня меня ищут в Чернигове. Как вы думаете, найдут?»

В его говоре слышался одесский налет. Он сказал, угадывая мои мысли, чтобы я не сердился на Генкина: конспирация; такое слово я знал. Следовало приглядеться, перед тем как договориться. И в подтверждение доверия предложил мне вступить в… отряд Генкина. Вот это уже ошеломляющая новость: Марк — командир одного из отрядов! Когда и где он успел его

набрать? Мне называют несколько имен, и изумление мое на пределе. Это все ребята из Лютого, из соседних Больших и Малых Боровичей. Петя Самойлов? Сын солдатки, гармонист и весельчак. Никифор Бутенко? Господи, напарник мой, пастух у Зенченки. Сергей Ковтун? Лучший в округе охотник — тогда не было термина — снайпер, а он был по всем статьям сверхснайпер, зверя бил, что называется, за горизонтом, — молодец Марк, что вовлек такого парня. Ваня Быстров, Мишутка Пахомов, Николай Демидов — да я их не раз на дню встречаю, а поди ж, никто ничего не сказал. Но и я ведь не скажу, пока не свидимся в деле… А оружие, нужное для дела, есть? Восемнадцать винтовок и ружей, четыре обреза, топоры, вилы. Не пустяковый арсенал. Где все это? В лесу.

Савицкий взглянул на часы, накинул на плечи длинный серый плащ, поднял капюшон.

«Прощайте, — сказал, протягивая обе руки. — Прощайте! Не скоро я буду в Новозыбкове…»

Марк прошел за ним в переднюю, они там задержались, тихо-тихо говорили, и я уже не обижался, втянутый в конспирацию, понимая, что не ко всему могу быть допущен. Услышал лишь последнюю фразу Савицкого: «Не теряйте времени…» — и не услышал, как закрылась за ним дверь. Марк вернулся в комнату, и наступила минута, когда мы не знали, что́ говорить друг другу. Наши отношения враз приобрели иное качество: Марк Генкин становился моим командиром.

«Завтра в полночь, — сказал, точнее, приказал мой командир, — мы встречаемся всем отрядом на Кудеяровом холме».

Я ушел, забыв про Гёте, и удивительное опять же дело: ночь проспал, не просыпаясь, без сновидений, спокойно, как младенец, не причастный ни к каким треволнениям мира.

В училище на другой день мы, в отличие от обычного, держались подальше друг от друга, от соблазна пошушукаться, а если и сходились невзначай на перемене, болтали о том о сем, только не о вчерашнем. Эта предосторожность исходила прежде всего от Марка, который молча на корню подрубал всякую мою попытку хоть намеком коснуться наших — теперь уже наших! — отрядных дел. Для меня переход от свободной, открытой жизни к подполью, к строго хранимой тайне произошел внезапно, без серьезной внутренней подготовки. Мелькнула, правда, расклейка листовок, и все же в этом новом своем состоянии я еще как следует в душе не утвердился… Мне о многом хотелось расспросить командира. Например, есть ли в отряде еще кто-

нибудь из училища. Но Марк уже взглядом перехватывал мое желание, я спохватывался, брал себя под уздцы, молчал иди заговаривал о чем-то постороннем. Отныне все не касающееся отряда было посторонним… Я знал из книг, что при таких скрытных рандеву, — у Дюма я часто встречал это слово, — как назначенное на Кудеяровом холме, сговариваются о пароле. Какой на сей раз пароль, мне вчера не сказали, а я не решался спросить об этом Марка. И вдруг он сам, когда мы уже расходились после занятий, бросил, пробегая мимо и не глядя на меня: «Три раза свистнуть…» Я понял, что это пароль, но он показался мне слишком уж простеньким, примитивным. Лучше бы для верности применить, скажем, начало фразы. А в ответ — ее окончание, или строчку из малоизвестного стихотворения, в ответ — следующую строку. А если пароль должен прозвучать на большое расстояние? Орать за полверсты, декламировать? Пожалуй, правильно: три раза свистни, как Дубровскому подавали знак его «разбойники». Так я рассуждал про себя по разным поводам, связанным с предстоящей встречей, не в состоянии думать в этот день ни о чем ином, делая все — и в училище, и по хозяйству — механически, весь устремленный на Кудеяров холм, весь в ожидании условленного часа, полночи.

И вот она приближается. Подошла пора сматываться из дому, сделать это незаметно нельзя, надо так, чтобы не вызвать подозрения. Поздние мои возвращения из Новозыбкова стали обычными, а вот поздний выход из дому… Куда? По какой причине? Беру в сенях фонарь со свечой, вышел во двор — мать идет из хлева с подойником.

«Дров, Паша, наколол?»

«Ага, — говорю, — наколол, на неделю хватит».

«А сейчас куда?»

«На вечерку…»

Это правдоподобно — час подходящий, а позднее бы уже не поверила. Да и не очень-то соврал: тоже ведь вечерка, полагаю, предстоит, разве что без гармошки, без песен… Вышел загодя, хотя на Кудеяров не так уж далеко от деревни — трактом к реке, через поле, а там и опушка открывается, лесом, холм в лесу, за ручьем. Иду не торопясь, главное, из дому выбрался благополучно. День отстоял жаркий, а к вечеру вот, как и обыкновенно в наших краях в августе, резко похолодало, ветер поднялся, не зря надел я сшитую матерью, помните, шерстяную гимнастерку с золочеными пуговицами — они поблескивают в лунном свете. В лес вышел — еще холоднее, зато безветренно. Зажег фонарь — не задуло, и путь мне освещают две луны — с неба и которую несу в руке. Вот и ручей, он довольно широк,

прыгая, чуть зачерпываю башмаком воду. Впереди — пригорок, густо заросший кустами. Это и есть Кудеяров холм, место встречи. Свищу. Три раза. Никто не откликается. В чем дело? Я что-то перепутал? Не сразу догадываюсь, что просто пришел первым, раньше времени. Так что некому отзываться на мой свист, а мне на чей-то. Странный звук возникает слева от холма. Не ветка хрустнула, не птица пролетела, и не вода стучит о камень. А вот как трава шуршит под граблями. Но кто же в такой час с граблями в лесу? Кажется, шаги. И не шаги — шарканье. Кто-то идет, почти не подымая ног. Ложусь на землю, прислушиваюсь. Три раза тихо свистят. Отзываюсь так же тихо. Луч моего фонаря спотыкается в темноте о такой же, они вступают в единоборство, мечутся, перекрещиваются и вдруг сливаются в одну световую волнистую дорожку, которая соединяет меня с человеком, вышедшим из-за деревьев. Он в длинном плаще с капюшоном, как у Савицкого, и похож на Савицкого. «Ты уже здесь?» — говорит он, и это голос Марка. В окружении ночного леса, в трепетном, неверном свете фонарей он кажется и выше и плечистей. За плечом винтовка. Протягивает мне из-под плаща обрез… Свистят. Три раза. Снова свистят три раза. И еще и еще. И к нам на ответные сигналы поднимаются на холм люди. Все с оружием — огневым и холодным. Я узнаю их: с обрезом, как у меня, Никифор Бутенко, с топором Ванюшка Быстров, ружье у Сергея Ковтуна… И они меня узна́ют. Не удивляются, молча здороваются — кто кивком, кто тронув за локоть. И все мы ложимся на землю. Гасим фонари. Только один светит — в руках у Марка, и он лучом пересчитывает нас.

«Тридцать шесть», — говорит он и первым сходит с пригорка.

Я оказываюсь рядом, шаг в шаг. Меня выдвинула вперед отнюдь не смелость, скорее робость подтолкнула. Дело, на которое мы собрались, — я еще не знаю точно, на какое; ясно, что на опасное — наверняка не первое для Марка, раз Савицкий поручил ему вести отряд. А я новичок, и пусть на голову выше Марка и физически сильней, чувствую себя около него надежнее, хотел сказать — уютнее, но не для похода с оружием через лесную тьму годится это определение…

«Куда мы?» — решаюсь спросить шепотом.

«В поместье Чернолусских», — говорит неожиданно громко, не поворачивая головы, Марк.

Я знаю эту богатую усадьбу, принадлежащую старинному польскому роду, бывал возле. Она расположена перед деревней Деменки на горе, версты три туда. Дорога лесом всегда кажется короче, она как бы скрадывает расстояние по сравнению с открытой дорогой, вы теряете чувство расстояния, оттого так

легко заблудиться в лесу. И, понимая это, ведущий нас командир подзывает Ковтуна:

«По-моему, Сергей, близко уже… Я не ошибаюсь?»

Ковтун, я говорил вам, охотник, лесовик, все лесные тропки знает лучше, чем линии на своей ладони.

«Полпути еще», — говорит Ковтун.

«Пора, Сергей, в разведку. И Павлик с тобой».

Мы ныряем с Ковтуном в непроглядную чащобу. Но это она для меня непроглядна. Ковтун и без фонаря ориентируется безошибочно, мне бы не потерять его, не отстать, он шагает быстро и притом неслышно, я не понимаю, как это ему удается. Я же, как мне кажется, каждым своим движением рождаю предательские звуки — то зашелестела задетая головой ветка, то хрустнул под ногами валежник, и я вздрагиваю, мне чудится, что шум от меня на весь лес. Ковтун изредка тихонечко посвистывает, чтобы я не потерялся. Ох, видно, и ругает меня в душе! (Потом, после налета, он мне скажет: «Ты был молодцом, Павлик, прирожденный разведчик».) Сергей на мгновение зажигает фонарь, и это сигнал — ползти. Значит, цель совсем близко. Пересекаем по-пластунски опушку, и впереди возникает, словно специально для нас чуть тронутый лунным светом, темный силуэт усадьбы Чернолусских. Забор. Ползем, стелемся, слившись с землей, вдоль забора. Нежданным ориентиром — огонек папиросы, которую курит стражник возле ворот. Давай, давай затягивайся поглубже на свежем воздухе, в твоем распоряжении еще минута на это удовольствие. Последняя затяжка, вспых огонька, и точным ударом Ковтуна стражник опрокинут на землю. Я обрезом добавляю… Через калитку входим во двор, он пуст, безлюден по-ночному. Ковтун сбивает запоры с ворот, распахивает их.

«Для гостей…» — говорит он таинственно.

Мне еще неведомы до конца план и смысл действий нашего отряда. Будем громить, жечь усадьбу?

«…А хозяева, не дожидаясь гостей, — продолжает Ковтун, — должны были отбыть в город. Сведения как будто подтверждаются. Но все же надо проверить, убедиться. Я здесь побуду, встречу наших. А ты быстро…»

Взбегаю по широким ступенькам к дому, парадная дверь приоткрыта. Ловушка? Обрез наготове… Тихо. Темно. Пусто, как во дворе. Свищу. Пронзительно. Трижды. Никто не отзывается на мой «пароль». Нет хозяев. Зажигаю фонарь, робкого его света не хватает на огромный зал, но все-таки можно осмотреться. До чего красиво — расписной потолок, роскошные ковры, множество картин — и до чего неуютная красота! Не хотел бы я здесь жить,

разве только ради шкафов с книгами. А сколько зеркал! Гигантские, чуть не до потолка, по всем четырем стенам. И меня тут сразу много — спереди, сбоку, со спины вижу себя. Вот бы где прихорашиваться моим сестренкам. Ловлю себя вдруг на том, что и мне нравится оглядывать свою фигуру в зеркале. Сейчас не так, как было у Марии Климентьевны, когда я пришел, поранив руку, с косьбы — грязный, потный, в разодранной рубахе. Сейчас в зеркалах со всех сторон движется, поворачивается, улыбается мне ладный, подтянутый, бравый боец партизанского отряда с обрезом на груди.

Но хватит любоваться, удалой партизан! Подхожу к окну, чтобы, распахнув его, крикнуть Ковтуну: «В доме нет никого!..» Я опаздываю с этим сообщением — весь двор в огнях факелов, которые мечутся, образуя световые острова. Народу гораздо больше, чем уходило с Кудеярова холма. Откуда пополнение? Вглядываюсь — стоят подводы. Ржут лошади… Спускаюсь во двор и вижу, как из амбаров выносят мешки с зерном. В свете факелов и фонарей разглядываю лица. Тут и парни из отряда, тут и какие-то незнакомые мужики. Всеми распоряжается Марк.

«Деменковские, деменковские! Попроворнее действуйте, попроворнее…» — слышится его командирский голос.

Ах, вот оно что — народ из окрестных деревень. Хлеб разбирают, экспроприируют у Чернолусских настоящие его хозяева… И я помогаю таскать мешки.

Громыхая по мощеному двору, последние подводы выезжают с добром за ворота.

Мы всем отрядом уходим в лес. И снова я рядом с командиром… Как передать мое тогдашнее внутреннее состояние? Что бы я ни сказал, это будет сказанное человеком, прошедшим уже через многое другое в жизни, через революцию. О чем думал, какое чувство владело мной при возвращении из поместья Чернолусских? Чувство исполненного долга? Наверно. Но, как уже сказано, я не понимал до конца, на что́ иду, в чем мой долг. Я верил тем, кто меня вел. И когда вместе с другими я исполнил задуманное, у меня должно было появиться это чувство исполненного долга. Я не очень замудрил? Проще сказать, шел парень с оружием через оживающий на рассвете лес, слышал пение птиц, раздвигал руками тяжелые зеленые ветви, шел с отрядом и был рад, что не струсил в деле. А где-то рядом с радостью, под ней, билось и тревожное: что скажу, как объясню до́ма, где провел я минувшую ночь?.. Марк вдруг остановился, прислушался. И все мы остановились, обратившись в слух: доносится сухой, отчетливый цокот лошадей. Погоня. Прибавляем шагу, заряжаем ружья, рассредоточиваемся, стараясь

не терять друг друга из вида, насколько это возможно в лесу. Нам не уйти без боя. Выстрел, еще выстрел, еще и еще. Пальба. Около меня, позади, падает человек. Оборачиваюсь, это Марк. Тоненький-тоненький ручеек крови стекает с виска по щеке. Нагибаюсь, хочу поднять. Он силится говорить, но губы шевелятся беззвучно. Припадаю ртом к его бледному холодному лбу. Подбегают Ковтун, Быстров, Бутенко. Поздно. Он мертв. У нас нет времени вырыть могилу. И вынести тело не сумеем — бой в накале, надо отбиваться. Мы кладем Марка под широким ветвистым деревом, укрываем валежником. Мы целуем мертвого командира в синие, потрескавшиеся губы и салютуем ему выстрелами по врагу…»

На этом в газете обрывается публикация «Рассказа о моей жизни». Твердо помню, продолжение было. Повествовалось о первом аресте. Но обстоятельств, деталей первого, последовавшего за налетом на поместье Чернолусских ареста Павла Дыбенко, которого еще не раз будет схватывать царская охранка, не хочу сейчас придумывать. Ни блокнотных записей, ни рукописи, ни сверстанной газетной полосы у меня не сохранилось. Да, была полоса, верстка. И как обычно, мы должны были завизировать ее у командарма. Повесть печаталась, можно сказать, с горячей сковороды. Записывался очередной кусок, и редакция печатала его, не дожидаясь окончания всей повести.

2

Командарм Дыбенко сказал как-то, когда мы были у него в штабе:

— К нам, в военный округ, прибыл новый командующий авиацией. Совсем молодой, тридцати нет. Но — ас! Герой Советского Союза. Там заслужил… — И взмахом руки в сторону висевшей на стене карты дал нам понять, где это «там».

Мы поняли — в Испании.

В это время зазвонил телефон.

— Дыбенко слушает… Да-да, полковник, как договорились. Непременно съездим на эти учения… Кстати, товарищ Копец, вы легки на помине. У меня тут корреспонденты из детской газеты. Примите их, пожалуйста. Как о чем, Иван Иванович? О себе. В пределах возможного… Ну вот видите, как хорошо. Имеете прямое отношение, значит, к пионерскому движению… — И, уже повесив трубку, к нам: — Был, говорит, вожатым…

…У командующего авиацией мы бывали тоже вдвоем, но не с

заболевшим Гришей, а с Мотей Фроловым, также моим частым напарником-организатором в подобных встречах. Полковник, высокий, располагающий к себе, симпатичный блондин с орденами Ленина — золотых геройских звездочек тогда еще не существовало — и Красного Знамени на гимнастерке, беседовал с нами то в штабе, то у себя на квартире неподалеку от штаба, на улице Халтурина, бывшей Миллионной, в одном из старинных домов близ Зимнего дворца, в которых проживала когда-то петербургская знать. Квартира — сейчас казенная, огромная, неуютная для маленькой семьи.

В прихожей вас встречал вырубленный из черного дерева Мефистофель с бородкой, со светящимися, жутковато поблескивающими глазами. Всякий раз я вздрагивал от этого пронизывающего, гипнотического взгляда. Но однажды, войдя, мы с Матвеем увидели, что на голову Мефистофеля напялена синяя военная пилотка с красной звездочкой, и это, к удивлению, придавало ему не воинственный, а, наоборот, домашний вид, снижало мрачность, делало добрее. Мефистофель уже не гипнотизировал, а подмигивал вам, знакомился. Пилотка принадлежала гостю Ивана Ивановича, тоже полковнику, невысокому, плотному, который в передней прощался с ним, с его женой Ниной Павловной и незнакомым нам белобрысым парнишкой в матросской робе (точно такой, как нынешние джинсовые костюмы модников), очень похожим на Ивана Ивановича. Полковник, прощаясь, протянул руку и нам, не назвавшись, а когда дверь за ним захлопнулась, хозяин сказал:

— Чкалов… Сегодня утром пришел в порт из Америки пароход с их самолетом. Валерий Палыч приехал за ним… А это Серега, младший мой братишка, машинист с того парохода.

Появление младшего брата облегчило нам общение со старшим. Я неправильно выразился, в самом общении мы трудностей не ощущали. Выполняя просьбу командарма — а для военного просьба начальника равнозначна неукоснительному приказу, — полковник Копец, как я уже сказал, встречался с нами несколько раз, был вежлив и обязателен. Но говорил о себе без охоты, в сухой лапидарной манере, как бы отвечая на анкету. Он нравился нам с Мотей в человеческом плане, огорчая как рассказчик. И вот появление только что вернувшегося из дальнего плавания морячка, внешне схожего с братом до мельчайшей черточки, до родимого пятнышка возле правого виска, а по характеру совсем иного, влило живую струю, которая подхватила сдержанного, малоречивого Ивана и понесла по волнам воспоминаний. Если же какая-то волна утихала, замирая, Сережа бередил, подталкивал ее и снова разгонял… Через много-много

лет, в самом конце шестидесятых годов, когда я разыскал в Москве Сергея Ивановича, подполковника в отставке, седого, искалеченного на войне, он оставался таким же моторным, импульсивным, с торопливой речью, с точной памятью, которая помогла мне немало добавить к тому, что было записано в тот далекий вечер на бывшей Миллионной. И то, что вы ниже прочтете, это сплав — изложение опубликованного когда-то в довольно большом очерке «Из жизни летчика» — в двух номерах газеты — и услышанного потом от Сергея Ивановича.

Братья родились с разницей в два года, в Финляндии, первый в Гельсингфорсе, второй в Або; отец, Иван Иосифович, служил машинистом срочную и сверхсрочную на «Орле», крейсере, который часто и подолгу стоял в этих портах. К революции старшему было девять, но младший помнит ее лучше, четче, зримее. «Помнишь, Вань, как матросы офицеров ловили на нашей улице, бежал один, отстреливался, увидел лоточницу на углу, семечками торговала, баба Марта, финка, помнишь, в мохнатом тулупе тумбой сидела, он к ней сзади подбежал, забаррикадировался, левой рукой держит за воротник, вертит, в турель превратил, в поворотную башню, а правой бьет по матросам из-за торговкиной спины, они перестали стрелять, молча окружают, одного, другого уложил, все равно не палят, жалеют старуху, под ней лужа со страху, так и не тронули ее, не задели, живьем взяли офицера и к тем, которых уже сбросили в залив, присоединили, помнишь, Ваня?» Смутно помнит, было ироде такое. А вот как уезжали с матерью в Сибирь от голода, от немцев, это у него в ясной памяти: приятель отца, корабельный кок, адресок дал в Ишим, заштатный городишко за Тюменью; их у матери было уже трое — с сестренкой Лидой; через месяц, как приехали, явился миру еще один Копец, Жорик, Георгий Иваныч…

В Ишиме оба брата, Иван и Сергей, быстро повзрослели, обстоятельства вынудили к тому: мать умерла в сыпняке, отец приезжал на похороны, потом показывался еще раза два и после пропал на какое-то время: появилась другая семья. Позже он соединил ее со своими детьми, и его жена стала им не мачехой, а матерью, ничем не отличая от собственных. Но это произошло позже, а до этого фактически главой дома был Иван, и Сережа его правой рукой, помощником. Впрочем, сложно определить, кто кому помогал. У них образовался трудовой тандем, — ходили вдвоем по домам таскать воду, паять посуду, дрова пилить, мыть полы, окна, — в котором основной физической силой являлся старший, не только потому, что старший, но и по характеру, невыпячивающемуся, стеснительному: искать работу,

договариваться с нанимателем, торговаться, набивая цену, — для него нож вострый, нет ничего хуже, без Сергея он бы в этом смысле пропал; тот с поразительной сноровкой мог обойти, обставить любого конкурента на пути, и без дела, без заработка они и дня не сидели. Особенно хорошо зарабатывали весной, на речной переправе, когда мост через Ишим сносило ледоходом, а перебраться с берега на берег, на базар и с базара — толпы, очередищи. «Ванька пыхтит-сопит, старается на веслах, а я плату за проезд яичками беру, по пятку с каждой бабы, за день до трехсот штук набиралось, два-три десятка на яичницу семье, остальные на продажу; чуть отвлечешься на какое другое занятие, безвозмездно везет охочих на дармовщинку; скажешь: «Вань, ты чего зеваешь?» — молчит, пыхтит, еще яростнее веслами машет, аж шея синяя от натуги; он — перевозчиком, я — кассиром, чьей заслуги больше?»

В интересах, в жизненных устремлениях разошлись: старшего влекло небо, младшего — море. Мы знаем, что и у того и другого желание исполнилось. У Ивана оно возникло в школе, на уроках математики; учителем был человек, влюбленный в воздухоплавание, в авиацию, недоступные ему практически: пораженный в детстве неизлечимым недугом ног, он передвигался на костылях. Но о самолетах, аэростатах, дирижаблях, планерах знал все! И на уроках любую возможность использовал, чтобы выплеснуть эти свои знания. Уроков не хватало, он создал кружок друзей воздушного флота. Старостой — Ваня Копец. Строили модели. И первая взлетевшая над Ишимом модель была его, Ванина. Она летала, а ему, заставившему этот кусок фанеры преодолеть земное притяжение, казалось, что и он тоже взмыл и парит над землей. Но в действительности земля не сразу отпустила его в небо, привязав к себе профессией землекопа, скалолаза, взрывника в геологических экспедициях на Памире. Он попал туда после неудачной попытки поступить в Сызранскую авиашколу. Сдал все экзамены, и был срезан медицинской комиссией. Терапевты нашли какие-то изъяны в легких, в дыхательных путях, черт его знает, что они там обнаружили, и Иван, не заезжая из Сызрани в Ишим, завербовался, мотнул в горы на самую что ни на есть тяжелую физическую работу — назло врачам, не ведавшим, какие чувства и побуждения воспалили они в этом тихом, молчаливом юноше. Он решил доказать в горах, что ему высота не страшна. Но самое страшное испытание он выдержал на глубине, под землей, засыпанный при обвале неудачно взорванной скалы. Он пролежал под камнями сутки, и его легкие, его дыхательные пути хорошо, видно, прочистило, потому что при вторичном

столкновении с медициной она отступила, признав Ивана годным но всем статьям в авиацию.

В его лётной биографии Ленинград возникал дважды. В самом начале — курсант. Через десять лет — командующий авиацией округа, полковник, комбриг, генерал.

Между этими рубежами — Севастополь, Москва, Мадрид.

В Севастополе, на Каче под Севастополем, еще курсант. Но в Ленинграде — теория полетов, здесь — сами полеты: научился летать так, что оставили инструктором… Я обещал быть кратким по возможности. И потому изо всех качинских дней — один на выбор. Когда Иван едва не гробанулся, а его друг Володя Шундриков… Ладно, по порядку. Копец взлетел на высоту 1000 метров с заданием войти в штопор, сделав два витка. Машина новая, непослушная, штопора не получалось, не шла, упрямилась. Осерчав, дернул руку, как мог, сильно на себя. Толчок такой, что чуть не вырвало из сиденья вместе с ремнями. Самолет на попа — термин не летный, но применим его — завис на миг в этом положении и тут же стал проваливаться, падать. Неудержимо, неостановимо. Внизу, на аэродроме, замерли: вот грохнется. И облегченно вздохнули все разом: Ивану удалось у самой земли выровнять машину, увести на высоту. В подобных случаях говорят: ценой неимоверных усилий. Выражение стандартное, но усилия-то в самом деле неимоверные. Только не всегда они помогают… Вот как с Шундриковым было. Он шел на посадку, «передал ногу», то есть пережал педаль, и справиться уже с машиной не мог, хотя усилия тоже были неимоверные. Она упала, глухо стукнувшись о землю; счастье, что мотор был выключен… Первым подбежал Копец. Стоит, и слова не в состоянии вымолвить: Шундриков — в обломках, смотрит немигающими глазами, немигающими, но не потухшими, жизнь в глазах.

— Вовка, ты живой? — спрашивает Иван шепотом, словно боясь громким голосом повредить другу.

Молчит.

— Ты живой, Володя? — громче. Молчит.

Высвободили из обломков, подняли, понесли к санитарному автобусу. Все у Шундрикова вроде цело: голова, руки, ноги. Нигде ни кровинки, ни царапины. По дороге в госпиталь заговорил. Заикаясь, с остановками.

— К-куда… м-меня… меня… в-вез-зете?

— В госпиталь.

— З-зачем?

— Ты, понимаешь, летал, ну и… — не договорил Иван.

— Я н-не летал, я т-только собирался… Я спал.

— И что тебе снилось?

— Мне никогда ничего не снится… — Он перестал заикаться. — Я проснулся и пошел на аэродром. А вы меня увозите…

И то же повторил докторам, требуя отпустить на полеты. Отпустили через месяц. Выдерживали на всякий случай. Обстоятельств падения он так и не вспомнил, память отшибло, организм как будто остался в невредимости… А еще через месяц они поехали с Иваном в отпуск к нему, Шундрикову, на родину, в белорусский город Рогачев.

Отец Володи, Павел Андреевич, штабс-капитан царской армии, в гражданскую воевал за Советскую власть, командовал полком. А Владимир Павлович Шундриков в Отечественную получил генерала, он водил в бон дивизию штурмовиков. Его ранило в позвоночник, многие годы лежал в полной неподвижности, врачи полагали, что сказалось все-таки и то падение в молодости на аэродроме… Между прочим, они тогда с Иваном поехали в Рогачев как приятели, а вернулись на Качу родственниками: Володина сестра Нина стала Ване женой.

В Москву, куда Ивана перевели в Академию имени Жуковского старшим инструктором по технике пилотирования (должность говорит о квалификации!), отправились уже втроем, с сыном Алькой, по метрике — Аскольд. Жили на Ленинградском проспекте, окна прямо на аэродром, и среди множества взлетавших и идущих на посадку однотипных машин Нина по неуловимым признакам безошибочно угадывала Ванину. Возвращается после полетов, она спрашивает: «Ты в такое-то время взлетал и в такое-то садился?» А он: «Ты что, от окна и не отходишь?» Отходила, конечно, дел по дому хватает, но по какому-то внутреннему толчку-сигналу оказывалась у своего наблюдательного пункта точно в моменты его взлета и посадки… Вот так она стояла однажды у окна и увидела, что самолет мужа изменил внезапно в воздухе свою конфигурацию, его словно раздуло, преобразив в подобие шара, затем шар начал опадать и снова четко обозначились обычные очертания машины. На дальнем расстоянии да еще снизу невозможно было понять, что же произошло. «Что произошло? Вывозил я на прыжки. Все нормально: прыгают с парашютом — приземляются, прыгают — приземляются. Бортмеханика своего поднял. На земле разбитной парень. Подаю сигнал прыгать. С ноги на ногу переступает, руки дрожат, вертят-вертят кольцо и никак не могут поставить на место. Я левой придерживаю штурвал, правой помогаю с кольцом управиться. Не успеваю. Вырвалось, и купол парашюта, распустившись, лег на фюзеляж, тянет за собой механика. Я его обратно в кабину, втолкнул с силой и тут же почувствовал, что

машину заваливает. Гляжу, парашютом накрыло и хвостовое оперение, раздулся, стропы в рулях запутались, мешают им. Самолет трясет и колотит, как в малярийной лихорадке. Не подчиняется мне, не самолет уже это, а воздушный шар, вышедший почти из повиновения. Падаем. Прыгать? Я-то прыгну, а механик? Он ведь спеленат, к машине прикручен, беспомощен. Думаю, потяну к реке. Попытаюсь на воду сесть — крошечный шанс на спасение. И вдруг чувствую, не стали проваливаться, ровнее пошли. Обернулся: при зарывании хвостом вниз купол сползает в отверстие, в паз между рулем поворота и килем. Сползает, сползает, всасывается и висит двумя болтающимися на ветру рукавами. Рули по-прежнему еле-еле слушаются, но фюзеляж освободился от надутого воздухом купола, сила тяжести и сместилась и уменьшилась, машина перестала падать, и теперь уже дело моих рук — посадить на три точки. Посадил…»

И снова в горах. Не на Памире теперь, на Кавказе. Не землекоп, не скалолаз — командир летного отряда, приданного горновосходителям. Массовый поход альпинистов Красной Армии. Копец летает на «У-2», сбрасывает мешки с продуктами, показывает маршруты, ищет потерявшихся. Машина маневренная, неприхотливая, ныряет между скал, садится на маленькие площадки, но и потолок у нее мал, даже для «пятитысячников» мал. А если пики еще выше и надо их преодолеть? Для мастера существуют восходящие воздушные потоки, к которым можно приспособиться, использовать их движение и, вознесясь на этих «крыльях», пролететь над самим Эльбрусом!.. Копец появился на пронырливом «У-2» там, где еще и не видели самолета — в Сванетии, окруженной плотным кольцом гор. Сложность, кроме всего прочего, заключалась в том, что прилететь к сванам он должен был не один, а буксируя планер. Первый раз они поднялись вроде бы удачно, легко набрали высоту, легли на курс, и вдруг произошло что-то странное: планеру положено плыть за самолетом, а оказался под ним и чуть впереди — опасная, грозящая катастрофой позиция. Она получилась из-за столкновения воздушных течений разной силы — они тянули самолет вверх, а планер вниз, как в басне Крылова, только без щуки… Летчик приказал парителю отцепиться. Они сели довольно далеко друг от друга, и планер привезли на мулах — без них и авиации не обойтись. К ним прибегли еще раз — при второй попытке взлететь, уже в воздухе оборвался буксир и опять возвращались врозь. Не состоялся и третий старт: машина разбежалась, а планер, утопая в высокой траве, неуклюже разворачивался, тормозил и, не дав взлететь, заставил своего вожака нырнуть в овраг: сломались и винт и плоскость. День

ушел на починку, но теперь забастовал самолет, отказавшись у перевала набрать высоту. Четыре зряшные попытки! Стоит ли рисковать в пятый раз? Начальство разрешило отменить полет. Но Копец снова за штурвалом. И паритель Липкин такой же упрямый человек. Взлетели, взмыли, перемахнули через хребет, перевалили через цепь хребтов — и в Сванетии!..

— Обычная работа в воздухе… — сказал Иван Иванович, вкладывая в эти слова, как показалось нам с Матвеем, некий дополнительный смысл.

Перед нами сидел боевой летчик, только что вернувшийся из Мадрида, у него не сошел еще с лица пиренейский загар. Мы знали, что он «испанец», и он понимал, что мы знаем это. Но было указание командарма о «пределах возможного». И мы не лезли с нахальными вопросами, не проявляли излишнего любопытства. Хотя чувствовали, что и сам полковник с большей охотой рассказывал бы о боях в Испании, чем о полетах на Кавказе, «обычной работе в воздухе».

Мы продолжали еще в те дни встречаться с Дыбенко, и он однажды спросил:

— Ну как, Копец принял вас?

— Принял, Павел Ефимович, беседуем…

— Интересно?

— Интересно, — сказал Матвей, — но…

— Что но?.. А, понимаю, аппетит разгорелся… Что поделаешь, секрет. Придет время…

— Когда оно придет, Павел Ефимович?

— Ох, торопыги… Вот что. Запишите его рассказ об Испании, запишите, я разрешаю. И посоветуюсь с Москвой, в какой форме можно будет это подать…

Командарм был человек обязательный. При очередной встрече Копец сказал, что ему разрешено поделиться с нами некоторыми испанскими эпизодами. Мы на третьей скорости заработали карандашами, искры посыпались… Блокноты заполнены и положены пока в несгораемый шкаф у полковника. Командарм «посоветовался с Москвой», и главный штаб разрешил опубликовать материал в виде якобы присланного из Мадрида письма испанского летчика. Мы подготовили текст, и Матвей поехал согласовывать его в Наркомате обороны. Звонит радостный из столицы:. «Можно печатать!»

И вот сейчас передо мной старая газета. На всю страницу заголовок: «Бои над Мадридом». Под заголовком имя автора, вернее, его воинское звание: «Капитан ***». Помнится, было имя,

но Копец в последний момент поставил «звездочки». А редакция снабдила статью «врезкой»:

«Мы получили из Мадрида письмо от одного из командиров республиканской авиации. Печатаем перевод с испанского»:

«Мои юные русские друзья!

В этих коротких строках я постараюсь рассказать о том, как летчики республиканской Испании ознаменовали в прошлом году великий день Октябрьской революции.

Франко готовился к последнему, по его расчетам, и решительному удару. Он хотел взять штурмом нашу столицу. Он назначил этот штурм на 7 ноября и уже раздал солдатам, по преимуществу марокканцам, пригласительные билеты, предлагая им посетить Мадрид и быть в течение трех дней хозяевами его магазинов, кафе и театров. Иначе говоря, он отдавал город своим войскам на разграбление.

Но Мадрид оказался крепким орешком, на котором Франко поломал не один зуб и разгрызть который ему так и не удалось.

Испанская авиация к ноябрю значительно окрепла, получив из ряда стран, в частности из Америки, первоклассные самолеты, как бомбардировочные, так и истребительные. Кроме того, заводы республики сумели в исключительно быстрый срок отремонтировать некоторое число старых боевых машин. Самое основное заключалось в том, что на аэродромах под Мадридом воспитались десятки храбрых летчиков, уверенных в своих силах и в победе народа, летчиков, про которых один наш писатель сказал: «За родину они готовы умереть сто раз».

Так вот, 5 ноября над Мадридом появилась группа черных «Юнкерсов-52» — немецких бомбардировщиков. Они шли медленно, покачиваясь, на сравнительно небольшой высоте. Мы поднялись им навстречу и застали за «работой»: они спокойно бомбили окраину города. Наше появление было настолько внезапным, неожиданным, что «юнкерсы», не закончив бомбометание, резко развернулись и стали удирать, продолжая сбрасывать бомбы, но уже на расположение своих войск. Один из «юнкерсов», подбитый нами, тяжело рухнул в город. Пока бомбовозы, взяв курс на

запад, уходили от Мадрида, на нас бросились сопровождавшие их истребители: 22 на 17. Немцы, решив, вероятно, что встретили старые испанские машины, не разобравшись, ринулись в бой, я бы сказал, нагло, без всякой тактики, скопом и получили урок, который запомнится им надолго, если не навсегда. Они потеряли 5 самолетов, мы — ни одного. Любопытно отметить, что в этом бою нам пришлось сразиться с отборными летчиками — бойцами из эскадрильи Рихтгофена, «красы и гордости германской авиации». Эта эскадрилья принадлежит к личной охране Гитлера. Мы нашли в себе достаточно сил, чтобы изрядно потрепать охрану фашистского фюрера. Интересно было бы заглянуть в рапорт, который отправил 5 ноября командир эскадрильи своему «вождю».

Немцы были как следует наказаны и поспешили покинуть поле сражения. Мы собрались, сгруппировались и прошли строем над центром Мадрида.. Мы летели низко, совсем низко и видели на бульварах, на улицах, в садах толпы людей, которые рукоплескали нам, обнимали друг друга, целовались, прыгали от радости. Мы совершили круг, еще круг и еще.

На другой день «юнкерсы» снова прилетели бомбить Мадрид. Но, увидев нас и не желая, по-видимому, встречаться, повернули и ушли на аэродром, даже не приступив, как вчера, к бомбежке. И снова ринулись на нас истребители, вместе с «хейнкелями» еще и «фиаты», личная охрана Муссолини. Это не изменило результата. То есть изменило: вчера мы сбили 5 машин, на сей раз 6. Наши 17 были в невредимости.

Седьмого ноября фашисты не показывались над городом, не тревожили с неба жителей столицы. Народ ликовал. Не показывались «гости» и пять последующих дней. Они оправлялись от неожиданного удара, приходили в себя. И 13-го, в «роковое» число, мы имели честь вновь с ними свидеться. Рандеву было еще результативней. В коротком, стремительном бою немцы и итальянцы недосчитались семи истребителей и двух бомбардировщиков. За три дня — 20 самолетов!

Мы пошли на посадку, все, кроме Пабло и Хулио. Они возвратились к городу, еще раз пройтись над ним и убедиться, что врага нет. Они встретили там еще двух наших, из другой части — Антонио и Августино, покружились вместе в облаках и хотели уже разлетаться

по домам, как из-за гор вынырнуло пять «юнкерсов»: три впереди и два на почтительном расстоянии от них. Антонио и Августино приняли на себя тройку, а Пабло с Хулио досталась парочка, вернее один «юнкерс», второй поспешил скрыться, не заботясь о судьбе напарника. Пабло залез фашисту под брюхо, а Хулио бил в лоб.. Ему удалось с первой же очереди попасть в бензиновый бак, «юнкерс» вспыхнул и пошел горящим камнем вниз.

В это время Антонио и Августино сражались с тремя. Антонио зашел на противника с прямой, сбил его, хотел зацепить и «соседа», но встречным огнем полоснуло по крылу, и машина сорвалась в штопор. Пытался выровнять — тщетно. И тогда он отстегнул…»

Я обрываю да полуфразе. Мог бы продолжать и дальше по газетному тексту. Но у меня сохранилась часть оригинала, как-то уцелевшая в шкафу, хотя почти все его содержимое — книги, бумаги — было употреблено на растопку в блокадную зиму. Рассказ «капитана ***» занимал восемь машинописных страничек, первые три, только что вами прочитанные, пропали, пять остались, и я хочу продолжить по ним, по листкам, на которых имеется сделанная Иваном Ивановичем небольшая правка зелеными чернилами. Проследим за ней, она нам что-то скажет.

«…ремень, оттолкнулся от сиденья, прыгнул. Ветер мог снести на юг, к фашистским позициям. И поэтому Антонио падал, долго не раскрывая парашюта, затяжным прыжком. Он дернул кольцо в метрах четырехстах от земли. Он опускался на окраинную улицу. Фашисты увидели его из своих окопов и открыли стрельбу. Антонио был ранен в живот, потерял управление парашютом и сильно стукнулся о землю.

Он прожил — в муках — трое суток, метался в бреду, атаковал, стрелял, приказывал. Умирая, Антонио спрашивал, как бьется его эскадрилья.

Мы мстили за него в боях.

15 наших истребителей встретились с 25 «хейнкелями», которые сопровождали тяжелых бомбардировщиков, направлявшихся в сторону Университетского городка. Численное преимущество было в эти дни все еще за противником. Но в тактике, в маневренности, в быстроте мы не уступали, если не превосходили… Над Мадридом лежало гигантское

облако, черная подковообразная масса с глубоким заливом посередине. В этом «заливе» и разгорелась схватка. Мы разделились на две группы: скоростные машины бросились на «юнкерсов», и, пока колотили их, маневренные приняли на себя атаку «хейнкелей», не давая им защищать бомбардировщиков. Храбрый Хосе (в рукописи эпитет зачеркнут Иваном Ивановичем. — *А. С.*) дрался с каким-то фашистом на фигурах. Хосе, который был мастером пилотажа (вся эта характеристика также снята рассказчиком. — *А. С.*), летел на легкой поворотливой машине и замучил, запутал соперника. Тот уходил и петлями, и бочками, и иммельманами — не смог уйти, махнул, видно, рукой, вывел машину на прямую в положение «добивай» и пошел с небольшим углом на планирование. Хосе продолжал стрелять. Он зашел под «хейнкеля», дал очередь — не валится, зашел слева — не валится, зашел справа — не валится, планирует. «Падай, — шепчет Хосе, — падай, падай же». Он видит, что нули идут точно по фюзеляжу, из радиаторов бьет пар, растекается масло, а машина все планирует и планирует. Хосе стрелял простыми пулями, от которых бак не загорался. Хосе «эскортировал» фашиста до самой земли. Он успокоился, увидев, что «хейнкеля» завалило потоком воздуха, тот врезался в кирпичную стену и тут же взорвался.

Набрав высоту, Хосе вернулся к месту сражения. Драка продолжалась. Он кружился над боем, оценивая ситуацию. Вот он заметил, как один из «хейнкелей» прицеливается к машине неустрашимого Пабло. Тот вел самолет пологим разворотом и не видел врага, который, подкравшись, рванулся вдруг и дал очередь трассирующими пулями. Они, когда летят, оставляют за собой длинный след, и по нему видно, как нужно изменить прицел, чтобы огонь был поражающим. Пабло попал в паутину, сплетенную этими пулями, и никак не мог из нее выскользнуть. Фашисту удалось ранить машину Пабло — она совершила крутой правый поворот со снижением. Немец развернулся вслед за ней, чтобы добить. И вот тут появился Хосе. Он атаковал «хейнкеля» сзади, полоснул, попал, что называется, в болевую точку — «хейнкель» перевернулся и завис брюхом вверх. Не успел Хосе дать еще очередь — на него набросился новый противник. Хосе, оставив подбитого, связался с этим. Но уже истратил все патроны и был безоружен.

Надо хитрить. Хосе управлял своей машиной, как хотел, и она слушалась его. (Эта фраза тоже убрана. — *А. С.*) Он пристроился позади «хейнкеля» и начал мотать немца. Стрелять тот не мог — пулеметы смотрят вперед. Так что дуэль шла без оружия с обеих сторон. В схватке двух истребителей самое опасное иметь противника сзади — тогда от него не уйти. Хосе гонял «хейнкеля» по кругу, и тот, имея на борту пулеметы и патроны, был, по сути, обезврежен. В конце концов Хосе заставил удрать немца, который, вероятно, удивлялся, почему республиканский летчик не стрелял в него… В это время первый самолет, подстреленный Хосе, снизился и его у земли «разыграли» наши истребители.

На другом конце города пять республиканцев дрались с немецкой эскадрильей. Казимира — польского антифашиста, бойца Интернациональной бригады — били сразу три самолета. Один, сверху, не давал ему набирать высоту, а двое стреляли снизу. На помощь подоспел, к счастью, Даниэль, Он «снял» верхнюю машину. Казимир попытался залезть в облако. Отстреливаясь, он, благодаря маневренности, поднимался фигурами все, выше и выше. Вот он уже на границе облака. Скорость предельно малая. Вдруг самолет вздрагивает и падает в штопор. Снова борьба за высоту. Немцы бьют непрерывными очередями. Казимир подкрадывается к облаку, иначе ему не отбиться. Молниеносные петли. Кружит вокруг самого себя, создавая из самолета мишень, в которую почти невозможно попасть. Вот машина в вертикальном положении и взлетает в облако. Казимир видит, как проносятся огненные стрелы, теперь уже безопасные для него. Он идет в облаке, находит своих и присоединяется к ним.

Сражение кончилось. Враг опять отброшен от Мадрида. Мы идем на посадку. Нас нагоняет еще одна машина. Это Хазар. Мы думали, что он погиб. На аэродроме он рассказал: «Я, говорит, залез во время драки в облачность, побродил немного, а когда вышел, смотрю нет никого, только далеко в стороне группа машин. Я прибавил скорости, пошел вдогонку, подстроился, лечу, и — о ужас! — справа «хейнкель» и впереди «хейнкель». Хороши соседи! Что делать? Продолжаю лететь в строю, пока не разобрались, потом резко переворачиваюсь — и назад. Они заметили этот

маневр, двое погнались за мной. Я ушел».

Вечером нам сообщили, что на соседний аэродром приземлился Пабло. Он ухитрился доползти и сесть с пробитыми баками — и масляным и бензиновым, с перебитым газоуправлением. А ранним утром на другой машине снова вылетел вместе с нами по тревоге к Мадриду. Он всегда впереди, безудержно храбрый, всегда на острие атаки. И опять ему перебили стабилизатор. Самолет — в штопор. Нужно покидать кабину, а скорость — 300 километров, ветер придавливает к сиденью, мешает приподняться. Пабло, сидя, дергает кольцо парашюта. Выбросило из машины, подкинуло метров на сто вверх. Затем он стал плавно спускаться. И упал на одну из центральных улиц Мадрида. Толпа подхватила Пабло на руки. Парашют растащили на куски, себе на память. Шоферы спорили, каждому хотелось посадить летчика в свой автомобиль. Но толпа не выпустила его с рук. Так и несли через город — в военное министерство. Там его встретил сам министр, генерал Миаха. Он поцеловал Пабло.

Тем временем на фронт вылетела еще одна группа истребителей, которых вел Педро. Среди них были уже известные вам Хосе, Хазар и Хулио. Замыкал группу молодой летчик Рой. Хосе, шедший сбоку, вдруг отстал, изменил курс. У Хосе орлиное зрение (вычеркнуто. — *А. С.*). Он увидел трех фашистов, атаковавших в стороне республиканский самолет. Метод у них обычный: двое снизу, один сверху прижимает. Республиканец оказался в «коробке». Хосе ворвался в бой. Этому трудно поверить, но трех пулеметных очередей оказалось достаточно, чтобы одного «хейнкеля» сразу сбить, второго обратить в бегство, третьего ранить, а при попытке его удрать — прикончить в погоне. Хосе горяч и упорен, он никогда не отпускает врага, пока не добьет. (Эта фраза также перечеркнута рукой Ивана Ивановича. — *А. С.*) А Педро вел свой отряд дальше. Он понимал, что Хосе ушел не зря и вернется вовремя. Четыре летчика — Педро, Хазар, Хулио и Рой — вступили в общее сражение, разыгравшееся над городом. В этом бою погиб Рой, молодой коммунист из Каталонии. Он хорошо сражался. Он храбро сражался.

Мы мстили за него в боях.

(Перевод с испанского)».

На последней машинописной страничке внизу стоит виза, роспись: «И. Копец. 28.10.37». И рядом латинскими буквами «José», Хосе. Вот почему автор «письма из Испании» в своей правке всячески снижал, так сказать, характеристику республиканского летчика Хосе — это был он сам, Иван Иванович Копец.

Генерал Копец во время короткой войны на Карельском перешейке командовал авиацией 8-й армии, а затем его назначили командующим ВВС Западного особого военного округа со штабом в Минске. Здесь он и встретил Отечественную, длившуюся для него сутки…

О гибели генерала я узнал случайно при обстоятельствах, о которых стоит рассказать, хотя это и уведет в сторону мое повествование, как это уже случалось и не раз еще случится, за что читатель, надеюсь, меня простит. Сюжет из жизни и следующий жизни не может, как и она, обойтись без зигзагов, без рывков и торможений.

Осенью 1941 года, перед тем как уйти в военный флот, я дослуживал «гражданку», плавая на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» помощником капитана по политической части, помполитом. Сейчас эта должность значится по судовой роли, списочному составу экипажа, как первый помощник капитана. Но суть и функции не изменились. Кое-кто из морячков-острячков незлобиво, не ради унижения, просто ради красного словца прозывал нашего брата — «помполлитра». Мой приятель Савва Морозов, полярный Пимен-летописец, и нынче нет-нет да и брякнет по телефону: «Как живешь, старик помполлитра?» Не обижаюсь…

Капитаном «Сибирякова» в мою пору был Анатолий Николаевич Сахаров, первостатейный ледовый мореход-архангелогородец, сын капитана седовского «Святого Фоки», который капитаном стал без диплома, уже в море, во льдах. Он пошел в поход с Седовым вахтенным штурманом. Да и штурман был недальнего, каботажного плавания, из поморов. Ходил прежде неподалеку на малых рыболовных суденышках. А тут беда: струсил, сбежал с судна капитан Захаров, и Седов рискнул, — что было делать? — назначил на его место Сахарова. Не ошибся. Справился Николай Иванович, не без помощи, понятно, Седова, выпускника Ростовской мореходки. А после гибели Седова прошедший его школу Сахаров провел «Фоку» сквозь льды в Архангельск, в последние дни совершенно не имея продовольствия на борту, подчистую выскребая остатки угля в бункере. В 1920 году он уже бывалым капитаном повел пароход

«Илью» в составе 1-й Карской экспедиции за хлебом из Сибири — это было задание Ленина — и доставил тогда в Архангельск «523,6 пудов зерна», как записано в судовом журнале.

Сын, закончивший кроме мореходки Академию водного транспорта, унаследовал от отца все его личные профессиональные качества, в том числе и пристрастие к возлияниям. Но, как и у отца, это влечение возникало у Сахарова лишь в порту приписки, в Архангельске, дома. Никогда ни в море, ни в портах захода, ни на промежуточных стоянках я не видел и не мог увидеть капитана прикладывающимся к рюмашке. А когда в ту первую военную осень, в самом конце октября, мы возвратились из арктической навигации, он и пригубить-то не успел, потому что, едва ошвартовавшись у причала на Бакарице, получили приказ взять воду, уголь, продукты и незамедлительно снова идти в море, точнее сказать, в широкое устье Двины, на Березовый бар. Не ведаю уж, почему его, то есть ее, — бар — это постоянная гигантская отмель — назвали столь нежно; место неуютное для кораблей, немало их сидело тут на камнях, и редкостный капитан решится следовать на этом участке без лоцмана. Сахаров-то в нем не нуждался, он сам ходил здесь несколько лет лоцманом и знал Березовый бар лучше, чем собственный дворик на Поморской улице… Возвращаясь с моря, мы встретили на баре лед, нам он был не страшен, поскольку «Сибиряков» пароход ледокольный с дополнительной обшивкой корпуса. Но сейчас к бару подошел караван судов, для плавания во льду (а нагрянувшие морозы прибавили ему крепости) совершенно неприспособленных. Это был один из первых союзных конвоев, кажется, третий по счету, доставлявших грузы из США и Англии, — PQ-3. Такое наименование, такой код, PQ или QP (в зависимости от того, на восток или на запад шли суда), с прибавкой порядкового номера, носили эти морские операции. Я долго не мог узнать, откуда взялся этот шифр, эта аббревиатура, вошедшая в военно-морскую историю. И лишь недавно вычитал в воспоминаниях К. Бадигина «На морских дорогах» следующее объяснение, заимствованное им у английского историка Д. Ирвинга. В оперативном управлении великобританского адмиралтейства, ведавшем планированием конвоев на севере, служил офицер P. Q. Edwards; его инициалы и решили почему-то использовать в качестве кода, обессмертив тем самым ничем не примечательного служаку.

(В составе PQ-18, примерно через год после PQ-3, отправился из Исландии пароход «Сталинград», на который мы с Сахаровым были переведены с «Сибирякова». Но в этом плавании меня не было: я был мобилизован и назначен комиссаром сторожевого

корабля № 20, который как раз и встречал PQ-18 уже в Белом море. В пути, возле острова Медвежий, конвой подвергся нападению немецких самолетов и подводных лодок, половина судов — а их было около сорока — потоплена, в том числе и «Сталинград». Торпеда попала ему в машинное отделение, в бункера с углем. Судно держалось на плаву четыре минуты, Сахарова сбросило в море с капитанского мостика, он выплыл и был подобран на плотах с английского спасателя «Капленд». Помполит Саша Федоров, некоторое время назад сменивший меня в этой должности, кинулся в свою каюту спасать секретные документы, шифр, а выбраться на палубу не смог — дверь каюты заклинило…)

Караван PQ-3 застрял на Березовом баре, нависла угроза зимовки на мели, и нас поспешно вытолкали спасать его изо льдов. Конвой — это торговые суда в сопровождении, под охраной военных. Во главе эскорта шел английский крейсер, не помню точно его названия, «Кинг…», а какой король, запамятовал. Командир крейсера, человек осторожный, привел его к ледовой кромке и, оставаясь на чистой воде, дальше не двинулся, отпустив конвоируемые транспорта вперед, во льды. Прежде чем начать обкалывать беспомощные суда, мы направились к крейсеру; он звал, сигналил. Приблизились в темноте, осветили его прожектором, он — нас, а затем, соединившись лучами, соединились и трапом, переброшенным с крейсера, сверху вниз. Я занял пост возле трапа, рядом с вахтенным, а рядом со мной — молоденькая переводчица Наташа, то ли Кириенко, то ли Корниенко, студентка, только что приехавшая из Москвы. На другом конце трапа возникла долговязая фигура в длинном дождевике с капюшоном (я подумал — легко одет), закрывавшим от меня его лицо. Похоже, офицер связи. Наташа приготовилась переводить. И вдруг раздались ясные, чистые, без малейшего акцента русские слова. Но не было в них и стерильной правильности, которая выдает иностранца, очень уж старающегося безукоризненно выговорить каждое слово.

— Я могу видеть капитана вашего ледокола?

— Капитан на мостике и спуститься в данный момент не может, — сказал я. — Я его помощник. С кем имею честь?..

— Громов, — сказал человек, и эта фамилия попервоначалу не соединилась в моем сознании ни с какой из знакомых мне личностей. Я переспросил:

— Громов? Вы советский?

— Михаил Михайлович Громов, — сказал он чуть с нажимом, и я бросился вверх по трапу, тут уж мгновенно сообразив, кто

передо мной. — А это мои товарищи, — он показал на стоявших у него за спиной мужчин в таких же черных плащах с капюшонами, — летчики Байдуков, Юмашев, Гордиенко, Леонченко… Мы возвращаемся из Америки. Разрешите перейти к вам на борт.

Еще спускаясь по трапу, шедший за Громовым Байдуков спросил, нет, не спросил, выдохнул:

— Москва?.. Мы ничего не знаем о Москве…

— Стоит на месте! — сказал я.

— Я вчера из Москвы, — сказала Наташа и повторила это громко по-английски, чтобы услышали на крейсере.

— Молодец, девочка, — сказал Байдуков. — Пусть знают. В эфире такая неразбериха, такая путаница про Москву. А и из самой Москвы мы радио неделю не слыхали…

— Прекрасно! — сказал Громов.

Они улетали из Москвы в начале июля с особой миссией в Америку: отобрать на авиазаводах необходимые типы самолетов для закупки.

«Сибиряков» выводил караван из ледового поля двое суток. Пилотов мы разобрали на это время по каютам. У меня жил, пока мы шли в Архангельск, Георгий Филиппович Байдуков, из чкаловского экипажа. Перечитал все газеты, все радиосводки, расспрашивал, расспрашивал. Как-то зашел в каюту майор Леонченко. Из пятерых он один уже побывал а боях. В Финляндии, Героя там получил.

— Я служил в авиации Восьмой армии, — сказал он. — Хочу в нее вернуться.

— В Восьмой? — переспросил я. — Командующим у вас был генерал Копец?

— Копец, — сказал Леонченко. — Ух и мужик! В штабе подолгу не сидел — летал…

Я таил в себе печальную весть, ни с кем ею не делился, в надежде, что она неверна, хотя ни разу за всю войну не слышал и не встречал в печати имени генерала: он исчез. Лишь после войны, вернувшись в Ленинград, я спросил у Моти Фролова, с которым мы «пытали» в свое время Ивана Ивановича, что он знает о нем и его судьбе.

— Ты помнишь Ерлыкина? — сказал Матвей. — Летчика, с которым Копец познакомил нас однажды?

— В лектории на Литейном? Помню. Копец, еще полковником, выступал перед комсомольцами, мы его записывали и после выступления продолжали расспрашивать. А этот красавчик майор с двумя орденами Красного Знамени,

пришедший с ним, шутливо, но довольно энергично отжимал нас от Ивана Ивановича, приговаривая: «Хватит приставать к человеку, мы с Ваней в ресторацию опаздываем, столик заказан…» А тот ему в тон: «Не трепись, Женя, не обрисовывай меня перед журналистами выпивохой, мы с ними делом заняты, подожди…» Помню Ерлыкина, как же. Они вместе сражались над Мадридом, в одной эскадрилье. Ерлыкин это ведь Хазар из «испанского письма», тот, что к «хейнкелям» пристроился невзначай…

— Точно. А в блокаду командовал здесь корпусом ПВО, истребителями. Как воздушный бой над Ленинградом или на подступах, все говорили: «Ерлыкин в небе!» Имея в виду весь корпус, ерлыкинцев. Генерал, Герой Советского Союза. Я часто бывал у него в штабе. Как-то решился, спрашиваю, вот как ты меня, про Ивана Ивановича. Вздохнул глубоко, выдохнул чуть не со стоном, промолчал…

И вот лет пятнадцать назад, а может, немного и раньше начали появляться книги, воспоминания «испанцев», советских добровольцев, волонтеров, воевавших на Пиренеях, — летчиков, танкистов, артиллеристов, моряков, саперов, переводчиков. Теперь уже отпала нужда в псевдонимах, в «звездочках», в камуфляже; все пошло, так сказать, открытым текстом. В мемуарах генералов авиации Гусева, Прокофьева, Пузейкина (в Испании они были лейтенантами), в книгах Шингарева «Чатос идут в атаку» («чатос» — «курносыми» называли испанцы наши истребители «И-15») и Зильмановича «На орбите большой жизни», посвященной главному авиационному советнику в Испании дважды Герою Советского Союза Я. В. Смушкевичу, «генералу Дугласу», замелькало имя — Иван Копец. Описания боевых эпизодов, в которых он участвовал как командно истребительной группы капитан Хосе, совпадают с напечатанным в «Искорках» письмом «капитана ***». Только в них, в этих современных описаниях, сохранены эпитеты и характеристики, вычеркнутые Иваном Ивановичем — «храбрый Хосе», «мастер пилотажа», «орлиное зрение», «горячий, упорный», и добавлено еще немало им подобных. В книгах, названных мною, да и в других, воспроизведена фотография молодого полковника с орденами Ленина и Красного Знамени, с «крылышками» в петлицах, с портупеей через плечо, та самая, что когда-то и мы опубликовали в очерке «Из жизни летчика».

Теперь все, что попадалось мне о нем в печати, в литературе, я заносил в особую записную книжку, завел на него папочку-досье. Среди прочего вложил в нее и вырезанную из «Правды» тассовскую фотографию: «Командир вертолета Астраханского

авиаотряда Инна Копец». Фамилия редкая, отчества не было, и я подумал: не дочь ли это Ивана Ивановича? Она показалась мне даже похожей на него. Я знал Алика, сынишку, который забегал к отцу в кабинет, когда мы беседовали с ним на Миллионной. Дочки как будто не было, но могла же она появиться (как я узнал позже, дочь действительно появилась незадолго до войны, но ее зовут Наташа). Я написал в Астрахань, в аэропорт, и получил ответ:

> «К сожалению, я не дочка Героя Советского Союза, я — Андреевна, в нашем роду не было авиаторов, я — первая…»

На этом наша едва начавшаяся переписка прервалась. Но знакомство, хотя и заочное, состоялось, можно считать. И поэтому я уже не только как посторонний читатель, а в некоторой степени знакомый с Инной, задержался глазами на следующем сообщении в газете и на всякий случай тоже вырезал его:

> «Экипаж турбинного вертолета «МИ-8» в составе Инны Копец, командира, Людмилы Исаевой, второго пилота, Татьяны Руссиян, бортинженера, и Юлии Ступиной, штурмана, поднявшись с одного из московских аэродромов, пролетел по замкнутому маршруту 2084 километра со средней скоростью 235 километров в час, что является по дальности полета мировым рекордом для вертолетов, управляемых женским экипажем, а по скорости абсолютным мировым рекордом…»

На правах все того же заочного знакомства я решил поздравить Инну с рекордом. Узнав, что она еще в Москве, позвонил, как мне посоветовали, в Шереметьево, в общежитие летчиков. И вовремя это сделал — за час до ее отъезда домой.

— Спасибо… — сказала она, выслушав мое поздравление, и тут же перевела разговор на другое. — А вы ведь взбудоражили меня тогда своим запросом про Ивана Ивановича. Веду розыск. Пытаюсь нащупать какие-то родственные связи с ним. Пока безрезультатно, но надежды не теряю. Появилась тут одна ниточка… У моего деда Емельяна был брат Иван, судьба которого и его семьи нам неизвестна. Не было ли у него сына Ивана, ставшего летчиком? Но я установила через архивы, что у Ивана Иосифовича, отца летчика, был единственный брат и звали его не Емельяном, как моего деда, а Иосифом. И этот Иосиф Иосифович жив — в Красноярске он. Я еще не успела списаться с ним…

— А зачем же это вам? — спросил я. — Красноярец-то никакая не родня ваша, если я правильно разобрался.

— Во-первых, через него может обнаружиться какая-нибудь боковая, дальняя ветвь, все же редкая фамилия. А во-вторых, мне теперь интересно все, что касается моего однофамильца. Я уже многое узнала о нем, в Ленинке посидела, сделала выписки из старых, довоенных газет. Я ненадолго сейчас в Астрахань, через неделю снова буду здесь, перевожусь в московский отряд. Увидимся.

Увиделись — и поменялись ролями. Не я, литератор, брал у нее поначалу интервью, а она, летчица, у меня, как у человека, встречавшегося с Иваном Ивановичем. Она не знала, что Копец воевал в Испании, и переписала к себе в тетрадь письмо «капитана ***». Для меня у нее тоже была важная информация: она списалась с Красноярском, и Иосиф Иосифович сообщил, что в Москве живет Сергей Иванович Копец, родной брат Ивана, адрес дал. Так что я был не точен, написав выше, что я разыскал Сергея, нашла его Инна, с которой мы повели теперь совместный поиск. Я — вот для этого моего рассказа. Она — для того, чтобы из однофамилицы превратиться в родственницу. И просто ради возникшего в ней и все возраставшего трепетного интереса к жизни и судьбе этого человека. Искала в основном с воздуха. Шучу, конечно, но не без основания: работа у нее такая — все время в полетах, в разведке.

…Разведывала, искала с вертолета подземную и, значит, пресную воду в калмыцких степях. Чтобы бурить колодцы для скота. Но как же это с воздуха — воду, если она под землей? А есть приметы, по которым сверху определяют, где эта святая водичка притаилась. Летит Инна над степью, рядом геолог. Глядят-выглядывают бугры в траве. И сверяются с картой: нанесен на нее бугор или это новообразование. В старых, закрепившихся песчаных буграх — вода соленая. Живительная пресная только в свежих переносных песках. Засекают их, рисуют на карте — и буровикам ее, поиск почти безошибочный… Весной над степью — прелесть! Вся она живет, колышется, движется. Новорожденная травушка-ковыль, нежно-нежно-зеленая акварель. И тюльпаны кругом, семейства тюльпанов — по цвету, желтые отдельно, красные. Такой соблазн: сели, нарвали в две охапки, взлетели, это ж вертолет, везде сядет, отовсюду взлетит. Еще тюльпаны, красивее прежних, опять соблазн, сели, набрали. К вечеру полная кабина цветов, всем на базе по огромному букету.

Нефть искали в Закаспии. Вот тут уж ни бугорка, ни соленого, ни пресного, выжженная, прокаленная добела

плоскость. И зацепиться не за что, никаких ориентиров для постороннего глаза. Для постороннего, неопытного. А глазу наметанному, вернее, налетанному кое-что видно. Видны едва различимые, слившиеся по колеру с песком, высохшие соляные озера, со́ри, как зовут их в этих местах. Летишь от одного к другому, всматриваешься, как они выглядят. У каждого своя конфигурация, свой рисунок, двух схожих нет. Вон петух с высоким гребнем. Вон изящный женский башмачок. А это что? Гордо вздернутая голова антилопы. А дальше ишачок в полный рост на тонких ножках, и далее копытца видны. И прямо на безобидного того ишачка устремилось длинное копье, которое метнул кто-то невидимый… Вот так разрисовало пустыню воображение летчицы, и она летит над ней, как над картой с условными значками. А если уже и буровые вышки расставлены — это просто маячки для пилота. Пускай одинаковые, на один ранжир, но возле всякой найдется своя примета: то бочка с водой, то моток каната, то доски в штабеле. Да и люди около вышек: мотористы, осмотрщики. Не дадут сбиться с пути, подскажут снизу дорогу. А ложится нефтепровод или газовая магистраль — это уж прямая дорога, это верная трасса и для того, кто в небе.

Летела как-то по трассе газопровода в декабре, под самый Новый год. Инженер-приемщик на борту. Садилась, ждала, пока он осмотрит участок, взлетала, садилась, ждала. Погода из дрянных дрянная, ветер-поземка все усиливался, мешал и взлетать и садиться… Облет участков шел к концу, оставался последний, самый дальний, и — на базу. В воздухе еще ощутила, что с мотором неладно. Сесть села, а взлететь не смогла, трансмиссия не включалась. Поломка такая, что мотористу одному не справиться. Ремонт долгий, надо на стационар, на базу, где слесари, где токарный станок. А сейчас бы куда-нибудь под укрытие: пурга метет. Метет пурга! Заносит машину. А где укроешься в степи? Километрах в пятидесяти, не ближе, должна быть железнодорожная ветка, полустанок. Как дотащить туда вертолет? А пуржит все сильнее, все яростнее. Рации нет. Так и сидеть в кабине, дожидаясь, что кто-нибудь случайно явится на помощь? Дождешься в такую погоду… И вдруг из пурги, из вьюжной тьмы, вынырнула ослепляющие фары, грузовик вынырнул. Бесшумно, неслышно совсем, словно на парашюте спустили его с неба. Шофер вылез, в огромной мохнатой ушанке, лица не видно — молодой ли, старый? — и голоса не слыхать, молча обошел вертолет, молча сел обратно в кабину и укатил… Инна знает некоторые неженские слова, ну не самые, понятно, а все-таки… Ругнула шепотком того шоферюгу, дала ему

соответствующую характеристику. И зря, поторопилась. Действительность опровергла ее поспешные выводы.

Шофер вернулся. Он приволок неизвестно где разысканные им широкие грузовые сани, на которые вкатили вертолет. Но они его тяжести не выдержали, развалились. И пришлось буксировать без их помощи. Дорогу уже так занесло, замело снегом, что грузовику и в одиночку-то еле пробиться. А имея на буксире очень ловкий в небе и неуклюжий в пешем строю «МИ», он буксовал с ним через каждые 10—15 метров, прочно и надолго застревая. Рвались канаты, вертолет то и дело клало на бок, заваливало в сторону. Двое суток промыкались, промучились в степи, пока не дотащили его до полустанка, под укрытие. Это было уже утром 31 декабря. Инна с мотористом, с инженером-приемщиком поспевала на базу к встрече Нового года. Хотела пригласить и шофера. Но опоздала, не услышала, как он завел мотор и дал газу… За двое суток она так и не разглядела его лица из-за мохнатой ушанки, которую он не снимал, и не запомнила его голоса, поскольку он за все это время произнес семь или восемь слов и то уж по самой необходимости, когда совсем заедало с буксировкой. Кто он, откуда? Назвался Ромкой, и на том сведения о себе ограничил. Она его никогда больше не встречала в этих местах. Наверно, из далеких командировочных шоферов, судя по бортовому номеру, из иркутской автоколонны, развозившей трубы по строящейся трассе. Закончил командировку, рейсовые задания выполнил, спешил домой к Новому году. Людей встретил в степи, попавших с вертолетом в беду, помог им, как полагается, обычное дело, и укатил…

…Перечитал я про шофера и удивился, как это удалось мне вытянуть из Инны такой длинный эпизод. Видно, потому, что про шофера, про другого человека. Могла бы, впрочем, и о себе, скромность тут ни при чем, просто некогда. Некогда! У нас ведь с ней как получается? Она хоть и приписана теперь к московскому авиаотряду, но только приписана, бывает редко, летая по-прежнему далеко от Москвы, даже дальше, чем прежде: в Сибири она раньше не бывала. А нынче и в Якутию заносит. И мы видимся урывками, а чаще и не видимся, говорим по телефону, и это всегда неожиданно для меня. Внезапный звонок:

— Здрасьте! Прилетела…

— Здрасьте! Надолго?

— Думала, денька на три…

— И что же?

— Не получается. Завтра вылет. Машину надо срочно перегнать на Мангышлак… Я быстренько вернусь. И мы с вами в Воздушную академию съездим…

— А что такое?

— Я слышала, человек там есть, который с Иваном Ивановичем до последней минуты был вместе… Если не улечу завтра, ждите звонка, съездим…

Не позвонила. Улетела.

И вдруг телеграмма. Не с Мангышлака, уже с другого конца страны, «из Нефтеюганска пролетом»:

> «Непременно разыщите книгу генерала Рытова название рыцари пятого океана страницы сто пятая сто шестая приветом Инна».

Из мемуаров генерал-полковника авиации А. Г. Рытова, который во время финской войны был комиссаром у Ивана Ивановича, командовавшего воздушной армией на Карельском перешейке:

> «…в трудную минуту я всегда находил у Ивана Ивановича сочувствие и поддержку. Человек он по складу характера был молчаливый, но отзывчивый, сердечный. В его дружбе можно было не сомневаться.
>
> О храбром человеке иногда говорят: он не знает страха в борьбе. Эту поговорку можно было отнести без всяких колебаний и к Ивану Ивановичу. Мне не раз приходилось его упрашивать, когда он без особой надобности вылетал на боевые задания:
>
> — Ну зачем ты рискуешь? Разве без тебя не найдется кому слетать на разведку? Ты же командующий, а не комэск.
>
> А он посмотрит этак осуждающе, махнет рукой и пойдет на взлет. В этом человеке жила какая-то неистребимая страсть быть все время в боевом напряжении, идти навстречу опасности. И если ему по каким-то причинам приходилось оставаться на земле — он просто не находил себе места. Это не было рисовкой или стремлением показать свою отвагу. Такой уж характер у человека.
>
> Герой Советского Союза Иван Иванович Копец воевал в Испании, быстро продвинулся по служебной лестнице. Но в душе он оставался рядовым храбрым бойцом, для которого схватка с врагом в небе была лучшей отрадой.
>
> В канун Отечественной войны Копец командовал военно-воздушными силами Белорусского военного

округа. Мне рассказывали: когда фашисты в первый день наступления нанесли массированный удар по аэродромам, Копец сел в самолет и решил посмотреть, что с ними сталось. Потери оказались огромные. И старый честный солдат не выдержал. Он вернулся в штаб, закрылся в кабинете и застрелился…

Сейчас можно о нем говорить всякое: и малодушие проявил, и веру, мол, потерял. Не знаю. В одном я твердо убежден: сделал он это не из трусости».

С Сергеем Ивановичем, встретившись через тридцать лет в Москве, мы почти не затрагивали в разговоре последней, трагической страницы жизни его брата. Только раз, показывая старые фотографии и среди них снимок, на котором они вдвоем, совсем молодые, но один уже летчик, другой — моряк, похожие, как я уже говорил, до родимого пятнышка у виска, он сказал печально про эту родинку у Ивана:

— Для будущей пули…

Заключительные страницы этого повествования заполнит Нина Павловна, вдова генерала. Она живет, как и до войны, в Минске. Мы давно в переписке (нас свела, познакомила заново тоже Инна), но так сложилось, что она, наша переписка, пошла как бы поверху, это были в основном открытки к праздникам, к памятным датам. Я долго не мог переступить через некую незримую черту, приближался к ней, отступал и лишь недавно, начав эту главу об Иване Ивановиче, решился задать несколько вопросов Нине Павловне, заранее готовый смириться с тем, что она их отвергнет. Так, собственно, и получилось, если судить по первым строкам ее ответного письма. Но затем, преодолев болевой порог и подталкиваемое всё нарастающим внутренним желанием излить, выплеснуть то, что долгие годы отягощало душу, ее перо потянуло строку за строкой, строку за строкой, и уже не хватило одного письма, потребовались второе, третье, четвертое… И мне бессмысленно пытаться пересказать их, подбирая слова-дубликаты, которые, как бы я ни изощрялся, все равно дубликатами, чем-то вторичным и останутся. Единственную вольность разрешу себе: представить читателю письма Нины Павловны как единое письмо. Да и не так уж велика эта вольность: они, ее письма, хотя и отсылались с интервалами в несколько дней, и есть такое единое послание, единый вскрик души. Перебивать его, расчленяя, так же бессмысленно, как и пересказывать.

«…Тяжеленькую задачу Вы мне задали! Не знаю, хватит ли мне сил справиться с ней. Думаю, не хватит потому, что я

1. не люблю писать;

2. неважно себя чувствую;

3. не люблю воспоминаний, гоню их от себя, слишком много боли и горечи они вызывают. Казалось бы, что́ уж — давно прошло, мохом поросло… но, «как вино — печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней».

Попробую…

Начну с последних дней Ивана.

Последнее время Иван не летал, то есть сам не правил машиной. Осенью 40 года в лесу случайно поранил глаз сучком (собирали грибы), болел, лечился, но без видимого улучшения. Врач сказал мне, что левый глаз вряд ли удастся спасти.

Бо́льшую часть времени проводил в штабе или в командировках. Домой приходил всегда усталый, подчас нервный, но редко раздражительный. Вообще у него был очень хороший, спокойный характер, не любил распространять свое настроение на других.

Приходит обедать из штаба:

— Что-то мне есть не хочется, совсем аппетита нет.

Иду на военную хитрость.

— Не хочешь, не надо, садись за стол, почитай газету.

Садится, читает. Подсовываю ему тарелку с супом. Ест машинально, не отрываясь от газеты. Так же подсовываю второе — все съедает дочиста. Потом спохватывается:

— Постой, я, кажется, пообедал?

— Кажется, да, — смеюсь я.

Как-то, вернувшись из командировки раньше, чем мы предполагали, он неслышно вошел в спальню, где я сидела на тахте с детьми. Схватил дочку, стал ее подбрасывать, называя ласковыми именами. Я взглянула на сына — глаза полны слез. Я сказала мужу:

— А с нами ты забыл поздороваться?

Ваня тут же подхватил и Алика. Мальчик так любил отца, так гордился им, и всякое даже невольное пренебрежение к себе переживал с горчайшей обидой.

В те дни к мужу не раз заходил его товарищ Рыбаков Василий… по-моему, Николаевич, точно не помню. Они дружили и раньше, а последние дни перед войной часто запирались в кабинете у нас дома и о чем-то подолгу беседовали, выходили озабоченные. Рыбаков работал в штабе начальником отдела, не знаю, жив ли он, но если бы вы сумели его разыскать, то наверняка узнали бы гораздо больше, чем от меня. Ведь о своих служебных делах муж мне не рассказывал, а я, естественно, не расспрашивала. Как хотелось бы найти Рыбакова, если жив, и побольше узнать у него, чтобы понять причины гибели Ивана Ивановича.

Я устала.

Продолжу после.

…Продолжаю.

За две недели до начала войны мы сняли дачу-комнату в деревне Зацепо, близко от Минска. Там поселилась моя мама с детьми. Алику было 10 лет, а Наташе всего полтора года. Мне тоже хотелось пожить на даче, но Ваня не согласился, сказав, что ему неприятно жить одному в большой пустой квартире. У нас было 5 комнат. Днем я делала уборку, готовила обед и ожидала его. Звонит:

— Скоро приду.

Жду час, другой. Наконец звонит.

— Все, освободился…

Обед я уже описала. После обеда редко отдыхал — сразу в штаб. Вечером опять ожидание. Звонок:

— Ты дома?

— А где же мне еще быть?!

— Сейчас, Ниночка, сейчас высвобожусь… — говорит виновато, почувствовав маленький упрек в моем голосе.

Но все равно это «сейчас» длится до поздней ночи.

Если уезжал в командировку, посылал за мной машину, и я на день-другой отправлялась на дачу.

Тогда установили лимит на бензин, и шофер все жаловался мне, что никак не может уговорить И. И. поменять «бьюик» на «шевроле», чтобы легче было экономить бензин. Просил меня помочь, и я обратилась с этим к Ивану (это было дней за 5 до войны), а он вдруг в несвойственной ему манере резко отрубил:

— Вопрос стоит о жизни и смерти, а ты тут с каким-то лишним литром бензина…

Это было так непохоже на него ни по смыслу, ни по тону, необъяснимый для меня нервный срыв, то, что называется теперь стрессовым состоянием.

На дачу к детям он ни разу не выбрался — так был занят.

По ночам он часто не спал, одолевала бессонница. Я проснусь, вижу: лежит и о чем-то напряженно думает.

Время было тревожное, войну ожидали, гадали — нападет немец или нет?

Неоднократно в городе устраивались учебные тревоги, проверялась светомаскировка в домах.

Я понимала, какал тяжелая ответственность лежит на нем как на командующем авиацией, и не хотела тревожить его пустыми расспросами. Ничего не говоря, я подготовила ему чемодан с самыми необходимыми вещами и сменой белья на случай внезапного отъезда на фронт, если начнется война.

К нам заехал в те дни его отец, возвращавшийся с курорта. В Минске гастролировал МХАТ, и я пошла с Ваниным отцом в Дом офицеров смотреть «Школу злословия», хотя уже видела ее в Москве. После спектакля приготовила ужин, ждали Ивана, но его все не было. Поужинали без него, и я сказала, что хочу спать, а Иван Иосифович решил все же дождаться сына. Ждал, видимо, долго. Я проснулась в середине ночи, услышала их голоса, они все еще разговаривали.

Уже рассветало, когда Иван лег спать. Уснуть он не успел — зазвонил телефон. Он вскочил и быстро прошел в кабинет к телефону, быстро вернулся бледный как смерть. Я поняла все сразу, но все же спросила:

— Что случилось?

— Война, немцы напали…

Он мигом оделся и ушел. Я не успела отдать ему чемодан, да и не знала тогда, что вижу его в последний раз.

В тот проклятый день, 22-го, все валилось у меня из рук.

Кое-как собрала что попало из вещей, съездила на дачу за мамой и детьми, отправила их вместе с Иваном Иосифовичем в Москву. Сама осталась дома с двумя подругами, которые перешли жить ко мне, как только началась война. Одна из них, Нина Олейникова, жила с мужем и раньше у нас. Но начальству не понравилось, что подчиненный (Олейников был инспектором авиации)

живет на квартире у командующего, и им дали отдельную двухкомнатную квартиру возле аэродрома. Мы дружили с этой семьей еще в Москве, до отъезда Ив. Ив. в Испанию. Когда муж был назначен в Ленинград, он и Федю Олейникова туда перетащил, а позже — в Минск.

Утром другого дня, 23-го, мы с Ниной поехали на их квартиру, взяли какие-то вещи, поскольку она перебралась ко мне. В это время стали бомбить аэродром, город еще не трогали, хотя сирены выли, тревогу объявляли, люди прятались в подвалы. Вернулись домой, а там — Федя, пришедший из штаба, я ничего не заметила по его лицу. Тут завыла сирена, и мы спустились в бомбоубежище.

…Вернусь к печальной моей хронологии, как сохранила память.

В тот день, 23-го, Федя оставался у нас дома; Нине было плохо, она лежала.

Внезапно явилась из Белостока моя тетушка с приемной дочерью Соней и ее двумя маленькими детьми. Сонин муж, парторг воинской части, ушел на фронт, а семью отправил ко мне. Они добирались до Минска в хлебном фургоне.

В течение дня объявлялось несколько тревог, хотя, повторяю, город не бомбили, только аэродром вдали. Дети нервничали, плакали, и я решила всех белостокских отправить вместе с Ниной в деревню, на нашу дачу. Дома оставались Федор, Люся (вторая моя подруга) и я. Ночь прошла спокойно.

Утром позавтракали, Олейников ушел в штаб, а мы с Люсей собрались ехать в деревню, отвезти продукты, вещи. Но как только прибыл за нами Минцер, началась тревога. На сей раз сирена выла особенно долго и зловеще. Шофер советовал идти в бомбоубежище, я настаивала, чтобы ехать.

— Во время тревоги нельзя, — говорит, — нас не пропустят.

— А мы рискнем! — говорю.

И рискнули. Никто нас не задержал, улицы пустынны. Не успели выехать к окраине, как вдали, приближаясь, показалась черная туча немецких бомбардировщиков. Шофер гнал как безумный, а я не отрываясь глядела назад и вверх на страшную армаду, двигавшуюся к городу. Водитель резко развернул

машину в сторону от шоссе. Самолеты, я видела, разделились на три эшелона, и посыпались бомбы. Посередине, над центром, сбрасывали фугаски, а по обе стороны, на окраины, зажигательные; тогда эти районы были сплошь в деревянных строениях, не то что теперь… Грохот, дым, сплошные пожары. «Наверно, и наш дом разбит», — подумала я. И почему-то в этот момент мне больше всего стало жаль Ваниного скульптурного портрета; его вылепил Азгур, сходство замечательное, особенно удалась характерная тихая, чуть приметная улыбка. Боже мой, знала бы я, что́ в это время с самим Ваней…

В деревне нас встретили слезами три женщины и двое детей. В их плаче соединились радость от встречи с нами и горе при виде зарева на горизонте — там был Минск. Тетушка, глядя на меня, все приговаривала: «Живая, живая…» Когда стемнело, в деревне появились милиционеры. Наш шофер переговорил с ними и узнал, что поблизости сброшен фашистский десант, они, милиционеры, его ищут, говорят, что немцы переодеты в советскую военную форму. «Надо уезжать», — решили мы, посоветовавшись, и быстро-быстро собрались, захватив с собой лишь самое необходимое. Мы еще не определили, куда ехать, решение созрело в пути: в Москву… Путь лежал через Минск. Подъехали к реке — мост разрушен. Шофер свернул куда-то, обнаружил уцелевший мост и направился к аэродрому — за бензином. Город уже не пылал, а догорал. Тяжелый дым, смрад. Развороченные, разбитые, сгоревшие дома. Мы не решились свернуть, чтобы глянуть на наш — цел ли? Кругом — безлюдье. Аэродром тоже показался совершенно безлюдным, только непрерывно гудели трактора, ровнявшие взлетное поле…

Вот так мы покинули Минск. По пути заехали в деревню (названия не помню), где жила свекровь Сони. Там мои родственницы с детьми остались, а мы с Ниной и Люсей — дальше, в Москву. В Смоленске переночевали у жены Минцера, которая училась здесь в пединституте. Пока шофер спал, мы с его женой проговорили всю ночь. Оказывается, мы разминулись с ней в Минске. Она примчалась за матерью и сыновьями, не зная, что муж уже отправил их к ней в Смоленск. Она пришла к нам в дом, как мы с ней подсчитали, через 3—4 минуты после нашего отъезда. И налет немецких бомбардировщиков

она пересидела у нас в убежище. Таким образом, я узнала, что в первую бомбежку наш дом уцелел… Женщина вернулась товарняком в Смоленск, где ее ждали мать и двое мальчиков, живые и невредимые. А вскоре появился и муж с нами.

В Москве мы остановились у родителей Нины Олейниковой, которые уже приютили в своей крошечной квартирке мою маму и ребятишек. Теснота ужасная. Я решила хлопотать насчет жилья. Но прежде всего мне хотелось повидаться с Яковом Владимировичем Смушкевичем. Вам, конечно, знакома эта фамилия. В Испании он был начальником и другом Ивана. После возвращения наших мужей из Испании мы двумя семьями почти месяц провели вместе в Сочи. В Ленинграде, бывая в командировках как командующий ВВС страны, Смушкевич обычно останавливался у нас на улице Халтурина. Они с женой перенесли страшное горе: их пятилетняя дочурка Лени́на упала с балкона на асфальт и разбилась насмерть. Через некоторое время попал в тяжелую аварию на самолете Яков Владимирович. У него были перебиты ноги, обожжена спина. Так от этих ран он как следует и не оправился, но все же участвовал еще в боях на Халхин-Голе — здесь получил вторую Звезду — и в Финляндии. Незадолго до Отечественной Смушкевича перевели в управление гражданского воздушного флота. О причинах этого неожиданного перевода Ваня мне ничего не сказал. Я считала — по состоянию здоровья…

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«По Самойлову», по известному «Морскому словарю», составленному адмиралом Самойловым, «камбуз — чугунная плита для изготовления пищи личному составу судна, помещавшаяся на парусных судах в носовой части… В современном понимании камбуз означает само помещение на судах, в котором производится обработка пищи…» Далее отдельно поясняется, что такое камбузная труба («Служит для отвода газообразных продуктов горения из камбузного очага в атмосферу») и камбузный котел. А для камбузного рабочего в словаре места, представляете, и не осталось, о чем говорю с неутихающей обидой, как бывший камбузник, натерпевшийся в свое время и от трубы, и от котла, и от…

От чего только и от кого не претерпевал бедный камбузяра, или камбузевич, как прозывали его в моряцкой среде, самая неквалифицированная личность на пароходе, числившаяся в конце судовой роли, списочного состава экипажа, после матросов второго класса, после угольщиков и даже после уборщицы, которая в подчинении непосредственно у старпома, а над камбузягой еще и кок властвовал с чумичкой. Кстати, по тому же Самойлову, кок во втором значении — «судно, близкое по конструкции к паруснику типа неф, но более поворотливое и легкое на ходу». Мой кок в первом значении этого слова, повар то есть, мое начальство, тоже был поворотлив и легок на ходу, когда пребывал в трезвости. К сожалению, данное состояние не во все дни являлось для него — постараюсь сказать интеллигентнее — превалирующим.

И это обстоятельство сыграло определенную роль в развитии избранного мною для этой главы сюжета, в центре которого камбуз, — вся интрига вокруг него — и я гребу пером ему навстречу: сейчас покажется из-за угла, из-за Пяти углов.

Ленинградцам известен этот перекресток, где в Загородный проспект вливаются три улицы, образуя пятиугольник. Здесь была ближайшая к нашей редакции трамвайная остановка. В тот вечер я возвращался с работы совсем поздно, около полуночи — дежурил как «свежая голова» в типографии по номеру. Нужного мне трамвая, девятки, долго не было, наконец подошла, я вскочил на заднюю площадку и увидел Леву Березкина. Он стоял возле чугунной решетчатой дверцы, какие были тогда в вагонах, в шикарном «мантеле», «импортном», как бы теперь сказали, черном клеенчатом плаще, блестевшем, словно только что из-под ливня; галстуком повязанный бордовый шарф, наимоднейшая,

пупырчатая кепка-«бельгийка». Трамвай сильно раскачивало, меня швырнуло на Леву, а он и не шелохнулся — что была ему эта качка!

— Ты откуда, Лева? — спросил я.

— Из Филадельфии. Стояли там с коробкой на ремонте… — сказал он чуть небрежно, как о чем-то будничном.

А я онемел. Отчего? Что меня ошеломило? Я вырос в морском городе, не раз бывал в порту, видел корабли, разговаривал с моряками. Но то были незнакомые мне люди, отчужденно-далекие, и это как-то не задевало моих чувств, а тут Лева, представляете, Левка Березкин из 22-й школы на Фонтанке. Мы не встречались после окончания семилетки, я не знал, что с ним. И вот он возвращается домой из Филадельфии, а я все с той же Фонтанки… Мы жили в разных концах Моховой, он ближе к улице Белинского, я к Чайковского, Леве требовалось сойти на остановку раньше. Я сошел вместе с ним и все еще онемевший плелся за Левой до его дома, а потом еще бродил в одиночестве, возносясь в мечтаниях. В ушах шумел, плескался океан, и в его плеске слышалось: Фи-ла-дель-фия… (Придет срок, и я побываю в Филадельфии, как и в других городах Америки, но это случится через двадцать пять лет после встречи с Левой Березкиным на трамвайной площадке.)

Все устроилось без особых задержек и усложнений. Редактору Данилову понравилось мое предложение дать серию репортажей о жизни моряков не со стороны, не с портового причала, а изнутри экипажа, войдя в него, по кольцовскому способу перевоплощения, в чем и у меня уже имелся небольшой опыт. Была поездка в киноэкспедицию «осветителем», было участие в агитполете санитарной авиации в качестве «больного». Опыт не без издержек, но и они меня кое-чему научили. И я с бумагой-ходатайством от редакции отправился в порт, в Балтийскую контору, как называли Балтийское морское пароходство, к Сахаровскому. Так посоветовал Лева Березкин, с которым я держал теперь контакт, консультировался. Саша Сахаровский, кажется, демобилизованный военный моряк, работал в пароходстве помощником начальника политотдела по комсомолу. Я с ним с тех пор больше не видался, слыхал, что в войну он вышел в генералы. Сахаровский прочел предъявленную мной бумагу, окинул меня оценивающим взглядом и спросил:

— А кем пойдешь? Камбузником согласен? Других вакансий не будет.

Эту проблему — кем идти — мы с Левой обсуждали. Он объяснил мне про все морские профессии. На рулевого, на машиниста, даже на кочегара надо кончать «инкубатор» —

шестимесячные курсы в порту. А я стремился в море сразу. Что такое камбуз и каковы мои перспективы там, я примерно догадывался. Лева говорил: «Смотри в камбузники не угоди. Просись палубным матросом, угольщиком на крайний случай, трудно, а отстоял вахту — и свободен». Он-то не догадывался, он точно знал, что́ есть камбузяра на пароходе, и не допускал для меня этого варианта и на крайний случай. Но выбора не было, и я сказал Сахаровскому:

— Пойду, кем пошлете.

— Ну что ж, будем оформлять. Дуй в отдел кадров, я позвоню туда.

И все же было неожиданное маленькое осложнение, которое могло разрастись и в серьезное, если б не тот же Коля Данилов, редактор. Оформление в «загранку» длилось обычно не меньше двух месяцев. Все это время я продолжал репортерскую службу. Сдал, помнится, очередной материал в номер, пришла сверстанная полоса, полколонки, конечно, не лезло, висело, секретарь редакции потребовал сокращения моей корреспонденции, я протестовал, настаивал на переверстке, он отказывался, — тривиальная редакционная драчка! — температура спора стремительно подскочила, меня занесло, и я швырнул полосу секретарю на стол; пролетая, она задела его по очкам, он вскочил и, разъяренный, — к редактору в кабинет, захлопнув передо мной дверь. До меня доносилось:

— Распущенность… Зазнайство… За границу, видите, собрался. Я буду возражать… Нельзя допустить в такое время… Неизвестно, как он себя там поведет…

Я еще не вышел в море, а уже попал в шторм. Мне досталось от Данилова. Я понимал, стоит ему снять трубку и позвонить в пароходство, не только океана, Финского залива не увижу, Маркизовой лужи. Трубку он снял для острастки, но номера не набрал.

И вот я прибегаю в редакцию и стою ликующий в окружении моих товарищей, от которых меня уже как бы отчуждает, приобщая к иному кругу, некая незримая черта, да нет, вполне видимая, вот она — новенькая, в синей обложке с золотистым государственным гербом «Мореходная книжка» № 02759, паспорт моряка, выданный мне взамен гражданского капитаном порта. (Он подписывал документы, а вручал делопроизводитель Иванов, старичок в аккуратненьком флотском кителе с канцелярскими черными нарукавниками, сидевший в комнате за железными дверьми, через руки которого проходило множество синих книжек с вписанными в них названиями уплывавших во все концы света кораблей, а для него «свет» ограничивался письменным

столом, несгораемым шкафом и стеллажами со сданными на хранение или в архив паспортами, и, если требовался какой, старичок, не перебирая их, не заглядывая в реестр, а лишь прицелившись глазом, безошибочно выуживал с полки нужный; у него, как у летучей мыши, свободно ориентирующейся в пещерной тьме, имелся, наверно, природный локатор на документы…) В «Мореходной книжке», которую я всем показывал в редакции, рядом с фотографией владельца лиловел оттиск большого пальца левой руки, и я объяснял недоумевающим, что так положено по международному морскому статусу. Текст мореходки на двух языках, и, демонстрируя ее, я в графе «звание» тем же большим пальцем левой руки неприметно прикрывал написанного по-русски «камбузника», чтобы читали по-английски «Caboose man» — это выглядело, как мне представлялось, значительнее.

Первое судно, на которое меня послали, называлось «Лена». В моей биографии три Лены: пароход, младшая дочь и ее дочурка. С пароходом мы почти ровесники, он на год моложе. Как уточнил я сейчас по последней «Регистровой книге морских судов Союза ССР», «Лена» построена в 1917 году в Голландии, «сухогруз, наибольшая длина 70,5 м, ширина — 10,97, осадка по летнюю грузовую ватерлинию — 5,1, валовая вместимость — 1505 т, скорость — 9 узлов, порт приписки — Архангельск». Значит, где-то на севере пыхтит-скрипит еще старая коробочка, которую, судя по Регистровой книге, немножко подмолодили — два новых котла поставили на ремонте в ГДР, перевели на жидкое топливо. Но все равно, где ж ей угнаться за тезкой, тоже голландского происхождения, дизель-электроходом «Лена», 37 лет разницы в возрасте не пустяки и для металлических созданий.

Направление из отдела кадров дали не сразу, с неделю ходил отмечаться в контору, в Красное здание. Пишу как имя собственное потому, что зданий из красного кирпича в порту и вокруг много, а Красным называли одно это, на Межевом канале, построенное еще в петровские времена под таможню. Маленький скверик перед ним был вечно забит шумящей толпой, почти как недоброй славы «барахолка» на Обводном. Но здесь никто не торговал, здесь был клуб моряков под открытым небом. Толпились резервники в ожидании назначения в рейс. И те, кто, придя недавно из рейса, забегал сюда за новостями. И вернувшиеся из отпуска, кому разрешили подождать свое ушедшее в море судно… Мотались в толпе и «бичи», они ниоткуда не вернулись и никуда не собирались: «семафор» закрыт — нет визы.

Среди этой братии следует выделить «Жору полутонного»,

прозванного так за неимоверную толщину, бывшего камбузника. Про Жору шутили, что он «бичует», поскольку для него никак не подберут соответствующего тоннажа пароход, коего бы он не потопил своим весом. К тому же, Жора на камбузе являл собой козу на огороде, которую накормить было сложнее, чем весь экипаж. Известна история с пирожками. Это еще когда он в рейсы ходил. Как-то на стоянке повар приготовил тесто, мясную начинку и велел Жоре нажарить пирожков к бульону на обед, а сам отправился в город. Команда — тридцать пять ртов, по два пирожка на каждый. Все семь десятков угодили в один рот — Жорин обжорин! Часть он полусырыми навернул, покуда заворачивал начинку в тесто, остальные добирал, когда остывали на противне. Причем клялся после, божился, что все произошло помимо его воли, что он и не заметил, как заглотнул пирожочки. Не врал, так и было — не заметил. Спохватившись, что нечего подавать к бульону, кинулся на причал, в портовый буфет, накупил там окостеневших пончиков, принялся срочно разогревать их, но был разоблачен и списан с парохода «за несовместимое с обязанностями камбузника чревоугодие», как указывалось в приказе капитана.

Жора был, собственно, не полный бич, полубич, он иногда все-таки работал, вачманил — нес подсменную береговую вахту на стоявших в порту судах. И еще у него имелась работа: время от времени приглашали сниматься статистом на «Ленфильм». Вы можете увидеть Жору в разных довоенных картинах в безмолвных ролях толстяков: в «Иудушке Головлеве» он подвыпивший купеческий сынок, в «Танкере «Дербент» гуляка-морячина на танцульке в клубе, в «Петре I» голландский лоцман у штурвала. В одном из этих фильмов играла Жорина сестра, популярная киноактриса. Да и он был не рядовой статист, а «тип», шел по высшей ставке среди статистов. Режиссеры любили его. Особенно хорош, естественен, темпераментен оказывался в «драках», в «потасовках». Темперамент привел его раз к серьезной накладке, которая едва не закончилась печально. Накладочка в прямом смысле, в 198 килограммов весом, сколько тянул Жора. Изображая полицейского, обезоруживающего бандита, — снималась стычка в американском баре, — он, как требовалось по мизансцене, навалился на партнера — им был профессиональный артист — и придавил его своими двумя центнерами к полу. «Бандит» захрипел, Жора решил, что партнер подыгрывает, и еще приналег, прибавив нажиму, артист замолк под ним. Режиссер крикнул: «Хватит!», «полицейский» вскочил, а придавленный «бандит» остался лежать, его еле откачали, привели в чувство: относил беднягу в медпункт перепуганный насмерть Жора, на

вытянутых руках нес, нежно, осторожно, как носят новорожденных.

Война застала Жору на очередной съемке. Студия собиралась эвакуироваться в Алма-Ату, предложили ехать и Жоре, сестра уговаривала, он отказался. Его зачислили в военизированную охрану порта. Те, кто встречал Жору в блокаду, говорят, что он так и не похудел, оставался «полутонным». Он умер от голода на посту возле продсклада: когда утром пришли его сменить, увидели, что часовой вроде бы спит стоя, прислонившись к складской стенке, прижав винтовку к огромному своему животу. Мертвый, он улыбался. Возможно, в последнее мгновение жизни привиделись Жоре пирожки с мясом, которые он съел когда-то один за всю команду…

Итак, я неделю ходил в Красное здание, а вакансии все не было. И вдруг под конец недели и под самый конец дня распахнулось деревянное окошко отдела кадров, и инспектор, ведавший посылкой на суда, крикнул, высунувшись:

— Срочно, камбузники есть?

Таковых в коридоре оказалось двое: Жора и я. Но он не в счет — закрытый «семафор». А у меня свеженькая виза.

— Пойдешь на «Лену». Там камбузник заболел. А у них отход на двадцать три ноль-ноль.

У меня оставалось четыре часа. «Лена», как сообщили из диспетчерской, перешла, взяв груз на Швецию, от Железной стенки в Угольную гавань и заканчивает там бункеровку. А мне еще домой, собираться…

Чемодан укладывала мама. В командировки я уезжал часто, а такой еще не случалось. Мама предстоящего путешествия, само собой, не одобряла, но отговаривать было поздно, и, сдерживая волнение, молчаливо-сосредоточенная, она белья набила столько, словно я уходил в кругосветку, а не в полуторанедельный рейс.

«Лену» у пирса в Угольной не застал. Она уже стояла на рейде. Туда отваливал как раз катер с запоздавшими моряками и грузом для камбуза: две мясные туши в рогожах. И еще одна туша на задней банке, дышащая и даже похрапывающая. Кто-то сказал, показывая на нее:

— Кока-то наш прилично надрался…

Я еще не знал, кто это — Кока. А то был повар Костя, которого в команде называли Кокой, объединяя должность с именем.

— Полрейса отсыпаться будет, раз бухой…

— Теперь Борьке вкалывать за двоих. Хоть и камбузник, а хорошего шефа стоит. И варит, и жарит, и пироги печет, дай бог…

— А Борис в море не идет, захворал. Днем при мне в кадрах

замену ему искали. — Говоривший посмотрел на меня, незнакомого, спросил: — Ты случайно, парень, не новый ли к нам камбузевич?

Я скромно потупил очи. Меня пристально оглядели, благо белая ночь способствовала такому осмотру. Что-то в моем облике явно не отвечало представлению этих людей о камбузнике, и один из них произнес невесело:

— Да-а… Сыты будем… Французская кухня нам обеспечена.

— Какой обед нам подавали!.. — пропел другой тоже с грустью в голосе, как о чем-то давнем и уже недоступном.

Катер подошел к борту «Лены». Она стояла в полном грузу, по самую ватерлинию, но, когда я карабкался по свисающему с борта, штормтрапу, казалось, что ему конца нет. А над головой проплывала грузовая стрела, медленно несшая на стропе стальную сетку, в которой покоились две мясные туши и нетранспортабельный иным способом Кока, мое непосредственное начальство, в чье распоряжение я должен был поступить.

Ранним утром я был разбужен вахтенным матросом, то есть он думал, что разбудил, а я-то не спал, всю ночь бессонно проворочавшись на койке моего предшественника в кормовом кубрике плывущей «Лены».

— Вставай, Борис! — сказал матрос, встряхнув меня за плечи и не глянув в лицо, повернутое к стенке. — Полшестого, Боря, вставай. Уголька мы тебе подбросили отличного. Кардиф… Пойду разбужу Коку.

Похоже, он не видел вечером повара, а то бы не был столь оптимистичен: разбужу… Ни сам он, вахтенный, ни вызванная им подмога — артельщик, боцман — так до Коки и не добудились. Прогноз, высказанный на катере, начал, кажется, сбываться.

И я в первое же утро очутился в одиночестве на рабочем месте. Это место — кухня — никогда прежде не являлось для меня рабочим, оно было таким для нашей мамы. А я лишь забегал к ней на кухню, учуяв доносившийся оттуда соблазнительный аромат тушенной с черносливом картошки, или пирога со свежей капустой, или рубленой селедочки, или… Мама была великая мастерица по кулинарной части, вкладывавшая в прокорм трех мужчин много таланта. И не меньше физических усилий. Но она не любила выставлять их на обозрение, не привносила жертвенности в свой труд, которая может отравить любое благое дело. Отец, правда, всегда помогал по хозяйству, мой старший брат Валька — изредка, по вдохновению. А я, на положении балованного «мизинца», был чистый потребитель. Влетаю на кухню на запах вкусненького с мольбой во взоре и с распахнутым

ртом, мама всплескивает руками, вскрикивает в притворном ужасе: «Ну подожди же, подожди, скоро обед, ты перебьешь себе аппетит…» И тут же отрезает увесистый кусок пирога, и глаза ее светятся неподдельным удовольствием, пока я его уплетаю…

Теперь наступала расплата за вольготную жизнь юного гурмана: я один на рабочем месте, на камбузе, далеко от маминой кухни, нужно растапливать плиту, готовить завтрак команде.

Уголь, и в самом деле превосходный, вспыхнул и загорелся ровным, сильным пламенем. А вот камбузная труба, призванная, по словарю Самойлова, «отводить газообразные продукты горения в атмосферу», забастовала почему-то, и означенные продукты стали растекаться по судну, достигнув и капитанской каюты. Таким образом состоялось заочное знакомство капитана с новым камбузником, который вскоре познакомился и с боцманом. Очно. Посланный капитаном, тот прибежал на камбуз и бросился открывать заслонку у трубы, выясняя попутно, откуда и каким ветром принесло меня, «чертова камбузягу», на пароход. («Чертова» употреблено здесь в тексте, как вынужденная замена, как жалкий эрзац подлинного боцмановского определения, кто я есть такой.) Боцман был не первый и не последний из прибегавших в тот день на камбуз. Лица их сейчас, через столько лет, проплывают передо мной в туманности, в размытости, сливаясь в одно лицо — недоуменно-удивленное в тогдашнее утро, с налетом нарастающего беспокойства к середине дня и в конце его уже откровенно рассерженное, раздраженное, как у человека, которого ни за что ни про что ввергли в большое неудобство… Голоса же, как ни поразительно, моя слуховая память сепарирует, они врубились в нее с четкой раздельностью, вплоть до интонации, хотя я не могу с уверенностью утверждать, кому какой принадлежит, могу лишь догадываться об этом по характеру, по содержанию произносимого.

…— Бо-орь, ты чего за продуктами не спускаешься? Или отдельную у себя артелку с ледником завел?.. Э-э, да это и не Борис вовсе… И Кока доходяра, и Бори нет, ве-есело!.. Ну, давай, мальчик, приходи, мясо забирай, сегодня котлеты на обед. Рубить умеешь? Вот у тебя мясная колода… Не-е, мне, брат, некогда, я на вахту с восьми… Ладно, отставить котлеты, отваришь цыплят с рисом, они с базы ощипанные, нехитрая штука приготовить… А я с чифом согласую перемену в меню… Не чих, а чиф, темнота. Старпом, значит… — Это, ясно, артельный, заведующий продовольствием, выбираемый экипажем снабженец; получает на складе (а за границей закупает у шипшандлеров — портовых торговцев), грузит на борт, хранит и выдает на камбуз продукты;

как правило, артельщики — из верхней команды, — матросы как-то побойчее, поразворотистей «нижняков», «духов», да и с судна им проще отлучиться на стоянках, и погрузочные средства — стрелы, лебедки — у них в руках; странно, не помню завпрода с «Лены» ни в лицо, ни по имени, хотя постоянно общался с ним как камбузник, а вот артельщиков с других судов, на которых плавал позже в иных «чинах», не связанных с камбузом, всех помню — капризы памяти; к слову сказать, меня и самого не раз выбирали артельным…

…— Борис, полвосьмого, надо ж вахту кормить, и подвахта скоро подойдет, а ты все с завтраком чухаешься, доходной, что ли, вместе с Кокой? Маткин берег! Это не Борька… Ты кто такой, салага? Новый камбузяра? Запарился? А ну тебя с твоим омлетом… Давай быстро сухим пайком. Хлеба давай, масла, колбасы, сами нарежем. Сахару. Чаю-то хоть скипятил?.. — Думаю, это дневальный, дежурный по столовой.

…— Слушайте, вьюноша, вы почему же скатываете палубу питьевой водой? Этак вы нам всю расходную цистерну, все три тонны расхлещете мигом. Помпа? Она совсем не для того. Для кипятильника, для плиты качать. По мере надобности… А палубу, стенки, подволок, будьте любезны, забортной, из шланга… — Это, догадываюсь, не боцмана указание, у него несколько иной словарный запас, с которым я уже познакомился, растапливая плиту, это скорее всего «дед», старший механик, вмешался, вежливый, как видно, человек.

…— Ой, голубчик, что это у тебя с цыплятами? Вон их как разнесло, в лебедей превратились… Да неужто ты их не выпотрошил? Так и есть, со всеми кишочками-потрошочками запустил вариться. Хорошо еще сообразил лапки обрубить, с головами не сварил… А ну-ка, задраивай двери, чтобы запашок дальше не пошел. Будем беду исправлять. Остудим, внутрях выскоблим, благо желчь не разлилась, подвезло тебе. В марганцовке разика три прополощем. Промоем. Прокипятим заново. И топленым маслицем зальем. Не пропадет у нас курятинка, свеженькая же она с базы, парная. Подадим на стол в лучшем виде… — Женский голос, судя по всему, буфетчица.

И опять же изъян памяти, отклонение какое-то. На «Лене» плавали три женщины: уборщица, радистка и буфетчица; первую помню, как звали, — тетя Оля, она часто забегала на камбуз по всяким делам, никакого сочувствия ко мне не проявляя, озабоченная своими взаимоотношениями с боцманом, у которого жена плавала уборщицей на другом пароходе; радистку же в рейсах я почти не видел, у нас с ней были, что называется, разные трапы, разные маршруты: у меня — кубрик — камбуз — столовая,

у нее — каюта — радиорубка — кают-компания, в портах она закрывала рацию и сматывалась на берег, но фамилия ее тоже запомнилась без надобности, она была однофамилица или, может, родственница автора «Занимательной физики» — Перельман; а вот имя буфетчицы, которая выручила меня с цыплятами и вообще взяла под свое крыло, пока не оклемался Кока, ее имя я непростительно забыл…

Буфетчица, кстати, немалая власть на судне, во всяком случае лицо влиятельное. Когда я после служил на флагманском ледоколе, у нас была буфетчица Марфа Митрофановна. Нравная старуха — поморка, формально подчинявшаяся старпому, но делавшая при всех старпомах все по своему хотению, всевластная владычица кают-компании. Заглазно величали: «Марфутий Первый, самодержец кают-компанийский». Боцман в юбке. Когда-то она и въявь была боцманом в каботажке на родном Белом море. А матросиком-«зуйком» ходил с ней совсем тогда еще юный наш капитан Воронин, для нас Владимир Иванович, а для нее Володька, сынишка ее подруги и чуть ли, боюсь наврать, не крестник. И теперь в рейсе она была ему, прославленному, усатому, взамен мамки. Могла, как и прежде, отчитать «по-соленому» будто юнца-салажонка. Но и ревностно блюла его привычки, среди которых главной было пристрастие к треске. Он употреблял ее, иной пищи не признавая, ежедневно — в завтрак, в обед, в полдник, в ужин, на закуску, на первое, на второе и вместо сладкого. В любом виде. Приготовление трески для капитана Марфа кокам не доверяла — только собственными руками и втайне. Где-то в скрытном месте ледокола она хранила бочки со священной рыбой, запасенной на весь долгий арктический рейс, приспособления для ее разделки, приправы. Подавая Воронину тресковое блюдо, любила приговаривать: «Рубай, Володька, рубай, милай! Трещочки не порубашь — не поработашь…» Наклонившись, прибавляла шепотом: «И не…» (Знаю, что после войны Марфу-буфетчицу, разбитую параличом и оказавшуюся в полном одиночестве, Владимир Иванович перевез к себе домой, и семья Ворониных ухаживала за недвижной старухой до последнего ее вздоха.)

У меня возникла необходимость приостановить на некоторое время повествование, отступить от сюжета. Я неправильно выразился. Сюжету урона не будет, действие развивается: «Лена» плывет, миновала уже Аландские острова, Кока, проспавшись, появится вот-вот на камбузе… И мне следует подготовиться к встрече с ним в обоих своих качествах, или, как любят сейчас говорить, в обеих ипостасях: и как камбузнику, и как автору. Как у автора, план такой: съездить в Ленинград. Побывать в порту,

повидаться с опытным морским поваром, посоветоваться с ним, проконсультироваться, уточнить то, что называется документальной фактурой, проэкзаменовать свою память, прибавив к ее заметам сведения, почерпнутые у специалиста. И вернуться во всеоружии на камбуз «Лены», уверенно, с новыми силами вплыть в сюжет…

Красное здание — на месте, в сквере перед ним пустовато — отдел кадров в другом доме нынче, но и там не толпятся морячки́, а «бичей» и вовсе не приметно, хотя говорят, что это племя еще сохранилось, сильно поредев и рассредоточившись по разным уголкам в районе порта.

Моя просьба была удовлетворена сразу же: женщина-инспектор не задумываясь рекомендовала мне консультантом «одного из крупных авторитетов в области питания на морском транспорте» шеф-повара теплохода «Михаил Лермонтов» товарища Черноморцева. На мою удачу, он как раз в Ленинграде, приехал после полуторагодичного отсутствия навестить семью, пока «Лермонтов» стоит в Риге и наводит лоск — готовится к открытию трансатлантической линии на Нью-Йорк… Я отправился к Черноморцеву. Он живет там, где и полагается жить обладателю морской фамилии: на Петроградской стороне, совсем неподалеку от памятника матросам с миноносца «Стерегущий» — корабль не достанется врагу, кингстоны открыты, хлещет вода. И плеск ее доносится в растворенное окно комнаты, в которой мы разговариваем с Черноморцевым.

Я был бы несправедлив, сказав, что разочарован встречей. Но… шеф-повару океанского лайнера 36 лет, он родился через год после моих рейсов на «Лене». Когда-то мальчишка-дистрофик, полуживым вывезенный из блокадного Ленинграда, он кормит сейчас в плавании свыше тысячи человек — 700 пассажиров и 320 членов экипажа. Камбуз — плавучая фабрика-кухня; в подчинении у шефа 29 поваров. И ни одного камбузника — в торговом флоте ликвидирована эта должность, в судовой роли она заменена поваром 3-го разряда. Вечная память многострадальному камбузяре, камбузяге, камбузевичу, канувшему в Лету!.. И для Черноморцева я, явившийся к нему с вопросиками на уровне камбузника тридцатых годов, был конечно же смешон, да и просто непонятен. Я его про плиту на угле, а он никогда и не работал у такой. Я про хранение продуктов в рейсе, когда нет холодильника, — про деревянные ящики со льдом и солью, а у него на теплоходе мощнейшие рефрижераторные установки. Я разделкой мяса интересуюсь, и опять у нас несхожие понятия: для меня разделка — топор, ножи, для него — электрическая стейковая машина, выдающая

бифштексы с конвейера… Нет, мне интересен этот человек сам по себе, но не для того дела, ради которого я к нему пришел. Он понимает это и говорит:

— Вы хотите писать про старину… (Тридцатые годы для него старина!) Я плохой вам помощник. Знаю про то время с чужих слов. Вам бы дядю Борю разыскать, Бориса Михайловича Орлеевского. Повар-наставник. Я у него стажировался. Он лет сорок в Балтийском пароходстве. Все знает. У меня должен быть его адрес, где-то в Автове живет. Точно, в Автове, вот записано: улица Зины Портновой…

И я поехал к старому коку.

Больной поднялся с постели, накинул халат.

— Всю жизнь страдаю от водной стихии: штормовал, тонул. И снова печаль от нее. Брызгался под душем. И вдруг потерял сознание, упал. Расшибся, воды наглотался. Жена была дома, вытащила. А то веселая могла быть картиночка: в океанах проплавать — в ванне утопнуть. Микроинсультик… Ничего, не беспокойтесь, мне уже разрешили вставать, ходить по комнате. Так что же вас интересует?

Объясняю.

— На каком пароходе вы плавали, говорите, камбузником?

— На «Лене».

— На «Лене»? Камбузником? И, простите, когда же?

— Летом тридцать шестого года.

— Твердо помните?

— Помню твердо.

— И все-таки ошибаетесь. В то лето камбузником на «Лене» ходил я, Орлеевский Борис Михалыч. У меня сохранилась мореходка… Вот она, можете проверить.

— И у меня мореходка с собой, можете проверить.

Две старенькие, потрепанные мореходные книжки ложатся на стол. Двое старых, потрепанных бывших камбузников оспаривают право на «Лену».

— Взгляните, — говорю. — Пароходная печать с датой моего зачисления: двадцать четвертого июня. И штампы контрольно-пропускного пункта: «выезд» — двадцать четвертого июня, въезд — пятого июля, в Швецию ходили, и опять в Швецию, сразу, «выезд» — шестого июля, «въезд» — двадцатого. Не вру, убедились? А вы чего-то путаете…

— Путаю! — согласился он. — Совсем забыл, я же заболел тогда на «Лене» и в два рейса не ходил. Вот, пожалуйста, по штампам видно — перерыв на месяц…

— Бог мой! — вскричал я. — Да вы же… Ты же тот самый Борька-камбузник, которого я сменил на эти два рейса. Вот так

сюжетец! Встретились через тридцать семь лет… Здравствуй, Борис!

— Здравствуй, специалист по цыплятам!

— Знаешь про этот случай?

— А как же… Я после болезни вернулся, мне ребята говорят: «Ну и камбузягу же присылали вместо тебя, Боря, обсмеешься…»

— Кому смех, а мне были слезы.

— Ясное дело, с непривычки. Я на торгаша с флота явился, с военки, из котельных машинистов, и то не сразу притерся, на камбузе своя хитрость, в первый день тоже чуть не угорел. У меня был поначалу мировой кок, дядя Коля, обрусевший китаец, Ко Фудзинь по-ихнему. Я с ним быстро основную камбузную науку превзошел.

— Ты хоть сейчас, Борис, выдай секрет, как ты медную посуду драил. Я пришел, все блестело, сверкало у тебя. Я старался вовсю, начищал-начищал, все равно тускнело. Зеленые подтеки появились…

— А ты как драил?

— Боцман научил: песком, тертым кирпичом, пеплом.

— Боцман — чмырь. Это для корабельной меди годится. А кухонная — особая, ее надо так: хлеб заквасить с уксусом, и на тряпочку, протереть посуду, холодной водой окатить.

— Буду знать, когда в следующий раз пойду камбузником…

Сидим, вспоминаем «Лену» и вообще нашу жизнь.

Оказывается, мы с ним однажды очутились совсем рядом: бок о бок, борт к борту стояли наши суда, и мы виделись, не зная, что уже «знакомы» по «Лене».

Это было в феврале 1940 года, под конец финской войны. В узком горле Белого моря застряли зажатые льдами транспорты с войсками и вооружением. Наш флагманский ледокол послали им на выручку. На нескольких пароходах, в том числе на «Сакко», на «Унже», кончался запас продовольствия, пресной воды, и к ним следовало пробиться в первую очередь, чтобы снабдить необходимым. А их уже вынесло дрейфом на предельно малые глубины. И мы чуть не по дну ползли, по камням, тараня лед. Подобрались все же, пропоров себе брюхо, повредив винт, сперва к «Сакко», дали воду, потом к «Унже», на которой, как выяснилось сейчас, поваром плавал Орлеевский. Вместе со своим артельщиком он принял продукты — хлеб, муку, крупы, консервы, масло — у артельщика с ледокола. Артельщиком на ледоколе был я…

Борис Михалыч немного постарше меня. Он показал мне напечатанную года четыре назад в газете «Моряк Балтики» заметку к его юбилею:

«30 000 ОБЕДОВ

Почти сорок лет отдал флоту повар Б. М. Орлеевский. Он пришел в Балтийское морское пароходство камбузником еще в 1930 году.

В войну Орлеевский воевал на Ленинградском фронте в ударной морской бригаде, участвовал в десантных операциях, а затем плавал на спасательном корабле «Сигнал».

Сын Орлеевского Валерий тоже моряк, служит мотористом на теплоходе «Вытегралес»; секретарь комсомольской организации.

На днях Борису Михайловичу исполнилось 60 лет.

— Сил у меня хватает, — говорит он. — За свою жизнь я сварил 30 тысяч обедов из расчета обед на 50 человек. Думаю, что приготовлю еще не одну тысячу обедов, не включая завтраки и ужины…»

Вот такая симпатичная заметка, но на отведенной ей площади много не уместишь. Опущена романтическая родословная: прадед, польский граф, бросил поместья, стал сподвижником генерала Домбровского, сражался на баррикадах Парижской коммуны, погиб… Не названы кругосветки, послевоенный поход с китобойной флотилией в Антарктиду. А война? Нет бомбежки «Жданова», который шел с детьми из Выборга и был перехвачен вражеской авиацией на кронштадтском рейде; нет Ханко, с которого он уходил на «Тумане» в числе последних; нет встречи в блокаду со стариком Ивановым… Помните делопроизводителя, выдававшего мореходные книжки, я упоминал его между делом, в скобках. После рассказанного о нем Борисом надо бы их убрать.

— Ты как произносишь фамилию? Иванóв? Неверно. Услышь Михаил Степаныч, рассерчал бы. Требовал, чтобы Ива́новым называли… Он по морскому ведомству с царских времен, с девятьсот седьмого в чиновниках, и все по паспортам… Как началась Отечественная, все отбывавшие на фронт понесли ему мореходки. И я свою сдал. Попрощался с паспортистом. Он переселился в контору, чтобы круглосуточно сторожить документы… А на Ханко я услышал, что будто в Красное здание попала бомба, левый угол разворотило. Комната с паспортами находилась как раз в левом крыле, знаешь, не угловая, но могла пострадать. «Как там старичок Ива́нов? — подумал я. — Ну а

мореходку новую выправят, если пропала, лишь бы в живых остался…» И вот мы встретились с ним зимой, с Михал Степанычем. Я уже на спасателе служил, на «Сигнале», в главстаршинах. Стояли во льду на Неве у Шестой линии. Вышел я на палубу, смотрю, старушка в длинной шубейке, в башлыке тащит но набережной сайки с двумя мешками. Подивился, обычно в те дни другой груз возили на санках — мертвых… Остановилась, села и встать, видно, не может. Я вгляделся — не старуха это, а старик, еще вгляделся — батюшки, Ива́нов, паспортист из пароходства… Подбежали мы к нему с краснофлотцами, подняли на руки, внесли на корабль. Угрели, покормили осторожно, в баньке вымыли. Спрашивает: «Где мешки?» — «Не волнуйтесь, вот они, в порядке». В мешках уложенные в пачки и перевязанные мореходки. Старик решил для большей сохранности развезти документы по разным местам, рассредоточить. И два мешка повез домой. Из порта на Одиннадцатую линию Васильевского острова… Мы не сразу отпустили его, дня три продержали на судне, подкормив, хотя он и протестовал, беспокоился, как там без него в конторе. Помогли ему довезти груз до дому. Мне сказал: «В мешке нумер один, в пачке нумер девять и ваша, Орлеевский, мореходная книжка за нумером ноль пятьдесят одна тысяча восемьсот семь дробь семь тысяч пятьсот шестнадцать…» — «А нельзя ли, Михаил Степаныч, — сказали, — взять ее на хранение?» — «Что вы, что вы! — воскликнул он. — Не полагается! Кончится война, вернетесь в пароходство, получите у меня свой паспорт…» Получил. У него, у Ива́нова. После войны. Сидим, вспоминаем.

— Слушай, — говорит, — а ты помнишь, что приключилось с тобой в Готском канале?

— Во втором шведском рейсе? Ничего не произошло. Что имеешь в виду, Боря?

— Забыл ты… Выбежал, понимаешь, с камбуза с полным ведром — и бух помои за борт. А внизу катер ошвартовывался к борту. С полицейскими чинами. И все дерьмо на их головы. Картинка! На кэпа большущий штраф…

— Туфта! — говорю я и раскачиваю лампу над столом, как раскачивают в кают-компании любой висячий предмет, если кто-нибудь слишком уж завретcя в морской «травле». — Кто тебе набрехал? Хватит, знаешь, закрытой заслонки у трубы, невыпотрошенных цыплят, еще кое-чего по мелочи, а чтобы отбросы в канал — такого случая не было, это уж слишком… — обиделся я за камбузника с «Лены».

— Ой, прости. Опять я спутал, склероз. Как говорится, склеротик, закрой ротик. Это было в другом канале — в

Кильском, на другом пароходе и с другим камбузевичем.

— Не с тобой ли? То-то, брат… А вообще-то в том рейсе у меня случилась небольшая история. С чифом. Когда мы вышли Гёта-каналом на озеро Венерн и разгружались в портишке Отербакен.

— Расскажи…

Самая пора возвратиться на «Лену».

В первом рейсе в Швецию мы заходили в три порта: в Евле, в Ронебю, название третьего память не зафиксировала. Мог бы и два предыдущих не запомнить, поскольку ни в одном из портов я с парохода не спускался. Мы развозили чугунное литье, болванки, выгрузка простая, быстрая, стояли у причалов по полсуток, не больше, но кто на вахте, те, сменяясь и подменяясь, сумели все же побывать на берегу, а у меня так и не выкроилось свободного часа.

В Евле я попал через тридцать семь лет, сегодня, когда пишу эти строки, да-да, когда пишу эти строки, включен телевизор, идет товарищеский хоккейный матч сборных Швеции и СССР на стадионе в Евле, и я наконец-то нахожусь в самом городе, а не на камбузе стоящего в его порту парохода. В Евле я хоть видел с палубы причал, порт, а в Ронебю мы стали во второй ряд, под боком у «поляка», танкера «Катовице», он был гораздо длиннее и выше «Лены», закрывал нам весь обзор города. Камбузы оказались по соседству, оба на верхних палубах, только на разных уровнях. И у меня наладилась связь с общительным польским камбузником. То и дело перевешиваясь через фальшборт, он передавал мне вниз информацию — это была сложная словесно-жестикуляционная смесь — обо всем происходящем на набережной, скрытой от моих глаз корпусом танкера. Особенно подробными, развернутыми, с преобладанием жестикуляции, были сведения о девушках, проходивших мимо «Катовице». Парень обрисовывал их с артистической выразительностью, и я, сидя над ведром с картошкой, воспарял в мыслях, млел. А Кока сердился на поляка — отвлекает от работы, — но своих чувств не выказывал, да и никаких мер к нему предпринять не мог: иностранец…

Меня-то он держал в строгости… Клянусь, в этой фразе нет и тени упрека задним числом. И вообще ничего дурного не затаил я в душе против Коки, не имел на это ни права, ни оснований. Мне было трудно? Но я ведь сам обрек себя на эти трудности, никто не заставлял. А он, за что его наказали, каково приходилось в рейсах ему без Бори, полноценного помощника, и со мной, которого следовало учить на каждом шагу? Во имя чего?.. Кока

был молодой, лет на шесть старше меня, двадцатилетнего. Хорошо выспавшись, он явился на камбуз свеженький в сверкающих стерильной белизной куртке и фартуке, в высоком накрахмаленном колпаке, при галстуке-бабочке, в таком виде, в каком шеф-повар океанского лайнера в последний день рейса выходит в ресторан представиться и раскланяться пассажирам, которых он кормил в рейсе. А Кока всегда имел такой облик на камбузе, на маленьком тесном камбузе грузовичка, безукоризненно аккуратный и чистый. Я вспоминал его «тушей» на катере, теперь это был изящный, легкий на ходу и в деле человек, поворотливый, как судно типа «неф», помните по Самойлову? И уж умел накормить! Наш кэп, прибалт, обожал картошку, как помор Воронин треску, и старпом, ведавший меню, требовал от Коки внедрения картофеля чуть не во все блюда. И кок изворачивался. Капитану потрафить и чтобы команда не взвыла от однообразия пищи. Чего он только не изображал из картошки и с ее участием!

Было блюдо под названием «риви». Правда, оно не являлось лично Кокиным изобретением, рецепт принадлежал капитану, вернее — его бабушке… Сырую очищенную картошку трут на терке, затем отжимают в домотканом льняном мешке (они были припасены у Коки, иные не годятся), полученную массу перемешивают со сливками, добавляют яйца, мелко нарезанную свининку, специи и ставят на противне в духовой шкаф, вынимая, когда покроется нежной розовой корочкой, чуть припухлой по краям. Вкус, аромат необыкновенные! А если день-другой как из порта и на леднике свежее молоко, то тарелка горячего риви со стаканом холодного молока — пища богов! Я не кулинар, — камбузярство не приобщило меня к этой магии, не имею для хозяек рецепта с точными пропорциями, чего сколько класть, могу сказать лишь про картошку, тут не ошибусь, — моя забота, мои руки, моя неразгибавшаяся спина! — пять ведер, 50 кило, две суточные нормы на экипаж забирало у нас риви капитанской бабушки. Чего-чего, а картошечки-то я почистил на «Лене»! Долго не сходили затвердевшие мозоли с подушки большого пальца и со сгибов указательного правой руки…

Не только в шведских портах, в своем родном, ленинградском, я не сошел на берег. На причал выходил. Но у моряков это не считается сойти на берег. За пределы порта не вышел, хотя стояли недалеко от Главных ворот, у Железной стенки, Красное здание виднелось, — не было времени. Мы вернулись утром — и сразу под погрузку. Снова чугун в Швецию. Отход — ночью. Часть команды отпустили в город до вечера, а у нас с Кокой — аврал. Возвращение «Лены» совпало с «цыганским

днем» в порту. Это было почти официальное наименование. Артель цыган в определенные числа, по трудовому соглашению, лудила посуду с камбузов. Прямо на причалах. Мы как ошвартовались, грузиться еще не начали — чернобородый кричит снизу:

— Эй, «Лена-а», неси тазы-чаны-ы, лудить будем.

Меж крановых путей на листах железа разложен костер. Дежурит пожарный. Все приготовлено для лужения: бутыли с кислотой, ящик с сухим нашатырем, пакля, длинные щипцы. И прутки пищевого олова, редкостного тогда, а у цыган оно было, неизвестно уж откуда, и их нарасхват — в рестораны, в столовые, на фабрики-кухни, сами же больше всего любили в порт, к морякам: после работы — заграничное угощение, винцо заморское… Возле стоявшей у нас по корме «Ижоры» уже лудят вовсю. Доносится жар раскаленной меди, едучий запах соляной кислоты и цинка…

— Эй, «Лена-а», давай!

Вдвоем с Кокой кантуем на руках кипятильник. Здоровенная все-таки бочка, боцман увидел, сжалился «дракон», говорит:

— Подождите, застропим.

А Кока ему гордо:

— Вот еще стрелу гонять, мы сами. У меня камбузевич — сила!

Впервые обласканный шефом, я тужился, пыхтел… Луженый бак поднимали вечером стрелой. Я еле волочил ноги, натаскавшись за день цыганам ведер с водой, набегавшись с чанами, тазами, бачками, сковородками, кастрюльками с парохода к костру, от костра на пароход да еще в экспресс-лабораторию, где каждую полудку брали на анализ… В этом круговороте я изловчился как-то выскочить к телефону на склад, домой позвонил, в редакцию.

Дома трубку взяла мама.

— Мамочка, здравствуй, я из порта…

— Ой, миленький, мы тебя заждались.

— А я не приеду, я в следующий раз…

— Как в следующий? Что за работа такая, чтобы домой не пускали?!

— Мы уходим в море…

— Как у тебя с бельем, сыночек?

— Ты положила на кругосветное плавание, почти полный чемодан еще, не волнуйся.

(Я сказал неправду про белье… Я уставал на камбузе и к концу дня, наполоскавшись с посудой в портомойке, вымыв пол, стенки, потолок, так не хотелось еще и белье свое стирать, и я,

приняв душ, просто менял грязное на чистое, складывал ношеное в мешок, говоря себе всякий раз: «Ну, завтра простирнусь…»; запасы в чемодане таяли, и к приходу в Ленинград не то что на кругосветку, на следующий рейс могло не хватить; сказать об этом маме я не решился, она примчалась бы в порт с новым чемоданом белья… Во втором рейсе я устроил генеральную стирку, и после мама, перебирая все старательно выстиранное мною, почему-то хваталась в ужасе за голову и глотала валерьянку.) В редакции трубку взял Данилов.

— Привет Магеллану! — сказал он. — Где был?

— В Швеции.

— Интересная страна?

— Очень.

— Были любопытные встречи?

— Разумеется.

— С буржуазией? С рабочими? С крестьянами?

— Со всеми.

— А как там пионеры? Удается ли им противостоять бойскаутскому движению?

— В этом вопросе, Коля, я еще не успел разобраться. Но постараюсь. Мы снова уходим в Швецию. Извини, пожалуйста, меня ждут цыгане…

— Что ты, бредишь? Какие цыгане?

— Мы посуду лудим…

— Слушай, ты не глотнул ли водочки? Не вставай на этот скользкий путь. Еще не хватает, чтобы ты спился.

— До свидания, Коля!

В полночь мы приняли уголь, на рассвете ушли. В шесть я, как обычно, разводил огонь в плите, но был снят старпомом с камбуза и послан в бункер… «Лену» вдруг скособочило. В порту на швартовах лежала нормально. А на подходе к Толбухину маяку начало кренить на правый борт. Крен небольшой — пять градусов, но в море, в шторм и такой опасен. Капитан приказал перештивать часть угля в «яме», перебросить пять тонн: по тонне на градус крена, с правого борта на левый. Работы часов на восемь, на две вахты, если поставить по одному человеку. Первым меня, решили. Сменит палубный матрос.

Многое на пароходе я делал впервые в жизни. Картошку-то я, скажем, чистил в пионерлагере. А тачек с углем не катал. И к тому же, в длинном, узком бункере с крутыми поворотами на плывущем, покачивающемся судне. Я не пытаюсь разжалобить читателя. Понимаю, что другим на жизненном пути выпадала работенка и потяжельше, и не на четыре часа… Я был один, никто не стоял надо мной с погонялкой. Был единственный контролер,

проверяльщик: пароход с его креном. И я грузил углем тачку за тачкой, катал честно. Разок лишь сделал «перекур». Не курю и не курил никогда. Просто присел передохнуть на «штанину», или на «рукав», — и так и так называют железные скаты, по которым с обоих бортов сыплют в бункер уголь. Захотелось всем телом вобрать в себя приятный, освежающий холодок металла, и я лег на спину, вытянув ноги. И вдруг заструившийся сверху луч света ослепил меня на миг, скользнул по груди, по ногам, устремился в глубь бункера. И я, лежа еще, увидел у истока световой дорожки наклонившегося с фонарем старпома, его худое лицо со втянутым ртом, темными подглазьями. Он ничего не сказал, бровью не повел, погасил фонарь, и я, вскочивший, услышал его удаляющиеся от люка шаги. Самолюбие мое было уязвлено: надо же, прилег на минутку и угодил под фонарь чифа. Подумает еще: сачок. А я не сачковал в бункере, даю слово! У меня был счет тачек, и когда мы позже сверились со сменщиком, у нас их оказалось поровну: за две вахты мы выправили крен «Лены», и она поплыла в прямой, гордой осадке (чуть не написал осанке). У старпома не могло быть претензий ко мне. Он их и не выражал. И все же меня не оставляло ощущение некой неловкости перед ним, даже виноватости, не знаю уж почему. Всякий раз, как мы встречались, я невольно зажмуривал глаза, будто в них бил сильный свет фонаря…

Во втором шведском рейсе весь груз был в один порт — в Отербакен на озере Венерн, соединенном с морем через Гёта-канал. Но он не для больших океанских судов — «Лена» прошла, осадка позволила. Каналишко семейный такой, вроде как по дворам проложен, по садовым участкам, между коттеджей. Можно с борта шагнуть прямо на веранду, со ступенек которой нам улыбаются хозяин-швед с семейством, словно приглашая кофейку попить… В Отербакене мы стояли двое суток, все перебывали на берегу, даже до меня дошла очередь. Кока говорит:

— Гуляй, помощничек.

Я пробегаю мимо каюты старпома, выходящей на спардек, дверь открыта, чиф сидит в глубине, на диване под иллюминатором, читает книгу, но, увидев меня, пробегающего, окликает:

— Камбузевич!..

Я, чертыхнувшись мысленно («Неужели опять не попаду на берег?»), возвращаюсь, стою смиренно на пороге.

— Слушаю вас, товарищ старший помощник.

— Будь любезен, прихвати с берега бутылочку рома… — и протягивает горстку шведских иориков.

Я отдергиваю руки: как обожгло.

— Я… я… комсомолец… — дрожащий голос срывается на шепот.

— Что-что? — переспрашивает чиф. — Не понял.

— Я комсомолец и не могу исполнить такого поручения.

— Ах вон оно что… — Он перебрасывает монеты с ладони на ладонь, швыряет на стол. — Г. . .юк ты, а не комсомолец… Давай гуляй… — произносит меланхолично, снова уткнувшись в книгу, не придавая, кажется, никакого значения происшедшему.

А у меня внутри клокочет обида: это тебе не луч фонаря в лицо, это похлеще… Молчу, сдерживаюсь. Впрочем, сдерживать в ту минуту было и ничего: все слова пропали от растерянности. Они нахлынули позже, и я вел, про себя, многодневный спор-монолог со старпомом. Со всей наивной прямолинейностью комсомольца тридцатых годов — осудим ее? — я ставил наш конфликт в непосредственную связь с биографией, с происхождением моего обидчика. В команде поговаривали, что чиф из «бывших», чуть ли не сын царского адмирала. И у меня созревал план отмщения «адмиральскому сынку». Я собирался, когда вернемся домой, пожаловаться на его грубость, «буржуазные замашки» Сахаровскому. Зрело такое намерение, грешен, и, слава богу, не созрело, не воплотилось в действие. И теперь, через много лет, имею право вспоминать этот эпизод с легким сердцем… А отец чифа действительно был адмирал. Один из создателей русского подводного флота, участник Моонзундского сражения в первую мировую войну. Сын же его отличился в первые дни второй мировой. В конце сентября 1939 года неизвестная субмарина напала в Нарвском заливе на торговое судно, на теплоход, шедший со всеми опознавательными знаками, которые не оставляли никакого сомнения в его принадлежности СССР, государству, еще не вступившему в войну. Лодка всплыла под перископ, неторопливо развернулась и выпустила по транспорту две торпеды с такого расстояния, которое почти исключало шанс на спасение. И все же этих секунд хватило капитану, стоявшему на мостике, чтобы резко изменить курс и выброситься на ближайшую прибрежную мель. Маневр, преследовавший три цели: увернуться от торпед, не дать кораблю в случае попадания затонуть, лишить лодку возможности снова выйти в атаку, ибо бессмысленно стрелять по мели, — этот маневр вобрал в себя кроме мгновенной реакции и безусловной смелости еще и точнейшее знание на память — в навигационные карты некогда было глядеть — района плавания со всеми его глубинами. Торпеды пронеслись мимо, субмарина ушла, а подоспевшие вскоре спасательные буксиры стащили теплоход с банки. Капитаном на нем плавал бывший старпом «Лены», мой

«обидчик»… В Отечественную, командуя транспортом, высаживавшим десант в Моонзундском архипелаге, там же примерно, где воевал его отец-адмирал, он подорвался с кораблем на мине, а десант все-таки высадил и судно, полузатопленное, с вышедшими из строя кингстонами, привел обратно в базу.

Жив ли сейчас, когда вспоминаю его?

Проверить несложно, для этого не нужно ездить в Ленинград. Достаточно обратиться к «Морской энциклопедии» Брегмана. Этот изустный справочник более обширен, чем самойловский «Морской словарь»: кроме терминов, понятий включает еще и фамилии, названия судов. Георгий Александрович Брегман — старый московский репортер, сотрудник газеты «Водный транспорт». Он и энциклопедия, и архив, и отдел кадров морского флота, безотказное справочное бюро. Звоню, спрашиваю, не знаком ли ему капитан имярек. В ответ презрительный смешок: будто есть капитаны, которых он может не знать. Интересующий меня жив-здоров, за последние двадцать лет командовал такими-то судами (следуют наименования, тоннаж, даты приемки и сдачи). Месяц назад перегнал плавучий док из Одессы на Камчатку.

— Но ведь ему, — говорю, — должно быть, за семьдесят?

— Ха, скажешь тоже. Шестьдесят четыре.

— Неужели я всего на семь лет моложе?

— Про тебя не знаю, камбузники в моей картотеке не числятся. Он же точно с девятьсот девятого, а сын, тоже капитан дальнего плавания, тридцать шестого года рождения…

Ровесник, значит, нашего маленького столкновения с его отцом из-за «бутылочки рома».

Мы вернулись из второго рейса в Швецию, и меня — в Красное здание, в «кадры», к инспектору.

— На «Лену», — говорит, — идет прежний камбузник, выздоровел. А ты на «Ижору» — палубным матросом. В Англию рейс…

Ни на «Лене», ни на «Ижоре» никто не знал, что я журналист, что у меня редакционное задание. По крайней мере, я думал, что не знают. Разве, в противном случае, послал бы меня чиф «Лены» за ромом? А может, и послал бы… Пока я ходил на «Ижоре», в редакции появился новый сотрудник. И когда я, возвратившись из плавания и забежав в «Искорки», рассказывал, возбужденный, о своих впечатлениях, этот новичок произнес вдруг:

— Вчера я слышал о том же самом, но в несколько иной трактовке…

— И от кого же? — спросил я задирчиво.

— От Саши…

— Уточните, кто этот столь осведомленный Саша? — перехожу уже в наступление.

— Мой старший брат… Александр Николаевич Пашковский…

Бог мой, это ж капитан «Ижоры», наш кэп! Еще позавчера в море, перед приходом в Ленинград, он распекал боцмана за плохо очищенный от щепы носовой трюм — мы возили в английский порт Саут-Шилдс на Тайне пропс, круглый лес для шахт, — и боцман в свою очередь уже не щепу, а стружку сгонял с двух палубных матросов, с меня и Петьки Жванского, коим была поручена эта работа в трюмах… На «Ижоре» я больше не ходил, сделав перерыв в рейсах, дабы отписаться для газеты. И разоблачение меня младшим Пашковским перед старшим произошло, если произошло, когда я уже ему не подчинялся.

О капитане хочу добавить то, чему не был, к сожалению, свидетелем. В декабре тридцать шестого два парохода — «Смидович», «Ижора» — и теплоход «Жан Жорес» покинули с различными грузами на борту ленинградский порт, получив форордера, то есть документы без указания в них конечного пункта следования. Дается лишь примерная ориентация — в данном случае она была на Голландию и Англию — с последующим уточнением в пути. Капитаны-то знали свой истинный курс — республиканская Испания, порт Бильбао. Только капитаны… Суда ушли в том порядке, как я их назвал: первым «Смидович»; в тот же день, к вечеру, — «Ижора» и на другой — «Жан Жорес»; их выводили ледоколы. Балтику, Кильский канал миновали более или менее благополучно. «Менее» — за счет встречи «Жореса» на траверзе Ростока с немецким эсминцем — немцы подвергли теплоход досмотру — и «эскортирования» «Ижоры» неизвестной подводной лодкой, которая долго плыла бок о бок, не всплывая, под перископом… Как и задумывалось, пройдя раздельно Английским каналом, повернули на Францию и сгруппировались в Гавре для выработки дальнейшего плана. Три капитана собрались на «Ижоре» у Пашковского. Бросок в Бильбао через беспокойную Бискайю решили совершить ночью: первыми — «Смидович» и «Ижора» с дистанцией в 5—6 миль друг от друга; более быстроходный «Жорес» чуть задерживается в порту, администрации которого сообщено, что советские суда направляются форордером на Англию… Бискайя была беспокойной в ту пору не столько в силу своего известного штормового характера, сколько из-за шнырявших тут военных кораблей Франко. Пересекать залив

следовало, по логике, учитывая ситуацию, с погашенными огнями. Так и пошли в полночь при полной светомаскировке. И каково же было изумление вахтенного штурмана «Ижоры», когда стоявший на мостике капитан распорядился в середине ночи включить огни на судне. Вахтенный замедлил на полминуты исполнение приказания, и капитан отрепетовал его с жестким нажимом в голосе: «Все огни!» Вот так, не просто освещенная, а, можно считать, иллюминованная «Ижора» форсировала Бискайю и стала на рейд Бильбао под разгрузку… А утром вдали от рейда, но на видимом расстоянии, курсировавший в этом районе фашистский крейсер, приняв освещенное судно за родственное, проконвоировал в свой порт Пасахос задержанного ночью при потушенных огнях «Смидовича», провел в многомесячное пленение. «Жоресу», стоявшему в Гавре, Москва приказала прервать рейс в Испанию, идти в Лондон… Находчивый капитан «Ижоры» Александр Николаевич Пашковский был награжден орденом Ленина.

«Ленинские искры» напечатали несколько моих корреспонденции под общей рубрикой «Из вахтенного журнала». Читаю их теперь чужими глазами, кажутся наивными. И все-таки есть в них, по-моему, что-то привлекательное.

«ИОРГИ

Отербакен — крошечный, ничем не примечательный шведский городок, и мне нечего было бы о нем рассказывать, если б не встреча с Иорги.

Рано освободившись от работы, я отправился в город.

Порт в четырех милях от самого Отербакена.

Я шел тихим прогулочным шагом, оглядываясь по сторонам, стараясь увидеть что-нибудь особенное. Но все было обыкновенное. Деревья, река, небо. Мое внимание привлекали только живые ограды из вьющихся растений вокруг раскрашенных, как игрушечные, домов. Скоро и это мне наскучило, и я прибавил шагу.

Я шел уже минут двадцать и никого еще не встретил. Казалось, какой-то чудак наставил дома, скамейки, автоматы с фруктами и шоколадом, дорожные столбы, тумбы с рекламой, фонтаны — и все это бросил. Людей нет. И можете себе представить, как я обрадовался,

увидев идущего впереди мальчика в голубой рубашке, желтых штанишках, с плетеной красной корзинкой в руке. Я знал, как попасть в город, ребята на пароходе объяснили, но я крикнул вопрошающе:

— Отербакен?

Мальчик остановился, посмотрел на меня снизу вверх, отдавая дань моему росту, ткнул себя пальцем в грудь и сказал:

— Отербакен.

Я понял, он тоже идет в город. Мы пошли вместе.

— Русски, — сказал вдруг мальчик утвердительно.

Я вздрогнул от неожиданности.

— Русски, — повторил он.

— Русский, — сказал я.

— О-о! — вдохнул он. — Петроград? — уже с вопросом.

— Нет, — поправил я. — Ленинград.

— Йез! Ленинград, Ленинград, — спутник протянул руку, показывая на восток.

Затем он поднял свою красную корзиночку, ткнул в нее пальцем и тем же пальцем коснулся моего пиджака. Я понял.

— Да, — сказал я, — красный.

— Кра-асный, — медленно повторил он, прислушиваясь к звучанию этого слова.

Не зная языка друг друга, мы все же «заполнили» взаимно анкету: я сказал, как меня зовут, сколько мне лет, что я матрос, и узнал, что его зовут Иорги, ему двенадцать, что отец рыбак, а сам он учится в четвертом классе.

Я обнял Иорги за плечи, и так мы шли. Дорога подвела к лесу. Мальчик вырвался вдруг и побежал, оборачиваясь на бегу, призывая следовать за ним. Я увидел на опушке высокий, поставленный на попа замшелый камень. Такие в Швеции не редкость. Я подошел поближе. На валуне был наклеен плакат с огромной черной свастикой посередине. Я впервые увидел этот знак наяву, а не в «Крокодиле». Иорги ждал, что я буду делать. А я повернулся, чтобы идти дальше. Тогда Иорги приблизился к камню вплотную, взглянул на меня, вынул из-за пояса нож, который я у него прежде не замечал, медленно провел им с угла на угол по плакату, еще раз с другого угла и сорвал клочья.

— Йез, — тихо сказал я.

И мы пошли молча в Отербакен. Нам не нужно было больше разговаривать. Мы уже все друг другу сказали».

«ВСТРЕЧА

Он толст, наш капитан, и его мучает одышка.

Когда он поднимается по крутому трапу на мостик, стальные ступеньки дребезжат под ним.

Команда «Лены» зовет капитана «папой», и это нравится ему.

Всюду, куда бы мы ни пришли, во всех портах «папу» принимают как старого знакомого.

«Папа» говорит, что не помнит, сколько лет плавает капитаном. Ходят слухи, что пятый десяток.

В Совторгфлоте нет парохода, на котором бы не плавал какой-нибудь «папин» ученик. Я знаю капитанов дальнего плавания, начинавших морскую службу у «папы» палубными матросами.

Нашего капитана останавливают на улицах незнакомые пожилые люди, говорят: «Здравствуйте, папа!», и он хлопает себя по гладкому лоснящемуся затылку, кричит: «Как же, помню-помню — еще на Канарских островах встречались…» И начинается. «Папа» любит «потравить».

…Мы только что вышли из Зунда, — одного из трех проливов, соединяющих Северное море с Балтийским, — где встретились с «Пионером», нашим теплоходом. Команды обоих судов высыпали на палубы, махали платками, перекрикивались. Повар Костя выбежал с большой поварешкой в руке и приветствовал ею своего «кореша» — приятеля, повара с «Пионера».

— Чем сегодня удивляешь в обед? — кричал Костя.

— Селянкой и голубца-ами! — отвечал тот, сложив руки рупором.

— А я борщом и запека-анкой!

И мы разошлись. «Пионер» шел в Швецию, а мы из Швеции. Балтийское море встретило штилем. Было хорошо. Ветер дул в затылок — в корму.

Странное дело, кроме «Пионера», никто нам в этот день больше не попадался. И это в Балтике — на столбовой проезжей дороге! Только под вечер мы увидели на горизонте чей-то дымящий на все небо пароход. Он шел быстро и скоро приблизился так, что

можно было разглядеть марку на трубе — желтую подкову. Многие пароходы носят на трубах этот символ счастья, пытаясь уберечься от превратностей судьбы.

На капитанском мостике «Лены» стояли вахтенный штурман и «папа». Штурман смотрел в бинокль, силясь разобрать название встречного судна, порт приписки. «Папа» нетерпеливо расхаживал от крыла к крылу, посапывая носом.

— «Пальдиски», — сказал штурман. — Таллин. Эстонская коробка.

«Папа» резко остановился, словно наткнулся на столб, посмотрел на штурмана, побагровел.

— Что? — сказал он. — «Пальдиски»? Ну-ка, дайте бинокль.

Он долго разглядывал почти поравнявшийся с нами пароход, протирая стекла бинокля, наконец отложил его в сторону и проговорил, задыхаясь:

— Да! Это он! Это «Пальдиски»!

Он расстегнул жилет. Его мучила одышка. Пораженный штурман молчал. «Папа» никогда еще так не волновался.

— Слушайте, дорогой! — сказал вдруг капитан совсем тихо. — Вы знаете, я уже много лет мечтаю встретить это судно. На «Пальдиски» плавает друг моего детства, мой тезка Август Экис. Мы родились с ним и выросли в одном доме. Мы вместе пошли плавать и потеряли друг друга из виду. Мы не виделись с ним столько лет, сколько плаваем. Мне говорили, что он ходит капитаном на «Пальдиски». И вот он, этот пароход… — «Папа», помолчав немного, добавил: — Я хочу поприветствовать своего друга.

И велел отсалютовать «Пальдиски» тремя продолжительными гудками.

Прошла секунда, две, три. Август Экис вспоминал, думал, почему ему так особо салютуют.

И вот «эстонец» ответил. Тоже продолжительными гудками, тремя. Август Экис вспомнил.

По короткому гудку с обеих сторон, и мы разминулись.

Вот какая удивительная встреча произошла у нашего «папы» в Балтийском море, когда мы возвращались из Швеции в Ленинград».

К первой корреспонденции у меня нет комментариев. А ко второй есть. Ясно помню, что «папа» встретил в море не соседа, а своего брата-близнеца, которого звали Мартин. Почему понадобилось трансформировать его в соседа? Думаю, продиктованная тогдашней предосторожностью литературная вольность, которую сейчас хочу исправить… Я слышал, что, когда Эстония вошла в СССР, капитан «Пальдиски», плавая под советским флагом, приходил в Ленинград, но братья не могли обняться: «папы» не было уже в живых. Он умер в море, на мостике…

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Кто в будущее двинулся, держись,
Взад и вперед,
Взад и вперед до пота.
Порой подумаешь:
Вся наша жизнь
Сплошная ледокольная работа.

Константин Симонов

1

…13 января 1965 года в Центральном Доме литераторов собирались отметить 25-летие со дня спасения «Седова» изо льдов Гренландского моря. Я узнал об этом накануне от уже известного читателям Георгия Александровича Брегмана. Он позвонил мне и сказал:

— Слушай, Старков, ты хвастанул как-то, что ходил на «Сталине» за «Седовым»…

— Ходил, — сказал я.

— А в судовой роли ледокола, составленной на тот рейс, ты не значишься, я смотрел. И участникам похода, которых я спрашивал, фамилия твоя неизвестна.

— Известна — неизвестна, доказывать, трясти сохранившейся у меня мореходкой не собираюсь.

— А ты не залезай в бутылку. Если ходил, должен знать парторга экипажа, он же редактор многотиражной газеты, печатавшейся на «Сталине». Фамилия — Любович, красивая такая. Вот он во всех списках, в Указе о награждении, а найти самого не можем. Не знаешь его судьбы, куда девался?

— Знаю, — сказал я. — Сегодня утром виделся с ним, глядясь в зеркало, пока брился.

— Тебе бы все шуточки, Старков…

— «А. Старков» — мой литературный псевдоним, а фамилия, как ты выразился, красивая — Любович.

— Так чего же ты голову морочишь? Приходи завтра на юбилей.

В то время я еще не состоял в Союзе писателей и пропуска в ЦДЛ не имел. Я сказал об этом Брегману.

— Раздобывать тебе пригласительный билет уже поздновато.

Пройдем по моему, он действителен на двоих.

Так я «проник» на торжественное заседание. Среди сидящих в президиуме увидел седовцев — Бадигина, Шарыпова, Токарева, — из команды «Сталина» никого, правительственную экспедицию представлял Папанин, который был ее начальником. В перерыве перед концертом, заметив, что Иван Дмитриевич очутился в фойе на полминуты не в окружении почитателей, я подошел к нему, назвался. Он глянул неузнающе, сказал вяло: «Помню, браток, помню…», и тут же я был оттеснен желающими приблизиться, пробиться к знаменитому человеку. Отторгнутый от счастливчиков, я вдруг спиной ощутил направленный на меня взгляд, обернулся под его воздействием и увидел Анну Николаевну Белоусову, вдову моего капитана, с которой не встречался все эти 25 лет.

— Здравствуйте! — сказала она в такой интонации, будто и не было этой четверти века. — Игорек! — оборотилась уже к стоявшему рядом человеку лет тридцати пяти, и, если б не прозвучало имя, я счел бы его за воскресшего Михаила Прокофьевича. — Ты знаешь, Игорь, кто это?

— Конечно, — сказал сын, обращаясь ко мне. — Вы же бывали у нас когда-то. А мальчишечья память цепкая. Тем более что вижу вас каждый день…

Я не понял.

— На фотографии, висящей у нас в столовой, — сказала Анна Николаевна. — Миша там, вы. Снимались в Кремле, когда Калинин вручал ордена, помните?

— Этот снимок стоит и у меня в книжном шкафу.

— Вы надолго в Москву из Ленинграда?

— Я живу теперь в Москве.

— Живете здесь и не показываетесь? А мы вас нет-нет да и вспоминали…

— Брегмана спрашивали, — сказал Игорь. — Не знаю, говорит, куда пропал. А коль сам Георгий Александрович не ведает — кто же скажет?

Я рассказал, как «обнаружил» меня «сам» Брегман.

— Вот что, — сказала Анна Николаевна. — Исправляйтесь! Живем мы там же, на Суворовском, в Доме полярников. Только квартиру сменили. Номер шесть теперь.

2

Хожу к Белоусовым с портативным диктофоном, такой же у Игоря. Взаимно записываемся, сразу же известив друг друга о

своих намерениях. У меня они — профессиональные. И Игорь тоже хочет писать об отце, собирает документы, разыскивает людей, знавших капитана. А я знал его не только по походу за «Седовым», плавал с Михаилом Прокофьевичем две арктические навигации (1939 и 1940 годы) и в Беломорскую кампанию.

С нами за столом — Анна Николаевна, не оснащенная никакой аппаратурой кроме памяти, часто отвлекающаяся в соседнюю комнату, к больному младшему сыну.

Я помню, как она приезжала на ледокол из Москвы, когда мы стояли в Мурманске между рейсами. У капитана в порту хлопот побольше, чем в море. В плавании он на корабле неотлучно. На стоянке же то и дело — «за бортом», в пароходстве, на судоремонтном заводе, на совещании в обкоме. Жену с собой не возьмешь, скучает, дожидаясь его в каюте. Ладно еще, неплохая библиотека на ледоколе. Имеется даже недавно появившийся на русском языке Хемингуэй, прочитанный Анной Николаевной в оригинале. И есть возможность высказать свои соображения о качестве перевода (он великолепен!) парторгу корабля, который оказался человеком близкой ей профессии. Она — преподавательница литературы, он — ленинградский журналист, пошедший на рейс-другой в море «для набора впечатлений» и задержавшийся в моряках надолго, на годы.

Белоусов, слышал я, говорил жене шутливо: «Наша с тобой, Ню, почти совместная жизнь». В этой шутке была доля горечи. «Почти». Имел в виду частые и длительные разлуки, как у всех моряков с женами.

Знакомство — владивостокское. Анна Соколова, сибирячка, из Томска, дочь гимназического учителя физики, в десять лет оказавшаяся сиротой, попала во Владивосток как выпускница Иркутского университета, его педфака. В Приморье она уже бывала, собирая материал для диплома: «Война и революция в фольклоре». Записала множество связанных с партизанщиной песен, сказаний, причитаний, частушек, легенд. Профессору М. К. Азадовскому особенно нравились ее причитания. То есть не ее, конечно, — тех, кого она записывала. Несколько страничек из этой дипломной работы напечатала в журнале «Сибирская живая старина». Всё недосуг заказать тот номер в Ленинке. А остальное, ненапечатанное, уже не найти — безнадежно утеряно при переезде в Москву. Как и письма от Анны Михайловны Астаховой, известной исследовательницы северного фольклора, которая высоко оценила ее сучанские записи.

— Занимались у Анны Михайловны в школе? Я знала, что у нее был такой период, и вот вижу ее ученика… Путь Астаховой некоторым образом упрек для меня. Мне не удалось уйти в науку.

Отошла от фольклора, занялась чистым учительством. Преподавала в средней школе, на рабфаке, на различных курсах. Учила русскому языку китайцев, корейцев. И это стало делом жизни — обучение иностранцев. Много лет у меня свой класс в Московской консерватории, класс русского языка для студентов-зарубежников. Трехгодичный курс, в конце которого они читают без словаря «Евгения Онегина». А с самого начала, с первого урока, с первой минуты бросаю их в воду — ни слова на родном языке, только по-русски. Жаль, что сейчас каникулы, все мои «русаки» разъехались по домам, и я до осени не могу познакомить вас с ними…

Во Владивостоке молодая учительница, будто предчувствуя, что в ее жизнь навсегда войдет море, сняла комнату на Морской улице. Соседи — Кондратьевы, мать и сын, тоже приехавший из Иркутска, университетский товарищ Анны. По вечерам в квартире полно бывших иркутских студентов. Образовалось землячество, душа которого Жорик Кондратьев. Он служит переводчиком в какой-то портовой конторе, свободно шпарит по-японски, немного хуже по-английски. Печатает в местных газетах рассказы из жизни моряков, и друзья, читая их, поражены его знанием корабельного быта, матросских нравов. Кроме того, в рассказах тонко подмеченные быт и нравы стран, куда заплывают Жорины герои. Откуда это? Собственных его «плаваний» в порту — от причала к причалу — маловато для воображения. Но вот он приводит как-то морячка-сверстника, говорит: «Это Мик Белоусов, штурман с «Приморья», мой друг». Морячок почти весь вечер просидел молча, других слушал и только к концу выдал две-три боцманских истории. И тут уж всем стало видно, из какого колодца черпает Жора свои сюжеты. Да он этого и не скрывал: «Мишка травит, а я записываю. Гонорар честно пополам». Штурманок пришелся компании, а компания ему. Но он не мог бывать часто на Морской. В рейсы уходил. А на стоянках в порту — вахта. И тогда они всем землячеством собирались у него на пароходе. Береговая вахта — не в море, на мостике стоять не надо. Он спускался к ним в кают-компанию, садился за пианино или брал скрипку, которую приносила Анна, — инструмент одалживал ей на вечер школьный учитель пения — и импровизировал, у него был абсолютный музыкальный слух (позже, в Москве, когда у Белоусовых на Никитском собирались гости, пел у них однажды Лемешев, аккомпанировал хозяин, и Сергей Яковлевич пригласил его шутливо в постоянные аккомпаниаторы на концертах). Погасив электричество, зажигали подвесную керосиновую лампу, она раскачивалась, отблески от нее плыли по темным стеклам иллюминаторов, и казалось, что

корабль, наполненный звуками пианино, скрипки, тоже плывет в темном океане.

Пароход «Приморье» ушел в Дайрен на капитальный ремонт. Штурман присылал Анне письма, которые не оставались безответными. Вернувшись через полгода, он сделал предложение. Свадьбу сыграли на Морской. И сразу — в море. Рейс вдоль Охотского побережья. Капитан разрешил своему третьему помощнику взять в плавание молодую жену. Тем более что она была еще и активисткой общества туристов. И имела поручение: присмотреть на будущее морской туристский маршрут. Она занималась также в рейсе фольклорными записями. По утрам возле ее каюты матросы делали палубную приборку. В иллюминатор доносилась колоритная, образная речь боцмана, энергично руководившего работами. В ней не было, правда, ни сказаний, ни причитаний, ни частушек. Но и без того довольно обильный и любопытный для фольклориста языковой материал. К сожалению, иногда приходилось ставить многоточия. Третий помощник, увидев в тетради у жены эти точечки, выложил соответствующий «фольклор» боцману, не очень-то, впрочем, виноватому, поскольку не знал, что его записывают для науки.

По расчету рейса, Анна должна была вернуться как раз к началу учебного года, 1 сентября. А в Охе капитан получил вдруг телеграмму-распоряжение: зайти на рыбачьи промысла и с грузом вяленой горбуши следовать в Хакодате. Конечно, можно было высадиться на берег и какими-то попутными оказиями добираться домой. Только вряд ли при тогдашних средствах передвижения она попала бы во Владивосток раньше «Приморья». Да и такая заманчивая возможность: побывать в Японии. И Анна поплыла. И опоздала бы к занятиям на неделю, не больше, если б не сели при входе в порт на камни. И еще неделю пароход стаскивали, перегружая рыбу на баркасы. В отчаянии дала телеграмму директору школы: «Плыву Японию сидим мели срок возвращения не ясен».

— В Хакодате, в порту — маленькое приключение. Миша так был занят на разгрузке-погрузке, оформлении документов, что сойти на берег не смог. Все обещал, откладывая совместную прогулку. А стоянка — к концу, я в Японии — и не в Японии: вижу ее из каюты, в иллюминатор. Это при моем-то любопытстве ко всему новому. Капитан никого из своих помощников так на берег и не отпустил. И я отправилась в город с механиком, фельдшером и двумя пассажирами. Миша ворчал, провожая до трапа. «Четыре рыцаря-охранителя, муж может быть спокоен…» — сказала я. Ходили по большому городу, заглядывали в магазины, мои спутники были предупредительны, сговорчивы, даже в музей

со мной пошли. Но у меня нарастало ощущение, что я их в чем-то стесняю. Уже вечерело, подошли мы к какому-то домику с плотно зашторенными окнами, чайному домику, я слыхала, что они так называются. Механик говорит: «Посидите, Аня, в скверике, мы — мигом…» И быстренько мотнулись, чтобы я, значит, не успела возразить или, пуще того, с ними не пошла. Сижу в сквере, совсем стемнело, жутковато стало, какие-то японцы подсаживаются на скамью, лопочут по-своему, но можно понять, о чем лопочут, чего желают… А моих рыцарей все нет и нет. Решилась, пошла за ними, догадываясь, что это в действительности за домик. Вошла в гостиную, все мои спутники за столом, за «чаем», у каждого на коленях по девице. «Кто же обо мне позаботится? — спрашиваю. — Хоть бы один проводил до порта». Все четверо вскочили в полной готовности услужить, защитить, сопроводить. А девицы вспорхнули, улетучились, решив, наверно, что я жена одного из этих клиентов и закачу скандал… Миша сказал мне, когда мы вернулись на судно: «Сама переволновалась и делу помешала». — «Это ты называешь делом! — сказала я. — Хор-р-ош!..»

Таким было ее свадебное и единственное путешествие с мужем. Потом она путешествовала к мужу в порты его длительных стоянок — в Ленинград, в Севастополь, к нам вот в Мурманск, — но в море никогда больше не выходила.

— Еще одно маленькое приключение, совсем другого характера, уже в бытность мужа капитаном «Красина». Я с Игорьком жила в Москве, и, возвращаясь с «Красиным», приписанным к Владивостоку, из арктической навигации, Миша приезжал к нам в отпуск. А перед третьим походом дела не отпустили его, и он, словно в предвидении небывало долгой и томительной разлуки — они почти на год застрянут во льдах, — попросил меня приехать, хотя сделать это было мне трудно: нашему второму сыну Сашеньке не исполнилось года, взять я его с собой не могла, он требовал особого наблюдения… Но я — послушная жена, отправилась в дорогу, радуясь, разумеется, предстоящей встрече с мужем и в то же время страшно беспокоясь о малышах, оставленных дома: Игорек собирался в первый класс… И вот я во Владивостоке. На «Красине» предотходная горячка, спешка с ремонтом, покраска, бункеровка, приемка воды, продуктов. Решила остановиться в гостинице, чтобы не мешать мужу на корабле. А ледокол мне хотелось повидать, я так много слышала о нем. И в первое же утро мы пошли в порт. «Красин» стоял не то чтобы на рейде, но и не у самого причала, между ним и стенкой приспособился какой-то однотрубный пароходик, маленький, низкий, соединенный с великаном «Красиным»

трапом. И что это был за трап! Две узких доски, лежащих под углом, поскольку борт ледокола гораздо выше, и ужасно-ужасно длинных, ну просто огромное, необозримое водное пространство под ними. Я, видимо, зажмурилась. «Поползем на четвереньках… — сказал не без сарказма муж. — Некоторые так и перебираются, вспоминая свое происхождение, по Дарвину». Я гордо и не без презрения глянула на него, и он добавил: «Сними хотя бы туфельки…» А на мне были новые туфли с очень модным тогда высоким испанским каблуком, шесть сантиметров. Разве могла я их снять! «Пойдем!» — сказала я. «Я сзади, — сказал он, — на всякий случай». — «Я не упаду, — сказала я. — Но буду уверенней, видя перед собой твою спину». Ни спины мужа, ни неба над головой, ни воды внизу — ничего я не видела. И не знаю, какая уж сила перенесла меня с пароходика на высоченный ледокол по двум этим длиннющим доскам, которые шатались, прогибались и расползались под ногами, уложенные к тому же одна чуть выше другой… Я только услышала аплодисменты, ступив ни жива ни мертва на палубу «Красина». Хлопали собравшиеся у борта моряки, которые приветствовали отважную жену капитана, не уронившую его чести. Между прочим, предстояло еще возвращение на берег. Правда, настал вечер, и под покровом темноты мы спускались с корабля несколько иным способом. Миша шел снова впереди, но бочком, вполоборота ко мне, придерживая за руки.

3

…Как и обычно при таких вот воспоминаниях о близком человеке, ложатся на стол хранимые в доме фотографии, письма, какие-то документы, вырезки из газет. Среди снимков немало схожих с теми, что и я сберегаю у себя, дублей с моими, как фото на стене. Они относятся, главным образом, к нашему походу за «Седовым». А вот детские, юношеские вижу впервые. Часть их принесла Ксения Прокофьевна, сестра Белоусова. Вот она с ним и еще одним братишкой, Лёней, на старенькой карточке, гуськом за матерью: Мишук, младший, в матроске, в независимой такой позе, — годков пять ему тут, — явно будущий капитан… Я мало знаю про его детские и юные годы в Ростове-на-Дону, он редко предавался воспоминаниям, не был сентиментален. Как-то после экспедиции за «Седовым» он прочел о себе в газете, что вот-де знаменательный факт: Георгий Седов кончал когда-то Ростовские мореходные классы, а теперь корабль, носящий его имя, вывел изо льдов капитан Белоусов, воспитанник того же училища, и

отныне в истории завоевания Арктики их имена будут рядом: Седов и Белоусов. «Чушь какая! — сказал, прочитав это, Михаил Прокофьевич. — Ни о чем не говорящее совпадение, чистая случайность. И нате вам: рядом с Седовым». Он не притворялся, он действительно испытывал неловкость от такого сопоставления, хотя и был честолюбив, как всякий смертный, а может, и больше других. И ему конечно же хотелось быть рядом с Седовым. Но не по случайному совпадению каких-то обстоятельств, выигрышному в литературном плане. Он хотел быть рядом по высокому счету. По истинной значительности сделанного.

Так вот, я мало знаю о его молодости, и почти все мне теперь внове.

Распад семьи, — отец с матерью разошлись, — совпавший по времени с революционной ломкой в стране, швырнул неоперившегося мальчишку в штормовое житейское море… Ох и досталось бы мне от Михаила Прокофьевича за эту вычурную фразу! В «Автобиографии», написанной им в октябре 1939 года, — мы стояли в Мурманском порту, вернувшись из Арктики и готовясь к походу за «Седовым», — сказано проще: «Я рано начал трудовую жизнь. В 13 лет нанялся землекопом в Новочеркасский сельхозинститут. Рыл на опытных участках глубокие ямы с ровной стенкой, по которым студенты изучали почвы». Не упомянуто еще более раннее плавание юнгой на рыбачьей шхуне… Он, оказывается, чоновцем был — в частях особого назначения, созданных для борьбы с бандитизмом, — о чем свидетельствует удостоверение, разрешающее предъявителю «носить при себе холодное и огнестрельное оружие с патронами». И совсем уж неожиданное для меня фото: командир каввзвода — возле лошадки, с саблей на боку; надпись на обороте: «Никольск Уссурийский. 1929. Лето. Эпоха событий на КВЖД». Это он уже штурманом плавал — и попал на сухопутье, в кавалерию, был даже в бою под Мишаньфу… Перелистываю мореходку образца двадцатых годов, памятного всем старым морякам, — в твердой матерчатой обложке с прорезью посередине, «окошком», сквозь которое видна фамилия владельца, указанная на титуле. Перечень судов, на которых он ходил в загранку третьим помощником, вторым, старпомом, капитаном: «Приморье», «Сергей Лазо», «Лозовский», «Север», «Шатурстрой», «Волховстрой», «Комилес», «Казань», «Красная газета» (шутил позже, что был «редактором»), «Свердловск», «Красин».

Первый пароход, который он повел как капитан, — «Волховстрой». И в первом же рейсе — «SOS»! На помощь звал «Сталинград», севший на рифы в проливе Лаперуза, возле южной оконечности Сахалина, принадлежавшей тогда японцам, в 8

милях от мыса Крильон. Сигнал бедствия услышали радисты семи наших кораблей, находившихся в том районе, но раньше других подоспел на выручку «Волховстрой». Капитан «Сталинграда» Мелихов сообщил, что везет с Камчатки отряд пограничников. Белоусов понимал, что это означает. Время на Дальнем Востоке тревожное, японцы провоцируют конфликты, накаляя обстановку. А тут такой удобный случай. Можно представить, какой шум подымут они, обнаружив в своих территориальных водах советский пароход с воинской частью, со штабом, с вооружением! Но как стянуть его с камней, если отмели мешают подойти на длину буксирного каната? И поэтому Мелихов просил Белоусова, не приступая к аварийным работам, которые могут затянуться надолго, как можно быстрее принять на «Волховстрой» бойцов и идти во Владивосток. Принять… Не в порту, с трапа на трап, не на тихом рейде. В открытом море. Когда одно судно уже бьет на камнях, а другое — тоже с пассажирами, и их больше тысячи, — так и гляди кинет на рифы. Вот какое испытание 28-летнему капитану в первом же рейсе! Пользуясь ночным временем, на спасательных ботах под веслами переправили людей, оружие с парохода на пароход. Когда заканчивали эту операцию, подошли остальные наши суда. И два японских миноносца! С флагманского подняли «Волховстрою» сигнал не двигаться, стоять на якоре. На борт взошел офицер с солдатами. Хотел произвести досмотр, обыск. Белоусов отверг его притязания, ссылаясь на международное морское право, допускающее обыск только по консульскому ордеру или в присутствии консула. Японцы покинули пароход, но ареста с него не сняли. Эсминцы ходили вокруг всю ночь, весь последующий день, удерживая «Волховстрой» на «привязи». А на вторую ночь заштормило. Ветер, накатистая зыбь. Стоять на якоре невозможно. Белоусов получил разрешение лечь в дрейф. Он лег… А наутро подконвойный исчез. Кинулись за ним мористее, обычным курсом — на юго-запад. Кто мог подумать, что капитан «Волховстроя» изберет невероятный, опаснейший маршрут — на юг, вдоль самого берега, чуть не по грунту. В полном грузу, на предельной осадке. Не найдя транспорт на юго-западе, миноносцы, используя свой 40-узловой ход, метнулись наперерез «Волховстрою», но поздно. Чапая по 8 миль в час, с потушенными огнями, пройдя бережком, он увильнул таким образом от преследователей и, когда они показались на горизонте, был уже в домашних водах, в безопасности… Японцы запомнили фамилию Белоусов. И ему не следовало появляться в их портах, в их водах. Помнили они его и через десять лет, когда Михаил Прокофьевич руководил ледовой проводкой союзных конвоев проливом

Лаперуза, но, не вступив еще в войну с СССР, не решались на конфликт, хотя очень хотелось им причинить неприятности капитану 1-го ранга Белоусову, который молоденьким капитаном когда-то так ловко обвел их вокруг пальца, то бишь «вокруг» Сахалина.

Снимок с «Красина». Белоусов с убитой им медведицей. А шкура вот у меня под ногами, лежит вместо ковра, и я слушаю рассказ о том, как она была добыта. В свое время этот эпизод ходил полулегендой о последнем патроне по всей Арктике, только сам Михаил Прокофьевич о нем не рассказывал. И теперь я слушаю эту историю в изложении сына моего капитана.

— Случилось в море Лаптевых около какого-то острова, а может, у материкового берега, точно не знаю. Знаю, что шлюпка с «Красина», стоявшего на якоре, отошла, наполненная людьми, к берегу, на лежбище моржей. Хотели пострелять немного, добыть моржовьей печени, — это ж деликатес! — клыков добыть. Сделали, что хотели, решили возвращаться, а отойти не смогли. Вернее, отошли метров на пятьдесят и попали в засаду. Моржи, сползшие, спасаясь во время охоты, в воду, ринулись всем стадом на шлюпку. Они избрали самый удобный момент для отмщения охотникам, перестрелявшим почти все патроны и сгрудившимся теперь на шаткой, подбрасываемой волнами площадке, которую легко опрокинуть. Что и задумало стадо, кем-то наверняка ведомое, потому что в его действиях явно ощущались согласованность и целеустремленность. Часть нападающих образовала плотное кольцо, сквозь которое невозможно было прорваться, а авангард атаковал шлюпку с обоих бортов, с кормы и носа. Моряки отстреливались, отбивались веслами, багром, но, хотя по воде расплылись уже кровавые пятна, моржей это не сдерживало, а лишь ярило, их атаки становились все активней, клыки все опасней. Удар по борту, нырок под днище — и тогда конец… Стреляли и отбивались все, кроме капитана. Он сидел на корме в полной, казалось, безучастности к происходящему. И это, видимо, удивляло людей, над которыми нависла беда. Выстрелы смолкли: кончились патроны. Капитан вскинул карабин, лежавший у него на коленях, и выстрелил. Осечка. Он пальнул вторым, последним патроном. И попал в моржа, находившегося довольно далеко от шлюпки и угрожавшего ей меньше других. Он пошел на дно. И вдруг все стадо исчезло, все стадо ушло за ним в воду. Это был вожак, вдохновитель атаки. И именно его, вожака, искал и выследил капитан с кормы, помня о двух пулях, разрешавших ошибиться только одни раз, и прекрасно зная повадки моржей, верных своему предводителю… Приключения на этом не завершились. Обрадовавшись, что ушли от опасности,

красинцы спешили на ледокол. Но кто-то внезапно крикнул: «Смотрите, смотрите!..» И все увидели двух выглядывавших из-за ропака совсем крошечных медвежат. Как упустить, как не прихватить их с собой на корабль! Благо ни отца, ни матери не приметно поблизости. Снова пристали к берегу, высадились и тут же были отрезаны от него. Прямо от береговой линии, чуть не от шлюпки, шла на выручку малышам их выкупавшаяся мама. Справедливость была на ее стороне, и она собиралась отстоять эту справедливость. Но и у вторгшихся в ее владения людей не было уже иного выхода: медведица не выпустила бы их подобру-поздорову, она надвигалась неотвратимо грозно. Патрон был один на всех. Тот, что у капитана. Давший осечку. Капитан выстрелил. На этот раз без осечки.

Эта запись с диктофонной ленты самую лишь малость отредактирована. Убраны ненужные «значит», «это самое», «так сказать», еще какие-то словесные плевелы, которыми грешат даже хорошие рассказчики. А Игорь Михайлович, как вы убедились, из таких, из хороших. И теперь у меня дома не только фотографии моего капитана, а и его голос. У них совершенно одинаковые голоса, у отца с сыном. И по тембру: немножечко в нос, с «французско-ростовским прононсом», как шутил сам Михаил Прокофьевич. И по интонации с ее некоторой замедленностью, чуть барственной леностью, в которую врывается вдруг быстрая, стремительная речь, чтобы тут же, спохватившись, перейти в прежнее спокойное, равнинное течение.

Игорь кладет передо мной стопку тоненьких ученических тетрадок, говорит:

— Черновики рейсовых донесений отца… Тут как раз отчеты за навигации тридцать девятого и сорокового. Рейс к «Седову», кампания в Белом море… Должно быть вам любопытно.

Еще бы! Листая эти странички, исписанные знакомым мне почерком, я как бы во второй раз прохожу маршрутами наших плаваний.

4

Белоусов был третьим по счету капитаном флагманского ледокола «И. Сталин», построенного в 1938 году на Балтийском заводе.

О строительстве этого корабля много писалось тогда в газетах. Наши «Искорки», само собой, не могли плестись в хвосте и послали своего спецкора на ходовые испытания ледокола в Финском заливе. Не трудно догадаться, кто явился этим

корреспондентом.

Читатель, уже неоднократно прощавший мне самоцитирование, надеюсь, и на этот раз стерпит, если я приведу текст своей тогдашней заметки с борта экзаменуемого судна. Она так и называлась:

«НА ЭКЗАМЕНАХ

Наше плавание проходит без особых событий и приключений. Это и хорошо, так и требуется. Завод построил самый большой и самый мощный ледокол в мире, с тремя главными паровыми машинами, с десятком подсобных, с девятью котлами, со множеством современных навигационных приборов, как гирокомпас, с первоклассным палубным устройством, вроде электрических лебедок и стрел, с площадкой для самолетов. И вот все это сложное хозяйство нужно спокойно проверить, прощупать, выстукать, строго и придирчиво проэкзаменовать. Я еще не упомянул типографию, но печатный станок пока в ней не установлен. Могу только сказать, что полоса корабельной газеты будет такого же размера, как вот эта страница «Ленинских искр», на которой печатается моя корреспонденция.

Ледокол пойдет в далекий район Арктики, в тяжелые льды, туда, где зимует и не может вырваться из ледяного плена караван судов. Вся надежда на флагмана арктического флота. Строители и моряки говорят: «Справится, прорвется, выведет».

Мы ходим от Кронштадта к острову Гогланду, возвращаемся в Кронштадт и снова идем на Гогланд, кружимся, резко разворачиваемся, меняем скорости, становимся бортом (моряки говорят — лагом) к волне, креним судно, заставляем его выкладывать все свои способности. Если б корабль шел одним, строго определенным курсом, то мы бы уже давно стояли где-нибудь в Мурманске или в Лондоне.

Ледоколу достается: завод сдает его, правительственная комиссия принимает, инспекторы Регистра наблюдают за сдачей, команда осваивает корабль. Все ощущают чрезвычайную ответственность и в то же время не могут не торопиться: ледокол ждут не в

общем плане, а по конкретному поводу — там, в высоких широтах, где каждый день промедления способен обернуться годом. Но торопливость не оправдает ни единого промаха, недогляда в приемке.

На днях испытывали якорное устройство. Якоря по многу раз отдавали на дно: сначала левый, потом правый и наконец оба вместе. У брашпиля стоял, управлял им сам капитан Воронин. Этот человек все делает добротно, никакая спешка не заставит его совершать поспешные действия. Невнимательность, небрежность вызывает в нем, обычно спокойном, уравновешенном, ярость. И тогда берегись: соленое воронинское словцо никого не пощадит, для него не существует табели о рангах. Капитан уже облазил весь корабль, буквально прощупал, простучал его от форштевня до ахтерштевня, ничего не записывал, но запомнил все, каждую недоделку, будь то неудачно сработанный козырек на ходовом мостике или неуклюже подвешенная лампа в матросской каюте. И пока не устранят эти недоделки, не успокоится. Сдатчики не могут рассчитывать на какое-либо снисхождение с его стороны. И все же, я заметил, они не враждуют с ним, как это бывает на таких испытаниях. Они покорно выполняют его требования, и не потому, что это прославленный Воронин, а потому, что его замечания сверхсправедливы и опровергать их бессмысленно.

У хорошего капитана — хорошая команда. Она подбиралась в основном по двум каналам: из ледокольщиков, людей, уже хлебнувших Арктики, и демобилизованных балтийских моряков, кронштадтцев. Я слышал, что последних Воронин принимал особо придирчиво. Но, убедившись, что отсутствие арктического опыта у них с лихвой компенсируется отличным знанием корабельной техники, высокой дисциплиной, попросил присылать ему побольше «ребят с Балтики». Да, втайне от Воронина формировался духовой оркестр: в отделе кадров разузнавали у вербующихся в экипаж, не играют ли они на каком-нибудь из инструментов. Таких больше всего оказалось среди кочегаров — «духов», как их кличут на флоте. Так что оркестр вдвойне духовой — и по инструментам, и по людскому составу. Кочегарами оркестранты показали себя на ходовых испытаниях отменными. Похоже, и оркестр будет неплохой, судя по сыгровкам, которые

проводятся в кубрике. На одну из них привлеченный музыкальными пассажами, донесшимися до его каюты, заглянул Воронин. Говорят, постоял-постоял, ничего не сказал, лишь усы свои знаменитые разгладил, а это первый признак одобрения услышанного или увиденного.

Итак, команда — по капитану. Весь экипаж работает, или, как принято говорить на флоте, молотит на совесть, не жалея сил. Хотите, познакомлю с некоторыми?

В кочегарке старшина-орденоносец Ваня Корольков шурует в топке за четверых, преследуя, по его словам, и личную цель: «Пузо надо сбросить, а то, понимаешь, растет безобразно на флотских харчах».

На палубе боцман Потемкин, работяга и весельчак, орудует со стрелами, моет, извиняюсь, драит надстройки, спускает на воду шлюпки — его высокая, сутулая фигура мелькает то тут, то там, по-моему, круглосуточно. Я повидал боцманов, но такого вежливого, литературно выражающегося боцмана встречаю впервые.

А радисты? На подбор! Старшим у них Александр Михайлович Мишкин, похожий на мистера Пиквика, такой же кругленький и добродушный. Про него говорят, что он, как только народился на свет божий, сразу застучал на ключе. Это недалеко от истины, «стучит» он двадцать четвертый год, на три года больше, чем живет на том же божьем свете его «правая рука» Толя Зорин. В свои 20 лет этот юноша много успел: достиг высшей квалификации радиста, побывал в рейсе «Ермака» за папанинцами, лично Ворониным приглашен в экипаж флагмана. (После арктического похода на флагмане Зорин был мобилизован в армию, и судьбы его я не знаю. Среди фотографий, сохраненных моей мамой, есть и наша с Толиком, с Сашей Шатуровым, третьим механиком. Снимались, вернувшись из плавания, в Ленинграде «7 ноября 1938 года», как значится на обороте. Шли втроем праздничным вечером в толпе по иллюминованному Невскому. Увидели на углу Садовой, называвшейся улицей 3-го июля, вывеску «Фотоателье К. Буллы». Вошли в раскрытую, несмотря на праздник, дверь, поднялись на второй этаж. Бородатый фотограф, радушно встретивший морячков, да еще со «Сталина», зафиксировал нас, укрывшись под черным балахоном, через допотопный громоздкий, установленный на

треногу аппарат. Тот самый, с которым он 21 год назад, 3 июля 1917 года, услышав выстрелы, вышел на балкон и, вот так же укрывшись под черным мешком, сделал снимок, оказавшийся историческим на века, знакомый теперь миллионам с младенчества: расстрел казаками демонстрации возле Публичной библиотеки, как раз напротив «Фотоателье К. Буллы»… — *А. С.*)

С таким капитаном, — заканчивалась моя корреспонденция, — с такими матросами, кочегарами, радистами флагман арктического флота, созданный рабочими завода имени Серго Орджоникидзе, — «справится, прорвется, выведет»! Мы в этом уверены».

5

…С первой попытки флагману не удалось прорваться и вытащить «Седова», до которого оставалось 60 миль тяжелейшего льда.

Напомню версию моего друга Сан Саныча, капитана дальнего плавания Александра Александровича Гнуздева, ходившего в том рейсе вторым штурманом, изложенную им в недавнем письме ко мне из Ленинграда. Воронину, считавшему, что шанс пробиться к дрейфующему судну еще не потерян, руководство Главсевморпути в ответ на его радиограмму об этом не разрешило рисковать только что построенным ледоколом со столь высоким именем на борту.

Я не был близок к Воронину в такой степени, как позже к Белоусову, и не имею права на особые психологические изыскания в отношении Владимира Ивановича. Но от людей, с которыми он был откровенен, делился сокровенным, слышал, что свою громкую славу, связанную с челюскинской эпопеей, Воронин называл горькой славой, принимая вину за гибель «Челюскина» полностью на себя, ни с кем не желая ее делить, даже со Шмидтом, начальником экспедиции. И можно представить, какие чувства испытывал капитан флагмана, возвращаясь по приказу Москвы из высоких широт, не достигнув цели — спасения «Седова», снова потерпев неудачу. На обратном пути Владимир Иванович тяжко заболел в Мурманске, требовалась операция, и его отправили поездом в Ленинград. Ледокол повел вокруг Скандинавии старпом Борис Николаевич Макаров в качестве дублера капитана.

Капитаном к нам на период зимней проводки судов из Ленинградского порта и в порт в устье Невы, в канале, в Финском

заливе — тонкая работа в довольно толстом льду — был прислан Павел Акимович Пономарев, старпомом ходивший на «Красине» спасать экспедицию Нобиле, будущий капитан первого отечественного атомохода «Ленин». Как и Воронин, Пономарев родом с беломорского побережья, оба поморы, начинавшие плавание мальчишками-«зуйками» на рыбацких и зверобойных ботах. Их путь — с корабля в мореходку, уже с опытом, а не наоборот, как у ростовчанина Белоусова — из мореходного училища на судно, с теорией… Зная, что на флагмане он «временный», Пономарев не внедрялся в судовую жизнь, ограничиваясь чистым судовождением. Он еще вернется на ледокол накануне войны штатным капитаном. И в войну будет в чине кавторанга водить его под бомбами. Одна из сброшенных «юнкерсами» угодит в самую середину, в котельное отделение, взрывная волна достигнет ходового мостика, кинет навзничь командира. Контуженый Пономарев приведет подбитый, полузатопленный корабль в порт… Мое знакомство с Павлом Акимовичем ограничилось лишь упомянутой кратковременной ледовой проводкой в районе Ленинградского порта. Я видел капитана издали, с палубы — измеряющим шагами мостик. Видел и вблизи — в кают-компании во время приема пищи, и это тоже было «издали»: я сидел на противоположном конце длинного стола, не слыша беседы капитана с сидящими рядом старпомом и стармехом, да и говорили-то больше эти двое, Пономарев слушал — поморы молчаливы. Словом, я с еще меньшим основанием, чем Воронину, могу давать какую-либо психологическую характеристику Пономареву… Ожидалось возвращение Владимира Ивановича на ледокол, но болезнь затянулась, прибавились еще некие обстоятельства, связанные со сменой руководства Главсевморпути — вместо Шмидта пришел Папанин, и пронесся слух, что к нам назначают Белоусова с «Красина». Как не всегда бывает со слухами, он быстро подтвердился появлением Белоусова на ледоколе. И этот момент — между слухом и фактом — был настолько краток, что не оставил времени предварительно разузнать, каков человек новый кэп. В команде у нас не было никого из его прежних соплавателей. Но кое-что стало все-таки известным. На «Красине», приняв его в 31 год, самый молодой ледовый капитан в стране провел четыре арктические навигации. Третья превратилась в затянувшуюся на месяцы зимовку. Участвуя в поисках затерявшегося самолета Леваневского, а затем помогая «Ермаку» до последней возможности выводить застрявшие в проливе Вилькицкого транспорта — вывести удалось только часть, — «Красин» запоздниился во льдах и почти обезуглел.

Топлива оставалось «под скребок», только чтобы добраться до бухты Котельникова, где находилась заброшенная шахта. Я не люблю лишний раз употреблять слово «подвиг», оно тускнеет, но как обозначить то, что сделали красинцы и их капитан? Зимуя в торосах в восьми милях от пустынного берега, вынужденные вести счет каждой галете, они стали шахтерами, они добыли с глубины и доставили на борт четыре тысячи тонн угля, я перепроверил эту цифру, она точна — 4000! Капитан вместе со всеми бил кайлом, подымал добычу на-гора и таскал ее по льду на санках. Весной, когда со льдами полегчало, «Красин» снабдил углем дрейфовавшие суда, вывел их, а сам, не возвращаясь в порт приписки, во Владивосток, лишь снабдившись продовольствием, вступил в очередную, для Белоусова четвертую, ледовую навигацию.

Вот из такой команды такой капитан пришел к нам на ледокол. Он был непохож на своих предшественников. Профессия Воронина и Пономарева была как бы припечатана к их облику, вернее, определяла его. Надень на них смокинг вместо кителя, надвинь джентльменский цилиндр вместо фуражки с «крабом» — профессия все равно вылезет, просунется, ее не запихнешь, не спрячешь. Белоусов же меньше всего походил на морского волка. Он был человеком другого жизненного стиля, другого воспитания, иных, если хотите, понятий. Но никогда и ни в чем не подчеркивал этой разницы, не давал повода для сопоставлений, точнее сказать, не бравировал присущими ему качествами. Он был органичен в своих поступках, как Воронин и Пономарев в своих.

Припоминается случай с подковой. Ее обнаружили среди личных вещей, оставленных заболевшим Ворониным в каюте. Один из тогдашних руководящих деятелей Главсевморпути, мореплаватель из канцелярии, искусный оратор, публично демонстрировал этот экспонат как «глупую примету, свидетельствующую об отсталости некоторых наших капитанов» и называл имя отсталого капитана. Я не с чужих слов рассказываю, сам слышал и видел на собрании партийно-хозяйственного актива. Казалось бы, достаточно использованная на стороне в качестве наглядного пособия в борьбе с суевериями на флоте, подкова была еще и возвращена на ледокол с той же целью, для окончательного искоренения предрассудков. Но Белоусов ни разу не использовал этой возможности. Я спросил его как-то: «А где подкова-то?» — «У хозяина, — сказал Белоусов. — Я вернул ее Воронину. Он ведь еще собирается плавать…» И сказал без намека на иронию, серьезно сказал. Он не терпел вторжения в чужие привычки, пристрастия, как никому и своих не навязывал.

6

Рейсовые донесения капитана помогают моей памяти.

Навигация 1939 года. Идем из Ленинграда в Мурманск, а оттуда арктическими морями на восток в бухту Провидения, что на выходе из Чукотского моря в Берингово, и, не зимуя, не оставаясь до следующего лета, успеваем до конца навигации вернуться в порт приписки, в Мурманск, 11 468 миль за кормой. Проделываем то, что в учебниках географии назовут «первым в истории Арктики сквозным плаванием по Северному морскому пути в оба конца за одну навигацию».

Начальником экспедиции шел Папанин, с ним — штаб.

О Папанине столько написано, что вряд ли мой голосишко будет расслышан в могучем хоре воспевших его. Рискну все же вставить словцо.

…Как-то в кают-компании возник спор о славе. Всех его участников не помню. Белоусова, кажется, не было, он поднялся на мостик — вошли во льды. Не было к началу и Папанина. Двое молодых сотрудников его штаба с кем-то завязали спор. Это были синоптик Митя Дрогайцев, еще не доктор географических наук, не профессор, не лауреат, не докладчик на международные симпозиумах, и гидролог-ледовик Миша Сомов, тоже еще не доктор и не профессор, не начальник дрейфующей станции «Северный полюс-2» (папанинская была «СП-1»), нынче дрейфует «СП-24», с которой он вернется Героем Советского Союза, не руководитель первой советской экспедиции в Антарктиду, Миша Сомов, не ставший еще… дизель-электроходом «Михаил Сомов», который проплывет морем Сомова в Южном полушарии. Двое будущих знаменитостей в мире полярников, а пока со всей молодой горячностью отвергающих какое-либо стремление к славе, которая есть «тлен», «горсть праха», «эфемерность» и прочее. Кто оборонял от них понятие славы — из памяти ушло. Но помню, что в самый разгар дискуссии в кают-компанию вошел Папанин, прислушался, и хотя спор с его появлением начал утихать, уловил его смысл и сказал:

— Слава? Не существует, браточки, человека на земле, чтобы славы чурался. Уж поверьте, тут я что-то смекаю. И я бы поделил в этом смысле все человечество на три категории. Первая откровенно обожает славу, рвется к ней, а вознесясь, всяко ей потрафляет. Вторая славу любит не менее первой, но скрывает это, прячет, маскирует скромностью. Третья группа, браточки, к славе стремится еще сильнее первых двух, камуфлирует свое стремление ловчее второй и на своей «скромности» добывает

дополнительную славу… Я за открытость, браточки!

В тот же вечер, когда в кают-компании заспорили о бренности славы, мы с Иваном Дмитриевичем встретились случайно на верхней палубе, на спардеке. Он спускался по трапу с ходового мостика, увидел меня, стоявшего в одиночестве, опершись грудью на релинг. Подошел, остановился, вглядываясь, как и я, во тьму, из которой прожектора выхватывали очертания льдин, разыскивая проход между ними. Вот одна размером с баскетбольную площадку (почему-то именно это сравнение пришло мне тогда в голову) проплыла, со скрежетом касаясь борта, и я невольно глянул на человека рядом со мной. Он молча кивнул мне: да, на такой льдине оказались они вчетвером под конец дрейфа в полярной ночи. Не знаю, о чем думал он сейчас, а меня охватило, вызывая ознобную дрожь, ощущение невероятности, немыслимости, безумия им и его товарищами совершенного. Во имя чего? Только во имя славы?

Я назвал Папанина начальником нашей экспедиции. Это для краткости. Вообще-то, как начальник Главсевморпути он руководил всеми арктическими операциями 1939 года — активно, не из московского кабинета на улице Разина, а в морях, «в поле», как говорят геологи. И плавание флагмана, где располагался папанинский штаб, было не просто автономным проходом из Атлантики в Тихий океан и обратно ради рекорда, а работой широкого размаха, связанной с проводкой многих караванов. Первый, если можно назвать караваном два судна, мы взяли за Югорским Шаром в легком еще льду, но вели с чрезмерной осторожностью, с перестраховкой, которая объяснялась… страховкой. Это были «англичане», шедшие за лесом в Игарку, и осторожность диктовалась, как вспоминает М. М. Сомов «недоверием к иностранным пароходам, умудрявшимся получать серьезные повреждения даже в самых слабых и разреженных льдах». И далее: «Подобная беспечность вызвана, очевидно, желанием сорвать страховые премии за счет советского государства». Но не с Белоусовым можно было на это рассчитывать, добавлю я. Он отнимал у ведомых и ничтожную долю «надежды» напороться на опасную льдину, разве только совершить цирковой кульбит со специальным намерением, которое будет тут же зафиксировано и разоблачено.

7

Жалею, что не вел дневника в арктических походах. И теперь вот вынужден для подталкивания памяти обращаться к чужим

свидетельствам, к рейсовым донесениям, к запискам Сомова, опубликованным после его смерти вдовой, писательницей Е. П. Серебровской, Леночкой Серебровской, тоже бывшей «искровкой», деткором «Ленинских искр». А дневников я не вел из принципиальных соображений: решил покончить с журналистикой. На торговых судах, на «Лене», на «Ижоре» я был «подпольщик», никто не знал моей профессиональной тайны. Камбузник, палубный матрос — и все тут! На ледокол же, на его ходовые испытания в Финском заливе, явился официальным корреспондентом, спецкором. Хотел и в дальний рейс пойти в этом качестве. Но число спецкоров на поход резко ограничили, брали только из центральных газет, даже «Ленинградской правде» не удалось пробиться, не говоря уж о какой-то пионерской газетенке. И пришлось мне снова внедряться, всовываться в экипаж, действуя по кольцовскому методу, по рубрике — «репортер меняет на время профессию». Ничего не раскрывая в редакции, идя, по существу, на предательство по отношению к ней, я собрался сменить профессию навсегда. И вот что тому способствовало. Я узнал, что Воронин, просматривая документы набираемого личного состава, хмыкнул, увидев мою фамилию, в усы и произнес что-то неодобрительное, что именно, щадя меня, мне не передали. И я внутренне, про себя поклялся «завязать», не прикасаться корреспондентским пером к бумаге, забыть, что я журналист, и никаких записей, дневников не вести. Вернувшись из первого плавания в высокие широты, в течение которого редакция не получила от меня, несмотря на многократные радиозапросы, ни единого сообщения, я объявил Данилову о своем разрыве с журналистикой.

— Ладно, ладно, — сказал Данилов, уже завершавший свое редакторство в Ленинграде, получив во владение «Пионерскую правду» в Москве, и потому благодушно настроенный. — Поглядим, насколько тебя хватит. Газетный микроб живуч.

Микроб оказался действительно неистребим. Газетчик во мне не умер, а замер. Я читал где-то, что палеонтологи находят в костях давно вымерших на земле животных микроорганизмы, которые способны оживать после тысячелетней спячки. Для журналистской бактерии, засевшей внутри меня, тысячелетий не потребовалось. Я честно держался рейс-другой в машинной команде и, думаю, не нарушил бы обета и дальше, если б не Белоусов, который в канун похода за «Седовым» привез из Москвы приказ о моем назначении редактором выходившей на ледоколе многотиражки. Даю слово, что это свалилось на меня неожиданно. Так, видно, и было задумано: не дать мне времени очухаться, воспротестовать: через неделю в море. В первых двух

рейсах газету подписывал помполит Лапинский, а делали ее прикомандированные московские журналисты: в первом плавании — Василий Ардаматский, а во втором — Лев Хват, известнейший в ту пору репортер «Правды», ездивший в Америку встречать самолеты Чкалова и Громова, а затем ушедший из «Правды» по каким-то причинам; приютил его, взял под крыло Папанин. Кого-то метили на газету и в третий рейс — седовский. Но Белоусов заявил начальству, что обойдется без варягов, что есть у него в экипаже парнишка… Еще раз клятвенно, под присягой заявляю, что ничего этого не знал, поставлен был перед фактом, перед приказом: редактор с правом подписи.

И все же я еще цеплялся за идею отрешения от журналистики: хорошо, сказал себе, корабельной газетой займусь, и этим ограничусь, на сторону ни-ни. Благо у меня и общественные обязанности парторга. А соблазн был велик. Я оставался, пожалуй, единственным человеком в экспедиции за «Седовым», не завербованным какой-либо редакцией. Писали все! По-моему, даже Марфа Митрофановна, буфетчица, да, конечно, и Марфа, которая с трудом расписывалась. Ее, как поморку, крестьянку по происхождению, нанял в «спецкоры» журнал «Крестьянка». И она объединилась на творческой почве с судовой прачкой Анастасией Ивановной, женщиной городской, грамотной, ушедшей в моря «в поисках, как она говорила, личного счастья, неуловимого на суше». (Она поймала его в лице трюмного машиниста Ц.) Настя представляла в походе «Работницу» и помогала Марфе в сочинительстве. Радисты стонали от обрушенного на них корреспондентским корпусом словесного потока, требовали предельной краткости от своих клиентов. И кто-то придумал гениальный выход из положения: суть, голый факт с добавкой: «Развейте» или «Дайте пейзаж». Чтобы коротенькое сообщение превратилось на редакционном столе в подвальный «очерк» с адресом под ним: «Гренландское море». Марфа и Настя тоже освоили эту рациональную технологию, тоже просили свои редакции «развить» или «дать пейзаж»… Только бедные «Ленинские искры», взрастившие изменника, не имели на флагмане своего корреспондента, пользовались тассовскими телеграммами. Мой стоицизм был тем более разителен, что по поручению Папанина я как раз и регулировал очередность передачи корреспондентской информации в эфир. Обладая такой властью, сам я «молчал», ни строчки не послал на Фонтанку, 57. И моя бывшая редакция к нашему приходу с «Седовым» в порт прислала в Мурманск дядю Костю Высоковского, который брал у меня на пирсе интервью, как у парторга экспедиции.

Противоборство двух начал во мне продолжалось. Газетчик

или моряк? Я снова соскользнул с журналистской дорожки, обрадовавшись, не скрываю, назначению помполитом на «Сибирякова». Это случилось также не без участия Белоусова, которого после навигации 1940 года перевели в Москву с повышением, в заместители начальника Главсевморпути, к Папанину. Чем уж руководствовался Михаил Прокофьевич, поддерживая мою кандидатуру в помполиты, не знаю, поскольку, как выяснилось позже, ему виделась для меня другая перспектива, правильнее сказать, не виделась перспектива в моем помполитстве. А может, в тот момент и виделась. Это было ведь перед самой войной… В войну мы встречались с Белоусовым лишь дважды: в первые ее месяцы, в предзимье, когда «Сибиряков» участвовал в ледовой проводке союзных конвоев в Архангельск и Белоусов, находясь у нас на борту, руководил этой операцией, а затем уже под конец войны, в феврале или марте 1945 года. Я приехал в Москву в командировку и, зная, что Михаил Прокофьевич на Дальнем Востоке, где занимается тоже проводкой конвоев из Америки, позвонил на всякий случай, без надежды на успех в секретариат Главсевморпути и услышал вдруг в трубку знакомый «французско-ростовский» прононс:

— Белоусов у аппарата… Мастер? — Это было любимое его обращение к людям, к которым он хорошо относился. — Ты в Москве, мастер?

— Как слышите, Михаил Прокофьевич…

— Где ты сейчас?

— Сейчас или вообще?

— И вообще и сейчас.

— Служу в Полярном, прибыл на совещание.

— Хочу тебя повидать. Но рано утром улетаю на Дальний. Прилетал на два дня… Нет, мои в Красноярске. На квартире, на Никитском, я уже не буду, ночую здесь. Так что давай сюда, в контору. Через полчаса можешь быть?

— Несусь!

И вот я у Белоусова в кабинете. Служебный день к концу. Михаил Прокофьевич досматривает какие-то бумаги. Он должен еще побывать в Совнаркоме, но там сейчас перерыв «на обед», вторая половина рабочих суток начнется часов с десяти вечера — так тогда работал весь руководящий состав наркоматов, ведомств, и у нас оставалось довольно много времени для разговора. Воссоздавать его весь, насиловать память, ища заменителей ее потерям, не буду. Постараюсь припомнить поточнее лишь те слова Михаила Прокофьевича, которые, показавшись сразу немного даже обидными, совсем скоро — кто же знал, что мы больше не увидимся! — приобрели для меня

значение прощального напутствия моего капитана, его завещания на всю оставшуюся мне жизнь.

Уже к завершению часто прерывавшегося телефонными звонками разговора я спросил:

— Будем живы, возьмете меня после войны к себе?

Само собою разумелось, что не в аппарат прошусь, а в море. Он так и понял.

— Плавать хочешь? Есть случай хоть сейчас отозвать тебя с флота. Отправляем команды в Америку на закупленные там ледоколы. Пойдешь помполитом… — И вдруг, почувствовав, как весь я внутренне подался навстречу его предложению, он резко сменил тональность на жесткую, не щадящую собеседника, как это бывало у него: — А зачем, зачем тебе это, мастер? Сколько лет ушло у тебя на морячество? — Ясно помню, что он употребил это слово, которого нет в словарях: морячество. — Десять? Понимаю, что эти годы не прошли зря, когда-нибудь они отзовутся в тебе. Когда-нибудь, — повторил он и снова заговорил мягче: — Ну, пойдешь помполитом, а дальше что? Зыбкая это должность, не профессия… Тебе уже, по-моему, к тридцати? Вот видишь, через год тридцать. Пора, мастер, определиться, говоря штурманским языком, избрать истинный курс… Среди качеств, которые я больше всего ценю в человеке, — профессионализм! Дилетантства не терплю. Знаю, знаю, морская среда пришлась тебе по душе, и на кораблях ты был полезен. Но ведь подлинной морской профессии не приобрел? Не приобрел. У тебя, говоришь, есть профессия? К тому и веду. Закрепляйся в ней, в своей специальности, в деле своей жизни. Оно — суть твоя, все остальное — наносное… Сказал тебе, что думал. А хочешь помполитом — пошлем…

Кончилась война, еще полтора года я служил на флоте, демобилизовался, ушел в запас капитаном 3-го ранга и, вернувшись в Ленинград, к семье, поступил репортером в городскую «Вечерку».

8

В начале навигации мы провели, значит, через льды Карского моря два английских лесовоза, «Скрин» и «Севенчур».

А затем пошла работенка потяжелее, посерьезней. Мы брали под проводку караван за караваном, накапливавшиеся возле острова Диксон — собиралось до 10—12 судов, а однажды была вся чертова дюжина, 13 — и вели их через пролив Вилькицкого в море Лаптевых, из западного сектора полярного бассейна в

восточный. Вместе с нами работали и еще ледоколы, в том числе «Ермак», детище адмирала Макарова. У нас на флагмане был свой Макаров, Борис Николаевич, старпом, человек осторожный, осмотрительный, ничего не делавший в спешке, которого в кругу штурманов незлобиво, дружески прозывали Малый ход, по одной из команд машинного телеграфа, к коей он прибегал на вахте чаще, чем к другим. По поводу тихого хода в воспоминаниях у Сомова, шедшего в тот год в первое свое ледовое плавание, сказано так:

> «Мне казалось, что лавировать между льдин на больших скоростях удобнее — в этом случае судно гораздо лучше слушается руля. Я упускал из виду самое простое обстоятельство: судно имеет весьма ограниченное поле зрения и потому, идя полным ходом, в любой момент может оказаться в положении, когда прохода между льдинами впереди нет, а отворачивать в сторону уже поздно. Продвигаясь малым ходом, есть возможность тщательно выбирать себе путь, а очутившись все же в сложном положении, успеть отработать задним ходом и остановиться перед ледяной преградой, набираясь сил для ее преодоления…»

А как преодолевать, тоже у Сомова читаю:

> «Караван останавливался, и ледокол, тяжело разворачиваясь, возвращался к застрявшему судну. В зависимости от обстановки он или подходил осторожно кормой к самому носу судна и затем, давая сразу полный вперед, размывал струей от винтов льдины, скопившиеся перед носом, или же заходил с кормы и потом, двигаясь вперед вдоль борта застрявшего, отталкивал от него льды, позволяя судну вновь войти в канал свободной воды, образующейся за кормой ледокола. Нередко эта операция с первого захода не удавалась. Иногда для того, чтобы транспорт освободился ото льдов и вновь мог двигаться за лидером, околку приходилось повторять по многу раз. Вот где требовалось истинное терпение!»

Я пространно цитирую не только потому, что не вел дневника, а еще и оттого, что, будучи смазчиком, машинистом второго класса, треть суток проводил в «низах», в машинном отделении, треть, естественно, отсыпался, и третья треть тоже почти не оставалась свободной для праздных наблюдений с

палубы, поскольку я в том рейсе нес обязанности комсорга. В «машине», в отличие от матросов, все, что происходило наверху, всю схватку корабля с Арктикой мы ощущали лишь в звуковом варианте — по командам то и дело звякающего машинного телеграфа и в переговорную трубку с мостика, по содроганиям корпуса, по грохоту, скрежету и шороху теснивших судно льдин, по глухо доносившимся к нам гудкам самого флагмана и его ведомых, которые сигналили друг другу в тумане, в снежных зарядах.

В проливе Вилькицкого, на траверзе мыса Челюскина, самой северной точки европейско-азиатского материка, правее и левее ее, мы провели две недели, протаскивая караваны через эту узкую, набитую льдом горловину не только с востока на запад, но и в обратном направлении, действуя челночно, если можно уподобить беспрерывно меняющиеся, то зигзагообразные, то спирально завитые движения ледокола прямолинейному шнырянию челнока.

Но вот все ведомые разведены в разные стороны, выведены на чистую воду (не в смысле разоблачения — в прямом смысле), и флагману предоставлена возможность свободного плавания, которое должно свести воедино то, что проделали в различные годы «Сибиряков», прошедший в одну навигацию по всей трассе Северного морского пути с запада на восток, и «Литке», проплывший с востока на запад. В оба конца, что называется, с маху — вот на что мы замахнулись!

В одно прекрасное утро — в самом деле, а не по стандартному выражению «прекрасное солнечное утро» — я просыпаюсь от внезапно наступившей тишины — корабельные машины остановились — и, глядя в иллюминатор, замираю, потрясенный открывшейся в обзоре картиной, которую назвал бы сейчас достойной кисти Рокуэлла Кента, но тогда я такого художника не знал, она не вызвала во мне никаких сравнений, просто красотой потрясла. Понимаю, что, употребив этот замшелый глагол, становлюсь жалким в глазах читателя, а заставить его «потрястись» вместе со мной не способен — городское дитя, я слаб в описаниях природы. Пожалуйста, побывайте сами в бухте Провидения, на выходе из Чукотского моря, которая считается одной из красивейших бухт мира. И может быть, у вас найдутся слова для этих заснеженных гор, подступивших вплотную к береговой полосе, уходящих одновременно вверх к облакам и, отраженные водой, в бездонную глубину океана; суда у причалов и на рейде как бы плывут в горах на колеблемой ветерком воде… В 1848 году английский капитан Мур счел, что только Провидение могло привести его

корабль «Пловер» после мытарств в океане на счастливую, спасительную зимовку в этой бухте, открытой еще в середине XVII века промысловиком Курбатом Ивановым, но остававшейся долго безымянной, пока ее не окрестил англичанин в благодарность Провидению.

9

Несколько слов, к месту, о географических названиях, о морской топонимике. Разглядываю карту Арктики: острова Преображения, Уединения, Домашний, Глумянной (от глагола «глумиться»), Проклятые острова, Сторожевые… полуостров Заблуждений… залив Благополучия… бухты Удачная, Ложных огней, Тревоги (эти две последние бухты рядышком; когда там работали топографы, из первой случайно взлетели сигнальные ракеты, принятые в соседней как тревожные, бедственные)… мысы Желания, Крушения, Утешения, Прощания, Жертв, Рока… гора Первоусмотренная… река Хищная… островок Слезка… За каждым наименованием — сюжет для писателя с воображением, судьбы, надежды и потери, успех и горе экспедиций, экипажей судов, путешественников-одиночек. А мне карта полярных морей видится мемориальной доской, на которой золотом высечены имена тех, с кем я плавал, дружил, был знаком, кто стал островами, бухтами, мысами, заливами и проливами: Белоусов, Воронин, Сорокин, Хлебников, Легздин, Сергиевский, Мелихов, Хромцов, Зубов, Минеев, Чухновский, Алексеев, Недзвецкий… А вот и целый архипелаг сибиряковцев в Карском море: острова комиссара Зели Элимелаха, стармеха Коли Бочурко, кочегаров Паши Вавилова и Коли Матвеева (на карте нет, конечно, уменьшительных имен, это я их так называю, как звал в жизни), моряков с «Сибирякова», принявшего 25 августа 1942 года неравный бой с немецким линкором «Адмирал Шеер», с «Сибирякова», потопленного врагом, но не спустившего перед ним флага, — они, сибиряковцы, лежат теперь вместе островами в океане, архипелагом, как вместе тут и сражались. Не все названы поименно на карте, но есть пролив Сибиряковцев, всех их объединяющий. И мертвых и живых: 85 погибших и 19 оставшихся живыми.

В этом плавании, — а шел пароход к Северной Земле, к островам Карского моря, чтобы оборудовать там новые полярные станции и сменить зимовщиков на старых станциях, — в этом бою, хотя то, что случилось, правильнее назвать расстрелом, поскольку проникший в наши воды тяжелый крейсер, или, как говорят про этот класс, «карманный линкор», палил, вооруженный четырнадцатью крупнокалиберными, башенными орудиями, не считая прочей артиллерии, по почти беззащитному перед такой плавучей крепостью судну, отстреливавшемуся

четырьмя пушчонками, способными лишь поцарапать броню линкора; вернее, «Сибиряков» не отстреливался, он первым открыл огонь, пытаясь в неотвратимо гибельной для себя ситуации прикрыть собственной слабой грудью караван ледоколов и торговых судов, уходивших из Диксона в восточном направлении и бывших главной целью охоты для «Шеера», — так вот, в этом трагическом рейсе «Сибирякова» им командовал тридцатитрехлетний капитан Анатолий Качарава. «Ледовый абхазец», как называл его Сахаров, у которого он в предыдущую навигацию плавал старпомом. А я, если помните, помполитом.

Наши с Качаравой каюты — его на правом борту, мою на левом — разделяла кают-компания. Мы частенько сиживали друг у друга. На столе у Толи стояла фотография в застекленной рамке: молодая грузинка, лицо которой в длинных янтарных серьгах показалось мне знакомым, когда я первый раз зашел к старпому.

— Кто эта красавица? — спросил я.

— Не знаешь?! — воскликнул Качарава. — Нато Вачнадзе! Любовь моя…

Я-то подумал, что он сказал это в отвлеченном, символическом смысле, как выражают иногда восхищение кинозвездой, зная ее лишь по экрану. И Качарава тоже знал Нато Вачнадзе по картинам, никогда не встречая в жизни. Но… мальчишкой 17-летним влюбился в нее с первого взгляда, то есть с первого увиденного им в Сухуми фильма при ее участии, и отнюдь не символически влюбился, вполне реально. Однако, понимая безнадежность своего чувства, которое с годами не проходило, а только крепло, он, дабы как-то излить его, сочинял любовные послания, не отправляя их адресату, храня у себя вместе со множеством кинокадров, фотографий, одна из которых и стояла постоянно на столе, закрепленная так, чтобы в шторм не падала. Он знал жизнь, биографию артистки в подробностях, в мелочах, хотя, плавая в северных морях, находился далеко от ее жизни, от Грузии, от Тбилиси… Качарава рассказывал мне об отце Нато, искусном наезднике, служившем в кавалерийском полку в Варшаве, где она и родилась. Полк перебросили на Кавказ на борьбу с бандой Зелим-хана, грабившей и убивавшей мирных жителей. Зелим-хан с его головорезами был загнан в ущелье, перебили всех, кроме самого главаря, который ускользнул от погони и стал подстерегать поодиночке тех, кто сражался с ним в ущелье. Ему удалось напасть из засады на отца Нато, он убил всадника и тело, завернутое в бурку, сбросил ночью во двор ого дома, угнав коня. Первой увидела убитого отца выбежавшая рано утром из дому маленькая Нато. Семья

бедствовала, и девочка, чтобы помочь матери, оставшейся с семью детьми, пошла на спичечную фабрику укладчицей коробков, потом в мастерскую, изготовлявшую сапожную мазь. Однажды она сфотографировалась у рыночного «пушкаря» и выставленный им портрет красивой девушки увидел помощник режиссера с кинофабрики, искавший типаж для новых фильмов. Нато снялась в главных ролях сразу в двух картинах, вышедших одновременно, и, как пишут в таких случаях, вдруг проснулась знаменитой на всю Грузию, на всю страну… Она много снималась, Качарава, само собой, знал все ее роли. Он говорил мне:

— Ты видел Нато в «Арсене»? Ты видел, как ее Нено, невеста Арсена, плачет над его трупом и вонзает себе в грудь кинжал, который он подарил ей когда-то? Не видел?! Жалею тебя. Так может сыграть только великая актриса, только Нато может так потрясти душу…

Мы плавали вместе с Качаравой одну навигацию, первую военную. В самый канун войны «Сибиряков» стоял в Архангельске на двинском рейде, готовый к отходу в Арктику в снабженческий рейс, в полном, по ватерлинию, грузу: оба трюма, палубы были забиты строительными материалами для полярных станций — штабеля досок, «вязанки» кирпича, листы железа, — ящиками, бочками, мешками с зимовочным продовольственным запасом для них же. Собирались уходить в понедельник, а в субботу почти вся команда, состоявшая в основном из архангелогородцев, была отпущена в город на побывку к родным перед отплытием. Съехали на берег и Сахаров — к семье, и Качарава, не знаю уж к кому. На судне оставалась вахта, ночевал в каюте и я, мне не с кем было прощаться в Архангельске. Утром в воскресенье я тоже отправился в город позвонить по телефону в Ленинград, домой, маме. Возле почтамта на проспекте Павлина Виноградова, главной городской магистрали, стояла в молчании толпа, слушавшая речь Молотова по радио… Ленинград мне дали удивительно быстро, слышимость была такая, что до меня долетало даже тихое мамино придыхание, словно мы находились рядышком, а друг друга не видели. Оглушенные внезапной страшной вестью, мы слова «война» ни разу не произнесли в разговоре, как бы еще не веря, пытаясь не верить в случившееся. Я сказал, что завтра уходим в рейс, хотя не был уверен, что уйдем. Мама, так и не свыкшаяся с моей длящейся уже пятый год полярной одиссеей, сказала:

— Одевайся, сынок, потеплее. Смотри не простудись.

— До свидания, мамочка!

— До… — только и услышал я: связь оборвалась, а может

быть, мама не смогла договорить в волнении прощальную фразу.

В понедельник «Сибиряков» не ушел. Ждали распоряжения из Москвы. На пятый день войны Москва распорядилась: идти в море по ранее намеченному маршруту.

Дневника, как известно, я не вел и снова корю себя за это: перед мысленным взором лишь обрывочные «кадры», не монтирующиеся в цельную, последовательную картину того рейса. Правда, я получил недавно чужое письменное свидетельство, кое-что добавляющее к моей памяти; приведу это пришедшее из Ленинграда письмо чуть ниже.

В домашнем фотоархиве лежат у меня два крошечных снимка, не помню кем уж сделанных, когда мы, зайдя на Новую Землю, стояли на рейде в Белушьей губе, о чем говорит надпись на обороте фотографий.

На одной мы вдвоем с «дедом», стармехом Николаем Григорьевичем Бочурко. День, видно, теплый, солнечный, вышли на палубу в кительках, верхние пуговицы расстегнуты; облокотились на планширь, Коля прищурился от солнца в полуулыбке, не ведая своей судьбы: через год, в последние минуты державшегося еще на плаву «Сибирякова», он, чтобы корабль не достался врагу, откроет кингстоны и уйдет вместе с судном на дно. (В своей книге «На морских дорогах» К. С. Бадигин несколько вольно излагает события: «…когда с мостика передали в машину: «Капитан убит», старший механик Бочурко поднялся к себе в каюту, выпил бутылку водки и пошел открывать кингстон». Кто мог быть тогда рядом с Бочурко, видеть все его столь замедленные действия, остаться при этом живым и рассказывать о них?!)

На другом снимке — трое на спущенном с борта и собирающемся идти к берегу катере: кроме меня радист Петя Гайдо, который до последней минуты гибнущего «Сибирякова» будет выстукивать сигналы в эфир, и судовой плотник Иван Замятин; раненный в ноги, он в числе восемнадцати сибиряковцев окажется в плену, пройдет через все его муки, вернется домой, и остатка сил хватит ему лишь на год… (Я сказал, что в живых остались девятнадцать. Кто он, девятнадцатый, непогибший и неплененный? Паша Вавилов, кочегар, одним из последних покинувший «Сибирякова», выплывший к маленькому пустынному островку Белуха и через 34 дня обнаруженный и спасенный нашими летчиками; его полярная робинзонада — во многих книгах.)

Мы пришли в Белушью не только разгружаться, а и принять груз, легкий, но драгоценный: песцовые шкурки, сдаваемые

безвозмездно на военные нужды местными охотниками. Их подвигнул на это и самолично доставил пушнину к нам на борт Тыко Вылко, «президент Новой Земли», как назвал его Михаил Иванович Калинин, принимавший в Кремле председателя островного Совета. По паспорту он звался Ильей Константиновичем, но так обращались к нему лишь в официальных случаях, во всех остальных — Тыко, «олешек» по-ненецки, потому что при рождении был вынесен отцом из чума, присыпан снегом, поднесен к собаке, чтобы лизнула и стала другом на всю жизнь, а под конец обряда завернут в шкуру молодого оленя, тоже на всю жизнь надежную защиту от холода. Эти сведения почерпнуты мною из книги, написанной искусствоведом Ольгой Вороновой и посвященной творчеству художника Тыко Вылко, чьи картины хранятся в Третьяковке, в Русском музее, Архангельском краеведческом и за которые дорого заплатил бы любой художественный музей мира — наравне с картинами грузина Пиросмани и австралийца Наматжары, знаменитых «примитивистов». А другая книга о Тыко Вылко принадлежит перу географа Бориса Кошечкина, и она — о сподвижнике и проводнике Русанова, участнике его северных экспедиций, о лоцмане, помогавшем ориентироваться многим капитанам судов, заходивших в эти воды: никто не знал очертаний здешних берегов, характеристик проливов, заливов, лагун, как Тыко, самостийный картограф и номенклатор, составивший первые достоверные карты двух островов, образующих Новую Землю. А как он это делал, читаем у полярного исследователя В. А. Русанова:

> «В продолжение трех лет занимался этот замечательный самоед съемкой малоизвестных восточных берегов Новой Земли. Ежегодно продвигался он на собаках все дальше и дальше к северу, терпел лишения и голодал. Во время страшных зимних бурь целыми днями ему приходилось лежать под скалой, крепко прижавшись к камню, не смея встать, не смея повернуться, чтобы буря не оторвала его от земли и не унесла в море. В такие страшные дни гибли одна за другой его собаки. А самоед без собаки в ледяной пустыне — то же, что араб без верблюда в Сахаре. Бесконечное число раз рисковал Вылко своей жизнью для того, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники скрыты в таинственной, манящей дали Крайнего Севера. Привязав к саням компас, согревая за пазухой закоченевшие руки, Вылко чертил карты во время

сильных морозов, при которых трескаются большие камни, а ртуть становится твердой, как сталь».

Написал очерк о Тыко и Юрий Казаков, можно считать, его коллега, поскольку Вылко был автором нескольких напечатанных рассказов, большой незаконченной повести, сказок. Самоед (это по прежнему обозначению ненцев) был воистину самородок, соединивший в себе сухопутного путешественника, мореплавателя, историка, педагога, литератора, общественного деятеля и конечно же художника, но тут он не совсем самородок, — обучался живописи в Москве, занятий не завершил, должен был срочно вернуться домой: умер старший брат, оставивший жену с шестью детьми, а ненецкий обычай велит младшему брату заменить умершего, стать мужем его вдовы.

Новоземельского президента я увидел впервые, а Сахаров знал его издавна. Отец Анатолия Николаевича принадлежал как раз к капитанам, у которых Тыко ходил лоцманом. Наезжая изредка в Архангельск, он всякий раз бывал у Сахаровых на Поморской. «Александра Сибирякова», на котором он тоже, случалось, плавал в лоцманах, Тыко называл, как и многие, по-родственному «Саша». У него-то получалось «Саса», ненцы, знающие русский, «ш» и «ч» не выговаривают, столица Новой Земли становище (нынче поселок) Белушья у них — «Белусья», а «человек» — «целовек», как и у некоторых коренных архангелогородцев… Мы стояли на рейде двое суток, и перед отходом Вылко снова навестил нас, чтобы попрощаться и вручить подарок, свою новую картину, только что законченную, с еще не просохшей краской. Он нес ее поэтому осторожно на вытянутых руках. «Ледокольный пароход «А. Сибиряков» в Белушьей губе летом 1941 года» — выжжено было на простенькой деревянной раме, которая гармонировала с простенькой живописью, словно принадлежавшей детской руке. Этой своей детскостью, наивом, сочетанием неожиданных колеров — зеленое небо, розовое море, синие горы — со скрупулезной точностью изображения (точное, например, число иллюминаторов на судне) и привлекала к себе картина. Мы повесили ее в кают-компании, она прожила на «Сибирякове» год, погибнув вместе с ним в бою с «Шеером»…

Покинув стоянку, мы направились Маточкиным Шаром, проливом, в Карское море. Оно встретило нас в благорасположении, чуть-чуть побалтывая на легонькой зыби. Я, признаться, предпочитаю ей штормовую волну, которая ударит в борт то сильнее, то слабее, а то и вовсе затихнет, и нет этого длящегося сутками и вконец выматывающего душу тягуче-размеренного покачивания с борта на борт с одинаковой

амплитудой колебания.

Дни стояли ясные, видимость, что называется, за горизонт. И вот как-то на дневной старпомовской вахте, а он несет ее от 16 до 20, прямо по курсу на довольно большом расстоянии, в миле примерно, возник вдруг в обзоре крошечный островок. Но по карте таковых здесь не значилось, да и обычно острова не склонны к перемещению, а этот явно двигался, плыл. Качарава пригласил на мостик капитана, вместе долго вглядывались они в бинокли, так и не определив, что же там впереди показалось. Всплывшая подводная лодка? Чья? Мы имели уже радиопредупреждение, что в этих водах могут появиться немецкие субмарины. И нам даже показалось в Матшаре, что за кормой «Сибирякова» мелькнул вдруг в бурунчике перископ. Не проскользнула ли вслед за нами в Карское море вражеская лодка? А зачем сейчас всплыла? И к тому же брюхом вверх, никаких надстроек не видно. Может, кит? Что-то никогда прежде не замечались в этих краях киты… Решили в целях предосторожности сбавить все-таки ход до самого малого и послать на обследование шлюпку. Сели в нее под командование старпома четыре гребца, боцман Павловский, ну и я в качестве «политического советника», как выразился Сахаров. Прихватили на всякий случай ружьишки. Они не понадобились. «Подлодка» или «кит» оказались оболочкой воздушного шара из прорезиненной перкалевой материи, на которой прочитывалась маркировка: «Москва, № …» Андрюша Павловский вмиг прикинул, как эта находка может пригодиться в его боцманском хозяйстве. Мы попытались вытянуть оболочку из воды, но, тяжело набухшая, набрякшая, она не поддавалась, а с мостика «Сибирякова» сигналили о возвращении, и пришлось оставить московскую воздушную путешественницу в море, которое понесло ее во льды… Мы тогда не слыхали еще о поднятых над Москвой аэростатах заграждения, прочли о них, увидели позже. А недавно, вспомнив этот эпизод из нашего плавания, я решил проконсультироваться у Марка Лазаревича Галлая, с которым, как я уже сообщал читателям, мы опознали друг в друге тенишевцев. Я знал, что в самом начале войны он сбил в ночном бою над Москвой, в районе Южного порта, немецкого бомбардировщика.

— Привязные воздушные шары, называвшиеся «колбасами» за свою продолговатую форму, — сказал Галлай, — отлично сработали в системе ПВО Москвы вместе с зенитной артиллерией, истребителями-перехватчиками, прожекторными станциями. Аэростаты заграждения, которыми командовал полковник Бирнбаум — да-да, тот самый, стратостатчик, — поднятые вверх на два, два с половиной километра, образовали густую сеть, и в

ней вязли, запутывались немецкие летчики, вынужденные с большой высоты неприцельно, беспорядочно сбрасывать бомбы. Аэростаты зависали как по окраинам столицы, главным образом с запада и юга, так и в самом ее центре. Помню, что возле памятника Пушкину была закреплена такая «колбаса».

Может быть, к нам в Карское море, преодолев тысячи километров, и залетела сорванная ветром эта воздушная охранительница великого поэта…

Теперь о письме из Ленинграда.

Как и к Галлаю, но по другому поводу, я обратился за консультацией к живущему в Ленинграде известному полярнику А. И. Косому. Мне припомнилось, что где-то в море Лаптевых мы приняли на борт многочисленную группу зимовщиков с Таймыра. Старшим у них был Косой. Вот я и послал ему письмецо с просьбой уточнить подробности и получил вскоре ответное. Короткое, лапидарное в изложении, выдававшее в авторе человека, который не любит «растекаться мыслию по древу»:

> «Память Вам не изменила. Я действительно возглавлял в 1940—1941 гг. Таймырскую комплексную гидрографическую экспедицию, изучавшую малоисследованный район полуострова, восточное его побережье — от мыса Челюскина до бухты Марии Прончищевой.
>
> Мы работали двумя отрядами. Береговой зимовал на материковой полярной станции несколько западнее острова Андрея. А морской базировался на гидрографическом судне «Норд» в одной из бухт залива Фаддея.
>
> К концу августа мы завершили свои труды, о чем я доложил начальнику морских операций в восточном секторе Арктики т. Белоусову. Он распорядился о посылке к нам ледокольного парохода «А. Сибиряков», который должен был подойти, к месту погрузки 29.VIII, но запаздывал.
>
> 31.VIII капитан Сахаров сообщил, что находится к норд-осту от о-ва Андрея и просил нас прислать «Норд» для лоцманской проводки. В 21.00 мы подошли к «Сибирякову» и вывели его к якорной стоянке.
>
> Погрузка имущества экспедиции осложнилась: ваш судовой катер был поврежден. И карбаса тоже: спущенные за борт, они моментально наполнялись водой.

Так что вся погрузка была осуществлена экспедиционными средствами — двумя катерами и двумя шлюпками. Приходилось лавировать в дрейфующем вдоль берега льду, полоса которого достигала в ширину около одного кабельтова. Из-за отсутствия кунгасов мы не смогли вывезти вездеход и бочкотару (их позже забрал п/х «Сталинград»).

Работали всю ночь, утро — одновременно шла выгрузка на «Норд» зимовочных запасов для его команды, — и лишь в 14.00 вы снялись с якоря, взяв курс на запад. В Архангельск возвращались 34 сотрудника экспедиции и 8 человек из экипажа «Норда», всего 42 пассажира. Нет, 46. Я забыл, что еще до подхода к о. Андрея «Сибиряков» снял на мысе Челюскина нашу топографическую партию — четверых.

И еще были «пассажиры»: два медвежонка, Андрей и Марта, воспитанные нами с двухнедельного возраста. И 50 ездовых собак, доставивших вашей команде немало хлопот. (Собак разместили по всему судну: на спардеке, на ботдеке, на корме, на носу. Они рвались с привязи, и продвигаться людям по палубе среди этой агрессивной компании было затруднительно, если не опасно. Мы плыли под почти не смолкавший на все море лай. Псы затихали только с появлением старпома, они сразу признали в Качараве высшую над собой власть и ластились к нему, повизгивая, жалуясь, наверно, на боцмана, которого с первого же знакомства почему-то невзлюбили. — *А. С.*)

6.IX «Сибиряков», зайдя по пути за гидрографическим имуществом на о. Русский, прибыл благополучно в порт Диксон. Здесь решили, что с таким числом пассажиров — прибавились еще четверо наших сотрудников, доставленных «Сталинградом», а также врач Арсеньева с одной из зимовок и ее трехмесячная дочь — идти в Архангельск морями рискованно из-за военной обстановки. И «Сибиряков» направился в Дудинку на Енисее, куда пришел 13.IX. Мы пересели на речной п/х «Спартак», уходивший в Красноярск. Собак высадили еще на Диксоне, а медвежат, которых мы собирались везти в клетке в зоосад, оставили по просьбе команды у вас на борту. Не знаете ли, кстати, их дальнейшей судьбы? (Андрей и Марта оставались на «Сибирякове» долго. До какого времени? В точности не знаю. Возможно, ушли с ним и в последний рейс… —

А. С.)

Вы спрашиваете, как сложилась моя жизнь дальше.

В период войны участвовал в обеспечении навигационной безопасности на Карском военно-морском театре. Затем годы работы в Арктике, затем Прибалтика (изыскания морских портов) и снова Арктика, зимовки.

Сейчас я пенсионер и потихоньку тружусь над книгой о своей арктической деятельности.

Окажетесь в Ленинграде, буду рад встретиться…»

В упомянутую в письме Дудинку мы заходили дважды, брали уголь для Диксона, где сосредоточивались его запасы. Во время первой стоянки в Дудинке серьезно заболел Качарава и был отправлен в соседний Норильск в больницу. Думали, что лечение затянется, но случившийся в этих краях известный профессор из Ленинграда быстро, за две недели, пока мы шлепали туда-сюда, поставил нашего старпома на ноги, и, когда мы вторично пришли в Дудинку, он встретил нас на причале веселый, неунывающий, будто и не заболевал тяжко.

«Сибиряков» запоздниился в Арктике. Вернулись в Архангельск в конце октября, пробиваясь сквозь лед в устье Двины, и тут же были посланы обратно в устье, к Березовому бару, вызволять застрявшие во льду транспорта́; об этом я уже рассказывал. Потом — смена «вахты» на «Сибирякове»: Сахарова, назначенного на собиравшийся в союзный конвой «Сталинград», сменил Качарава, меня, мобилизованного в военный флот, Элимелах, который летом, перед началом навигации, был сменен мною и теперь возвращался на прежнюю должность. В бою с немецким линкором он будет стоять на ходовом мостике рядом с Качаравой и погибнет.

Качарава не был убит.

Боцман Павловский, тоже оказавшийся на мостике, успел вынести раненного в живот и руку, потерявшего сознание капитана вниз, на палубу, а с накренившейся палубы передать в протянутые руки и сам прыгнуть вслед в единственную уцелевшую из спущенных на воду шлюпок с людьми, которых добивала артиллерия рейдера.

Плен…

После войны мы лишь однажды встретились с Качаравой. Я знал, что он жив, награжден двумя орденами Красного Знамени, плавает по-прежнему капитаном в Арктике, но повидаться не удавалось. Как-то, приехав в Мурманск, я чуть было не уловил

его: накануне, сказали мне, ушел в море. И вдруг неожиданно, с хода, столкнулись в Москве в Охотном ряду. Он мало изменился, только левая, перебитая рука свисала недвижно. Качарава очень спешил куда-то, так об этом и сказал, будто мы вчера лишь расстались:

— Извини, дорогой, бегу, опаздываю, жена ждет на Пушкинской.

— Ты женился, Толя? Поздравляю!

— И знаешь, кто моя жена?

— Ну, у тебя был всегда широкий выбор.

— Выбор большой, а избранница — единственная!

— Кто же? — спросил я, догадываясь, и тут же получил подтверждение:

— Нато! Бегу, дорогой…

…Нато Вачнадзе, проводив мужа в очередное плавание, возвращалась самолетом в Тбилиси. В Ростове — посадка, заправка горючим. Рядом — самолет, уже готовый к вылету, тоже на Тбилиси. Пассажиры его, грузины, узнав, что в соседнем летит любимая актриса, отправились уговорить ее пересесть к ним, благо есть свободное место. Пересела. Взлетели. Подлетая к Тбилиси, машина попала в грозовой фронт и сгорела от удара молнии…

10

Отвлекшись надолго, где я оставил флагмана?

Стоим в бухте Провидения, конечном пункте нашего рейса на восток, как официально считается, а вообще-то мы сходили еще и в расположенную поблизости бухту Угольную, где взяли уголька из недавно открытой здесь шахты, для эксперимента взяли, чтобы проверить его качество в корабельных топках. И вернулись в Провидение пополниться пресной водой. Нам давал ее «Алеут», китобойная матка, плавбаза, судно-завод. Маленькие китобойцы доставляют ему добычу для разделки, переработки в консервы, получения технического жира. Перед тем как ошвартоваться к «Алеуту», по нашей внутренней радиотрансляции было передано распоряжение старпома как можно плотнее задраить иллюминаторы. Не от волн в бухте, от вони с «Алеута». Что это за запашок при разделке, вообразить немыслимо, надо потянуть его носом, а лучше бы — не надо, задохнетесь. Несмотря на задраенные иллюминаторы, мы подхватили все же это амбре, этот милый душок, и на обратном многодневном пути никаким проветриванием не смогли полностью от него отделаться.

Приходившие к нам на борт в Мурманске морщили носы… В Провидении, когда мы подошли к «Алеуту», сначала мало кто с ледокола решался посетить пахучую плавбазу, только трюмные машинисты — по необходимости качать воду. От них и стало известно, что там в консервном цехе полно девушек-работниц. И вот, преодолевая воздушную завесу ворвани, морячки́ с флагмана потянулись к соседкам. А к вечеру на широкий спардек «Алеута» перебрался наш духовой оркестр, и пошли, и пошли кружиться парочки… У меня сохранилась уникальная фотография с «Алеута», которую я не всем показываю: распростертая на палубе гигантская туша финвала и оседлавшие ее, безудержно хохочущие два наших кочегара и две девицы с плавбазы, не подозревающие, а может, как раз и догадывающиеся, что́ за жизненно необходимый китовый орган избрали они для веселого восседания на нем…

Ледокол возвратился в порт приписки, в Мурманск, на шестьдесят третьи сутки плавания. Если б не проводки караванов, не заходы на Диксон, в Тикси, на полярные станции, куда мы завозили продукты, оборудование, могли бы, наверно, совершить еще такой же поход в оба конца. Но, как уже сказано, не для рекордов ходили — для дела. В Баренцевом море нас встретили и взяли под эскорт три миноносца: началась вторая мировая война, в северных водах зашастали подводные лодки. И хотя мы шли под флагом еще не вступившей в войну державы, охрана была нелишней. На рейд мы вошли к ночи, и проход к причалу оказался сложным, пришлось лавировать среди множества невесть откуда взявшихся судов, которые до отказа забили бухту. Утром мы их рассмотрели: и «торгаши» и «пассажиры», лихтера и танкеры, прогулочные яхты и промысловые боты разных стран, в том числе и уже воюющих между собой. Нейтральный порт разрешил им временно укрыться от войны, застигшей их врасплох в море. Среди этой «армады» левиафаном высился самый знаменитый в то время огромный немецкий лайнер «Бремен». На пути из Америки его перехватили английские сторожевики и повели под конвоем, как «трофей», к себе в гавань. Воспользовавшись густым туманом и своей скоростью, «Бремен» ускользнул из-под стражи и долго еще скитался в океане, скрываясь от англичан, которые все же выследили его и потопили.

Все это время, больше года, с прошлой осени, когда мы вернулись из высоких широт, не дойдя до цели каких-то 60 миль, за флагманом как бы числился долг — спасение дрейфующего «Седова», вывод его изо льдов, которые уносили судно с экипажем из 15 человек сперва все севернее и севернее, а затем, немного смилостивившись, стали отпускать чуть к югу и одновременно на запад, пока не вынесли в Гренландское море. Знаю, что во время нашего сквозного плавания Папанин и Белоусов не раз вызывали по радио молодого капитана «Седова» Бадигина, который совсем еще недавно был у Белоусова третьим помощником на «Красине», расспрашивали, как складывается дрейф. И в последний разговор с борта Михаил Прокофьевич, вообще-то не любивший «авансов», всяких обещаний, сказал Бадигину: «Постараемся, Костя, скоро выручить…»

И вот идем на выручку.

Из рейсового донесения:

«…по выходе из Кольского залива в море сразу же встретил крупную зыбь от вест-норд-веста при ветре вест 6 баллов.

Ледокол в полной осадке начал принимать на себя волну и испытывать качку… Крен 45°, зыбь бьет на палубу.

В 16.04 ударом большой волны по катеру № 6, левый борт, разбиты кильблоки, и катер мгновенно ушел за борт.

…Ветер усилился до 11 баллов, снежная пурга, видимости нет.

Продолжаю идти по ветру, под одной средней машиной, обследуя состояние палубных грузов и производя дополнительные, часто тщетные крепления. Волна разбивает на месте закрепленные бочки. Непрерывно работает палубная команда… Срезало фальшборт на носу но правому борту, сорвало трап и погнуло релинги.

…Скорость 8 миль за вахту, и при таком ходе волна все же идет на палубу, и вода замерзает.

…От широты 73°24′, долготы 14°45′ восточной начал встречать отдельно плавающие старые льдины, иногда поясины молодого льда.

Из-за полной тьмы пришлось еще уменьшить ход.

…Вода интенсивно замерзает на палубе. Ледокол принял причудливую форму. На носовой части краны и брашпили слились в одну льдину. На носу, за

волноломом, сплошной лед закрыл якорные канаты, клюзы. Фронтальная часть мостиков покрыта полуметровым слоем льда. Все шлюпки, их тали, все палубные устройства — ледяная глыба. Несем на себе 400 тонн ледовой коры…»

А у меня от той свирепой качки маленький смешной случай в памяти.

С нами в поход шли журналисты центральных газет. Мы их разобрали по своим каютам. У меня поместился газетчик с широко известным тогда именем, участник экспедиции на Северный полюс. Человек на удивление скромный, он не пожелал стеснить хозяина, заявив, что будет спать на верхней койке, и никаких разговоров… Я был наказан за то, что не настоял на своем, не отдал ему нижней койки. Качка застала нас ночью, мой сосед проснулся уже совершенно укачанный, и я испытал от этого у себя внизу некоторые неудобства… Нам всем было плохо, не бывает людей, которым в штормягу хорошо. Другое дело, кто как преодолевает это отвратительное состояние. Я знал капитана, плававшего не один десяток лет и при этом не расставшегося на мостике с резиновым мешочком на случай качки… Моему москвичу было совсем-совсем скверно. И в самую тяжкую минуту пришла ему радиограмма из столицы. У радистов было по горло работы, они не успевали разносить по каютам депеши, просто зачитывали их по корабельной трансляции. Какие могут быть секреты в таком рейсе, когда отовсюду и всем идут примерно одинаковые напутственные слова… И вот телеграмма моему бедолаге, который мается на койке, не ест, не пьет и мало на что реагирует. Послание ему от московских друзей такое: «Искренне завидуем нашему дорогому морскому волку». И когда слова эти прогремели в динамике, смысл их, видимо, дошел все-таки до затуманенного сознания морского волка, потому что на страдающем, измученном его лице мелькнуло какое-то подобие, улыбки, слабенькой, жалкой, но все же улыбки.

Укачавшихся в лежку все прибавлялось. И матросы устроили в кормовом грузовом трюме, где качка ощущалась в меньшей степени, нечто вроде лазарета, расстелив матрацные лежанки и закрепив как-то брусья между ними, чтобы не расползались. Кто мог, сам добирался до «укачаловки», как назвали это помещение, кого на руках вносили. За врача, за фельдшера, которые сами укачались, за санитарку была Марфа-буфетчица, принявшая на себя все заботы о страдальцах, усиленно снабжая лимонным соком тех, кто еще мог раскрыть рот. Ее соавторша прачка Настя лежала в бесчувствии. (Позже, когда все оклемались, ох и было ей

что постирать!) Вся киноэкспедиция в составе трех человек улеглась недвижно в «укачаловке». Прилег, правда ненадолго, и сам Папанин, не выдержавший качки в своей каюте на верхней палубе: морская болезнь не разбирает кто Герой, а кто не герой, кто начальник, а кто подчиненный.

К описанному в рейсовом донесении серьезному урону, который нанесла штормовая качка кораблю, прибавились неприятности помельче, но все же ощутимые. Севморпутские снабженцы хотели обрадовать седовцев, столько времени проживших на консервах, на концентратах, свежей, натуральной пищей. С этой целью на флагмане был оборудован, в частности, курятник, обильное население которого беззаботно вело себя, весело и шумно квохча, не догадываясь о своей участи, во всяком случае, не предвидя, что она свершится ранее, чем намечалось на камбузе, и другим способом. В качку несчастных пернатых расшвыряло с насестов, они летали-летали, сталкиваясь друг с другом на узком пространстве, бились крыльями и в поиске спасения застревали головами или лапками в прогалах меж переборками и горячими трубами парового отопления. Горестные клики плененных птиц тонули в шуме заливающих палубу волн. Спасти бедняг не удалось — железную дверь в курятник заклинило, а когда с окончанием качки (конец качки для ледокола с его округлым, яйцевидным корпусом понятие относительное, он продолжает по инерции слегка покачиваться даже во льду, даже у портового причала) дверь открыли, печальная картина явилась взору: все куры повисли как вздернутые на крючках, ни одной живой.

Вспоминая этот рейс, раскладываю перед собой снимки, подаренные мне когда-то Митей Дебабовым, тассовским фотокорреспондентом. У ТАССа была монополия на официальное фотографирование в походе. Щелкали-то все, кто прихватил с собой аппарат. А профессионал был один — Дебабов. Не считая киношников. Слезно просился у Ивана Дмитриевича в экспедицию приехавший в Мурманск Виктор Тёмин из «Правды», уже тогда известный редкостной способностью всех обставить в погоне за сенсацией, как опередил он позже, под конец войны, своих коллег в Берлине, первым доставив в Москву снимок водруженного над рейхстагом советского знамени; Темину удалось прежде других выпросить у маршала Жукова специальный самолет для этого… Папанина он не уговорил, но уверенности, что настырный соперник смирится с отказом, у Дебабова не было. И, по его просьбе, Иван Дмитриевич приказал тщательно обыскать все потайные места на ледоколе, вплоть до заваленных углем бункеров, где мог бы укрыться Темин, имевший

уже в этом опыт. Во время челюскинской эпопеи, будучи еще фотографом какой-то провинциальной газеты, не допущенный в поезд с челюскинцами, следовавший через город, где Виктор работал, он спрятался в тендере под грудой угля и, обнаружившись в пути, грязный, весь в угольной пыли, сделал для своей газеты снимки, настолько удачные, что их напечатала и «Правда», забравшая Темина к себе в штат… Папанину доложили, что искомый фотозаяц не найден, но продолжавший беспокоиться Дебабов окончательно убедился в отсутствии своего конкурента на корабле лишь в качку, которая, конечно, вытряхнула бы Темина из любого укрытия.

Снимал Дмитрий Дебабов превосходно. Он был скорее художник, чем репортер, хотя в соперничестве со сверхшустрым Теминым и одолел его. Оставшись, как профессионал, вне конкуренции в рейсе, Митя фотографировал (этот более удлиненный, статичный глагол применимее к нему, чем «снимал») неторопливо, с отбором. Я с особым удовольствием разглядываю его сюжеты: на некоторых снимках случайно, мельком, на заднем плане ухвачена и моя личность. А на двух я зафиксирован даже крупным планом, вдвоем с Папаниным. Рядом с начальством я очутился при следующих обстоятельствах. Типография нашей многотиражки занимала маленькую надстройку в кормовой части возле «Триумфальной арки», как называли два высоких, соединенных поверху перекладиной металлических столба для крепления самолетов. Проникать в типографию, когда палуба и все ее оборудование покрылись после отчаянной качки толстым ледовым панцирем, а матросы не успели еще его сколоть, было делом довольно рискованным. Гаврюша Сумин, наборщик и печатник, там, в типографии, и жил это время, покидая свое логовище лишь по чрезвычайным надобностям. Мне же часто приходилось курсировать туда-сюда, уподобляясь альпинисту, штурмующему ледник в горах. Однажды, подписав очередной номер, я высунулся из дверей типографии, чтобы начать путешествие в носовую каюту, и был ослеплен вспышкой магния в темноте: Дебабов фотографировал на 40-градусном морозе Папанина около буксирной лебедки, превратившейся в сказочное ледяное сооружение и потому избранной фоном для съемки. Я пытался прошмыгнуть незамеченным, но поскользнулся и, едва удержавшись на ногах, угодил в объятия Ивана Дмитриевича.

— Попался, браточек! — сказал он. — Составляй компанию. Будем вместе сниматься, — и начал приготовлять меня к съемке, осыпая снегом, дабы я не контрастировал с ним, уже заснеженным с головы до ног в своей тяжелой медвежьей дохе.

Вот и не контрастирую: на фото у меня вполне арктический вид в покрытой снежными хлопьями «француженке» (под этим названием почему-то значились в инвентарной описи самые обычные полушубки), и только непонятно, отчего же совершенно не тронуты снегом мои штаны и сапоги, — это уж недогляд Папанина, «гримировавшего» меня.

Рейс в разгар полярной ночи (если можно сказать про почти круглосуточную тьму с получасовым сумеречным просветом, что она разгорается) в высокие широты, в Гренландское море, куда в такую пору — конец декабря! — никто еще не решался заплывать. Рейс за кораблем, вмерзшим во льды так прочно, что не мог двигаться самостоятельно даже на чистой воде, и его пришлось тащить на буксире в облепившем днище ледяном корыте, которое растаяло уже далеко южнее, за Шпицбергеном; мы заходили в Баренцбург по просьбе тамошней советской колонии, торжественно встретившей седовцев, а заодно и нас. «Корыто» рассосалось лишь в приближении к незамерзающему Кольскому заливу, да и в Мурманске, в порту, с кормы «Седова» еще продолжали свисать последние, самые застарелые арктические сосульки к восторгу бегавших по причалу мальчишек… Словом, поход флагмана был нелегкий — вслед за безудержной шестидневной качкой мы испытали мощное сжатие в торосах, заставившее Белоусова объявить аврал в предупреждение высадки на лед, но все обошлось, корпус выдержал атаку льдов. Нелегкий рейс, и одновременно веселый, шумный, с Папаниным на борту, человеком мировой славы, отблески которой как бы ложились и на нас. Он постоянно что-то придумывал для поднятия, как говорил, духа, энтузиазма. Объявил матросам, что тот из них, кто первым углядит огонь с «Седова», будет представлен к правительственной награде. Повезло рулевому Сереже Полухину, он уже сдал вахту, уже спускался по трапу с мостика, обернулся вдруг, будто кто толкнул в спину, и увидел чуть различимый, просочившийся сквозь двойную завесу — темноты и тумана, — дрожащий в робости световой сигнал с мачты дрейфующего судна. Папанин сдержал обещание: Полухин получил «Знак Почета», орден, на который, существуй он в XV веке, мог бы претендовать и матрос со «Святой Марии», каравеллы Колумба, первым увидевший землю… По затее Ивана Дмитриевича, гастрономы Ленинграда и Москвы прислали под Новый год радиозапросы, что бы каждый из нас хотел заказать родным и знакомым. Надо мной, не знаю уж, вольно или невольно, кто-то подшутил в магазине, перепутав адреса. Торт, предназначенный мной приятельнице с соответствующей нелепой дарственной надписью из крема, вручили моей матери и наоборот, чем

смущены были оба адресата, и в большей степени все-таки мама. Приятельница-то, полагаю, и прежде догадывалась о наличии у меня мамы, а вот для нее, не посвященной в мои романтические ситуации, чужой торт явился полной неожиданностью, как удар из-за угла…

12

Поверьте, мой слегка ироничный тон отнюдь не в умаление того рейса. Выглядело бы по меньшей мере странным, если б я, его участник, ставил перед собой подобную цель. Для экипажа рейс, повторяю, был трудной работой, скажу так: привычно трудной. Но на сей раз она просто оказалась у мира на виду, под миллионами глаз. Газеты заполнялись сообщениями из Гренландского моря, оттеснившими всю прочую информацию. Мы про себя сутки напролет по радио слушали: где мы, что мы, как плывем-поживаем. О походе за «Седовым» изданы книги, выпущены фильмы, 25-летие его отметили в Москве, как вы знаете, большим юбилейным вечером. А вот о ледовой нашей кампании в Белом море никто еще, по-моему, не писал. Ну, кроме самого, конечно, капитана вот в этом лежащем передо мной рейсовом донесении, которое не предназначалось для публикации, оставшись лишь в школьной, в клетку, тетрадке и где-то в архиве.

Привели «Седова» в Мурманск в самом конце января. Торжество! Специальный поезд должен везти седовцев в Москву. Собиралась ехать с ними и делегация с флагмана: Белоусов и еще человек десять; как парторга, и меня включили. Воображали, как гульнем по дороге, в Ленинграде, в столице. Но все наши развеселые планы поломали шифровкой из Москвы: срочно, в 24 часа, забункероваться, взять воду, продукты — и в море!.. Читателю, поскольку я в этой повести, как недисциплинированный автор, часто забегаю вперед, уже известны обстоятельства, по которым нас послали в Белое море, в узкое его горло: помогать застрявшим там в торосах транспортам с войсками и вооружением. Повторяться не буду, добавлю лишь некоторые подробности.

Первым следовало вызволить бедовавшего пуще других «Сакко». Это был наш старый знакомый. В минувшую летнюю навигацию мы вели его в небольшом караване Карским морем сквозь разреженные поля, неопасные для ледокола, но вынуждавшие пароходы то и дело взывать о помощи. Это трогательная картина: ледокол с подопечными. Они жмутся к

нему, льнут, как к няньке, да и он то к одному подойдет, то к другому, погудит нежно, приласкает. Они беспомощны и потому послушны, все эти братишки-транспортишки, пока во льду. А стоит вывести на свободу, такого дают драла́, только пятки-винты сверкают, хвост трубой. «Сакко», помню, быстрее других рванул за проливом Вилькицкого, торопясь с грузом на Колыму… Теперь, в беломорском горле, он уже много дней скован: кончился хлеб, остального провианта на трое суток; нет угля, жгут все дерево на судне, сожгли рыбенсы, деревянные брусья в трюме, ограждающие груз; пресной воды ни капли, брали снег, а пошел мелкобитый лед, и снегу не возьмешь. Пароход не только во льду, он еще и на предельно малых глубинах… Куда ни глянет Белоусов у себя в штурманской рубке на карту в районе дрейфа «Сакко», кругом 8 метров, 9, изредка 10. А у нас осадка 9,26. Как подобраться? На брюхе ползти? А если надо — и на брюхе!

> «…Капитан «Сакко» сообщил свои координаты… Место на карте получается на линии 10-метровой изобаты.
>
> Иду малым ходом, пеленгую каждые четверть часа маяки Ручьи и Инцы, хорошо видимые. Запросил еще раз «Сакко», какая у них глубина, ответили: 36 футов… А через несколько минут сажусь на мель в расстоянии 7 кабельтовых от транспорта. Промеры ручным лотом говорят, что сидим, видимо, на отдельно лежащем камне. Откачав немного воды, снялся с грунта и, изменив курс, пошел на вест. Через 5 минут снова на грунте. Волочит льдом по камням, разворачивает, корабль накренился. Откачал еще балласт, сполз, пошел на север в поисках бо́льших глубин. Но через полтора часа в третий раз на мели…»

Перечитываю через столько лет эти спокойные строки рейсового донесения, которое писалось уже в порту, а вижу моего капитана вышагивающим по мостику на бессменной вахте. Вижу, каких душевных сил стоит ему вот так кидать и кидать свой корабль на камни в узкости, набитой льдом, почти не имея надежды найти проход к дрейфующему судну с солдатами на борту, нужными фронту, и зная, что никто другой помочь ему не может.

Мы пропоролись, искалечились, а все же подобрались, подползли к «Сакко», обкололи вокруг него лед, снабдили всем необходимым, взяли на буксир и повели разводьями вдоль берега… Белоусов получил возможность спуститься с мостика, прилечь у себя в каюте. Только окунулся, не раздеваясь, в сон —

стук в дверь. Вскочил, крикнул: «Что такое опять?» В дверях вахтенный помощник, спросонья Белоусов не разобрал, какой вид у вахтенного — радостно-возбужденный или растерянный. Показалось, что растерянный, расстроенный. «Снова сели? Как теперь-то угодили?» — «Вам Героя присвоили… — говорит штурман. — Только что по радио передано… Мы решили разбудить вас, извините…» — и, видя все еще рассерженное лицо капитана, отступает с порога, пятится. Но смысл известия уже дошел до Михаила Прокофьевича, он подбоченился и сказал: «Спасибо! Пойду досыпать…»

С помятыми боками, потекшими балластными цистернами, разбитыми дейдвудами, с поврежденным винтом, сломанной буксирной лебедкой флагман продолжал работать в Белом море до первых чисел мая, пока не вывел все суда.

13

После ледовой кампании в Белом море «И. Сталин» был поставлен на капитальный ремонт. В мае нас, награжденных, вызвали в Москву для вручения орденов и медалей. Среди сильных впечатлений от той поездки в моей памяти сохранилось, как утром нас прямо с вокзала отвезли в специальное пошивочное ателье, сняли мерки, в середине дня была примерка, а к вечеру все мы уже щеголяли в новеньких, безукоризненно пригнанных кителях. Вот какую оперативность проявил хозотдел Главсевморпути.

Награды мы получали вместе с участниками боев в Финляндии. Народ собрался в Свердловском зале молодой, крепкий: летчики, танкисты, артиллеристы, моряки. И перед началом церемонии, перед появлением Калинина, кто-то из его помощников сказал, обращаясь к переполненному залу:

— Товарищи, ваши чувства в данный момент понятны, но не вкладывайте их полностью в рукопожатие, пощадите Михаила Ивановича, он один, а вас много…

Я подходил к Калинину дважды: сначала в составе «треугольника» — капитан, парторг, председатель судкома — за орденом Ленина для корабля, а затем за собственным «Знаком Почета». Я поторопился протянуть руку к красной коробочке в ладони вручающего и был остановлен его тихим, чуть слышным голосом: «Не спешите, молодой человек, я вас не успел поздравить… — А затем громче: — Поздравляю, товарищ, и надеюсь, не в последний раз». Вслед за этим коробочка с приоткрытой крышкой, из-под которой посверкивал орденок,

сказалась у меня, и я в растерянности забыл произнести слова благодарности, спохватился, уже сев на место рядом с поэтом Евгением Долматовским. Мы были знакомы с ним еще как деткоры. Он был торжественно-спокоен, как человек уже опытный, во второй раз пришедший в Кремль за наградой: год назад его наградили орденом за заслуги в области литературы — это было первое большое награждение писателей всех поколений — и теперь вот боевой медалью за работу во фронтовой печати. Мы договорились, что сразу из Кремля съездим в «Комсомольскую правду» показаться, похвалиться ее редактору Данилову, которого снова повысили, переведя из «Пионерки». Но тут начались коллективные фотографирования с Калининым, и я потерял Женю из вида. То ли он передумал, то ли его увлекли в другое место, и я встретил Долматовского… через 25 лет в ЦДЛ, говорю встретил, а не встретились, потому что я не решился к нему подойти и назваться в силу все той же своей болезненной боязни не быть узнанным…

Очень мне хотелось пофасонить, покрасоваться орденом перед Колей Даниловым. Как-никак, он стоял у истока моей морской «карьеры», начавшейся возле камбузной плиты парохода «Лена». Он, Николай, не побоялся, как вы помните, подписать мне ходатайство в Балтийскую контору, несмотря на «сигнал» бдительного секретаря редакции… Я понимал, правда, что своим «Знаком Почета» я Данилова особенно не удивлю. К той поре немало уже журналистов получили ордена — за экспедиции, за походы, пробеги и перелеты, и вот за финскую войну. Корреспондента той же «Комсомолки» Леонида Коробова наградили орденом Ленина: он заменил в бою на Карельском перешейке убитого комбата и поднял батальон в атаку.

Так вот, я понимал, что Данилова своим орденом не поражу. Я знал его склонность скрывать под иронией свои истинные чувства и догадывался, как он меня встретит. Так и встретил, как я догадывался.

— А-а, — воскликнул он, увидев мою просунувшуюся в дверь его кабинета физиономию. — Здорово́, кавалер «веселых ребят»! Догнал, значит, Толю Финогенова… Поздравляю! — Это уже было сказано без иронии в момент, когда он обнял и прижал меня к себе.

Финогенов был тоже недавний искровский деткор; он раньше всех нас перешел во взрослую печать, участвовал от «Комсомольской правды» в экспедиции по спасению папанинцев и получил «Знак Почета».

— Ну рассказывай, рассказывай, Синдбад-мореход… — говорил Данилов, но по характерному рассеянному его взгляду я

понял, что он уже где-то далеко от меня, и в таких случаях обижаться на Колю бессмысленно, это не от равнодушия к вам, а от внутренней сосредоточенности на чем-то более важном для него в сию минуту.

14

— Вы знаете небольшую книжку отца «О тактике ледового плавания», изданную в сороковом году? — спросил меня как-то Игорь.

— Не только знаю, но и храню у себя, — сказал я. — Михаил Прокофьевич подарил ее мне в Мурманске. В мою домашнюю библиотеку в Ленинграде, от которой мало что осталось в блокаду, она не попала, уцелела и теперь вот стоит в шкафу. Специалисты говорят, что многие рекомендации, высказанные Белоусовым в книге, остались и посейчас в силе. А напечатанная крошечным тиражом, она просто библиографическая редкость для тех, кто собирает литературу об Арктике.

— У нас с мамой всего три экземпляра… Но я не поэтому спросил вас. Разбирая архив отца, мы нашли пачку листков, исписанных совершенно незнакомым нам почерком, ужасно трудным для прочтения. То, что удалось понять, очень похоже по содержанию, по фактам на текст папиной книги. А по стилю, по форме изложения — на его живую речь, в книжке она стилизована, подогнана к языку учебника, наставления. Похоже, что кто-то записывал отца, а затем передал ему эти записи для редактирования.

— Покажите мне их, — сказал я, уже почти зная, о чем говорит Игорь.

И он протянул мне листки.

— Моя рука, мой почерк! Когда мы стояли на ремонте в Росте, Михаил Прокофьевич прочел лекцию о тактике ледового плавания для капитанов, штурманов с судов, собиравшихся в арктическую навигацию. Я говорю — прочел, как обычно говорят о лекциях. А он не читал, говорил в свободной манере, по-моему даже конспекта не имея. Но попросил меня вести запись, зная мою репортерскую способность к скорописи: строчишь карандашом, не вдаваясь особенно в смысл услышанного, только спеша механически, в точности все зафиксировать, занести на бумагу, ну как делает стенографистка. Но она расшифрует свои значки и через неделю и через месяц. А я, если не проделаю это сразу, по горячей записи, никогда уже ее не прочту. Вот эти листки и есть расшифровка моей скорописи, моего шифра.

— А почерк-то, почерк! Тут и половины не разгадаешь. Как отец-то разобрал, а судя по книжке, эта запись легла в ее основу.

— Дайте мне, Игорь, сие на вечерок, разрешите переписать.

И теперь у меня хранятся и книга моего капитана, и его «живая речь», как выразился Игорь.

Из лекции М. П. Белоусова (в моей записи):

«В уроках географии данная аудитория не нуждается.

Только короткая справка: морские границы страны растянулись более чем на 40 000 километров.

И все наши моря замерзают. Исключение — Мурманский порт, приютивший нас. Но и у этого исключения случаются исключения: старожилы припоминают лед и здесь, правда не страшный для судоходства.

Арктические моря — Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское — скованы круглый год.

Нужен особый флот для плавания во льдах, о чем позаботился еще адмирал Макаров, построивший «Ермака».

Это ледокол в чистом виде, линейный ледокол. Как построенные позже «Красин», «И. Сталин». Они решают самостоятельные тактические задачи, обладая необходимой мощностью, прочным корпусом и достаточной маневренностью.

Ледоколы послабее, типа «Литке», «Трувора», несут вспомогательные функции, окалывая, скажем, застрявшие во льду транспорта, дабы не заставлять вожака, ведущего караван, пробивающего для него дорогу, тратить драгоценное время на мелкую опеку.

Полезны в Арктике и такие работники, как «Седов», «Сибиряков», «Малыгин», из новых «Дежнев», ледокольные грузо-пассажирские пароходы. Скептики считают, что это-де и не ледоколы и не транспорта, «гибрид чего-то с чем-то». Нет, совершенно определенное соединение ледовых качеств со способностью возить грузы и людей. Эти суда специально рождены для полярных рейсов в отличие от «Анадыря», «Сталинграда», «Беломорканала», лишь приспособленных к ним. «Анадырь» не заменит «Седова». Согласен, что и «Седов» не заменит полностью «Анадыря», не возьмет столько груза и пассажиров, и его

перегружать опасно. А вот «Анадыря» и ему подобных можно бы поучить, как вести себя во льду с помощью «Красина», «Литке», того же «Седова», «Малыгина», потому что мы хотим превратить Северный морской путь в постоянно действующую транспортную магистраль, в надежную «железную дорогу» сквозь льды. Мы собираемся в Арктике не путешествовать, а работать.

А ко всякой работе, как, впрочем, и к путешествиям, следует готовиться.

Вы — «грузовики», и не мне вас учить, как грузиться. Решаюсь на это только потому, что мне предстоит помогать вам во льдах. И поэтому такой совет: не забывайте, что плавать нам не на чистой воде. Скажете: на чистой беспокойней с грузом — шторма, зыбь, чего нет во льду. Но я уже говорил о пробоинах, о водоотливе, о ликвидации аварий, которые в торосах чаще, чем на водной глади. Так вот, когда везете сыпучий или генеральный плотно укладывающийся груз, покрывайте шпангоуты деревянной обшивкой. Чтобы груз не забивал все щели, чтобы оставалась возможность откачивать воду при пробоинах. И опять же, не экономьте безрассудно на укладке: возьмете чуть меньше, довезете больше в смысле сохранности. Не заполняйте трюм до отказа — в случае аварии нужен некоторый простор для ее ликвидации.

Я начал разговор о тактике ледового плавания с подготовки руля, с откачки воды, с укладки груза, с вопросов, имеющих, казалось бы, малое отношение к тактике, не говоря уж о стратегии. Но не буду повторять известной притчи о сражении, проигранном армией из-за неподкованного коня.

Минуло время одиночного, кустарного плавания в Арктике «на авось» да еще почти вслепую, когда обстановка ясна лишь в пределах видимости с мостика, с мачты, а в тумане эти пределы вообще сведены к нулю. Нынче полярная авиация, наземные станции, службы погоды и льда обеспечивают наши караваны ледовыми картами и синоптической информацией…

Значит, идем в караване.

Что самое главнее в походе армадой?

Дистанция!

Не по прихоти ледокольщика вытаскиваю я это требование на первый план. Точно найденные дистанции внутри каравана в значительной степени решают успех

всей проводки.

Рассмотрим варианты.

Движемся в не очень тяжелом льду, 5—6 баллов. Ледокол, более могучий в плечах, чем его подопечные, оставляет за собой довольно широкий канал, и плывущим за ним первыми не опасно держаться на некотором отдалении. А вот для задних, замыкающих цепочку, дистанции укорачиваются из-за постепенного сужения канала. Лед становится плотнее, значит, и плотнее нужно держаться друг за другом, коллективно преодолевая сопротивление льда.

Когда же он изначально плотен, интервалы сводятся к минимуму для всего каравана, от головы до хвоста, при сжатии в 10 баллов измеряясь буквально метрами. Канал, пробитый ледоколом, мигом заплывает льдом, за кормой флагмана остается полоска воды у́же корпуса. И чтобы не заставлять вожака то и дело возвращаться и окалывать вас, держитесь как можно ближе к нему и друг к другу, предотвращая еще большее сужение канала.

Короткая дистанция вызывает свои трудности. Она не стабильна и часто меняется в зависимости от тяжести и расположения льда. Вахтенный штурман с транспорта обязан бдительно следить за сигналами с ледокола и, само собой, понимать их. Бывает, что, приняв сигнал, штурман бежит в рубку разбираться по таблице, что́ он означает. Потеря времени. И совсем плохо, когда сигнал понят, но не исполнен. Капитан в караване перестает быть хуторянином, действующим только согласно собственному разумению. Собственное волеизъявление до́лжно пригасить, подчиняясь воле флагмана, который задает тон и чьи распоряжения, сигналы обязательны для всего каравана.

Итак, дисциплина дистанции!

Она, дистанция, существует и в человеческих взаимоотношениях: мы то сближаемся, то отдаляемся в караване жизни… Примите сию сентенцию как замечание вскользь, углубляться в философию не буду.

Каковы скорости движения во льду?

Вы — «торгаши», а всякое коммерческое плавание тем выгоднее, чем скорее оно совершается.

Я ледокольщик, человек более осторожный, но хотел бы соблюдать ваши интересы. Я тоже за высокие скорости. Не люблю поговорку: тише едешь, дальше будешь… С детства я запомнил добавку: …от того места,

куда едешь. Тем не менее лед есть лед, и давайте все же не зарываться со скоростями. Кажется, пробита хорошая трасса, можно бы и прибавить скоростишки. С оглядкой! В прямом смысле. Лед вроде далеко от борта, не опасен. Приглядитесь, это обманчиво: в подводной части у льда образуются «подсовы», «тараны», «языки», на которые запросто нарваться. Советую рассматривать даже малую льдину как некий грозящий вам айсберг. Будем спешить, но не торопиться. Или торопиться, но не спешить.

…Я уже веду вас во льдах, а еще не сказал, как входить в ледовое поле — момент, во многом решающий всю проводку.

Туманы в Арктике обычная штука, и при наличии соответствующих карт, зная по данным авиаразведки расположение льдов, все равно легко в тумане прозевать их близость. Она угадывается по ряду признаков: холодеет воздух, холодеет вода. Зыбь становится беспорядочной, как бы толчется, отбрасываемая каким-то препятствием. Опытный штурман поймет, что́ встретила волна, по какой причине «заволновалась»: вблизи нет ни берега, ни камней по карте, значит, лед близко… Но вот не ошиблись, не наткнулись неожиданно на кромку льда, а спокойно подошли к ней. Не стремитесь сразу форсировать ее, входить в поле. Кромка бывает сбитой из крупных льдов, они раскачиваются стеной на зыби, расходясь для того, чтобы снова столкнуться. И не дай бог попасть винтами или рулем под их удары, да и корпус они не пощадят. Пройдем неторопливо вдоль кромки, пока не обнаружим «ворота». Они непременно откроются, если их терпеливо поискать.

Теперь о самой проводке в ледовом поле.

Твердый закон для ведомых в караване — быть послушными флагману. Я уже говорил о дисциплине дистанции. Это же относится к избранному курсу. Он обязателен для всего каравана, менять его имеет право лишь флагман, ледокол. Причем если ледокол уклонился по какой-то причине от курса, то все суда обязаны безропотно последовать за ним. И точно с того места, где он повернул на новое направление. Поиски каждым в отдельности самостоятельного пути ничего хорошего не сулят. Вы оторветесь от каравана, застрянете в одиночестве в торосах, заставляя ледокол возвращаться и вытаскивать вас за шкирку. Принцип

«сами с усами» должен быть в коллективном плавании отброшен, «усы» надо сбрить… Знаю, капитаны идущих в конвое судов бывают недовольны, когда ледокол, не меняя генерального курса, совершает вдруг крутые повороты, рыскает туда-сюда. Он вынужден это делать, встретив тяжелые льды, которые атакуют его с обоих бортов, пытаясь сбить с курса. Наберитесь терпения, не сучите зря ножками, выжидайте. Флагман маневрирует, нащупывает, ищет безопасную дорогу, чтобы повести вас дальше к цели.

…Ледокольщик на то и ледокольщик, чтобы понимать лед, по еле уловимым признакам разбираться в его характере.

Особенности льда могут быть скрыты под снегом. Перед нами — сплошная снежная равнина, гладь. Ни рытвин, ни ухабов. Опять приглядимся, и обнаружим волнистость, словно слегка гребешком проведено. Первый признак, что гряда торосов под снегом. Лучше обойти их, обогнуть, а не получится, поищем трещины между ними, чтобы прорваться к более слабому льду. Вообще математическая аксиома о прямой как о кратчайшем расстоянии меж двух точек к плаванию во льдах не относится. Прямая здесь может оказаться «длиннее» зигзага.

Среди признаков твердости льда — его цвет. Считается из практики, что зеленоватый с голубизной — самый «твердый» колер. «Красину» повстречался однажды такой, когда мы шли проливом Лонга к острову Врангеля. Красота необыкновенная, я залюбовался с мостика: прямо-таки зеленеющий луг в разгаре лета, только ромашек да васильков не хватало. Ткнулись мы в этот лужок форштевнем, ударили раз, другой, и малой-то отметины на льду не осталось — гранит! Да что гранит, его бы наверняка раскололи, а тут ни следа, будто и не били. Брать этакий ледяной монолит силой, форсировать его — бессмысленно, калекой отползешь. А вот подобный зеленый лед, покрытый снежницами, должен поддаться. Он уже разъеден солнцем, местами в нем сквозные отверстия — проталины. Сюда и устремимся, потому что бить доведется не сплошное поле, а лишь отдельные перемычки промеж проталин.

Я заговорил о действиях чисто ледокольного, что ли, характера. А моя лекция для моряков торгового флота. Нужны ли вам функции ледокольщиков? Мы там в

Арктике, скажете, случайно, мы — ведомые, и как преодолевать льды, как с ними хитрить — это уж ваша забота, товарищи североморпутцы. Но в ледовом плавании, отвечу, мы — семья, глава которой флагман, ледокол. И если нет ладу в семье, нет понимания действий ее главы, нет единства действий, взаимопонимания, она разваливается. Так и в караване.

Ледоколу совсем не обязательно опекать вас во всех случаях. Я уж не говорю о таких транспортах ледового класса, как «Беломорканал», «Диксон», которые, скажем, в шестибалльном и даже семибалльном льду способны плыть самостоятельно. Да и прочие суда могут быть отпущены «на волю», судя по обстановке. Ледокол расходует много дорогостоящего угля, и использовать нас надо разумно, только там, где это действительно необходимо.

Теперь в Арктике созданы штабы морских операций. Они не на берегу, они в море, эти штабы, на ледовых флагманах. Они решают, куда, когда и какое судно послать, формируют караваны. У них в распоряжении авиаразведка, метеосводки с полярных станций. Мы плаваем не по наитию, не как на душу придется, а по плану. Конечно, льды есть льды, Арктика остается Арктикой, могущей срывать нам планы. Не будем называть ее коварной, загадочной, оставим это для литераторов. Будем спокойно готовиться к встрече с ней.

До встречи во льдах, товарищи!»

«Хорошо бы на чистой воде…» — записана у меня реплика с места.

«Согласен. Хотя на чистой воде мне скучновато…» — сказал Белоусов.

Перечитал старую лекцию Белоусова — сорок три года ей! И вот лежит передо мной номер «Известий» за 11 октября 1983 года. Статья «Караван в ледовом плену». В Чукотском море, примерно в том же месте, где полвека назад погиб «Челюскин», застряло в небывало тяжелом льду пятнадцать транспортов с грузами для Чукотки и Якутии. На помощь посланы все находящиеся в этом районе мощные ледоколы, в том числе и атомные. Но ничего пока сделать не могут. Один из сухогрузов «Нина Сагайдак», раздавленный льдами, затонул. Команда спасена вертолетами. Судам грозит зимовка. Сообщение о событиях в Чукотском море, напечатанное в «Правде»,

заканчивается словами: «Арктика остается Арктикой, и требует она самого серьезного отношения к себе постоянно». Как относился к ней капитан Белоусов — добавлю я от себя. Ведь эти же самые слова: «Арктика остается Арктикой» он сказал сорок три года назад в своей лекции перед началом навигации.

15

Навигация сорокового — последняя предвоенная, в чистом виде рабочая навигация без каких-либо побочных и престижных целей, вроде прошлогоднего сквозного рейса в оба конца. Только проводки судов, грузовые операции, снабжение полярных станций — по плану, по графику, с учетом коммерческих показателей, какие прежде ледоколам не вменялись. В штатном расписании флагмана возникла бухгалтерская должность, которую заняла гренадерского роста, мощная во всех объемах дама, прибывшая из Москвы и прибавившая кораблю своим весом несколько сантиметров дополнительной осадки, как утверждали злые языки.

Среди первых принятых под проводку транспортов снова подвернулся нам оправившийся после беломорских бед «Сакко». Теперь уже более, чем старый знакомый, почти родственник, понимающий флагмана, своего спасителя, с полуслова, то есть с полугудка.

Кстати, о гудках. С давних времен, с поры, когда парус сменился паром, сигнал, поданный с помощью гудка, металлического цилиндра с клапаном и прорезями, установленного на судовой трубе, стал основным средством связи между кораблями, идущими в караване, по соседству, встречающимися или расстающимися в море. Это сейчас, когда на ходовых мостиках стоят радиотелефоны, и капитан, вахтенный штурман могут в любую минуту связаться со своими коллегами на другом корабле, переговорить с ними, надобность в гудках практически отпала. Но их все равно ставят даже на сверхсовременных судах, правда, не паровые, электрические, ставят по старой привычке, по традиции, да и для верности, на всякий случай — мало ли, вдруг телефон в трудную минуту откажет, нажал кнопку и послал в небо нужный сигнал басом, тенором, фальцетом или какой иной тональности. А тон, звучание у гудков неповторимы, должны быть неповторимы. Каждый пароход гудел по-своему. На судостроительных заводах ценились особые гудочные мастера, которых можно сравнить со скрипичными или колокольных дел мастерами — настолько

тонкая специальность изготовить гудок со своим голосом. Он, звук, его колебания, его регистр зависят от многих особенностей цилиндра — от структуры металла, от формы клапана, от типа прорезей, от их расположения и т. д. На хорошем гудке можете сыграть, как на духовом инструменте. Не разглядывая в бинокль названия на борту встречного корабля, бывалый капитан узнаёт его по звуку, по тональности, по вибрации пущенного гудком сигнала. Белоусов, прежде чем вести корабли, собирал у себя в каюте капитанов и, среди прочего, просил: «Погудите разок каждый по очереди!» И Михаилу Прокофьевичу с его абсолютным музыкальным слухом этого «разка» было достаточно, чтобы безошибочно различать потом голоса ведомых, где бы они ни находились, как бы ни менялись местами. А у «Сакко» — редчайший случай! — гудок оказался совершенно одинаковый с флагманским — такой же густой-густой, рокочущий на все море бас. Видимо, на Балтийском заводе, где строились лесовоз «Сакко» и наш ледокол, мастер по гудкам сработал их по забывчивости на одну колодку, голос в голос во всех тонкостях. В связи с этим возникали трудности в плавании в тумане. Забасит флагман: «Вправо за мной!» — один короткий звук — ему отвечают, репетуют все суда в караване, в том числе и «Сакко», а капитаны считают, что Белоусов снова почему-то сигналит, запрашивают его, он повторяет, ему среди других вторит «Сакко», и опять сбиты с толку капитаны: кто гудит? Белоусов, которому поначалу голос лесовоза тоже казался точным эхом флагмана, стал все-таки различать какие-то тончайшие в нем нюансы, а капитаны так и продолжали путаться в голосах в течение всего совместного плавания. Позже, на капитальном ремонте в Америке, ледоколу сменили гудок, новый фистулой свистел, тоненько так, несолидно для флагмана, а еще позже он, постарев, перестал быть флагманом и передал свои полномочия атомному ледоколу. Потом, совсем состарившись, одряхлев, угодил, как и «Ермак», как «Литке», на слом, в переплавку, а американскую «фистулу» переставили на портовый буксир.

16

В навигацию сорокового года нам выпала необычная ледовая проводка, хотя, в общем-то, всякая операция во льду необычна, одинаковых не бывает. Но эта была уникальная не столько по внешним условиям, сколько по характеру ведомого нами корабля. Мы вели подводную лодку! Современному читателю, наверно, в удивление, что я ее поход причисляю к уникальным, ставлю

восклицательный знак. Нынешним атомным плаванье в высоких широтах не в новинку, они и на Северном полюсе всплывали. А для того, чтобы это когда-нибудь свершилось, скажу я, и понадобилось подводной лодке «Щ-423», «щуке», решиться 40 лет назад на небывалый, полный неизведанных для такого класса кораблей опасностей рейс — из Кольского залива в Тихий океан: 7277 миль, из них 681 в полярных льдах! Да, имею право повторить свой «восклик», хотя и не любитель этого знака препинания, как не любил его и дядя Костя Высоковский.

Лодку перед походом переодели, накинув на нее «шубу», деревянно-металлическую обшивку, бронзовые винты сменили стальными, волнорезы — щитами, «латами». Снизились, правда, боевые качества: «шуба» закрыла выход торпедам, но стрелять вроде бы пока не собирались… В остальном «щучка», которую эскортировали «киты» — ледоколы, как бы передавая ее из рук в руки, из моря в море, показала себя со всех сторон молодчиной. На чистой воде не боялась девятибалльных штормов и такие же баллы стерпела и ото льдов. Они вынудили ее и накрениться и сдифферентировать резко на нос под угрозой оверкиля — опрокидывдния кверху дном. Останавливали, преграждали путь, а преградить окончательно не сумели, как удалось это льдам проделать с «Анатолием Серовым», судном куда мощнее и массивнее подводной лодки, транспортом-снабженцем (он вез воду, топливо, продукты для экспедиции), потерявшим в торосах вместе с винтом способность самостоятельно двигаться. И грузы со «снабженца» пришлось переваливать на другой транспорт. А лодка все шла и шла на восток, на восток…

Пока мы вели, сопровождали «щуку» на вверенном нам участке с наибольшей, как говорят гидрологи, ледовитостью моря, — от острова Тыртова через пролив Вилькицкого, — Белоусов не оставлял мостика. Рядом так же несменяемо находился капитан 1-го ранга, наблюдатель от командования. И я могу выполнить данное на предыдущих страницах обещание рассказать чуть подробнее об Евгении Евгеньевиче Шведе, в котором, если помните, угадывался по каким-то неуловимым признакам воспитанник Морского кадетского корпуса, как и в писателе-марините Сергее Колбасьеве. Присовокуплю еще и третьего их однокашника — Николая Александровича Еремеева, уже во второй раз шедшего на флагмане начальником штаба ледовых операций в западном секторе Арктики. Шведе с Еремеевым встретились на ледоколе, кажется, впервые через тридцать лет после окончания корпуса. И все мы любовались двумя 50-летними моряками, сохранившими в каждом своем движении элегантную подтянутость гардемаринов.

Еще одно, не уверен, что последнее, авторское отступление от нити повествования. На этот раз не забегаю вперед, в будущие события, а отступаю на три шага, на три года назад.

22 июня 1937-го.

Поздний вечер в Ленинградском порту.

Нет, я не собираюсь в море, у меня перерыв в плаваниях, я продолжаю работать в редакции. Стоим втроем в толпе встречающих на празднично освещенном причале: мы с Мотей Фроловым и высокая пожилая женщина (пожилая в тогдашнем моем представлении, она была лет на 18 моложе меня теперешнего). На нас с завистью, отнюдь не белой, глядят в связи с присутствием этой нашей спутницы конкуренты из других газет. А мы с Матвеем ликуем: у нас переводчица, только у нас! Уже видны огни приближающегося теплохода с детьми из республиканской Испании на борту. Мы в редакции узнали о предстоящем их прибытии за три дня и все это время потратили на лихорадочный поиск переводчика с испанского. Лихорадочный потому, что таких в Ленинграде почти не осталось. Большинство находилось в «спецкомандировке», как тогда называли добровольческую поездку на Пиренеи. Отправлялись не только сносно знающие язык, а и срочно, за две недели, за месяц, обученные, как один из моих приятелей. Кое-кто уже вернулся, но всех их разобрали организации посолиднее «Искорок». Мы были в отчаянии, завербовать никого не удалось, и от отчаяния бросились к словарям, к учебникам. К нашей удаче, только что вышел русско-испанский разговорник, составленный О. К. Васильевой, доцентом ЛГУ, как значилось на обложке. Мы достали эту книжицу и заучивали оттуда подходящие фразочки. Вдруг Матвея осенило, он сказал: «А если найти эту Васильеву?» — «Очень мы ей нужны, — сказал я. — Так и ждет нас, давно уж кем-то перехвачена». — «А я все-таки съезжу в университет», — сказал Мотя. И вернулся в редакцию с Ольгой Константиновной Васильевой. Не знаю уж, чем взял он, как уговорил человека то читающего лекции, то заседающего на кафедре, то ведущего семинар, то вычитывающего гранки нового учебника, то… словом, предельно занятого? Как убедил пойти еще и в переводчики к двум юным репортеришкам из пионерской газеты? Похоже, ее просто ошеломил Мотькин нахальный напор. Приехав же в редакцию, отдышавшись в кабинете у Данилова, она стала решительно отказываться, ссылаясь, естественно, на чрезмерную занятость. Затея Фролова катилась под откос. Спас Коля Данилов, выбросив последнюю карту в уговорах. Он

произнес, употребив все свое обаяние плюс дипломатию: «Мы обеспечим вам, товарищ Васильева, годовую подписку на «Ленинские искры». И товарищ Васильева дрогнула. Она сказала, пряча улыбку: «Тут я пас. Моя дочь — студентка пятого курса, мой муж… — она не назвала профессию мужа, — все мы давно мечтали об этом. Перед таким соблазном не могу устоять. Согласна. Но с условием. Час, полтора, не больше — для самого необходимого перевода». — «О, — вскричали мы, — конечно же только один час!» И вот стоим на причале с собственным толмачом, ликуем, но и страшно волнуемся: дело к полночи, пароход еще не ошвартовался, а газета выходит утром, и мы должны поспеть с материалом на две оставленные для него полосы. Мысль дать в этом номере лишь короткую информацию, а подробности в следующем была нами же с Мотей отвергнута как позорная для оперативных газетчиков.

Когда французский лайнер. «Сантай» подошел вплотную к пристани так, что можно было спустить трапы, у нас на все про все — на интервью, на возвращение в редакцию, диктовку машинисткам прямо с блокнотов, сдачу в секретариат — оставалось каких-нибудь два часа: в типографии ждали специально дежурившие линотописты, верстальщики, печатники. По трапу сошла группа молодых мужчин в национальных черных беретах, с плоскими чемоданчиками, которые теперь называются «дипломатами». Мы хотели взять у этих испанцев интервью, думая, что они руководители рейса, но, приблизившись, увидев их нашенские рязанские, вологодские, саратовские лица, поняли, что, хотя с ними можно говорить без переводчика, интервьюировать не следует, нельзя ни расспрашивать, ни разузнавать их имена — время для этого придет лишь через много лет… А больше с теплохода никто не сошел и никого наверх не пустили до утра. И мы с Мотей побежали вдоль борта, и за нами засеменила Ольга Константиновна, брать интервью у маленьких испанцев, а их было 1498, и все они, несмотря на поздний час, заполонили нижнюю и верхнюю палубы, корму и нос, свешивались через релинги, раскачивались на вантах, держались на шлюпбалках, облепили мачты до клотиков; ребячьи головы высовывались изо всех иллюминаторов, причем в одном иллюминаторе ухитрялось уместиться по пять-шесть черноволосых головенок. И вся эта публика кричала, пела, хохотала, свистела в дудки, размахивала флажками, бросала газеты, листовки, раскидывала цветы, кого-то звала, кому-то отвечала. Стояли такой ор, такой гвалт, такой ералаш, что оба мы растерялись в иноязычном многоголосье, и что бы делали, если б растерялась еще и наша переводчица? А она со своим свободным

владением испанским, знанием обычаев моментально вписалась в этот шум, стала его активной частицей, была испанкой среди испанцев. Далекая от журналистики, Ольга Константиновна тем не менее безошибочно угадывала надобное нам. Вот увидела девочку, взметнувшую кулачки над головой и уже слабым, хриплым голосом кричащую: «Вива Руссиа!», что-то сказала ей, та ответила, и мы тут же получили перевод: «Я сказала девочке, что она, наверно, устала кричать, пусть отдохнет, а девочка сказала: «Нет, не устала, я хочу кричать. Я буду кричать, пока не победим фашистов. Вива, Руссиа!» Ее зовут Харистина Маринэ, запишите, она из Бильбао. И еще записывайте — про мальчика рядом с ней. Он тоже сказал: «Мы не устали, мы сильные, нас даже море не смогло укачать». Он из города Гилуенца, не переспрашивайте, я потом вам все уточню. Этот мальчик прибыл с двумя младшими братишками, а его два старших брата вместе с отцом и матерью сражаются на фронте в одном батальоне, вы поняли? Пошли дальше…» Так мы двигались вдоль борта, заполняя блокноты, а Мотя успевал и фотографировать в свете прожекторов. Надо было ехать в редакцию, мы хотели по дороге завезти нашу спутницу домой, но она сказала: «Это не по пути, я с вами…» И пробыла в редакции, помогая нам, до сдачи материала в набор. Газета вышла в 6 утра, как и полагалось по графику.

«Сантай» простоял в порту меньше суток, пока его пассажиров развозили по местам отдыха: в нескольких ленинградских школах были оборудованы общежития-спальни, столовые, пункты медицинского осмотра, который проходили все прибывшие дети. Больных оставляли для лечения, остальным предстояло через два дня разъехаться по стране, в санатории и лагеря… Это время мы продолжали работать втроем. Ольга Константиновна не покинула нас, по самоличной доброй воле и к нашей, понятно, радости растягивая обещанные Данилову «час-полтора». Уехав домой после встречи теплохода и ночного бдения в редакции где-то уже к утру, она утром же вернулась в редакцию, чтобы отправиться с нами в порт с пачками свежих «Искорок». Мы стояли возле трапа, раздавая газеты ребятам, спускавшимся к автобусам.. Ольга Константиновна переводили желающим заголовки, подписи к снимкам. На одном из них все узнавали мальчика, державшего плакат «No Pasarán», стали искать его, выкрикивая имя, он оказался уже в автобусе, мы пошли к нему вручить газету, и, пока ее передавали, машина тронулась, увозя и нас с испанцами. И Ольга Константиновна из редакционной переводчицы превратилась во всеобщую, всем нужную, что только способствовало нам в деле, поскольку расширяло наши возможности, позволяя наблюдать жизнь гостей изнутри.

Результат наблюдений — шесть газетных полос с корреспонденциями, заметками, интервью, информацией, которые немыслимо было бы подготовить без Ольги Константиновны. Она так увлеклась, что выглядела заправским репортером, с азартом выискивающим: сенсации. «Послушайте, — говорила, — Чарита в Ленинграде! Не знаете, кто это? Девочка, о которой писал Кольцов в «Правде», разве не читали? Она бежала из занятого франкистами Овиедо через фронт к республиканцам…» И мы поехали по школам на розыск Чариты. Долго не находили. Она гостила, как выяснилось, в частном доме, куда ни попасть, ни позвонить нельзя было. И все-таки мы вышли на нее благодаря предприимчивости Ольги Константиновны. Она привезла нас на вокзал за пять минут до отхода поезда, увозившего девочку в Москву раньше других. И мы успели записать ее рассказ о побеге через горы, который она договаривала, стоя уже на подножке вагона. Из-за спины Чариты выглядывал русский мальчик, ставший через несколько лет ее мужем…

Как видите, темп в работе задавался не нами, а переводчицей. Она сжалилась в конце концов, сказала: «Мальчики, бы устали, вы голодны, я тоже проголодалась, приглашаю домой, пообедаем». Сочли себя уговоренными… Квартира — в старинном доме в «морском» квартале города, на Красной улице, бывшей Галерной, рядом Адмиралтейство, неподалеку Ново-Адмиралтейский канал, Адмиралтейский проспект, набережные Адмиралтейская и Красного флота, мост лейтенанта Шмидта. И сама квартира — небольшой военно-морской музей. В передней, в гостиной, в столовой на стенах картины маринистов, портреты адмиралов. В ту пору я уже начал собирать литературу о флоте, и мне было любопытно угадывать, кто же тут изображен. Ушаков, Нахимов, Завойко, Литке, Бутаков, Макаров, есть и незнакомые. Между адмиралами — молодой офицер, лейтенант. Кто это? Накрывавшая на стол Ольга Константиновна перехватила мой взгляд, сказала: «Отец мужа…» Но имени ни того, ни другого не назвала. А я не решился спросить, дабы не показаться навязчивым. Напарник же мой вообще был чужд этой тематики, адмиралы его не волновали, лейтенанты тем более. К тому же появился объект, приковавший внимание Матвея: вернулась с занятий в институте дочь Ольги Константиновны. И таким образом зоны наших с ним интересов резко разграничились. Я углубился в рассматривание экспонатов «музея». А тут было что разглядывать. Чего стоил один только альбом «Русскій военный флотъ. Иллюстрированная исторія со временъ Петра Великаго до настоящаго времени. 1689—1905».

Название привожу не по памяти, я уточнил его нынче в Ленинке. Книга из редких. Открывается фотографией «собственноручной записки Государя Петра Великаго о находкѢ ботика и первыхъ плаваніяхъ Его Величества». И далее — 250 гравюр, рисунков, снимков: знаменитые морские баталии, дальние походы, прославленные корабли. Некоторые из них стоят тут же в комнате, и я могу сравнивать рисованные изображения с объемными, с моделями из дерева и металла. «Подарены нашим другом капитаном 1-го ранга Юрьевым, — сказала хозяйка. — Это лучший в Ленинграде, если не в стране, корабельный моделист. Вот броненосец «Орел». Полюбуйтесь, как филигранно, с каким соблюдением всех пропорций, с какой детализацией, вплоть до точного числа заклепок, сделана эта модель… На «Орле» в Цусимском бою погиб дядя моего мужа, брат его отца; кавторанги Константин Леопольдович и Евгений Леопольдович были сыновьями питерского корабела, построившего немало судов на Охте». Назвала имена-отчества, а фамилия по-прежнему не прозвучала, возможно, из каких-то соображений, а может, случайно. Но я так и не узнал тогда, в чьей квартире мы побывали. Читатель-то, поди, давно догадался. И поэтому можно возвратиться на ледокол, ходовой мостик которого, пока мы вели подводную лодку, не покидал вместе с Белоусовым капитан 1-го ранга Евгений Евгеньевич Шведе.

18

Мы шли Карским морем, оставив позади и несколько в стороне от курса остров Вилькицкого с бухтой Шведе. Вот краткие сведения об ее открывателе из справочника «Известные русские мореплаватели»:

> «Шведе Евгений Леопольдович (1859—1893), исследователь Карского моря. Летом 1893 г., командуя военным колесным пароходом «Лейтенант Малыгин», входившим в состав правительственной Енисейской экспедиции, перешел из Думбартона (Шотландия) в устье Енисея и поднялся вверх по реке до Енисейска. Исследуя часть Карского моря к востоку от выхода из пролива Малыгина, открыл к северу от п-ва Явай бухту, образующую южное побережье о. Вилькицкого. Во время плавания тяжело заболел и, возвращаясь зимой сухим путем из Енисейска в Петербург, умер в дороге».

А дома не дождется отца трехлетний Женя, которому

предстоит долгая жизнь моряка и ученого. Проследим ее пунктирно:

занятия, как мы уже знаем, в Морском кадетском корпусе на Васильевском острове;

первые плавания корабельным гардемарином в Финском заливе, на Балтике, в шхерах на парусно-паровом корвете «Воин», на номерном миноносце, которым командовал старший лейтенант Георгий Брусилов, будущий полярный исследователь, в безвестии пропавший во льдах на шхуне «Святая Анна» при попытке пройти северным путем из Атлантики в Тихий океан;

производство в офицеры, в мичманы, окончание вслед за корпусом специальных штурманских классов, где среди преподавателей был Юлий Михайлович Шокальский, генерал-лейтенант флота, классик русской океанографии, так впоследствии написавший своему воспитаннику:

> «Многих в течение жизни имел я помощников и многими был доволен. Себя сужу и обдумываю всегда и со всех сторон, и их судил так же. И вот по совести скажу, что Вы принадлежите к лучшим из них. Благовоспитанность и такт, почти всегда связанные друг с другом, есть только внешняя оболочка человека, добросовестность, понимание долга и искренняя любовь к делу — есть внутренность его. И все это у Вас есть, как и необходимое нравственное чувство. При этих задатках можно в будущем много сделать…»;

дальний поход на крейсере «Россия» из Балтийского в Средиземное море, через туманы Английского канала, через штормовую Бискайю, с заходами на Мадейру, в Алжир, в Тулон и обратный переход в Кронштадт — лучшая практика для начинающего штурмана;

зачисление в экипаж строящегося линкора «Севастополь», вышедшего в море с началом мировой войны на постановку минных заграждений, на которых подорвутся семь немецких миноносцев, и в связи с этим первая боевая награда младшему штурману лейтенанту Шведе — орден Анны 4-й степени;

участие уже старшим штурманом дредноута «Громобой» в беспримерном по тому времени 300-мильном прорыве кораблей Красного Балтийского флота сквозь льды из Гельсингфорса в Кронштадт;

гражданская война: группа специалистов из штаба морских сил республики, в их числе Шведе, выполняя задание главкома Фрунзе, разрабатывает и проводит операции по переброске армии с Крымского побережья на Северный Кавказ через покрытый

льдом Керченский пролив;

первые приобщения к научной деятельности, связанные с тем, что болезнь легких вынудила заменить регулярную корабельную службу преподаванием в Военно-морской академии, адъюнктуру которой окончил, работой на кафедре географии, заменить не полностью, так как он с кораблями не расставался, каждый год отправляясь летом со своими слушателями в плавания на Балтике, на Черном море, на Каспии и однажды участвуя в зимнем походе вокруг Европы линкора «Парижская коммуна» и крейсера «Профинтерн» главным штурманом отряда, как знаток маршрута;

публикация монографий, учебных пособий, множества статей и, главное, выпуск ежегодников с оперативной и точной информацией о флотах мира, серии книг, ставших популярными среди моряков как «справочники Шведе» (были они и у меня, видел я их и в гостях у Ольги Константиновны на книжной полке, не ведая, что автор — хозяин этой квартиры);

все возрастающий интерес к географии северных морей, где плавал когда-то его отец, куда ушел на «Святой Анне» и откуда не вернулся его командир Брусилов, интерес и научный — собрана большая коллекция книг, документов о Ледовитом океане, об Арктике, — и практический, приведший Шведе к исследованиям Баренцева моря на гидрографических судах, к походу на эсминце «Стремительном» в море Белое и, наконец, к участию в проводке «щуки» из Полярного во Владивосток северным путем;

в Великую Отечественную: эвакуация академии, рекогносцировка речных канонерских лодок на Волге, в нижнем ее течении, в районе Сталинграда, организация обороны астраханских рейдов, картографическое обеспечение боевых операций на Черном море, на Балтике, под конец войны командировка с этой целью в Румынию и Болгарию;

после войны: руководство кафедрой в академии, работа в президиуме Географического общества, в редколлегии Морского атласа мира, уникального издания, вобравшего 1506 карт, 239 графиков, и все это проверено и завизировано профессором Шведе трижды — в авторском, редакционном и типографском вариантах;

смерть в звании контр-адмирала.

…За проливом Вилькицкого, в море Лаптевых Евгений Евгеньевич Шведе перешел на подводную лодку и весь остальной путь проделал на ее борту.

Тут мне хотелось прервать на время главу о ледовых плаваниях, о Белоусове и, не откладывая, приступить к рассказу о подводниках, с которыми судьба снова свела меня уже в войну, и

не на несколько дней, как в навигацию 1940 года, а надолго. И повествование об этом должно занять отдельную, самостоятельную главу, которую мне по раскладке материала удобнее, сподручнее начать, не завершив предыдущей. На каковой зигзаг и испрашиваю читательского разрешения, обещая выпрямить, восстановить затем хронологию и больше не нарушать ее до конца книги.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Мне легко и трудно писать о Щедрине.

На оригинальности этого утверждения не настаиваю. Но в самом деле, легко и трудно.

Легко потому, что давно знаю его, с середины примерно войны, когда мы служили в бригаде подводных лодок Северного флота, он — командиром гвардейской Краснознаменной «С-56», я — редактором газеты «Боевой курс». Григорий Иванович регулярно сотрудничал в многотиражке. Охотно писали, следуя примеру командира, и другие моряки с лодки. Когда затирало с материалами, наш единственный штатный корреспондент, длинноногий краснофлотец Миша Дешин, который, подобно Хиле Брискеру, репортеру из Ленинграда, — помните? — был «стилически не очень», а «достать» мастак, шел на береговую базу, в кубрик «С-56» и мигом возвращался с крупным уловом. Сам Щедрин писал так, что его совершенно не требовалось править, и таким аккуратнейшим, буквочка к буквочке, девичьим почерком, что мы отправляли рукопись в набор, не перепечатывая на машинке. Не смею утверждать, что пристрастие к письменному изложению мыслей началось у Григория Ивановича именно с сотрудничания в «Боевом курсе». Но, как бывшему редактору, мне приятно думать, что человек, написавший и выпустивший несколько книг, в том числе превосходные воспоминания «На борту «С-56», был когда-то активным корреспондентом нашей газеты. Кстати сказать, сейчас вице-адмирал Щедрин — член Союза журналистов.

Значит, мне легко, с одной стороны, писать о Григории Ивановиче: давно с ним знаком, и есть его книги о подводной войне на Севере. А почему же трудно? Да по тем же причинам: много знаю о Щедрине и есть его книги. Не так-то просто отобрать главное из того, что в обилии хранит память. И не хочется плыть, как говорят на флоте, в мятой воде.

И все же, раз взялся, не стану мудрить: мне не избежать ни личных воспоминаний, ни рассказанного Щедриным в его мемуарах.

В книгах — война. Биографии — чуть-чуть, вскользь, по самой лишь необходимости. А мне она очень даже необходима… Кажется, я записывал ее когда-то со слов Григория Ивановича. Но у меня сохранилось только два-три блокнота военного времени.

Не надеясь на успех, так, для очистки совести, начал я их перелистывать. И сразу обнаружил нужную запись, сделанную в ноябре 1944 года в связи с присвоением Щедрину звания Героя Советского Союза.

Вот это интервью:

«Сколько себя помню, столько в памяти — море. Родился на самом его берегу, в Туапсе. Жили мы в пригородном поселке Небуг. Там — рыбаков! Отец не рыбачил, учился на винодела. Но в первую мировую контузило, и он потерял обоняние. А какой винодел без дегустации? Пришлось — в садоводы.

Дед по матери — казак, другой — иногородний, откуда-то из-под Курска, скиталец, бурлак. Среди близких родичей был только один морячок, двоюродный брат Костя, служивший на десантной канонерской лодке «Красный Аджаристан». Ужасно я ему завидовал!

Мальчишкой я рисовал парусники. На чем попало. Бумага кончалась, так я углем на белых морских камешках. Запустишь такого плоского голыша по воде, и летит мой парус по морю далеко-далеко. Ребята называли меня «матрогон», почти матрос. В тринадцать лет я уже был юнгой на шхуне. Семья у нас большая, шестеро ребят, я старший, после третьего класса пошел работать. Нет, начал не с юнги, попал на лесозаготовки. Рослый был не по возрасту, крепкий. Лес валили и оттаскивали к морю, на баркасы, с баркасов перегружали на шхуны. Грузили раз на «Диоскурию». И шкипер взял меня вместо заболевшего юнги. На один рейс взял. Но юнга не вернулся, и меня зачислили в команду.

Диоскурия, звезда такая… Мне казалось, что корабль с этим удивительным, загадочным именем должен ходить по океанам, пересекать экватор, огибать материки. Наша же «Диоскурия» принадлежала тресту «Крымгостоп» и возила дрова, 170 кубов в рейс, с Кавказского побережья на Крымское. По документам числилась парусно-моторной шхуной. Но мотор стоял такой древний, что на него и дышать-то было страшно, не то что заводить. И была «Диоскурия» просто-напросто деревянным ботом, дубком, каких плавало тогда на Черном море неисчислимое множество.

Шкипера нашего звали Иван Захарыч. Я и сейчас вижу его сухое, дубленое лицо, огромный пористый, как пемза, нос и дожелта прокуренные моржовые усы. Он

принадлежал к тем знаменитым черноморским шкиперам, которые, не ведая грамоты и не признавая никаких карт и компа́сов, ходили на своих утлых дубках в любую погоду и в любых направлениях. А определялись они по каким-то лишь им известным приметам. Заплывет такой шкипер в Средиземное море, выйдет на мостик, посмотрит на бережок, на небо, покрутит усами и скажет:

— Це Крит! Правь дальше…

Вот у такого шкипера я и проходил начальную школу мореплавания. Учил дядько́ Иван Захарыч самым нехитрым способом. Только, бывало, приберешься на камбузе, — а это было сперва моей главной обязанностью, — как уже слышишь его хриплый бас:

— Малы́й! Ставь трисель.

Лезешь на мачту, ставишь косой парус, а дядько снова кричит:

— Малы́й! Давай на руль! Я спать пойду. Как посвежеет, буди…

Так и учил. Отдыхом не баловал, на похвалу был скуп. Я, правда, пользовался у него особым расположением, так как был самым грамотным человеком на боте и мог лучше других вести вахтенный журнал. Вахтенные журналы в ту пору начали только вводить на черноморских дубках. Шкиперы, не знавшие грамоты, вроде нашего Ивана Захарыча, страшно невзлюбили эти толстые книги, к которым они не знали, как и подступиться.

На одном из дубков был юнга вроде меня, звали его Пашкой. Шкипер отдал ему полученный в конторе журнал и сказал:

— Пиши, малы́й, все пиши!

И Пашка-летописец усердно писал. Слюнявя чернильный карандаш, выводил каракули. Записи были примерно такого содержания:

«Дядько́ приплелся в дымину пьяный… Подняли якорь, плывем в Керчь. Дядько́ заснул у руля и свалился. Правит матрос Харитон… Идем, куды ветер дует… Дядько́ спит… Сели на мель, ждем полной воды… Дядько́ проснулся, матюкается на чем свет стоит, меня оттаскал за уши, матросу Харитону съездил по скулам… С мели снялись, плывем далее…»

В общем, карандаш скрипел, дело шло, и шкипер был доволен. Понес как-то вахтенный журнал капитану

порта, думал похвалиться. Вот, мол, какие мы, осилили сию премудрость! Что произошло в конторе, неизвестно, но вернулся шкипер с берега совершенно тверезый и мрачный. Бедному Пашке была учинена изрядная потасовка…

На «Диоскурии» я плавал с год и столько же на «Иванове», трехмачтовой шхуне. В честь какого из сотен тысяч Ивановых назвали ее, никто не знал. Суденышко было довольно ходкое, но моя мечта о дальних плаваниях все еще не сбывалась: по-прежнему возили дрова в Керчь. Осенью грузились в Сухуми мандаринами — в Новороссийск, в Одессу. В Одессе меня чуть не сняла с рейса комиссия из райкомвода. «Трех классов, говорят, мало, надо учиться». Разрешили вернуться на шхуне в Туапсе и больше в море не выпустили. Я хотя, пока плавал, не учился, но читал много, и меня приняли сразу в пятый класс. Ходил сначала в дневную школу, потом перевелся в вечернюю. Днем матросил на «Борее», пожарном буксире. Пожара ни разу не тушили, всё баржи с песком таскали: порт строился. С «Борея» я попал на танкер «Грознефть», и это было мое первое дальнее плавание — вокруг Европы, в Гамбург. Туда шел матросом второго класса, обратно рулевым. Но на этом моя морская карьера чуть было не завершилась.

Я был в порту секретарем комсомольской ячейки плавсостава. И в ячейку пришла разверстка в школу летчиков. Желающих было не богато: ребята плавали, собирались на всю жизнь стать моряками. Пришлось мне, как секретарю, подавать пример. Сказал себе: «Ну, попрощайся с морем, будешь глядеть на него с неба». Комиссию прошел мигом, был я здоровяк. Путевка — в Вольскую школу. Но, видно, судьба мне была все-таки в моряки. Я за четырнадцать дней схлопотал четырнадцать нарядов от командира отделения. Шагистику обожал человек, а я ее и сейчас-то не люблю, в юности — тем более. Так что пробыл в летчиках две недели, и самолета не увидел, отчислили. Союза с авиацией не получилось, зато дружба с морем укрепилась: поступил в Херсонскую мореходку.

В мореходке так: из одиннадцати месяцев учебного года пять с половиной — в море. А хочешь, и в каникулы плавай. Ходил я в Японию, в Индию, в африканские порты, об Европе и говорить нечего, всю облазил…

Повидал капитанов! На «Трансбалте» был у нас Зилов, старичок, каперанг царского флота, образованнейший навигатор, пробыть с ним вахту на мостике стоило десяти лекций по штурманскому делу, по астрономии. На «Декабристе» я плавал с Уксусом. Так моряки называли между собой Анатолия Клавдиевича Арсеньева, брата известного писателя-путешественника. Любимым его выражением было «Уксус тебя дери!». Человек был язвительный, мог с песочком продрать. Но — за дело, по справедливости. Виноват — получай от Уксуса по полной мере. Но и защитит, когда надо. За меня однажды горой встал, никогда не забуду.

Это случилось в Пириме, маленьком порту в Баб-эль-Мандебском проливе, на выходе из Красного моря. Наш «Декабрист» брал уголь с баржи. Полуголые арабы-грузчики таскали тяжелые корзины. У трапа на борту стоял англичанин-надсмотрщик. Во всем белом, в коротких штанишках, в пробковом шлеме, с витой плетью в руке. Я таких раньше видел только на карикатурах и вот впервые увидел в жизни. Я был вахтенным матросом на палубе. Надсмотрщик все время орал на грузчиков, то и дело взмахивал угрожающе плетью. Один из арабов оступился на трапе, и англичанин хлестнул его по спине. Я подбежал, крикнул по-английски: «Не смеете бить, сэр!» Он даже не взглянул на меня и тут же ударил другого грузчика. «Прекратите, сэр!» — снова крикнул я. Он полоснул третьего. И тогда я с полного размаха и от имени всего комсомола влепил сэру по физиономии. Крик, скандал… Меня — на комсомольскую ячейку. Ребята сочувствовали, но за «неэтичное поведение в заграничном порту» — выговор. И тут в каюту, где заседала ячейка, входит капитан. Ну, думаю, все, снимет стружку, потребует строгача, и — прощай загранвиза. А капитан говорит: «Правильно сделал, матрос, уксус тебя дери! Я бы тебе дал выговор только за то, что слабо ударил. Что такое наш пароход? Советская территория. И этот мерзавец-надсмотрщик находился на советской территории. А тут у нас свои законы, свои правила. И по нашим правилам ты ему правильно влепил. И я, как капитан, беру на себя всю ответственность, уксус тебя дери!»

Мореходку я закончил на десятку. Там была десятибалльная система, почти как у англичан — у них

100 баллов. Сдал на штурмана дальнего плавания, но самого диплома еще не полагалось. Надо его «выплавать». 18 месяцев в море — и тогда вручат диплом штурмана. Еще полтора года, и заслужишь капитана. Я «выплавал» капитанский диплом к 23 годам.

…Война застала меня в Гонконге. «Красный партизан», на котором я был дублером капитана, стоял в ремонте с разобранными котлами. Англичане не торопились выпускать нас в море. Дело затягивалось. А война уже шла. Мы вдвоем с товарищем получили разрешение вылететь в Чунцин, тогдашнюю столицу Китая, чтобы добираться оттуда на родину. Но там в посольстве ничем, кроме денег, помочь нам не могли. Мы решили достичь как-то Сингапура, куда часто заходят советские пароходы. И пустились в дальний путь по Южно-Бирманской дороге, захватывающей и северо-восток Индии, через Сиам и Малаккский полуостров. Дорога в две тысячи километров отняла у нас много недель. Кое-где подвозили попутные машины, в основном же способ передвижения был пеший. Нас принимали за англичан. Одеты мы были примерно так же, как тот надсмотрщик из Пирима, только без плеток. Где-то на Малаккском полуострове мы выбрались к реке и увидели стоявший у берега пароход. Это была «Арктика» из Владивостока, грузившая каучук с плантации. Привыкнув за долгую дорогу по чужим странам изъясняться по-английски, мы и к вахтенному матросу обратились машинально на этом языке. Но тут же заговорили на родном. Наше появление было таким неожиданным, что вахтенный так и не разобрался, кто мы такие, и не пустил на пароход. Хорошо, вышел из своей каюты капитан и узнал меня — мы с ним плавали вместе штурманами… Через две недели я и мой товарищ по скитанию были во Владивостоке».

2

Обнаружив старый блокнот с этой записью, я решил показать ее Щедрину. Позвонил Григорию Ивановичу.

— Заходи, — сказал он. — Я как раз ворошу свой архив.

Архив у него огромный, много лет собираемый. Документы, письма, дневники, газетные вырезки, фотографии — все, что связано с историей подводной войны на Севере. Если вас

интересует, например, судьба какого-либо подводника-североморца, обращайтесь к Щедрину. У него в архиве — списки всех экипажей подводных лодок, входивших в состав нашей Краснознаменной ордена Ушакова бригады, повторяю, всех экипажей — и тех, что не вернулись в базу, погибли…

— Взгляни-ка, — сказал Григорий Иванович. — Не было у меня портрета Мити Гусарова, раздобыл наконец-то, — и он протянул фотографию молодого офицера-моряка.

Дмитрий Гусаров командовал подводной лодкой «Л-16», которая, как и щедринская «С-56» и еще четыре, вышла осенью 1942 года в дальний переход с Тихоокеанского флота на Северный. К нам на бригаду она не пришла: в 820 милях к западу от Сан-Франциско «Л-16», шедшая в надводном положении, была атакована и потоплена неизвестной субмариной. То ли японской, принявшей ее за американскую, то ли американской, которая сочла ее японской.

Об этой трагедии в океане вы прочтете подробно в новой книге Щедрина, которую он сейчас пишет. Собственно, она уже написана много лет назад в самом походе, когда Григорий Иванович вел дневник. Вот передо мной эти тоненькие тетрадки в клеенчатой обложке, заполненные четким почерком каллиграфа без единой помарки, но со множеством водяных пятен: хозяин дневника писал, видимо, и на ходовом мостике, куда залетали брызги штормового моря… Книга будет названа «Дивизион пересекает океаны». Маршрут был такой: Владивосток — Де-Кастри — Петропавловск-Камчатский — Датч Харбор на Алеутских островах — Сан-Франциско — Коко-Соло в Панаме — Гуантанамо на Кубе — Галифакс в Канаде — Розайт (Англия) — Леврик на Шотландских островах — наше Полярное. 18 тысяч миль через Тихий и Атлантику, через Японское, Охотское, Берингово, Карибское, Саргассово, Гренландское, Северное, Норвежское и Баренцево моря… Страницу за страницей готовит Щедрин свой дневник к печати. Что это будет за книга, можно судить по короткому отрывку из прежней книги Щедрина «На борту «С-56», в которой дальнему переходу посвящена лишь одна глава:

> «…В Тихом океане лодки попали в крыло «большого ветра» — тайфуна, а в Саргассовом море — в центр свирепого урагана. Воды Алеутской гряды, Северной Атлантики и Скандинавии встретили бешеными бурями, а побережье, Коста-Рики зеркальными штилями. Плыли против холодного камчатского течения и горячим Гольфстримом. Южнее Козерога изнывали в

непривычной тропической жаре, а у айсбергов пролива Дэвиса дрожали от полярной стужи. Любовались стаями летучих рыб и гигантскими морскими черепахами у западного побережья Мексики, видели крокодилов в реке Чагрес, тюленей и касаток близ острова Медвежий. Мылись под душем теплых ливней Лимонного залива и теряли видимость в белой пелене пурги Гренландского моря. Еще в ноябре со штурманом определялись по альфе созвездия Южного Креста, а уже в декабре любовались непередаваемой красотой северных сияний…»

А вот запись из самого дневника:

«31 декабря. Атлантический океан.

Утро ознаменовалось не очень-то приятным приключением. И если бы это случилось не в последний день года, а в первый, то есть завтра, и если бы к тому же я верил в приметы, настроение могло у меня сильно испортиться.

В 07.30 шли примерно на параллели мыса Рейс, остров Ньюфаундленд. Произвели срочное погружение и удифферентовались для дальнейшего плавания под водой трехузловым ходом. Все это проделали быстро, за каких-нибудь 8—10 минут. Лодка легко и хорошо управлялась. Приказал дать отбой. А затем команда — «Пить чай!»

В кают-компании обсуждали за столом, как будем встречать Новый год.

Вдруг из центрального поста послышался шум включившейся главной помпы. Лодка приобрела значительный дифферент на корму.

Я поспешил в третий отсек. Беглый взгляд на приборы — теряем плавучесть. Дифферент увеличивается. Помпа полным ходом откачивает из уравнительной цистерны за борт, руль полностью на всплытие, а мы все погружаемся и погружаемся. Нельзя допустить покладки на грунт. Глубины здесь неопасные — 100 метров, не больше, — но отлеживаться на дне нам ни к чему. Это не входит в наши планы.

Принял командование от вахтенного офицера, приказал:

— Дать пузырь в среднюю!

— Скрежет по левому борту… По левому борту скрежет… — посыпались доклады из отсеков.

Но можно было и не докладывать. Всем ясно слышался этот металлический скрежет. «Мина заграждения… Нарвались на минреп…» — вот первая мысль.

— Стоп моторы!

Жду взрыва. Но все тихо. И сразу резкий толчок. Лодку застопорило, ниже она не идет. А крен на корму нарастает. Стук и скрежет в районе седьмого отсека. Что-то нас держит. Минреп? Не похоже. Но, может, висим и на минрепе, зацепившись кормовым горизонтальным рулем. Я обрел способность спокойно рассуждать. Представляю себе так: толчок был настолько резким, что мы бы уже давно подтянули к себе мину и ушли к рыбам на завтрак. Нет, не минреп. Убеждаюсь в этом, вслушиваясь в скрежет. Он носил бы другой характер, был бы гораздо слабее. У нас имелся такой опыт, когда мы форсировали минные поля на учениях. Лодка приобретала дифферент не более 2—3 градусов. А сейчас совсем не то. Мы все еще тремся о что-то кормой. И у этого «что-то» немалая площадь, большая держащая сила. Несмотря на солидную положительную плавучесть, лодка никак не может высвободиться. А о, том, что плавучесть положительная, говорит все увеличивающийся дифферент. Эхолот показывает то 30, то 14 метров, хотя на глубиномере одна и та же глубина. Так что же нас держит?

Почти уверен: затонувший корабль. Мы висим на его мачтах. Лодка, видно, попала кормой под рею. Потому и скрежет на палубе.

Обстановка, можно считать, определена. Нужно вырываться. Сложность маневра в том, что нельзя пользоваться машинами. Не дай бог, намотаешь чего на винты или вовсе сломаешь их. Продуть балласт? Но и это опасно: рея прижмется еще сильнее, порвет антенну.

Что делать? Как выбраться из-под утопленника? Мысленно я уже решил эту задачу. И предложил ее офицерам. А сам пошел пока с механиком проверять винты — чисты ли? Они оказались свободными. Начали искать причину внезапной потери плавучести. Нашли ее довольно быстро. Лодка провалилась из-за пропуска воды в цистерну быстрого погружения через неисправный кингстон. Привели лодку к прежней дифферентовке и сняли пузырь.

Тем временем старпом и штурман пришли к

сходному с моим решению задачи. И я порадовался, что у нас, так сказать, один стиль, полное единомыслие в вопросах управления кораблем. А как это важно! Конечно, я, как командир, могу приказать, и мой приказ будет исполнен. Но мне не нужны механические исполнители.

Что мы решили?

Примем немного воды в уравнительную цистерну, утяжелим лодку, а когда она начнет погружаться, высвобождаясь из плена, дадим ход наружной, правой, машиной. Выйдя же на чистую воду, облегчим корабль и всплывем на поверхность.

Так и сделали. Маневр удался. Никаких внешних признаков, кроме содранной в корме краски, наша встреча с затонувшим судном не оставила. Вновь погрузились, и теперь безо всяких приключений пошли под водой. Шли на глубине 20 метров, несли гидроакустическую вахту и время от времени подвсплывали, осматривая горизонт в перископ.

Бравый кок Василь Павлович готовит какой-то новогодний сюрприз в своей духовке. Я бы мог, пользуясь властью, раскрыть секрет, но не хочу портить нашему кормильцу настроения. Уж больно ревниво хранит он свою маленькую тайну от взоров любопытных. Особенно активных «Шерлок Холмсов» из пятого отсека пугнул чумичкой и разразился речью:

— Когда штаб разрабатывает секретную операцию, к дверям ставится часовой, обязанный стрелять во всех посторонних. Мне, готовящему в данный момент тайное блюдо, командование охраны не дало. Поэтому я сам себя охраняю. Каждый, кто без уважительной причины просунет бинокль через переборку, схлопочет по затылку вот этой нежной чумичкой.

Первым и, кажется, единственным пострадавшим был, как утверждают, старший матрос Николаевский, хотя сам он это отрицает…

В 17.00 всплыли. Волна и ветер усилились. Продули балласт, дали ход 12 узлов. Лодку бьет и заливает. Флагмана нашего не видно и не слышно. Счастливого ему плавания, счастливого Нового года! Того же и себе желаем».

— Между прочим, — сказал Григорий Иванович, когда я прочитал эту запись, — мы побывали в лапах еще у одного «утопленника». Но уже в боевом походе, на позиции. Ты не слыхал об этом случае?

— Не слышал.

— Мы только из атаки вышли. Сторожевика рубанули и транспортишко подранили. Может, и потопили, но не уверен, потому как сразу ушли на глубину, бомбы на нас посыпались. Бомбили не точно, думали, мы от берега мористей, на север пойдем. А я, наоборот, к бережку прижался. Выждал, пока отбомбятся, и — в открытое море. Акустик докладывает: горизонт чист. И сразу же из отсеков доклады: скрежет по левому борту. Ну точно, как возле Ньюфаундленда. Но там кормой терлись, а тут носом. И тоже резкий толчок, застопорило, а взрыва нет. Так что опять не минреп. Лодку снова что-то держит. Затонувший корабль, нет сомнения. Но по крену похоже, что попали не под рею, а между мачтой и вантами. Выползать будет сложней. Да там никто нас не преследовал. А сейчас погоня только закончилась и может возобновиться. Штурман сделал расчеты и говорит, что сидим мы как раз в той точке, где вчера потопили транспорт. Получается, что сегодня стали жертвой собственной жертвы… План такой же, как и прошлый раз: утяжелить лодку. Надо растрясти, раскачать ее. Даем воду из кормы в нос. Медленно-медленно сползаем вниз. Но вперед ни-ни. И включение мотора не помогает. Скрежет уже по обоим бортам. Рули неподвижны. Этот «утопленник» покрепче того, ньюфаундлендского, не пускает. «Средний назад!» — командую. Скрежет такой, что вот-вот треснет корпус. И в самом деле что-то трещит. Но за бортом. Треск переходит в грохот. Что-то рушится там, в воде. Мачта, наверно, свалилась. И мы высвободились из второго нашего плена…

Листаем дальше дневник. На какой-то из страничек Григорий Иванович задерживается, вчитывается.

— Гляди, — говорит, улыбаясь. — Забавный, по-моему, эпизод. Это там же, в Атлантике, на переходе из Канады в Шотландию.

> «5 января. Атлантический океан.
>
> …К утру ветер начал стихать, волна крупная. Лодку бьет меньше, хотя заливает по-прежнему. Барометр пишет ровную линию: давление 750 миллиметров. К полдню удалось определиться по солнцу, его меридиальная высота всего 7°4′. Снос к норду и назад по курсу. Ночью шли, оказывается, пятиузловым ходом

вместо расчетных десяти.

Ветер стих, но волна все еще крупная. Толчеи, правда, нет. Решил увеличить ход, чтобы понемногу нагонять опоздание, которое у нас появилось. На увеличенном ходу снова бьет и заливает, приходится терпеть. Ничего не поделаешь. К сумеркам уменьшил ход: пошла толчея на море. Да и соляр экономим — его немного остается.

Я вчера принял несколько раз холодную ванну, сегодня сильно знобит. Обстановка спокойная, и я большую часть дня провел в каюте.

На другом борту, как раз напротив моей двери, две копки.

Владелец нижней — мистер Шриро, английский офицер связи, сопровождающий нас от Галифакса до Розайта. Говорит по-русски почти без акцента, зовут его Владимир Яковлевич, родился во Владивостоке 27 лет назад, национальности неопределенной…

Как я уже сказал, мистер Шриро — на нижней койке. На верхней — Коля Дворов, молоденький лейтенант, зачисленный в экипаж перед самым переходом. Но он единственный из нас, успевший повоевать: в отряде курсантов военно-морского училища сражался под Москвой, был ранен.

Мистер Шриро и наш Коля не только соседи по койкам, но и товарищи по несчастью. Оба подвержены морской болезни и в качку становятся зелеными, как огурцы. Англичанин не встает со своей лежанки все пять суток этого года. Дворов покидает ее на часы вахты, но вахту он, как командир группы движения, несет реже других офицеров. Он со Шриро часто остаются вдвоем. Вот и сейчас лежат на койках, беседуют.

Дверь моей каюты закрыта, меня не видно, а до этого я так редко бывал в каюте днем, что о моем возможном присутствии забыто. И я становлюсь невольным свидетелем громкого разговора представителей двух миров: мистера и комсомольца.

Шриро что-то разоткровенничался и рассказывает некоторые подробности своей биографии, которые были мне неизвестны. То, что он родом из Владивостока, где его отец владел портовым холодильником и еще кое-каким крупным недвижимым имуществом, я знал. И то, что их семейка, войдя в конфликт с новой, Советской властью, бежала через плохо охранявшуюся тогда

границу в Китай, тоже не секрет для меня. В Шанхае предприимчивый Шриро-старший стал владельцем большой текстильной фабрики. Подросший сынок Володя отправился получать высшее образование в Париж, а затем в Лондон. Война помешала ему, только что защитившему диплом инженера-текстильщика, вернуться в Шанхай, чтобы помогать отцу в его делах на фабрике. Шриро-младший, как английский подданный, служит в королевском флоте, выполняя обязанности переводчика, офицера связи. Во время войны он женился на дочери меховщика-миллионера из Нью-Йорка. Живут они с молодой женой в Канаде, в Монреале.

Итак, война разлучила отца с сыном. Первый — в городе, захваченном японцами, второй — во флоте воюющей с Японией страны. Но сын, оказывается, полностью осведомлен о всех делах отца. Фабрика работает на оккупантов, приносит немалые доходы. И часть их отец пересылает сыну, как совладельцу. Я не совсем понял, как это делается, какими путями. Мне помешал Дворов, у которого вырвалось:

— Наглость!

И, естественно, Шриро умолк.

— Я знал, что капиталисты сволочи, — продолжал Николай. — Но не до такой же степени. Пересылать деньги из одной воюющей страны в другую, ей враждебную. Так нагло наживаться на людской крови!

Этот сын колхозника не был дипломатом, он рубил правду-матку, как мог. Шриро обиделся и стал объяснять, что все, о чем он рассказывал, не имеет никакого отношения к войне. Отец, мол, связывается с ним через нейтральную клиентуру. Но Дворов и не вслушивался в эти доводы. Он активно наступал на живого, впервые увиденного им в жизни капиталиста.

— Все капиталисты наживаются нечестным путем.

— Что вы говорите! — вскричал Шриро. — Мы с отцом никого не обманываем, мы честные люди.

— Да уж ваша честность! Последнюю шкуру сдираете с рабочих.

— Мы спасаем их от голодной смерти, предоставляя работу…

— Рабочий у вас, особенно китайский, целый день гнет спину и не может прокормить семью, а фабрикант живет припеваючи и богатеет за счет эксплуатации, — продолжался урок начальной политграмоты.

— Вы не учитываете, господин лейтенант, что предприниматель многим рискует. Он зависит от спроса на рынке и может за неделю оказаться банкротом…

— Аж до слез вас жалко, — съязвил Коля.

— Рабочему никто не препятствует самому выйти в предприниматели и разбогатеть… — сказал Шриро.

— Чушь! — воскликнул Дворов. — Несусветная чепуха! У рабочего столько же шансов стать капиталистом, сколько у меня святым…

— Это точно, вам далеко до святого, — съязвил на этот раз Шриро.

Разговор накалялся. Койки скрипели, и чувствовалось, что спорщики забыли о своей морской болезни. Кто-то из них то и дело вскакивал на пол и нервно ходил, ложился, снова вскакивал. Наверно, англичанин — его койка нижняя. Спор вступил примерно в ту же фазу, как у Шуры Балаганова с Паниковским из «Золотого теленка», когда те начинали потихоньку подталкивать друг друга и спрашивать: «А ты кто такой?»

К счастью, в отсек вошел механик Шаповалов и, быстро оценив обстановку, перевел разговор в другое русло. Этому способствовало и то обстоятельство, что радист принес очередную шифрограмму и Шриро извлек из-под койки свой таинственный сундук с шифром. Он сказал, что шифровальную машинку изобрел немец из Берлина и продал ее американцам… Затем перешли на погоду. В оценке Атлантического океана оба, и капиталист и комсомолец, сошлись: дрянь-океан, штормит… Но тут меня вызвали на мостик и я покинул каюту».

4

Пять подводных лодок — «азиатская эскадра», как называли себя тихоокеанцы, — поспели к нам в Полярное в самый, что называется, срок.

Бригада воевала уже полтора года, нанесла немало ощутимых ударов в базах и на коммуникациях противника, но и сама терпела потери, почти не получая пока пополнения. «Азиаты» с ходу, без передышки вошли в строй воюющих экипажей, а это был строй сильных, очень сильных, подравняться к которому, взять тот же шаг было не так-то легко.

Был Фисанович со своим экипажем, деликатный, в высшей степени интеллигентный Фис, как все мы его называли, образованнейший, музыкальный, тонкий ценитель литературы. Он и воевал-то красиво, если возможно такое сочетание слов, изящно воевал, в том смысле, что каждая его атака, математически рассчитанная, была филигранна в исполнении. И это не на офицерских играх в штабе соединения, а в штормующем море, в горячем, минуты протекающем бою. Фис и его лодка «М-172» удивительно гармонировали друг с другом, они даже внешне были схожи, маленький, худенький командир и легкая с тонкими обводами «Малютка». Их трудно было представить друг без друга. Когда под конец войны Фисановича перевели на другую лодку, его прежняя ушла в море и не вернулась, а ее бывший командир тоже остался навсегда в океане на своем новом корабле. Новый-то был для командира, для экипажа, а вообще-то лодка устарелого типа «Веди», из тех кораблей, что распределялись в счет репараций как трофеи между союзными странами. Нашей бригаде достался дивизион из четырех «Веди», который вышел к месту назначения из английского порта Розайт. Шли в разное время и разными маршрутами, согласованными с британским адмиралтейством, «В-1», которую вел Фисанович, исчезла при обстоятельствах, столь же подозрительных, как и гибель «Л-16» близ Сан-Франциско на пути из Владивостока. Разница лишь в том, что лодка Гусарова была явно атакована какой-то субмариной, — это видели, хотя и не установили принадлежность пирата, — а Фисанович с экипажем пропали без вести, и тайна эта до сих пор не раскрыта. Догадки без доказательств… Я стоял на пирсе, когда в Полярное одна за другой приходили «Веди». Очередность была по бортовым номерам. Но первой вместо «В-1» ошвартовалась «В-2», и ее командир еще с мостика спросил, увидев свободный причал: «А где Фис?» — и умолк, понимая, что такой пунктуальный, обязательный моряк, как Фисанович, не мог по своей воле нарушить утвержденного распорядка…

Был Лунин, другой характер, другой жизненный стиль, типичный морской волк со всеми качествами такого «волка». Смелый и хитрый. Однажды ночью он провел лодку в надводном положении в узкую бухту, где базировались корабли противника, и на запрос с берегового наблюдательного поста, кто следует, приказал отсемафорить длинным многосложным немецким ругательством, и пока там на берегу разбирали сигнале лодки, а разобрав, вполне им удовлетворились, Лунин успел выстрелить по причалам изо всех торпедных аппаратов и с носа и с кормы. Это он, Лунин, выходил в атаку на линкор «Тирпиц», также

прорвавшись в самую середину мощной вражеской эскадры.

Был Видяев, командир «щуки». Те, кто бывает сейчас в Полярном, видят Видяева, изваянного из камня, а я помню его живым. Неразговорчивый, хмуроватый, как и подобает северянину, он на войне оставался тем же тружеником моря, каким был, рыбача, до войны. В море Видяев уходил как-то неприметно, вот стояла его лодка у пирса, а вот уже нет ее, хотя до отхода не замечалось вроде никакого движения на палубе. Он и с моря приходил бы неслышно, если б не традиция, установившаяся на лодках бригады, — салютовать при возвращении в базу в знак каждого потопленного корабля. А Видяев редко возвращался без победы, и волей-неволей нужно было стрелять в небо из носовой пушки. «Ну зачем палить? — говорил осторожный Федор. — Ну, похоже, потопили фашиста, а может, он еще выплывет…»

Был Шуйский, остряк, шкатулка анекдотов, любитель дружеских розыгрышей. Общаясь с ним, слушая его, вы не могли подумать, что это человек трагической судьбы, несправедливо приговоренный незадолго до войны к расстрелу за тяжелую аварию корабля. Расстрел заменили после коллективного ходатайства подводников десятью годами заключения. Война застала осужденного в лагере на Севере. Друзья помнили о нем, понимали, что в боях он снимет с себя приговор, верил в это и командующий флотом и просил за Шуйского. И вот он снова в своей стихии, среди подводников, на корабле, еще осужденный, но уже расконвоированный, таким и ушел в поход. Первой его боевой наградой было снятие судимости, второй — возврат офицерского звания, третьей — назначение командиром лодки. А потом пошли ордена, и среди них орден Александра Невского, после которого приятели стали называть Костю «князь Шуйский-Невский». Воевал «князь» уверенно, спокойно, удача не изменяла ему, уходил — приходил, салютуя о победе, уходил — приходил, снова салютуя, и когда его лодка не откликнулась как-то на вызов, в штабе сочли это случайностью, убежденные, что с Шуйским ничего не может стрястись, но лодка не ответила на повторный вызов, не откликнулась и на третий…

Я назвал четырех подводных асов и могу продолжить список: Котельников, Гаджиев, Тамман, Хомяков, Августинович, Егоров, Каутский, Сушкин, Кучеренко, Щедрин… Ого, рука моя так разбежалась, что к числу ветеранов-североморцев приписала уже и новичков с Тихого океана — Сушкина, Кучеренко, Щедрина. Впрочем, описка невелика: «азиаты» не долго пробыли в новичках, а вернее сказать, вовсе ими не были. Они с ходу — в строй, с моря — в море. И по-ошли топить!

«Започи́нил» среди тихоокеанцев Сушкин, веселый человек, отчаянный бильярдист. Вернувшись с позиции, он доложил:

— Потопил дуплетом в лузу!

Принимавший рапорт простил Сушкину эту вольность: трудно было точнее определить проведенную им атаку. С одного залпа — два транспорта. Дуплет сложен и на бильярдном поле, но представляете, каков он в морском бою? Нужно терпеливо выждать, не открываясь врагу, чтобы два идущих в конвое судна сошлись в створе, слившись как бы в одну цель, и бить по этой цели. С одного удара — два! Случай? Везение? Сушкин дважды еще повторил такой удар. Потом подобные атаки вошли в «быт» наших командиров. «Дуплет Сушкина» стал обычным тактическим приемом подводной войны.

Педантичный, расчетливый Кучеренко зарекомендовал себя сразу как оптовик. Три результативные атаки в одном бою, и все три подтвержденные дополнительной разведкой. Это был рекорд, побитый вскоре самим же Кучеренко. Полярным днем, при ясном, беспощадно светящем солнце, встретив два немецких конвоя, он вышел в атаку, уклонился от преследования, снова атаковал и в результате этого довольно продолжительного рандеву с противником пустил на дно четыре транспорта. И это был боевой рекорд, никем уже, кажется, не превзойденный.

Так что «азиаты» били прицельно и кучно.

5

Щедрин в этом смысле не отставал.

В книге-дневнике командующего Северным флотом, нашего любимого командующего, ныне покойного адмирала Арсения Григорьевича Головко, в книге, которую он назвал с характерным для него сочетанием неподдельной скромности и высокого достоинства — «Вместе с флотом» и в которой даны точнейшие характеристики множеству моряков, воевавших под его командованием, о Щедрине сказано так:

> «…впрямь прирожденный подводник. А ведь… не так давно был моряком торгового флота… Быстро освоился с нашим трудным морским театром (сказалась практика в северных морях Тихого океана), хотя начал с неудачи. Выйдя в первый поход, «С-56» форсировала минное поле и намотала на винт часть минрепа, длиной около восьмидесяти метров. Пришлось возвращаться в базу. Несколькими часами позже Щедрин вторично вышел в

> море и на этот раз выполнил задание до конца: высадил, где положено, разведывательную группу, затем атаковал и потопил два транспорта, шедших в составе конвоя. Когда он докладывал подробности, я обратил внимание на его способность мгновенно ориентироваться в обстановке и принимать самое правильное, хотя и наиболее трудное, решение. Обнаруженный еще перед атакой, подвергшись нападению кораблей охранения, которые довольно точно сбросили глубинные бомбы, он не отступил, не воспользовался правом уйти в сторону, только бы избежать бомбовых ударов. Отнюдь нет. Едва фашистские сторожевики сбросили над лодкой первую серию глубинных бомб, Щедрин увел «С-56» не в сторону от конвоя, а к нему: сперва под вражеский транспорт, послуживший, для лодки защитой от глубинных бомб, затем по другую сторону его. Пока корабли противника сбрасывали бомбы над тем местом, где обнаружили лодку, Щедрин вышел в атаку с противоположного борта транспорта, выстрелил торпедой и потопил его. В базу «С-56» возвратилась, уничтожив два судна противника…»

И без великолепных усов торпедиста Якова Лемперта.

Вообще-то усы на флоте не редкость, не чудо, но эти были — чудо! Я их помню, их нельзя забыть: красоты неповторимой, высшей кондиции усы, пронесенные в нетронутости через два океана и восемь морей, удивлявшие Америку, Панаму, Кубу, Канаду, Англию и совершенно потрясшие девичьи сердца нашего Полярного. Надо сказать, что свою долю в популярность Яшиных усов внесла и газета «Боевой курс», напечатавшая его портрет. И вот эти знаменитые усы перед первым походом лодки были отданы торпедистом в заклад на следующих условиях: по усу за потопленный корабль. Выходило, что топить нужно было по крайней мере два. Это и было сделано, но не враз. После первого ушедшего на дно немца друзья обступили Якова и кто-то протянул ему ножницы. Нет, он не отступил от своего слова, он был в полной готовности. Но, братцы дорогие, давайте отхватим в честь победы всё начисто. А братцы не согласны, они требуют соблюдения уговора: потоплен один корабль, и, значит, должен быть сбрит один ус. Яша-торпедист в отчаянии: хоть и в море, хоть и не видит его пока прекрасный пол, но несподручно как-то с единственным усом, с половинкой под носом. Выручил, заступился командир, добрейший Григорий Иванович.

— Товарищи, — сказал он, — пусть бреет оба, пусть будет у нас в долгу, а мы у него, друг у друга будем в долгу…

Долг этот продержался четыре дня, на пятые сутки Щедрин провел атаку, о которой пишет в своей книге адмирал Головко, атаку немецкого транспорта под прикрытием самого этого транспорта. Случай классический, вошедший в военно-морские учебники.

6

Стиль Щедрина как командира лодки воплотил в себе черты стиля многих его предшественников и соратников. В атаках Щедрина были и филигранность атак Фисановича, и хитрость Лунина, трудолюбие Видяева, спокойствие Шуйского. Командир «С-56» успел позаимствовать кое-что уже и у Сушкина, который чуть раньше его вступил в бой. Щедрин аккумулировал опыт других, чтобы создать свой собственный стиль. В основе его — активная атака. Меня спросят: а разве атака сама по себе не активное действие? Разве может быть она пассивной? Может. Вот такой: увидел противника, лег на боевой курс, выстрелил. Атаковал? Атаковал. И, возможно, результативно. Но результаты бывают разные. Сушкин тоже мог наверняка ударить по одному транспорту и потопить его, нет, этого ему было мало, он выждал сдвоенной цели, сманеврировал молниеносно и потопил двух. А Кучеренко тем более мог удовлетвориться, уже пустив на дно парочку, нет, рискуя, понимая всю опасность затяжного боя, он вышел тут же во вторую атаку и удвоил счет… Атака не так, как бог на душу положит, не по воле волн, атака — замысел, атака — искусство, активная атака!

Вернемся к «нырку» Щедрина, проследим по минутам, вернее по секундам, этот его маневр. Мы знаем, что лодка открыла уже счет, потопила транспорт, который, судя по характеру взрыва — глухому, очень локальному, вез какой-то плотный, сыпучий груз, мешки с мукой, наверно. Но что бы он ни вез — не довез!.. Лодка выполнила также важнейшее задание: подойдя к норвежскому берегу, приняла на борт наших разведчиков, работавших в тылу врага, и высадила им на смену новую группу. Но главное для подводников — искать, топить противника. Один есть! Мало. Поиск продолжался. Шутливым поводом для него был «долг» Яши-торпедиста. Если же говорить серьезно, экипаж действительно считал себя в долгу. Начали воевать с полуторагодовым «опозданием», и хотелось, что называется, быстрее наверстать «упущенное». После первой победы приободрились, конечно, но аппетит разыгрался, а следующая цель что-то не попадалась — день, другой, третий.

Четвертые сутки. Акустик докладывает в центральный пост:

— Слышу шум винтов!

Щедрин поднял перископ: ничего не видно. Акустик может ошибиться, он — человек. На учениях Круглов никогда не ошибался — муха пролетит над океаном, услышит ее полет. Но то учения. В боевом походе нервы взвинчены, и в шумах моря может почудиться и шум винтов. Щедрин всматривается: чисто вокруг. Хотел уже опустить перископ. И вдруг показались дымы над горизонтом, много дымов, отвесно восходящих в небо. Дымы и мачты. Богатая движется «свадьба»: три транспорта, шесть сторожевиков и с десяток «охотников». Щедрин лег на контркурс, идет на сближение. Возле каждого транспорта охрана. Надо прорвать охранение, чтобы ударить и с носа и с кормы. Щедрин, у которого уже сложился план атаки, начинает поворот, не опуская перископа. И, возможно, чуть-чуть передержал его над водой: хотелось выбрать цель покрупнее и бить наверняка. Что-то выдало лодку немецким сигнальщикам: или само зеркальце перископа блеснуло на солнце, или «зайчик» от него скользнул по волне. Теперь не только акустик, все в лодке слышат гул винтов. И но его стремительному нарастанию угадываются ринувшиеся на лодку сторожевики. Сейчас будут бомбы. Вот они! Слева, справа. Совсем рядом. Корпус сотрясается от близких разрывов. В отсеках погас свет. Сторожевики пронеслись над лодкой. И развернулись, и снова над ней. Нет, это уже, видимо, другие. Бомбят поочередно, парами, чтобы не отрываться всем от транспортов, чтобы не оставлять их без охраны.

«А что, если и нам под охрану?» — мелькнула мысль у Щедрина, чтобы тут же стать планом, а еще через несколько секунд воплотиться в дело. Вперед! Щедрин не уходит от погони, он идет ей навстречу, чтобы, проскочив сквозь это пекло, оказаться в самом тихом, самом надежном сейчас месте. Где оно? Ну конечно под каким-либо из немецких транспортов, под его днищем. Сюда не сбрасывают бомбы… Но Щедрин нырнул под киль не для того, чтобы отсиживаться, а затем, улучив удобный момент, ускользнуть. Ему нужна атака, наивыгоднейшая позиция для атаки. Где его в эти минуты ищут, где бомбят? Естественно, там, где обнаружили перископ, слева от каравана. А лодка уже и не под транспортом, она по другую его сторону, справа. Щедрин решается даже подвсплыть немного, чтобы взглянуть в перископ и окончательно избрать цель. Ближе всех сейчас к лодке судно, замыкающее караван. Оно идет в глубокой осадке, тяжело груженное… Взрыв был и раскатистый, и звенящий, с многократным эхом. На этот раз были, кажется, не мешки с мукой, а горючее.

Вот что такое активная атака!

Замысел молниеносен, исполнение такое же. Мысль командира стремительна, и действия исполнителя — всего экипажа! — так же стремительны. Командир, начиная маневр, безгранично верит в команду, исполняя маневр, экипаж беспредельно доверяет командиру.

Так, скажут, в любом бою должно быть — и на суше, и на море, и в воздухе. Верно, так. Но под водой, под толщей океана этот закон приобретает особую силу. И нарушение его мстит за себя с особой жестокостью. Всякая опасность сплачивает людей, а службы опасней, чем у подводников на больших глубинах, нет, пожалуй. Об этом очень точно пишет адмирал Головко:

> «Если летчик имеет шансы на то, чтобы спастись (или самолет спланирует без мотора, или можно выпрыгнуть с парашютом), то у подводника нет никаких шансов. С глубин более пятидесяти метров нечего и надеяться выбраться из затонувшей лодки. У нас же на Северном театре, даже в Кольском заливе, то есть дома, нет глубин меньше, чем 250—300 метров…»

7

Да, подводники гибнут «без вести». Ушли, не вернулись, тайна. И море почти никогда не выдает таких тайн. Говорю — почти, потому что знаю единственный за войну случай у нас в бригаде, когда обстоятельства гибели лодки с экипажем стали известны. И лишь однажды лодка погибла, а команду удалось спасти. Это произошло с видяевской «Щ-421». Она потопила немецкий транспорт, но и сама подорвалась на минах близ вражеского берега. Плавучести не потеряла, а хода лишилась, как и способности погружаться. Пробовали идти под парусом, прикрепив его к перископу. Ветер и туман благоприятствовали маневру, от берега удалились, ушли мористее, от опасности же не избавились: погода прояснилась, и противник мог вот-вот обнаружить столь приметный объект — лодку под парусом, тем более что ветер переменил направление и снова стало сносить к берегу. На помощь «щуке» подошла «катюша» — «К-22», чтобы взять на буксир, но подоспела и сильная зыбь, рвавшая канаты. Опасность возросла вдвойне, теперь немцы могли обнаружить сразу два наших корабля. Уже появился в воздухе, пока вдали, их самолет-разведчик… Из штаба флота поступил приказ командующего: экипажу «Щ-421» немедленно перейти на борт

«К-22», подбитую лодку потопить. Приказ был исполнен… Нужны ли дополнительные слова, объясняющие, что́ означает для моряка убить свой корабль? Когда эвакуация заканчивалась, на мостике «четыреста двадцать первой» оставалось двое: Видяев и Колышкин, командир дивизиона «щук», шедший в походе. Видяев прижался щекой к флагу, на глазах слезы, стоит, не в силах двинуться, оторваться от палубы, застыл рядом и Колышкин. С мостика «К-22» в мегафон — голос ее командира Котельникова: «Федя, Иван, поторопитесь, а то погубим оба экипажа…» И в голосе тоже слезы, усиленные мегафоном (наверно, это неуклюже сказано мною — усиленные мегафоном слезы, но другого, более правильного оборота речи подобрать не могу). Видяев и Колышкин вздрогнули, шагнули и, подхваченные матросами «катюши», перебрались на ее палубу. Лодка отошла на полтора кабельтова, развернулась кормой к израненной подруге так, чтобы можно было точнее выпустить торпеду… Через много лет контр-адмирал Иван Александрович Колышкин в своих воспоминаниях, которыми я пользуюсь, напишет: «Бедный отвоевавший корабль! Он был дорог всем нам как живое существо…» — и в этих словах тоже слезы, перед которыми бессильно время.

Другая трагедия в океане — со «Щ-402», краснознаменной, гвардейской. И многострадальной. Она воевала без устали: 16 походов, 11 потопленных судов. И бед хватила! Осталась однажды, как и ее родственница «Щ-421», без хода недалеко от норвежского берега: вытекло горючее из поврежденных в бомбежку цистерн. Выручила опять «катюша», на этот раз «двадцать первая», лунинская, осуществившая небывалую еще в море перекачку с лодки на лодку топлива на штормовой, десятибалльной волне, да еще во вражеских водах… Подстерегло «четыреста вторую» и страшное несчастье, погубившее половину ее экипажа вместе с командиром и комиссаром: в походе в момент перезарядки аккумуляторов произошел взрыв из-за скопления водорода в отсеке. До немцев, до их берега было 20 миль. И оставшиеся в живых, управляя рулями вручную, со сломанными компасами, без лага все-таки вывели еле дышавшую лодку из опасной зоны, — впрочем, в войну нет в море неопасных зон, — привели в базу… После двенадцатого похода «Щ-402» принял под командование капитан 3-го ранга Каутский, служивший до этого старпомом у Видяева, — находился с ним и в том последнем плавании «четыреста двадцать второй», — у Шуйского, с которым был из одной человеческой породы, такой же острослов, неунывака, душа офицерского клуба. Моя жена Валентина, не раз вальсировавшая с ним на вечерах в клубе, до

сих пор убеждена, что лучшего партнера в бальных танцах, чем Саша Каутский, быть не может, не говоря уж о ее совершенно бездарном в этом отношении муже… Знакомясь с кем-либо, называя свою фамилию, Каутский любил добавлять с усмешкой: «Не ренегат, не соглашатель, последовательный марксист!»

К победному счету «Щ-402» новый командир прибавил еще трех потопленных «немцев», при нем она стала гвардейской. И, выйдя из капитального ремонта, передохнув наконец-то после беспрерывных походов, в сентябре 1944 года приняла участие в завершающей операции бригады. Когда готовилось освобождение Петсамо (Печенги), несколько лодок вышло в океан на перехват судов противника, на блокирование его портов, гаваней и коммуникаций. Я был на пирсе среди провожающих «щуку» Каутского. Мне он, отдававший с мостика команды на отход, показался каким-то необычным. Понятно, что на мостике уходящего в бой корабля человек не таков, как в офицерском клубе. Но и на мостике я видел прежде Каутского иным, чем сейчас. Успевая раньше перешучиваться со стоящими на берегу, быстрый, легкий в движениях, он был теперь скованно-сосредоточенным, ничего, кроме резких, отрывочных приказаний, не произносившим. Только раз еще я наблюдал его таким же сумрачным — на недавнем траурном митинге, на открытии памятника погибшим подводникам… Лодка ушла и не вернулась. Но не «без вести». Весть явилась с неожиданной стороны, не с моря. С аэродрома в Ваенге. Молодой летчик с торпедоносца, возвратившись со своего первого боевого задания, доложил радостно: «Немецкую лодку отправил на дно. Торпедой — в корму. Не улизнул фашист. Я успел сфотографировать…» Проявили пленку, действительно — торпедой в корму, взрыв, водяной столб. Спрашивают пилота, где потопил, в каком квадрате. Показывает на своей карте координаты, сверились с оперативной: квадрат, в котором находилась на позиции «четыреста вторая». Ошибка, «невообразимая, дикая», как пишет в своих воспоминаниях Колышкин, штабная ошибка: «Летчику забыли передать оповещение о том, что в районе его действий находится наша лодка». А летчик точно выполнил существовавшую инструкцию: увидел внизу подводную лодку, атакуй, не разглядывая, кому она принадлежит. Так же, как подводники обязаны немедленно уходить на глубину при появлении в воздухе самолета, не определяя, чей он. Не успели гвардейцы… И имя их родимой прибавилось последней строкой к списку невернувшихся кораблей, выбитому золотыми буквами на постаменте памятника, при открытии которого они, гвардейцы, стояли недавно в траурном строю.

Случилось так, что мне выпала печальная миссия: по дороге в Москву на совещание я должен был заехать в Ленинград и завезти вещи Каутского его семье. Они были собраны в большой брезентовый мешок. Отдельно в металлической коробке лежали три ордена Красного Знамени, гвардейский знак и письмо в запечатанном конверте с надписью: «Моей жене Вере Сергеевне, сыновьям Саше и Игорьку. Если не вернусь». Даты на конверте не стояло, и когда было приготовлено письмо — перед последним походом или раньше — никто не знал.

Дверь в коммунальной квартире на Васильевском острове открыла женщина, сразу понявшая, кто перед ней и с чем. Молча провела в комнату, где за столом сидели два маленьких двойничка Александра Моисеевича Каутского, такие же, видать, непоседы-живчики, как отец. Мигом выскочили из-за стола, но тут же, увидев у меня за спиной тюк, вернулись на прежние места, застыв в молчаливо-тревожном ожидании. Я не помню слов, которыми мы обменялись с Верой Сергеевной. Я знал, что она пережила с сынишками блокаду. И чувствовал, что ей не нужны слова утешения. Она не раскрыла при мне конверта. Не ведаю, о чем писал ей муж, что завещал сыновьям. Знаю, когда пишу эти строки, что оба сейчас моряки, оба подводники, оба капитаны 1-го ранга.

8

Продолжу о Щедрине и его экипаже.

Вы помните, что такое регенерация? По латыни — возрождение, возобновление. Это слово вы найдете и в Морском словаре: «Регенерация воздуха на подводных лодках — очистка его с помощью специальных приборов при нахождении лодки под водой». Воздух очищается от углекислоты, которую выдыхает человек. Нормальное ее содержание на лодке — десятая доля процента. Эту норму и поддерживают машинки регенерации, довольно шумные вентиляторы. Но стоит их выключить — углекислоты будет прибавляться в час на один процент. И это уже много для человека. Он начинает задыхаться, в ушах звенит, слабеют руки. А когда четыре процента концентрации — удушье достигает предела. Но зачем выключать машинки? Пусть шумят. Шумят? А если шум страшнее удушья? Если вот уже двенадцать часов вас бомбят беспрерывно вражеские корабли преследования? Они засекли лодку, намертво в нее вцепились, загоняют чуть не на самое дно. Не дают подвсплывать на перископную глубину, чтобы сориентироваться и выйти в контратаку.

Никак не может Щедрин выскользнуть из петли. Старается быть ниже травы, то есть планктона, и тише воды, но это уже по инерции говорю, по поговорке, вода-то в Баренцевом не тиха… Ползет «эска» самым малым ходом. Приглушены электромоторы, выключены помпы, перешли на ручное управление рулями. Все равно охотники слышат лодку. Что же ее выдает? Может, солярка выходит на поверхность, может, травится воздух? Нет, лодка не оставляет за собой никаких следов, ни пузырька. Единственно, что ее демаскирует — регенерация. Она включена тоже на самую малость, но вентиляторы, видимо, все-таки слышны там, наверху. А как их совсем выключить, если люди и без этого измучены двенадцатичасовой бомбежкой? Щедрин хитрит, почти полностью стопорит электромоторы, потом вдруг резко прибавляет скорость, чтобы уйти, оторваться от преследователей. Тщетно, их бомбы ложатся все точней, все прицельней, вот-вот и накроют. Значит, выход один: долой регенерацию! И Щедрин командует:

— Выключить машинки!

Теперь все утихло. Но «утихают» в углекислоте и люди. Из отсеков доносятся чуть слышные, слабеющие голоса, как из глубокой шахты. Гаснет энергия в людях. Упал в трюме обессиленный матрос Назаров. И другие падают. Щедрин приказывает включить регенерацию. И сразу же на лодку устремляются сторожевики и снова прицельно летят их бомбы.

— Выключить вентиляцию! И опять тишина…

Но пусть расскажет об этом сам Щедрин.

> «…Подхожу к переговорным трубам и громко вызываю:
>
> — В носу! В корме!
>
> Стучит кровь в висках. Собственный голос кажется чужим, далеким и звучит, будто в пустой цистерне. Отсеки отвечают безразличными, вялыми «есть».
>
> — Говорит командир корабля! Противник начинает нас терять. Я знаю, что вы устали и выбились из сил. И все-таки нужно держаться. Разрешаю беспартийным отдохнуть. Коммунистов прошу стоять за себя и товарищей. Повторяю: коммунистов прошу держаться!
>
> И будто свежим ветром повеяло в лодке.
>
> Первым ответил седьмой отсек:
>
> — Беспартийных нет. Вахту стоим! — И голос мичмана Павлова показался мне бодрее, чем минуту назад. За ним докладывает Боженко:
>
> — Центральный! В шестом стоят по готовности номер один. Вахту несем все. Назаров подает заявление в

партию…

— Центральный! Личный состав пятого отсека просит считать нас всех коммунистами!..

Вот что происходит в центральном посту на моих глазах. Игнатьев подошел к приводу носовых горизонтальных рулей, у которого нес вахту Николаевский.

— Сдавайте вахту. Я заступаю.

— Почему?

— Идите отдыхать. Вам разрешается.

— Я комсомолец.

— Комсомолец — смена партии. Вот и смените меня, когда немного отдохнете.

Николаевский, как мне показалось, обиженно посмотрел на Игнатьева и молча отошел от рулей. На штурманском столике взял лист чистой бумаги и что-то быстро начал писать. Потом подошел ко мне и протянул листок…

«В парторганизацию пл «С-56»
От комсомольца Николаевского.

Заявление

Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б).

Готовлюсь к вступлению давно. Буду примерным воином.

Вахту хочу нести вместе с коммунистами…»

…Николаевский сказал:

— Товарищ командир! Давно хотел просить у вас рекомендацию в партию. Доверие оправдаю.

Написал ему рекомендацию тут же, у штурманского стола.

— Товарищ старшина! — обратился Борис к Игнатьеву. — Разрешите, как коммунисту, заступить на вахту. Глубину держать шестьдесят метров!

— Заступайте! — сказал Игнатьев…»

Я хотел бы заключить этот эпизод деловой справкой. «С-56» преследовали семь кораблей — эсминцы и сторожевики. Бомбежка продолжалась двадцать шесть часов тридцать минут. На лодку было сброшено триста глубинных бомб. В готовности

номер один команда простояла двое суток, из них несколько часов при четырехпроцентной концентрации углекислоты… В партию вступило пятеро.

В том же походе экипаж и его командир были еще раз испытаны «на сопротивление материала», если тут можно применить этот технический термин.

Поиск на коммуникациях противника шел уже много дней, но пока только сама лодка, как рассказано выше, чуть не попалась врагу на растерзание. Я, кажется, не нарисовал обстановки на море, в которой действовала «С-56». Шел февраль, самый штормовой из штормовых месяцев на Баренцевом. Хотя нештормовых тут не бывает. Я не могу причислить себя к знатокам этого моря, но за те несколько десятков переходов, которые совершил здесь на ледоколах, на дозорных кораблях, мне ни разу не доводилось видеть Баренцево спокойным, в уравновешенном состоянии духа. Вечно оно негодует. И если говорят: «Сегодня на Баренцевом тихо», это значит, что про Черное море при тех же условиях сказали бы: «Ох и штормит!» Ну а февраль, повторяю, самый штормовой месяц на Баренцевом. Линкоры и океанские лайнеры качает как корыта, а каково подводной лодке? Не спасает и глубина, потому как море воротит тут, что называется, до самого донышка. Да и быть в поиске на больших глубинах — не очень-то наищешься. По одной акустике, на слух трудно разыскать подходящую цель.

Лодка идет через шторм, через снежные заряды. Через полярную ночь. На ходовом мостике двое: Щедрин и молоденький сигнальщик Вася Легченков, которому даже огромный тулуп, высоченные валенки и мохнатущая шапка не придают солидности. Только подчеркивают его малый рост. Просто удивительно, как пропустила его на флот призывная комиссия. Он и для юнги-то невелик. Но — глаза! Говорят, он видит и за горизонтом. Это точно, видит!

— Мачта! — докладывает с мостика.

Все вглядываются, вглядываются и ничего не могут узреть. Но вот минута-две — и из-за горизонта действительно выплывает мачта, а за ней и весь корабль. Да уж, одарила природа Васю зрением, потрудилась над его глазами, словно специально готовила в сигнальщики! Ничто не укроется от Легченкова, от Левчика, как называют его нежно в команде, все высмотрит! Однажды в кромешной тьме распознал немецкий эсминец, шедший без огней под прикрытием берега.

— Как ты его увидел, Левчик? — спросили потом сигнальщика.

— Очень просто! — объяснил. — Я тут все пятна знаю на

берегу, вижу новое какое-то, да еще движется.

— Слушай, какие пятна, вокруг этакая темнотища, одно сплошное пятно!

— А темнота что? Темнота, она из разных пятен — одно светлее, другое темнее, и форма разная — только вглядись… — сказал Левчик.

Вот какой это сигнальщик! Но сейчас, когда они стоят с командиром на ходовом мостике и лодка продирается сквозь снежные заряды, кажется и сам Левчик ничего не видит. Он ловит каждый просвет, каждую щелочку меж густыми, плотными полосами снега. И вдруг будто кто-то оборвал канаты, на которых держались все эти завесы, и они падают, открывая взору море, небо, берега и… вражеский конвой, в самой середине которого шла, оказывается, все это время «С-56». Шла под охраной немецких миноносцев, сопровождающих транспорта́. Надо быстренько сматываться, пока не заметили, от этой милой охраны. Срочное погружение!

Ушли на глубину и сразу — на боевой курс. Нет времени, чтобы выбрать наивыгодную позицию для удара. Минута — на атаку с кормы, полминуты — на ожидание результата. Вот он — взрыв! Но почему один? Стреляли двумя торпедами. Одной промазали? Нет, она застряла в аппарате, не хватило сжатого воздуха, чтобы ее вытолкнуть. Грозно воют винты торпеды, но вырваться она не может. Снова толчок воздуха — только воду выдавило, а торпеда торчит, как заноза. И лодка теряет равновесие, срывается как самолет в пике, чуть не торчком на попа. Она летит носом вниз, она падает, и все внутри ее летит и падает: люди, ящики, приборы, инструменты. Стрелка глубиномера на пределе, но вот предел пройден, сейчас она, качнувшись влево-вправо, уткнется, замрет, и тогда все, — корабль будет раздавлен океаном. Сбитые с ног, падающие, летящие, хватающиеся за что попало люди стараются удержать лодку. Надо облегчить ее, выровнять, надо вогнать воздух в носовые цистерны. Те, от кого это зависит, в акробатических позах, изгибаясь и выворачиваясь, с трудом дотягиваются до нужных клапанов и вентилей, в последних усилиях пытаясь взнуздать и подчинить себе корабль. Секунда, другая, корпус дрогнул, напрягся, лодка остановилась на мгновенье и вдруг так же стремительно, как погружалась, пошла вверх. Нет, она не шла, она взлетала.

И это было не менее опасно, чем падение. С обратным креном. Теперь люди, ящики, приборы, инструменты сыпались из носа в корму — лодку выбрасывало к поверхности моря. Внизу — смерть, но она и наверху. Внизу раздавит океан, наверху

разбомбит или протаранит враг. Акустик уже кричит:

— Миноносец идет на таран!

Вот как рассказывает об этом Щедрин:

> «Да, кажется, наступает последний парад… Что ж, время терять не будем, через минуту опоздаем.
>
> — Артрасчетам обеих пушек — в смежные с центральным постом отсеки! Приготовиться дуть среднюю по моей команде!
>
> Поднимаюсь в боевую рубку. Достаю кормовой флаг. Противник ни на секунду не должен подумать, что всплываем для сдачи в плен. Мы всплываем для боя. Флаг своей Родины подыму на руках… Становлюсь на ступеньки трапа, берусь за кремальеры верхнего рубочного люка.
>
> — Артрасчет, за мной!
>
> Слышу топот ног. На трапе Хлабыстин, Булгаков, Бочанов. Несколько выстрелов, наверно, сделать успеем… Начинаю открывать люк. Шипит воздух…
>
> — Продуть среднюю!
>
> Вдруг неистовый крик из центрального поста:
>
> — Лодка погружается!
>
> — Артрасчету — вниз! По своим отсекам!
>
> Спустившись в центральный пост, прежде всего смотрю на глубиномер — уже двадцать пять метров! Лодка стремительно проваливается, но нам еще кажется, что она идет вниз очень медленно… Слышим шум винтов миноносца над головой и затем оглушающие разрывы глубинных бомб. В носу лодки гаснет свет. Гремят падающие вещи, звенит разбитое стекло. Но теперь уже не страшно, мы в своей стихии — под водой…»

9

Я очень советую вам прочесть книгу Щедрина «На борту «С-56». А для того чтобы мой совет был убедительней, приведу три отзыва об этой книге.

Первый:

— Ничего не забыл наш батя, даже усы мои вспомнил…

Второй:

— Нас было сорок семь и про каждого — доброе слово…

Третий:

— Читаешь, и будто снова в море, в бою…

Нетрудно догадаться, что эти отзывы принадлежат людям, плававшим с Щедриным на подводной лодке, и что первым высказался ну конечно же Яша-торпедист. Он живет в Москве, в Сокольниках, давно уже не торпедист. Старший механик в научно-исследовательском институте химического машиностроения. Усы при нем. Пусть не такие пышные, без прежнего шика, но при нем. И он не собирается их больше закладывать.

Второй отзыв — сигнальщика Левчика, простите, Василия Ионовича Легченкова, слесаря с подмосковного завода. За эти годы он немного подрос, и теперь у него подрастают два «левчика», два сына, в отца зоркие. А у него зрение по-прежнему орлиное. Стояли мы с ним вечером на троллейбусной остановке у Пушкинской площади, долго не было машин, вон показались огни где-то около Моссовета, и Василий Ионыч говорит:

— Не наш — двадцатка.

Кто-то из очереди сказал:

— Гадаете?

— Двадцатый номер! — повторил Ионыч. Троллейбус подошел, и это был № 20. Вдали показалась еще одна машина.

— Наш, — сказал Легченков, — двенадцатый.

И не ошибся. Вся очередь глядела на человека с таким зрением. Нам нужно было ехать, а то бы я объяснил людям, что это знаменитый сигнальщик с подводной лодки, который в войну видел корабли за горизонтом.

Третий, чье мнение о книге Щедрина я привел, был Сергей Федорович Денисов, плававший мотористом на «С-56», а ныне главный механик одного из московских НИИ. У него, у Денисова, на квартире мы и собрались: три бывших подводника-гвардейца и бывший редактор газеты «Боевой курс». Это было как бы продолжение коллективного интервью, начатого зимой 1944 года. Мы тогда в редакции задумали сделать полосу, посвященную Щедрину. Лодка его довела к тому времени счет потопленных кораблей до десяти, экипаж кроме Краснознаменного стал еще и гвардейским, а самому Григорию Ивановичу присвоено было звание Героя Советского Союза. И мы решили подготовить коллективный рассказ экипажа о своем командире, собрали гвардейцев в редакции и из их выступлений составили страницу в газете под шапкой «Наш командир».

«Наш командир!» — они и сейчас его так называют, хотя уже давно вышли из-под его команды.

Сидят, вспоминают.

— Стоишь на мостике… Волна тяжелая, будто глина,

окатывает тебя с головой. Снежная крупа сечет в лицо веником. А лодка, как живая, режет волну и несется сквозь снег… Оглянешься, командир рядом. Он всегда на мостике, когда проходим опасный район, когда взыграет шторм, или тьма над морем, или вот-вот ждешь противника. Очень я любил, чтобы командир — рядом. Даже видел тогда лучше.

— До чего ж ты стал складно, красиво говорить, Левчик, — вмешивается Лемперт, Яша-торпедист. — Но ты прав, дорогой! Мы все любили, чтобы батя наш был рядом. Помните, братцы, как мы задыхались в углекислоте. И как нас батя подбадривал из центрального поста. Голос его слышишь хоть и хриплый, с придыхом, а легче становится. Голос! И вдруг сам он к нам, к торпедистам, в первый отсек пришел. Мы ж там ото всего экипажа были оторваны. Как уж он добрался, не знаю. Стоит бледный, за переборку держится и говорит: «Потерпите, орлы, еще немного, и вырвемся!»

— Он всегда к экипажу без утайки, — сказал Денисов. — Людям — всю правду! В этом его главная сила. Ты, Левчик, помнишь, наверно, как мы промахнулись в надводной атаке.

— Помню. Я на мостике стоял. Вышли из снегу — караван немецкий. Неожиданно, не думали, что он тут.

— А я выпускал те торпеды, — сказал Лемперт, — ох и обидно было, что промазали.

— Но досадней-то всего командиру. И помните, когда мы ушли на глубину, он из центрального поста обратился к экипажу. Объяснил, что промах целиком на его совести. Я, говорит, выскочил на мостик, со свету не разобрался в темноте и, вместо того чтобы поручить атаку старпому, давно стоявшему на мостике, принял команду на себя — и промазал. Так, все как было, объяснил. Приношу, говорит, экипажу извинение и постараюсь искупить ошибку. Не всякий командир способен на такие беспощадные к себе слова.

Сидим, перебираем старые фотографии. У Денисова тоже не малый архив, связанный с боевой историей «С-56». Спрашиваю, где сейчас лодка?

— Долго еще в море ходила, — говорит Яша-торпедист, остававшийся после войны на сверхсрочной службе. — Вернулась на Тихий океан. Стояла у пирса, как учебная база.

Все сроки отслужил корабль, подходит час — на слом. Но имя лодки, слава ее не умрут.

— Вчера был у Григория Ивановича, — говорит Денисов. — Сказал, что решено нашу «С-56» сохранить и поставить на вечный причал во Владивостоке, как «Аврору» в Ленинграде.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, ЗАВЕРШАЮЩАЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕЙ КНИГИ

1

Запись с диктофонной ленты. Голос Игоря Белоусова:

— Я был с отцом в последнем его плавании. Это в сорок пятом, как окончилась война. Мы ждали его домой с Дальнего Востока, где он руководил ледовыми операциями. И вдруг телеграмма, остается до осени. Я ему ответную, с напоминанием о давнем обещании. «Подрастешь, говорил, поплаваем вместе». Теперь мне исполнилось 16, я перешел в девятый класс, получил паспорт. И вот послал такую телеграмму, не очень-то надеясь на положительный ответ. А он последовал немедленно: «Вылетай в бухту Провидения, жду с Котовым». Вы знали Илью Спиридоновича? Прекрасный был летчик, и какой красавец! Тоже рано ушел из жизни… Мама, собирая меня в дорогу, говорила, что на корабле, она знает это, есть такая должность: штурманский ученик. Что я могу на штурмана попрактиковаться. Мама думала — поближе к отцу. А он, встретив меня на флагманском ледоколе, сказал: «Юнгой! В палубную команду». Так что я только иногда заглядывал к штурманам в рубку. А весь рейс — у боцмана под рукой, с матросами… У меня сохранился дневничок того времени. Записи тут коротенькие, в одну строчку. А некоторые обрываются на полуфразе. Засыпáл, наверно, с карандашиком в руке. За день-то так намотаешься на палубе, что еле до кубрика доберешься…

«…13 июля. Получил робу, сапоги, шапку.
14 июля. Вышли в морс.
15 июля. Качает».

Предельно, как видите, лаконично, в одном слове. И все буковки шатаются, валятся набок. Ка-ча-ет. А мы на корме драим медяшку. И хоть коломутно мне, выворачивает всего, держусь морского закона, преподанного мне отцом. Укачался, блюешь, а вахту стой, работай, на койку не вались. И тогда никто тебя не попрекнет, из моряцкого племени не вычеркнут. А в душе-то я

уже причислил себя к морякам… Для боцмана, для матросов я был, понятно, сын Белоусова, большого начальника, толстый столичный мальчик, отпущенный маменькой в море на прогулку. Я понимал это и старался даже не бывать у отца в каюте. Он сам раз в неделю звал меня к себе, требуя что-то вроде отчета за прошедшие дни. И все же мое особое положение в команде, как я ни стремился свести его на нет, иногда сказывалось. Вот запись в дневнике: «Бункеровка в Певеке…» И подчеркнуто. Потому что это было в день объявления войны Японии. Мы находились довольно далеко от района начавшихся событий, но могли понадобиться. Команда собралась на митинг, выступил отец. Говорил, что надо как можно быстрее принять уголь и идти в море. А бункеровка была сложнее обычных, не с берега кранами, а на рейде с баржи грузовыми стрелами. Объявили аврал — всем наверх. Работа в две смены — через шесть часов по шесть часов. Было одинаково трудно, что с баржи грузить, что на ледоколе штивать лопатами. Меня поставили в бригаду на барже. И вот подходит второй или третий помощник капитана, говорит: «Игорек, иди-ка к стрелам учетчиком». Видел, что я устал ужасно — все устали! — и хотел мне облегчить. Конечно, кто-то должен был вести учет бадьям с углем. И была у меня секунда колебания — отдохну! Только секунда. И оттого, что она все-таки была, ответил я, в досаде на себя, грубовато. Ищите, мол, другой объект для внимания. Зря сдерзил. Человек и в этом, в резком таком тоне мог увидеть особость моего положения… Наше плавание, вернее мое участие в нем, длилось полтора месяца. Отец помнил о начале учебного года, о чем я-то не очень заботился, и при первой же возможности отправил меня домой. С запиской. Вот она, сложенная конвертиком, как сложил отец. Надпись: «Маме». Я эту записку привез тогда честно, не раскрывал ее. И прочел впервые совсем уж недавно, когда она обнаружилась в маминых бумагах.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста.

«Дорогая Ню!

Совершенно экстренная подвернулась оказия отправить Игоря самолетом в Москву. Прямо грязного с работы, немытого, сажаю, иначе потом долго не будет случая. Игорь расскажет о нашем житье-бытье. Правда, он плохо представляет мои занятия, так как они проходят в основном в каюте — в разговорах, писанине — и в бдении на мостике. Игорь же работал на

палубе и видел только то, что прямо перед глазами. Думаю, что пребывание на корабле пошло Игорю на пользу. Пришлось поработать и пожить без маминой постоянной опеки. С моей точки зрения, это факт положительный. Все хорошее от мамы он воспринял довольно прочно. Поэтому наша морская «грязь» к нему, кажется, не пристала. Может быть, перед тобой он проявит немножко морского кокетства для пущей важности, но глаз у меня наметанный, и вижу, что из боцманского воспитания он взял лишь лучшее.

Милая Ню, ты, конечно, чувствуешь, насколько мне осточертела жизнь морского волка, и распространяться по этому поводу не буду. Все мои помыслы направлены домой, где я после двух войн еще не был. Немного поздно поздравляю тебя с годовщиной нашей почти совместной жизни. И надеюсь, что хоть под конец жизненного пути удастся побыть вместе.

Письмо твое с датой от 1 августа получил, но не от Черевичного, который летает на западе, а через десятые руки.

Ну так, родненькая, до свидания, а то Игорь копается и никак не соберется, буду ему помогать.

Крепко тебя целую.

Мик».

— Отец тут, пожалуй, не очень точен. Правильно, я видел то, что перед глазами. Но перед глазами была не одна лишь палуба. Я и мостик видел. Редко, а все же бывал у отца в каюте. И невольно становился свидетелем его занятий, слышал разговоры, о которых он пишет. Помню его беседу с пятью капитанами речных буксиров, которых мы встретили у мыса Ванкарем и собирались вести дальше. Они были великолепно оснащены для плавания не только по сибирским рекам, но и в арктических морях. Ледовый пояс вокруг корпуса. И капитаны, как я понял, не новички в этих широтах. Нужно было назначить старшего среди них, группового капитана, так полагается. Вокруг этого и шел разговор. Никто из них не хотел быть главным, ответственным за всех. И очень уж они нахваливали друг друга. Чтобы выдвинули соседа. Отец слушал-слушал и сказал: «Персимфанс, значит, получается, оркестр без дирижера. — Он любил музыкальные термины. — Что ж, за группового буду я. Все команды на мостике, лево-право руля, все согласовывать со мной, за ручку поведу». А они не поняли, что им сказаны обидные слова. Или сделали вид, что не поняли. Заторопились, быстренько смотались. И отец,

который был в общем-то человеком жестким, властным в делах, даже и не рассердился на этих капитанов. «Забавные мужики, — сказал он, — легко жить таким». И другой разговор у меня в памяти. С капитаном ледокола, которому предстояло идти в западный сектор Арктики и остаться на зиму в Мурманске. А экипаж владивостокский. И когда его набирали, морякам в отделе кадров говорили, что они будут работать на востоке и осенью вернутся домой. А теперь вот выясняется… «Как так «теперь выясняется»? — сказал отец. — В пароходстве это знали и, следовательно, кадровикам было известно. Они обманули, дезориентировали людей. Зачем «петуха пускать», фальшивить? Соберите экипаж и скажите, что мы исправим ошибку. Всех, кто захочет, отпустим из Мурманска домой. А кадровиков накажем, можете не сомневаться…» Это из того, что мне запомнилось, кроме чисто палубных впечатлений. И еще немного о концовке его письма к маме. Касательно жизни морского волка, которая осточертела. Устал он безмерно, истосковался по семье. Он прилетел поздней осенью. Пробыл дома полгода, отогрелся. И все чаще заговаривал о море, сказал мне как-то: «Эх, пошел бы сейчас капитаном парусной шхуны…» И навигацию сорок шестого он провел бы наверняка в морях. Но пятнадцатого мая… Пусть расскажет мама.

2

Я убрал диктофон. И блокнота перед собой не положил. Такое не записывают. Запоминают.

— В ночь на шестнадцатое… А день, предшествовавший той ночи, был обыкновенный, не предвещавший нам горя. Как обычно, Михаил Прокофьевич уехал к себе в Главсевморпуть к одиннадцати. Тогда, помните, какой был режим у руководящих работников? Часов в шесть-семь вечера приезжали домой пообедать, час-другой отдыха, и снова в главк уже допоздна, до рассвета, верней. А в тот день Михаил Прокофьевич приехал обедать раньше — в четыре, по-моему. Сказал: «Сегодня провожаем в Арктику московских комсомольцев, выступаю. Собираются транслировать». И действительно, я слушала эти проводы по радио. Из клуба имени Ногина. Слышала Мишу. Где-то хранится, наверно, запись его речи. Я помню слова: «Мы еще встретимся с вами, товарищи, в Арктике». Домой приехал в третьем часу ночи, немного пораньше. С пачкой книг. «Успел заехать перед закрытием магазина, купил новинок». И взял одну из них на ночь. «Полистаю — может, быстрее усну». Последние

дни он плохо спал. «Принести тебе чаю?» — «Принеси, пожалуйста». Когда я вошла со стаканом чая, он лежал одетый — китель только снял — поверх одеяла. «Что-то не по себе. В груди жжет». Он был бледен. Я позвонила Смоленскому, да-да, вашему корабельному доктору, Александру Петровичу, он живет двумя этажами ниже. И в Кремлевку позвонила… Смоленский пришел тут же, послушал сердце, спустился за шприцем, сделал укол. А я стояла на балконе, поджидая машину из больницы, у нас на лестнице было темно, и я хотела встретить врача. Приехала женщина. Посоветовались со Смоленским, сделали еще укол. Мише стало лучше. Он сказал: «Ну что, Петрович, это Кондратий стукнул?» — «Поплаваем еще, капитан, поплаваем!» — сказал Смоленский. «Идите спать». — «Я посижу». — «Вы же не руководящий деятель, ночью вам полагается спать». Александр Петрович еще раз послушал сердце и ушел к себе. Женщина-врач осталась. Она дала Мише лекарство. И вдруг он стал задыхаться. Глубоко вздохнул и, не выдохнув, умолк. Он умер. Я сразу поняла это. Я подумала: Миша мертв, но сына он, может быть, еще услышит. И я пошла к Игорю, разбудила его, сказала: «Попрощайся с отцом». Он спросил: «Куда папа уезжает, зачем?» — «Он умер», — сказала я.

3

— А я во сне узнал о смерти Белоусова… — говорит мне Константин Константинович Бызов.

…Как? Я вас еще с ним не познакомил? Это несправедливо. Ему давно пора возникнуть на страницах моей повести, поскольку на борту флагмана он появился в качестве чифа — старпома, еще перед нашим уходом в Белое море, появился во весь свой двухметровый рост, с басом, не требовавшим при отдаче команд с мостика никаких мегафонов-усилителей. Это был могучий человек, которого, я думаю, и сам Поддубный не смог бы запросто одолеть. Как-то на бункеровке крановщик, поднимавший бадью с углем, ошибся и развернул ее не влево, как требовалось, а вправо, прямо на шедшего по палубе старпома, и Бызов, которому некуда уже было деваться, успев лишь руками закрыть голову, нашел силы, чтобы одновременно оттолкнуть от себя навалившиеся на него полтонны; он даже не упал, а попадись кто похлипче, убило бы на месте. Константиныч же, полежав с часок в каюте, снова вышел на палубу руководить погрузкой, и никто, кроме крановщика, не знал о случившемся… Под командованием у капитана Белоусова Бызов служил около года и четырнадцать

лет командовал «Капитаном Белоусовым», ледоколом, а остальные шестнадцать из своего тридцатилетнего капитанского стажа (я ограничиваю его уходом на пенсию, хотя это с моей стороны несправедливо, потому что и в пенсионном состоянии Бызов каждое лето отправляется в арктические моря) водил ледоколы «Анастас Микоян», «Адмирал Макаров», «Северный полюс», «Ермак», «Капитан Воронин», «Мурманск».

Лет двадцать пять, если не больше, не виделись мы с ККБ, как иногда друзья называют его для краткости. Нет, буду точен, однажды все-таки мелькнули мы за это время друг перед другом. Я стоял на автобусной остановке на Суворовском бульваре, возвращаясь от Белоусовых, и мимо прошагал, окинув меня почему-то взглядом, очень высокий человек. У меня в таких случаях замедленная реакция, и только когда прохожий свернул за угол, я подумал, что он похож на старпома Бызова, с которым мы когда-то вместе плавали в Арктике. А я ему сразу показался личностью знакомой, он хотел было окликнуть меня и не решился, испытывая ту же боязнь, что и я обычно ощущаю — не быть узнанным. Это выяснилось, когда нас свел все тот же Жора Брегман. Спрашивает меня как-то по телефону, не помню ли я нынешнего капитана «Капитана Белоусова» по фамилии Бызов, а если помню, может, пожелаю услышать его голос? И тут же раздался громоподобный бас, от которого задрожала не только мембрана в трубке, но звякнули и толстые стекла в книжном шкафу:

— Слушайте, господин редактор, вы что, установили для своего наборщика особые правила, понимаете? Почему не вышел на аврал, на бункеровку?

— Товарищ старпом, извините, я договорился с капитаном. У меня газета на выходе.

— Без газеты как-нибудь обойдемся, а как без угля плыть? Договариваетесь с кэпом через мою голову?.

— Что вы, как я могу через вашу голову, когда она на такой высоте…

— Ладно, отставим шуточки-прибауточки. Живет, понимаете, в Москве, и прячется под каким-то псевдонимом…

— А ты чего в столице?

— Да вот застрял проездом.

— Откуда и куда?

— С Арбата на Малый Козихинский. Четверть века уже, как сменил питерскую прописку на московскую.

В последней фразе послышалась мне сквозь рокочущий бас затаенная грусть, характерная для каждого настоящего питерца, покинувшего свой родной город. А ККБ — коренной петербуржец,

внук мостовщика, покрывавшего торцом Невский проспект, и булочника, пекшего хлеб для городских больниц, сын кассира из банка на Петроградской стороне — тут у него биографическое сходство с Белоусовым, у которого отец тоже был кассир на продовольственном складе в Ростове, не говоря уж о том главном сходстве в их биографиях, что, будучи потомками представителей сугубо сухопутных профессий, оба предпочли всему служение Нептуну.

Ко времени нашего подготовленного Брегманом телефонного разговора Бызов не был еще на пенсии, бывал в Москве, в семье, редко и мало, лишь в отпуске. Жизнь его проходила преимущественно в морях или в портах приписки ледоколов, которыми он командовал. Трижды по многу месяцев зимовал на затертых в арктическом льду судах, плавал и в Антарктиде. Так что, «встретившись» по телефону, мы еще долго с ним не виделись, пока он не стал, по собственному выражению, «капитаном на приколе в постоянном порту приписки» — в Москве. И вот уже несколько лет довольно часто встречаемся, особенно в последнее время, когда я, работая над этой повестью, над главой об Арктике, то и дело обращаюсь к Константину Константиновичу за консультацией, за советом. Вот и сегодня пришел ко мне с толстым портфелем, из которого, когда он вынимал принесенные по моей просьбе карты, выскользнул черный эбонитовый свисток, вроде милицейского, но этот — флотский, непременная принадлежность вахтенного на мостике для вызова матросов с палубы. Засмущался Константиныч, покраснел, быстренько сунул свисток обратно, прикрылся шуткой:

— Идешь по Горького, «гудок» при себе, и будто по мостику вышагиваешь. Вот-вот боцмана свистнешь, чтобы явился, дракон, пред капитаньи очи…

Вот он, Бызов, и сказал мне, что во сне узнал о смерти Белоусова!

— Как это — во сне? Что за мистика?

— Как ни называй — приснилось… Я плавал на «Северном полюсе», приписанном к Владивостоку. Вернулись из Совгавани, из трудной проводки. Ошвартовались, я в город пошел по всяким накопившимся делам. Пока ходил по конторам, то одно, то другое выбивал-выколачивал, устал хуже, чем во льдах. Возвратился на судно поздно, еле ноги доволок до каюты, до дивана, так спать хотелось. Лег, и слышу голос Белоусова в динамик. Из Москвы передача — провожали комсомольцев на зимовки, Белоусов напутствовал. И заснув, я все еще слышал его. А потом и самого Прокофьича увидел. Он продолжал говорить, но

уже не с трибуны, а со мной. Мы шли вдвоем по Белому морю. Меж торосов и прямо по торосам, не лезли, не карабкались, шли в полный рост — от ледокола к застрявшим пароходам. И он мне выговаривал, недоволен был. Мол, не так «Сакко» окалываю, рискованно, слишком близко подхожу. И показывает, как надо, с какой стороны, под каким углом. Подтащил к себе руками ледокол, хочет развернуть на правильную позицию, а корабль не слушается. Тогда мы оба плечами наваливаемся — нос тронулся, а корма застряла. Еще поднажали, и Прокофьич вдруг упал. Я нагнулся — не дышит. Кричу, сзываю людей, никто не откликается, снежная пустыня вокруг, ни пароходов, ни флагмана, всех унесло куда-то. Мертвый капитан на льдине, и я над ним… Просыпаюсь в ужасе. Сердце колотится, удержу нет. На пороге каюты — знакомый работник пароходства. «Константиныч, — говорит, — горе!» — «Что такое?» — «Из Москвы позвонили, Белоусов скоропостижно скончался…»

— У него и прежде бывали сердечные приступы. Я помню один такой тяжелый.

— Это когда они с «дедом» схватились на стоянке в Мурманске?

— Не ладили со стармехом, не уживались в одной «берлоге».

— Тот нравный, самолюбивый был мужик. Прокофьич-то тоже не из застенчивых, но вспылит и быстро остынет… Был у меня случай с ним, который как бы повторился потом в сонном варианте. В Белом море произошло. Вся операция, все проводки, обколки — на нервах, помнишь? Суда во льду с солдатами, и, кроме флагмана, кроме нас, некому их вытаскивать. А Прокофьич впервые в этом море с его переменчивыми ветрами, непредсказуемыми подвижками льда, малыми глубинами. Видим — нервничает на мостике, вот-вот «выйдет из меридиана», как про гирокомпас говорят, сорвется. И сорвался. На меня. Я попал под натянутую у него внутри струну. Лопнула, и концом хлестнула по мне изо всей силы. Как раз «Сакко» обкалывали. Что-то не понравилось кэпу в моих действиях как вахтенного. И наорал, матом обложил при всех. Я не гимназисточка, сам могу морским шестиэтажным. Тоже был на нервном истощении. И все же сдержался. А после, когда вывели «Сакко», обстановка полегчала, явился в каюту к Белоусову, чтобы объясниться, а он мне навстречу, обнял и говорит: «Извини, Костя, сделал перебор, извини!»

— От «деда» ты такого «извини» не дождался бы.

— Где там, закусит удила, пару наберет сверх марки и не выпустит, будет ходить злой, надутый.

— С чего у них началось в Мурманске?

— С котлов. Ко всем повреждениям, полученным во льду, еще и три котла потекли неожиданно на стоянке, а скоро снова в рейс. Кэп вскипел, втык — стармеху, куда, мол, глядели, на каком месте туловища у вас глаза, и уточнил на каком. Резковато, конечно, лицо у «деда» побагровело, хотя и обычно было как бы распаренным, за что, ты же знаешь, в команде его прозывали заглазно «красный помидор». А тут и вовсе покрылся свекольным цветом и выдал Прокофьичу тираду похлеще. Слово к слову, объяснились в «любви», едва не врукопашную. Хорошо, Анна Николаевна случилась в каюте, приехала погостить из Москвы, услышала из задней комнаты ссору и в самый ее накал вышла, «деда» легонечко подталкивая, — прочь из каюты, мужа — на диван, у него сердце схватило. Смоленского не оказалось на судне. Вызвала «неотложку», приступ был затяжной, хотели госпитализировать, но вернулся из города Смоленский и оставил капитана в корабельном лазарете.

4

Мой капитан ушел в вечный рейс в сорок два года.

Я продолжу рассказ о нем рассказом о его сыне.

Задача мне облегчена. Я могу время от времени отсылать читателя к очеркам, статьям, корреспонденциям, репортажам самого Игоря Белоусова. Журналистика — его вторая, побочная профессия, рожденная первой — океанографией. А вообще-то первая у него по хронологии — штурман. Игорь начинал штурманом на тральщике, как выпускник Высшего военно-морского училища имени Фрунзе, которое было когда-то Морским кадетским корпусом.

От отца — море, от матери — литература.

…Вот эпизод из жизни военного моряка.

— Отец говорил, что у судоводителя должно быть шестое чувство — на опасность. Оно, это чувство, однажды обнаружилось у меня в своеобразном, я бы сказал, варианте. Мы находились в тралении на Балтике. И под конец дня намотали на один из винтов трал. Пришлось чапать в базу. Вместо командира, уехавшего в отпуск, шел у нас дублер. Я — штурманом и постоянным, можно считать, вахтенным офицером, поскольку остальные тоже были в отпуске. Дублер спросил меня, как я собираюсь идти, каким курсом, и пошел вздремнуть тут же в рубке, за дверью, на диванчике. А я, лейтенант, облеченный доверием и, естественно, гордый этим, мерю шагами мостик, отдаю команды рулевому, на карту поглядываю, пеленгуюсь.

Определяться полагается классически по трем пеленгам, а я третьего не вижу. Но и по двум получаю свое место точно по курсу, чего же еще надо? Правда, вместо зеленого огонька светит почему-то белый, а вместо красного — зеленый. Это меня не смущает, лежу на курсе, дорога ясная, знакомая… Пора поворачивать. И надо уже давать такую команду на руль, а что-то вдруг сдерживает меня, даже не знаю что, но мне страшно не хочется делать этого поворота, дико не хочется. То ли те огни сидят где-то в подкорке, то ли не взятый мною третий пеленг, какое-то, словом, подспудное ощущение, что я делаю не то. Бужу дублера, говорю, что пора поворачивать, а мне не хочется поворачивать. Люди мы с ним малознакомые, и я ему, конечно, был в эту минуту странен. «Где, спрашивает, вы себя считаете?» — «Вот здесь, примерно». — «Как определялись?» — «По двум пеленгам, место получил по курсу». — «Почему же не хотите делать поворота?» — «Не знаю почему». В самом деле, ненормальный штурманок. «Ладно, — говорит дублер, — будем считать себя в этом месте, как вы определились. А если пройдем чуть дальше поворота, никуда не врежемся?» Он был новичок на Балтике, с другого флота. «Нет, — говорю, — мили две можно смело пройти дальше и повернуть». — «Валяйте!» И с мостика уже не уходил… Мы благополучно прибыли в базу. Очистили нам винт, и через день опять в море. Теперь шел наш старый командир, вернувшийся из отпуска. Я рассказал ему, что произошло. Впрочем, к счастью, ничего не произошло. А могло! Командир отлично знал район, и когда я ему только начал рассказывать, все понял. Два пеленга оказались обманчивыми, они по чистой случайности совпали с курсом, требовался третий, который обнаружил бы ошибку. Тот белый огонек вместо зеленого был огнем не маяка, а буя, ограждавшего самое опасное тут место. И поверни мы, согласно полученному мною определению, не пройди дальше — врезались бы с ходу в камни. Спасибо внутреннее ощущение опасности, шестое чувство. Обладать им неплохо, хотя оно и зыбкое. В море предпочтительнее всем чувствам — три верных пеленга на пути!

Как штурман стал океанологом? Перекидной мостик тут невелик. Шаг-другой, и ты уже в соседней, просто родственной профессии. Между прочим, поворот от судовождения к океанографии у штурмана эскадренного миноносца, входившего в состав Тихоокеанского флота, начался со столкновения с этой наукой. В дальнем походе (по тем временам поход был дальний), где особенно важна точность прокладки, он вел ее, учитывая многие факторы — три пеленга! — и в первую очередь течения Японского моря. Штурман обложился океанографическими

атласами, перед ним были направления и скорости всех течений, и он прокладывал курс на карте с соответствующими этим показаниям поправками. А в результате, когда подошли к берегу, невязка, то есть отклонение от истинного курса, оказалась у него в 8 (восемь!) миль вместо трех, предельно допустимых. Разыскивая столь позорную для уже опытного штурмана ошибку, он исключил подсказанные атласом поправки на течения, и невязка сразу сократилась до полутора миль. Повинна была госпожа Океанология! Ошиблась… Так что в отношении этой науки настроен он был весьма критически, не подозревая, что придется вскоре верноподданно служить ей, что через два года после увольнения в запас пойдет ученым секретарем экспедиции на океанографическом корабле «Витязь», и еще пойдет, и еще…

5

Походы «Витязя»… Писать о них в последовательности и в подробностях не собираюсь, потому что не участвовал. А с чужих слов — чужие слова. И вообще для меня, плававшего только в северном полушарии, слушать о рейсах «Витязя» — сплошное расстройство. Задыхаюсь от зависти самого черного цвета при одном лишь перечислении морей, земель, островов, бухт, где побывал Игорь Белоусов. Думаю, что и Михаил Прокофьевич приревновал бы сына к его маршрутам, хотя и сам, как сказано в автобиографии капитана, «завершил в арктическую навигацию 1939 года круг своих плаваний, охвативших весь Европейско-Азиатский материк».

Но не был же он в Коралловом море и не собирал именной дани с него — кораллами. На Цейлон заходил, а Мальдивские острова оставались не по курсу. И в австралийские порты не приводило. Не проплывал над Марианской впадиной с ее наибольшей в мире глубиной океана: 10 863 метра, к которым промерами «Витязя» добавлено еще 159. Не укрывался на Мадагаскаре от тайфуна, который движется со стороны Маврикия. И Занзибар не лежал на пути, и гористый, сработанный из гранита Сейшельский архипелаг, возникающий среди низких, плоских атоллов, и неведомый капитану Амирантский желоб, который откроют его сын с товарищами…

Что такое желоб в океане? Канава, прорытая богом, щель, прорезающая дно на тысячи миль в длину, а шириной от двух до тридцати миль, не более. Представляете, сколько же нужно промеров, сколько прощупываний океана эхолотом, чтобы обнаружить эту морщинку, эту ниточку на гигантских глубинах. А

зачем ее искать, пусть себе тянется… Ну, это замечание даже не дилетанта, а неуча. Каждый такой желобок, разысканный океанологами, — большая находка для науки, изучающей эволюцию земной коры. Если слова мои не очень убедительны, обратитесь, пожалуйста, к научно-популярному очерку И. Белоусова «Откройся, океан!», который напечатан в журнале «Вокруг света».

Я уже говорил, что журналистика вторая профессия Игоря, не «хобби», профессия.

Жили-были в некие времена четыре школьника-приятеля: Игорек Белоусов, Юлька Крелин, Тоник Эйдельман и Валька Смилга, которые пребывают в качестве кандидатов наук (в соответствующей последовательности): географических, медицинских, исторических и физико-математических. Они представляют собой также небольшое по составу, но довольно мощное по уже выпущенной продукции литературное объединение, которое берет свое начало от редколлегии школьной стенгазеты «Сто десятая».

У них изданы книги, назову по одной.

У Юлия Крелина — «Семь дней в неделю» (записки хирурга); на титуле размашисто: «Лапоньке моей толстенькой, Игореночку, светиле Океанскому от хмыря земноводного, эскулапова раба Юльки». Нежно.

У Натана Эйдельмана — «Ищу предка» (историк об антропологии); тоже мило: «От любящей гейдельбергской челюсти. Щелк-щелк!»

У Вольдемара Смилги — «В погоне за красотой» (о пятом постулате Евклида) с такой надписью: «Михалычу, лентяю, от аккуратного и работящего Вальки». А это уже не без некоторой, знаете, склочки…

Посвящения приведены мною с согласия Игоря Михайловича, который, я думаю, ответит всем посвятителям на должном уровне, как только выйдет его книга.

И есть у них коллективный опус под названием «НИИ «Витязь», репортаж о прошлогоднем плавании корабля». По нынешним временам плавание недальнее — в Японское море. И недолгое: 48 суток. Очередной, 42-й рейс «Витязя». Но очень шумный, вроде нашего за «Седовым», только в другом плане шумный. Дискуссионный, что ли, рейс, если так можно выразиться, рейс-диспут, полемика, схватка двух, нет, трех различных мнений по вопросу о тенденциях развития земли. Вопросу, который, естественно, для каждой из противоборствующих сторон совершенно ясен. Ясно для одних,

что океан наступает на сушу и та становится дном его, и это прекрасно можно продемонстрировать на примере Японского моря. И так же бесспорно для других, что дно океана, поднимаясь, превращается в сушу, и это нигде так наглядно не видно, как в Японском море. И нет никаких сомнений для третьих — среди них и Белоусов, — что материки перемещаются, плывут и, сталкиваясь, раскалываются, отъезжают друг от друга, образуют новые материки, новые океаны, и Японское море неопровержимо все это показывает. Словом, на Японском море, на его подводной горе Ямато, открытой в двадцатых годах, ученые давно уже схлестнули свои шпаги. Звон их ударов не утих и после упомянутого рейса «Витязя», в котором участвовали представители всех трех спорящих направлений, снова нашедшие здесь веские доказательства, каждый в свою пользу.

В этом рейсе вместе с Белоусовым был и Смилга. Смилга? А что ему, физику-теоретику, автору книги о теории относительности, что ему, кабинетному ученому, в бурном океане? А он в отпуске. То есть в отпуске для своего Института атомной энергии, где работает. И в добровольной кабале у Белоусова, хотя к океанологии не имеет никакого отношения, точнее сказать, не имел. И обычно, когда Игорь, возвратившись из плавания, «травил» в кругу друзей, по лицу Смилги бродило скучающее выражение. И однажды он бросил реплику: «Ерундистика все это…» — «Что именно?» — спросил, накаляясь, Белоусов. «Все эти ваши ковырянья в морском песочке…» — «Ну, знаешь, песочек-то на глубине десяти тысяч метров!» — «Тем более ерундистика!» И начал излагать некую бредовую идею, которая должна-де перевернуть всю океанологию, сделать ее наконец наукой. Игорь, не дослушав, перебил в возмущении, сказав, что он же вот не лезет в его, Валькины, темные научные дела. Смилга соответственно взвился, Игорь выпалил какие-то слова из моряцкого обихода, на что получил примерно такого же содержания из обихода физиков, и неизвестно, чей обиход оказался крепче. «Ай-ай, — сказал Тоник. — Зачем так грубо?» — «Брэк!» — скомандовал Юлька, становясь в позу судьи на ринге, разводящего по сторонам двух нарушающих правила боксеров. Но крик, обвинения в лености ума (Смилга — Белоусова), в лености действий (Белоусов — Смилгу), взаимные оскорбления продолжались еще некоторое время, а затем пошли по ниспадающей. И когда Белоусов понял вдруг, что в утверждениях Вальки есть какая-то сермяга, а Смилга осознал, что наговорил Игорю среди прочего порядком чепухи, они присели, к удовольствию двух остальных, за стол мирных переговоров. «Давай разберемся». — «Давай».

В самом деле, как ведутся, скажем, исследования морского дна, его рельефа? Как вырабатывается представление о нем? Из свидетельских показаний эхолота, из отдельных линий, наносимых его пером на бумагу. А что между линиями? Они же не сплошные. Как заполняются довольно обширные промежутки, белые пятна? Каждый океанолог делает это по-своему, как ему видится. Значит, объективные, реальные данные эхолота плюс воображение. А нельзя ли этот индивидуальный и не очень-то надежный фактор — воображение — заменить точным математическим анализом? Ведь существуют же какие-то закономерности для рисунка, для профиля океанского дна. Так почему бы не получить для описания этого дна определенные математические формулы? Какие имеются, например, для описания шероховатых поверхностей металла. «Не пора ли покончить с ерундистикой в вашем деле?» — воскликнул увлекшийся Смилга, вызвав новое взвихрение Игоря: «Опять это дурацкое словечко! Тебе легко теоретизировать, сидя за столом. Тебя бы с нами в море!» — «И пойду!» — сказал Смилга. «Слово?» — «Слово!» — «Заметано», — сказал Белоусов. «А мы? — возопили остальные двое, историк Тоник и хирург Юлька. — Мы тоже хотим в океан. Мы тоже мятежные и ищем бури». — «А вы помашете нам платочком с берега», — сказали Игорь и Валька.

И отверженные мятежные махали двумя шарфами с причала, предварительно отмахав десять тысяч километров от Москвы до Владивостока. Но они не были просто праздными отпускниками, приехавшими проводить друзей. Они были соучастниками упомянутого выше литературного альянса, который разбился, лучше сказать, разделился пополам: двое уходили в море, двое оставались на суше. Все четверо договорились соорудить по возвращении «Витязя» в порт коллективный репортаж о том, как он готовился к походу и как плавал. Трое были верны обязательствам, четвертый увильнул, сославшись на занятость. Фамилию не назовем, но, вспомнив посвящение на книге, спросим в его же шутливом стиле: кто тут лентяй, а кто работящий?.. Ладно, справились втроем, «три кандидата разных наук», так подписались. Два профана в океанологии — историк, хирург — и специалист-океанолог. Репортаж в таком духе и построен: профаны ходят по кораблю, всем мешают, всюду суют свои некомпетентные носы, восторгаются, резонерствуют, фантазируют, а деловой человек, знаток, в своих комментариях осаживает обоих, возвращает к реальности и попутно сообщает им и читателям массу интереснейших и точных сведений, которые не нуждаются в проверке: «В этом обществе дилетантов высокой квалификации мне отводится роль зануды-критика».

Все это написано людьми веселыми, симпатичными, ясными. Напечатано в журнале с назидательным названием «Знание — сила». Но сила, оказывается, еще и в душевной чистоте, в душевном здоровье, которым, кстати, Белоусов-старший тоже обладал в полной мере. Это было его глубоко внутренним состоянием, существом его: душевная ясность. Хотя внешне он конечно же, как любой из нас, был подвержен сменам настроений и не находился в постоянной механической уравновешенности. Мог вспылить, сказать резкие слова, но где-то там у него внутри был надежно упрятан компас с магнитной стрелкой, не подвластной никаким случайным, наносным влияниям. Она могла только дрогнуть на некий момент, чуть колебнуться влево, вправо и тут же лечь на верное направление, определить точный курс в отношениях с людьми. Думаю, что мой капитан стал бы своим человеком в кругу друзей Белоусова-младшего. Я говорю это, не забывая о времени, в которое формировались характер, взгляды Михаила Прокофьевича, и времени, когда росли его сын с товарищами. Времена разные — в деталях, в обстоятельствах, — а эпоха-то, в общем, одна… Я сказал: стал бы своим, имея в виду, что сближение произошло бы, вероятно, не сразу. Мои капитан медленно входил в дружбу, отграничивая это понятие от знакомства, приятельства. Он был общителен, гостеприимен, но в свои истинные друзья записывал с суровым отбором. Мы говорили об этом с Игорем. Я так впрямую его и спросил:

— Скажите, Игорь, а ваши друзья могли бы стать друзьями вашего отца?

— Отец бы в нас кое-что принял, — сказал он, — а кое-что отверг. Вернее, принял бы многое, а что-то отверг бы. Так же, как мы в нем. Но я ведь мысленно ввожу его в наш круг таким, каким помню, а мое тогдашнее восприятие было, естественно, восприятием семнадцатилетнего, и какая-то поправка на это необходима. Часто и подолгу беседуя со мной последние месяцы в Москве, отец, наверно, не полностью все же раскрывался перед юношей, который лишь начинал созревать духовно. Да и сам он был человеком современным в том смысле, что изменялся вместе с изменяющимся временем. Что-то бы сдвинулось в нем за эти годы и ушло, а что-то бы распахнулось. И он был бы среди нас, среди моих друзей органичен, — со своими принципами, убеждениями, манерой поведения и даже манерой шутить.

6

«Я только что вернулся домой с Белорусского

вокзала. Провожал Игоря и Анну Николаевну в… чуть было не сказал — в плавание. Игоря-то, впрочем, в плавание, а Анну Николаевну — в Калининград, откуда уходит в рейс новый океанографический корабль «Академик Курчатов». Она сказала мне:

— Я не видела «Витязя», он во Владивостоке, туда не выбраться. А это — близко. Надеюсь, что судно будет стоять у самой пристани и я попаду на борт не по узеньким досочкам, как когда-то с Мишей.

«Академик Курчатов» пойдет в юго-восточную часть Тихого океана, маршрут сказочный, на острове Пасхи побывают, на Галапагосских островах. И снова с Белоусовым — Смилга. Во второй раз. Увлекся. Дело-то оказалось, как он и полагал, стоящим: математический анализ в исследованиях океанского дна. На «Витязе» считали «вручную». На «Курчатове» стоит электронно-счетная машина «Минск-2».

Перелистываю блокноты, слушаю диктофон, перебираю старые фотографии. На одной — три моряка, три соплавателя, встретившиеся на борту «Красина»: капитан Белоусов, капитан Мелихов, капитан Готский. Они и сейчас, став ледоколами, часто встречаются в Арктике на ледовых проводках, приветствуя друг друга гудками: «Капитан Белоусов», «Капитан Мелихов», «Капитан Готский». Они по-прежнему в морях.

А когда линотип наберет эти строчки, Игорь Белоусов тоже будет в океане».

Это я, извините, снова себя цитирую, Так заканчивался очерк «Мой капитан», написанный и напечатанный одиннадцать лет назад.

А сейчас, когда линотип набирает вот эти строки, нет в живых ни Анны Николаевны, ни Игоря. Сын «пережил» отца на два года, уйдя из жизни в сорок четыре, и так же внезапно, от разрыва сердца, за неделю до ухода в очередное океанское плавание.

Моего капитана видят теперь все, кто проходит Суворовским бульваром. На доме № 9 — мемориальная доска: на гранитной консоли скульптурный портрет Белоусова в зимовочном капюшоне, а ниже металлический полуразвернутый свиток, как берестяная грамота, со словами: «В этом доме с 1937 года по 1946 год жил известный исследователь Арктики, Герой Советского Союза Михаил Прокофьевич Белоусов». И — маленькая золотая

звездочка.

ЭПИЛОГ

Если саратовская Нижняя улица была «вокзалом», с которого меня отправили в путешествие по жизни, то Моховая в Ленинграде — первая «станция» на этом пути, а «далее — везде», как пишется в железнодорожных расписаниях. Тут у меня явился случай вернуться на первую станцию.

Я приехал в писательский Дом творчества в Комарове под Ленинградом заканчивать эту книгу. Кстати, оговорюсь в эпилоге, хотя об этом следовало раньше предупредить читателя, который мог недоумевать по поводу разночтения в датах, что книга писалась не подряд, глава за главой, а в разное время, и потому все даты, временные отсчеты, даны к моменту написания того или иного эпизода.

Мотивы, по которым я решил пожить в поселке на берегу Финского залива, должны быть понятны. Мне хотелось, работая над последними страницами повести, быть поближе к городу, где прошла моя юность, где происходило становление моей профессии, где похоронены мои отец и мать. Я собирался еще раз походить по его улицам, подышать воздухом Невы, Невского, Летнего сада, Моховой, встретиться с друзьями-приятелями — ох как мало их осталось! К сожалению, болезнь ног привязала меня на весь срок путевки к коттеджу, в котором я поселился, выпуская лишь в столовую, в библиотеку да к скамейке в яблоневом саду.

И все же не жалею я дней, проведенных в Комарове: мне хорошо работалось под долетавший в раскрытое окно шум сосен, сливавшийся с шумом моря, моря моего детства — Сестрорецк-то рядом.

И — как бы заново рождающееся знакомство с людьми, которых знал 40—50 лет назад и все это время не видел. Факт в чем-то и грустный, — ведь только по другим замечаешь, как ты сам постарел, — но и поднимающий со дна души, казалось, уже навсегда погасшие воспоминания.

В неумолчно болтающей за обеденным столиком старухе с неожиданно звонким для ее возраста голосом, покрывающим весь остальной говор в столовой, с немалым трудом узнаешь бойкую комсомольскую поэтессу.

И в старике, медленно передвигающемся с палочкой, для которого сесть в кресло длительный и сложный процесс из-за несгибающейся ноги, угадываешь вдруг комсомольского же вожака с Васильевского острова, потом задиристого журналиста из соседствовавшей с «Искорками» газеты «Смена», потом редактора московского журнала «Смена», теперь он пишет книги

для детей; раз в неделю он покидает Дом творчества, чтобы посетить Комаровское кладбище с букетом свежих роз для своей Тони, лежащей неподалеку от Анны Ахматовой.

Или вот подходит человек моего возраста (заметили, в данном случае я избегаю слова старик) и говорит: «Я увидел в списке (он имеет в виду висящий в вестибюле список проживающих в Доме) вашу фамилию, это вы?» — «Это я», — говорю я и узнаю в своем ровеснике, докторе филологических наук, юношу, с которым когда-то вместе занимался в литературной студии, и мы вспоминаем эти занятия, и разговор наш печален — только мы вдвоем и остались в живых изо всех студийцев.

Вскоре после приезда из Москвы я оказался в составе небольшого землячества, образовавшегося из бывших тенишевцев, в разное время кончавших школу № 15. Нас было четверо: кроме меня, также приехавший из Москвы театровед Д., ленинградский переводчик А. и прозаик Л. Я не впервые попадаю в такую компанию: в переделкинском Доме творчества нас, тенишевцев, набралось семеро однажды… Мой старый друг очеркист Борис Галин шутит в телефонных разговорах со мной: «Куда ни ткнешь, всюду торчит тенишевец. Что, это было единственное учебное заведение в Питере? Откуда вас столько? Или вы все обладаете какой-то особой живучестью?» Может, и обладаем. В Комарове я узнал, что тут на даче живет 92-летний академик-геолог Дмитрий Васильевич Наливкин, из первого тенишевского выпуска. Мы вчетвером хотели посетить его, но кто-то сказал, что старец совсем уж плох и никого, кроме врачей, принимать не может. Вернувшись в Москву, я прочел в «Известиях» некролог…

А по Моховой я все-таки прошелся.

Меня навестили Березкнны. Лев Львович, похоже, отплавал свое, он «на приколе», хотя и считает его временным, храбрится, надеясь разок-другой сходить еще на дальний перегон. С последнего его «снял» микроинсульт, хорошо, что не в море схватило — в порту, перед самым отходом.

Мы давно собирались с Левой «побродить» по Моховой не на словах, как делали это, когда он приезжал в Москву, а действительно пройтись по ней не торопясь, останавливаясь перед каждым домом, с которым у нас что-то связано по детским годам, во дворы заглянуть — может быть, кого встретим из былых знакомых. Но все как-то не получалось с осуществлением этого плана. Приедешь в Ленинград, позвонишь Березкиным, Алла говорит: «На Канарских островах стоит, в Лас-Пальмасе на капитальном ремонте траулера». А теперь вот сам Лева на

«капиталке».

И мы уговорились с ним исполнить наконец-то старый замысел.

В день моего отъезда встретились рано утром на Финляндском вокзале: я подъехал на электричке из Комарова, Лева из Сестрорецка. У нас оставалось несколько часов до отправки дневного, «сидячего» поезда с Московского вокзала. Состав называется «Юность», но не прочь возить и стариков.

От Финляндского до цели нашего похода всего одна остановка, — трамваем, или троллейбусом, или автобусом, — а прогон довольно длинный, через Литейный мост, и мы не решились проделать его «пёхом», желая сохранить силы для Моховой. От улицы Чайковского до улицы Белинского, которые она соединяет, расстояние, да еще с заходами во дворы, тоже немалое при наших болестях. Из трех транспортных вариантов мы выбрали трамвайный, маршрут № 9. Не случайно выбрали, я предложил. Это ведь та самая девятка, которая 45 лет назад неожиданно свела нас с Левой, когда он возвращался домой из Филадельфии, а я с Фонтанки. Лева не держал в памяти этот случай, поскольку он ничего в его жизни не изменил. А в моей-то совершился резкий поворот: из репортеров в камбузники, и сие мне памятно.

Для того чтобы выйти к началу Моховой, надо сойти с трамвая на Литейном проспекте, угол Чайковского. Как и 45 лет назад, здесь в будке сидит айсор, чистильщик сапог. Будка новенькая, вся в стекле, с раздвижными дверьми, и хозяин таков, что его можно принять за сына того, что сидел тут почти полвека назад. А это все тот же нестареющий Сережа и, как прежде, чуть (бывает, и не чуть) подшофе, что не мешает ему блистательно совершать свою работу. Блеск начищенных им ботинок (одно удовольствие глядеть, как он виртуозно манипулирует щетками, бархотками) великолепен. К нему съезжаются постоянные клиенты со всего города. Начистились и мы с Левой, дабы предстать пред родной улицей в наилучшем виде.

Но нам с ней, с Моховой, трудно в этом смысле тягаться. Как бы ни пыжились, ни приосанивались, какой бы камуфляж ни наводили, а истинного нашего возрастного состояния уже не скрыть. Улица же органически, коренным образом омолаживается. Лева, оглядывая дома, ахал в изумлении. Оказывается, постоянно живущий в Ленинграде (с учетом, понятно, его долгих плаваний и стоянок в чужих портах), он десять лет не был на Моховой, и почти все ему тут внове в большей степени, чем мне, москвичу, последний раз побывавшему на этой улице год назад. То, что происходит с ней, с

ее домами, иначе как вторым рождением не назовешь, понимая всю затасканность этого выражения. Помните мое ворчание по поводу слома старинного здания в Сестрорецке? Бьют, бьют всеми способами, никак разрушить не могут, настолько крепки его стены, фундамент, собираются взрывать, чтобы строить новое, кажется панельное. На Моховой не рушат — лечат. Капитально. Фасад блещет новизной, будто только что возведен, а ему за сто лет. Дому возвращен первоначальный вид, а дома на Моховой всегда были красивы, обладая каждый собственным неповторимым лицом и образуя в то же время единый уличный ансамбль, принадлежавший к лучшим образцам питерской архитектуры. А вот внутри коробок, в полости — сложная операция: сломаны, удалены, вырезаны вся рухлядь, вся гниль, все ржавье вплоть до смены остова, каркаса, внутри — полная переделка, перепланировка по современным требованиям. Здание приобретает новые «мускулы», новую «кровеносную систему», новый «пищевод» — новую жизнь!

В прежние приезды я огорчался: все дома на Моховой молодеют, кроме нашего — «баронессы Корф», что-то не трогают его. И вот радуюсь теперь, стоя перед ним с Левой. Дом в лесах, во дворе башенный кран. Все окна с фасада распахнуты, веет запахом свежей штукатурки, малярки. Мамин балкон? На месте! Охвачен новой узорчатой решеткой, перестланы плитки, заменены консоли. Балкон возрожден, балкон есть — мамы нет…

Собирались с Левой двинуться дальше, как из подворотни вышла пожилая женщина, глянула на меня и — значит, я еще узнаваем, черт возьми! — узнала меня. «Здравствуй!» — говорит. «Здравствуйте! — говорю. — Но кто вы?» А она вместо словесного ответа — сначала молчаливо пальцем — в приметный шрамик возле виска. А потом говорит: «Твой следок…» И я вспомнил: играли во дворе в лапту, Лидочка Шувалова, увертываясь от моего запущенного в нее мяча, поскользнулась, упала, а на мостовой битое стекло, так и остался на лбу шрам, «мой». Лидочка — бабушка, приходила смотреть свою обновляемую квартиру во флигеле: там уже шесть квартир готово. «Знаешь, — говорит, — кто тут недавно приезжал? Не поверишь. Внучатый племянник баронессы Корф». — «Это, — говорю, — как в плохом очерке. Такие сюжеты уже бывали». — «Не знаю, — говорит Лидочка, — как в ваших очерках, а в жизни было так. Прибыла иностранная делегация. То ли французские, то ли бельгийские коммунисты. И среди них этот Корф. Я сама его видела, разговаривала через внука с ним. Старенький, как мы с тобой. Очень ему все понравилось. Пошутил даже: бабушка, мол, осталась бы довольна, как обновляется ее дом…»

Идем по улице с левой стороны на правую, с правой на левую. Возле «дома Гончарова» постояли.

— Здесь жила Наташа Бехтерева, нынешний академик, — говорит Лева, будто я не знаю об этом, по добавляет то, что я и не знаю. — Они с моей Аллой учились в одном классе. Рано осиротела, отец, крупный военный, погиб, мать умерла. Девочка воспитывалась в детдоме.

В «доме Гончарова» сейчас какой-то проектный институт, что он проектирует, я не списал с вывески. А в мои детские годы здесь размещался клуб Промкооперации. В летние вечера его балкон превращался в кинобудку, на фасаде противоположного дома укрепляли огромную простыню, и толпа, собиравшаяся на улице, смотрела бесплатно фильмы. При клубе была библиотека, которой заведовал Всеволод Васильевич Успенский. К нему часто — я видел, беря книги, — приходил очень схожий с ним брат Лев Васильевич. Тот, что все ведал про слова и одну из своих многих книг назвал «Слово о словах». В этом качестве он широко известен, а я помню его еще и как конструктора авиамоделей. Он возил ленинградскую делегацию на первый всесоюзный слет-соревнования юных моделистов, который проходил в Москве на Тушинском аэродроме. Я ездил с этой делегацией спецкором «Искорок» — первая моя командировка в столицу. Брал интервью у Косарева, генерального секретаря ЦК комсомола, у командарма Алксниса, начальника ВВС, взял бы и у плотного, с короткой, глубоко уходившей в плечи шеей молодого человека лет 27, если б знал, что это Королев. То есть я знал его фамилию, но не догадывался, что это будущий главный конструктор космических кораблей. Тогда, на слете, он был судьей, входил в жюри, оценивающее представленные модели. Большинство призов увезли ленинградцы, ученики Успенского.

Постояли мы и возле углового дома, в котором жила Маша Богорад, жил Алик. А по ассоциации с ними мне вспомнилось стихотворение Вадима Шефнера, — я познакомился с поэтом в Комарове, — написанное во время войны вот про этот как раз дом, около которого мы остановились с Левой:

Как бы ударом страшного тарана
Здесь половина дома снесена.
И в облаках морозного тумана
Обугленная высится стена…
…И пусть я все забуду остальное —
Мне не забыть, как, на ветру дрожа,
Висит над бездной зеркало стенное
На высоте шестого этажа.

Оно каким-то чудом не разбилось.
Убиты люди, стены сметены, —
Оно висит, судьбы слепая милость,
Над пропастью печали и воины,
Свидетель довоенного уюта,
На сыростью изъеденной стене,
Тепло дыханья и улыбку чью-то
Оно хранит в стеклянной глубине…
…Теперь в него и день и ночь глядится
Лицо ожесточенное войны.
В нем орудийных выстрелов зарницы
И зарева тревожные видны.
Его теперь ночная душит сырость,
Слепят пожары дымом и огнем.
Но все пройдет. И, что бы ни случилось, —
Враг никогда не отразится в нем!

Возможно, и сейчас висит это зеркало в восстановленной квартире. Или в музей передали.

Мы перешли улицу Пестеля, вступив на другую половину Моховой. Лев вдруг приостановился и сказал:

— Глянь на ту сторону…

По левой стороне шли двое: слепец в черных очках с баяном на груди и женщина-поводырь.

— Спешит, видно, на выступление в каком-нибудь клубе, — сказал Лева. — Ты должен помнить Пашу Лукина, это он с женой, с Катей.

— Дружок Маркиза?

— Правая его рука во всех потасовках… Он постарше нас с тобой. Еще лет за пять до войны женился. Но пил, дрался, и Катя, не выдержав, ушла от него к другому, трезвому, степенному… На войне Паша водил танк. Подорвался на минном поле, глаза выбило. И Катя, узнав, что он ослеп, разыскала его в госпитале, увела к себе, снова стала ему женой, покинув своего вполне благополучного второго мужа. Почти сорок лет они неразлучны с Пашей, дети у них, внуки…

Во дворе дома № 31, в котором Лева родился, вырос, из которого ушел в моря, у него произошла встреча, похожая на мою с Лидочкой Шуваловой. В компании Маркиза, царствовавшей на Моховой — помните схватку со шпаной из «придворного»? — состояла единственная девчонка, ни в чем не уступавшая мальчишкам из этой ватажки, ни в отваге, ни в ловкости, ни просто в физической силе — разве только не могла, как Маркиз,

выпрямить и снова согнуть велосипедный руль, а стукнет — не сразу придешь в себя. Фамилия у девчонки была иностранная, Чинизелли. Из гремевшей еще с дореволюционного времени итальянской цирковой семьи, которая осела в России; один из Чинизелли владел цирком в Петербурге. Девочка, выросши, тоже стала циркачкой. Ее-то Лева и узнал среди старушек — «божьих одуванчиков», сидевших на скамейках во дворовом скверике и покачивавших коляски с младенцами. Как уж он разглядел в самой дряхлой из них воздушную акробатку, бесстрашно взлетавшую когда-то без лонжи под купол цирка, не понимаю; «шрама», как в случае с Лидочкой, не было. Но узнал сразу, как только мы вошли во двор. Подбежал к ней, обнял и долго кричал в ухо, объясняя, кто он такой. Наконец глухая поняла…

А у меня встречи с 15-й школой, с Тенишевкой — Лева учился в 22-й — не случилось. Нет больше 15-й, нет Тенишевки, здание занято Театральным институтом. Помещение ему, наверно, требовалось, но мне до слез жаль, что нет моей, нет нашей школы. Тенишевцев полно повсюду, куда ни ткнешь, как шутит мой друг Галин, а их alma mater нет. Я уже в который раз повторяю это печальное «нет». Не буду больше, дабы не расстраиваться и оставшихся тенишевцев не волновать…

Вот и подходит к завершению наше с Левой путешествие по Моховой. Устали. И вдруг — отдохновение.

В самом конце улицы, в доме № 43, живет и поныне родившийся в нем мой племянник Яша, тоже уже 45-летний инженер-полиграфист, внук дяди Яши, к которому мы приехали из Саратова, сын Фрошки, «вождя краснокожих», встретившего меня на вокзале хуком справа, погибшего в войну подо Мгой. Он, мои двоюродный племяш, не знал, что я в Ленинграде, но, надо же, был дома, пришел обедать, подошел к окну и увидел дядюшку, меня, значит, идущего с кем-то по улице. Сбежал вниз. А внизу в их доме, в подвале — «Рюмочная»… «Чисто, светло», как в рассказе Хемингуэя. Мне — нельзя, Леве — нельзя. Яша глотнул в нашу честь, и мы тоже, махнув рукой, по 50 приняли капель. И вдруг увидели на донышке наше детство, нашу юность. Подмигивают нам. Вот и старость подошла, положила лапу на наши с Левой плечи.

Но все равно — и далее везде!

notes

Примечания

1

А. Ривин погиб в Ленинграде во время блокады *(прим. ред.)*.